



Annotation

Наталья Громова – писатель, драматург, автор книг о литературном быте двадцатых-тридцатых, военных и послевоенных лет: «Узел. Поэты. Дружбы и разрывы», «Распад. Судьба советского критика», «Эвакуация идет...» Все книги Громовой основаны на обширных архивных материалах и рассказах реальных людей – свидетелей времени.

«Странники войны» – свод воспоминаний подростков сороковых – детей писателей, – с первых дней войны оказавшихся в эвакуации в интернате Литфонда в Чистополе. Они будут голодать, мерзнуть и мечтать о возвращении в Москву (думали – вернутся до зимы, а остались на три года!), переживать гибель старших братьев и родителей, убегать на фронт... Но это было и время первой влюбленности, начало дружбы,

которая, подобно пушкинской, лицейской, сохранилась на всю жизнь.

Книга уникальна тем, что авторы вспоминают то, детское, восприятие жизни на краю общей беды. Каждая история – отдельная судьба. Среди прочих – судьбы трех погибших юношей: Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой, Никиты Шкловского, Всеволода Багрицкого; рассказы о встрече с Борисом Пастернаком, о том, как двенадцатилетние дети ловили дезертиров или как на новый 1942-й год устроили праздник с настоящей елкой!

Книга иллюстрирована уникальными семейными фотографиями.

- [Наталья Александровна Громова](#)
- [Исток судьбы](#)
- [Часть I](#)
- [Наталья Громова Жизнь и гибель Георгия Эфрона](#)
-
-
-
-
-
- [Наталья Громова Судьба Всеволода Багрицкого](#)
- [Варвара Шкловская Никита Шкловский и его родные](#)
- [Часть II](#)
- [Елена Левина От Клязьмы до Камы](#)
-
-
-
-
- [Софья Богатырёва Берсут-Чистополь-Москва](#)
-
-
-
-
- [Наталья Плигина-Камионская Из детства времен войны](#)
- [Марианна Ковальская-Френкель «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...»](#)
- [Виталий Хесин Воспоминания в письмах](#)
-
- [Эра Росина-Друцэ Чистое поле нашего детства](#)
-
- [Елена Закс Иных уж нет, а те далече...](#)
- [История одного письма](#)
- [Евгений Зингер Компас судьбы](#)
-
-
- [Леонид Стонов Чистополь в моей жизни](#)
-
- [Гедда Шор ВОЙНА, Семья, эвакуация](#)
-
- [Людмила Голубкина Бескрайность мира и жизни](#)
-
- [Список цитируемой литературы](#)
- [Именной указатель](#)
- [А](#)
- [Б](#)
- [В](#)
- [Г](#)
- [Д](#)

Наталья Александровна Громова

Странники войны: Воспоминания детей писателей. 1941-1944

В книге использованы фотоматериалы из архивов Дома-музея Марины Цветаевой в Москве, Музея М.И. Цветаевой в Елабуге; из личных архивов М.В. Ардова, С.И. Богатыревой, Н.М. Валеева, Л.В. Голубкиной, Н.А. Громовой, И.И. Емельяновой, Е.В. Закс, Е.М. Зингера, А.И. Ильф, М.И. Ковальской-Френкель, Е.Б. Левиной, Л.А. Лейтес, Г.А. Либединской, Д.Г. Санникова, П.П. Соколова, Л.Д. Стонова, Н.А. Сурковой, Н.А. Плигиной-Камионской, В.Г. Хесина, Э.С. Росиной-Друцэ, В.Б. Шкловской, Г.А. Шор

Исток судьбы

Воспоминания о детстве чаще всего пишутся на склоне лет. Человеку необходимо вернуться к себе, чтобы понять исток своей судьбы. Детство героев этих мемуаров выпало на годы войны. Многие рассказы открываются картиной эвакуации из Москвы, которая началась уже в первых числах июля 1941 года. И дети, и подростки, оказавшись в далеком тылу, будут убегать на войну, голодать, плакать от одиночества, мечтать о встрече с родителями, жадать возвращения в Москву.

Все истории складываются в общий сюжет: лето 1941 года в пионерлагере в Берсоте, несколько лет жизни в интернате Литфонда в Чистополе, где в первые же месяцы войны оказались герои этой книги. Каждый рассказывает о событиях и переживаниях тех дней, об известных людях, населявших Чистополь; мы видим происходящее глазами детей, воспринимающих жизнь очень по-разному – в силу воспитания и возраста.

Конечно, самое незабываемое – начало, слом мирной жизни.

Тревоги взрослых, страх за будущее детей – и детское непонимание этих опасений. Наши герои отличались от обычных детей – их родители были писатели, поэты, переводчики. Поэтому в одних семьях слышны пафосные речи, там верят в скорую победу, в других – разговоры о том, что страна не готова к войне, а немцы уже дошли до Москвы. В Чистополь вместе с писательскими детьми были эвакуированы антифашисты и их дети – настоящие немцы с иными манерами и поведением. И не всем хватало ума и милосердия, чтобы понять, что эти люди ни в чем не виноваты. Но интернат учил терпимости, осознанию того, что все они – разные. А лидеры старших мальчиков – Тимур Гайдар, Стасик Нейгауз и Гриша Курелла – показывали пример подлинного благородства.

Одно из событий, на которое обращают внимание почти все обитатели интерната – появление в сентябре в Чистополе Георгия Эфрона (Мура), сына Марины Цветаевой. Ироничный юноша с хорошими манерами, в заграничном костюме воспринимался советскими детьми, плохо одетыми, воспитанными в презрении к внешнему, – как инопланетянин. Всякий, кто его хоть раз увидел, уже не мог забыть никогда. И конечно же, все в интернате говорили о судьбе его матери, многие родители знали ее стихи переписывали их от руки, обсуждали и осуждали поведение Асеева, который должен был взять мальчика к себе.

Георгий Эфрон по воле случая дважды отправлялся в эвакуацию; сначала в Елабугу и Чистополь, потом в Ташкент. В его горьких странствиях по тылам страны, в его судьбе видна вся бесприютность и одиночество подростка, оказавшегося в Советской стране. Он погиб на фронте уже через неделю после пребывания на передовой, как и сын поэта Эдуарда Багрицкого Всеволод, чья мать пропадала в лагерях. Никите Шкловскому и Юнику Кушниковичу удалось закончить школу в Чистополе, они ушли на фронт и погибли, не дожив несколько месяцев до победы.

Другое яркое воспоминание – страшная гибель на военных занятиях осенью 1942 года нескольких мальчиков, среди которых был пасынок Василия Гроссмана Михаил. Весь город хоронил мальчиков. Так война ворвалась в интернат, который находился вдали от линии фронта. Об этой ужасной истории пишут Елена Левина и Евгений Зингер.

И еще одно лицо, к которому было приковано внимание обитателей интерната, их родителей и даже жителей города, не очень разбирающихся в поэзии. Это Борис Леонидович Пастернак. Он не был похож ни на кого, отличался всем от основного населения писательской колонии. О его радостной улыбке вспоминают многие чистопольцы, встречавшие его с судками на улице или галантно расшаркивающегося в писательской столовой; его портрет мы найдем почти в каждом очерке. «Жизнь в Чистополе хороша уже тем, – говорил Пастернак своему собеседнику А. Гладкову, – что мы здесь ближе, чем в Москве, к природной стихии: нас страшит мороз, радуется оттепель – восстанавливаются естественные отношения человека с природой. И даже отсутствие удобств, всех этих кранов и штепселей, мне лично не кажется лишением, и я думаю, что говорю это почти от имени поэзии...»

Огромным счастьем для детей стало то, что интернат возглавила Анна Зиновьевна Стонова, профессиональный педагог, сумевшая создать особый климат в доме. Она ко всем относилась ровно, никогда не повышала голоса. Порой тайно подкармливала в своей комнате молоком и хлебом особенно слабых детей. Такой же добротой отличалась и заведующая литфондовским детским садом Фаина Петровна Коган, которая потеряла на войне сына, и всю любовь отдавала своим маленьким воспитанникам.

Авторы воспоминаний откровенно и искренно, не боясь выглядеть смешными или наивными, делятся с нами уникальным опытом становления детского самосознания, ведь им приходилось и разгадывать сложные вопросы, и находить трудные ответы. Удивителен рассказ Лены Левиной – про то, как их с Алёшей Сурковым, двенадцатилетних детей, послали ловить дезертиров, что чуть не кончилось для них трагедией.

Мемуарные очерки написаны ярко, своеобразно, у каждого автора свой, отличный от другого, взгляд, угол зрения, своя интонация. Возможно, на подсознательном уровне писательские дети унаследовали способности родителей, даже не подозревая об этом.

Парадокс в том, что многие из них с детства получили антиписательскую прививку. Никто из родителей не хотел, чтобы дети занимались или были связаны с литературой, не хотели судьбы гонимого, вечно зависимого, униженного и рискующего своей головой писателя. Конечно, у кого-то были дачи в Переделкине и поездки в Дома творчества, литературские пайки, но были и годы нищеты, запреты печататься, аресты. Любая гуманитарная профессия была настолько идеологизированной, что для взрослых было несомненно: если сын или дочь пойдут по этому пути, добра не будет. Но литературный дар не обошел почти никого: дети оказались литературно приметливы, оригинальны и остроумны, может быть, еще потому, что чистопольская жизнь была пропитана особым воздухом. Несмотря на тяжкие условия быта, все жили в сгущенной атмосфере искусства, которая возникала из-за определенной свободы существования в глубинке. Все запомнили чтение Пастернаком своего перевода шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» и его замечательных стихов в Доме учителя, чтение Марии Петровых, незабываемые концерты пианистки Елизаветы Лойтер, спектакли с участием Ангелины Степановой, исполнительский талант юного Станислава Нейгауза, который он оттачивал каждый вечер в интернате на старом рояле, первое исполнение «Василия Теркина» Твардовского и «Землянки» Суркова.

В чистопольском интернате сложилась общая атмосфера любви к поэзии, к чтению книг, которые сопровождали бывших интернатовцев всю их жизнь. Их дружба во многом походила на лицейскую и сохранилась до конца дней.

«Странники войны» – лишь небольшая часть огромного свода воспоминаний писательских детей. Это логическое продолжение сборника «Чистопольские страницы» (Казань, 1987), в котором история чистопольской эвакуации была представлена в документах и частично в произведениях писателей и которого не могло бы быть без огромной работы краеведа и заслуженной учительницы города Чистополя Нины Степановны Харитоновой и ее учеников. Именно этот труд и побудил меня к созданию книги «Дальний Чистополь на Каме» (Москва-Елабуга, 2006).

«Странники войны» состоят из двух частей. В первой – рассказывается о трех, погибших юношах – Георгии Эфроне, Никите Шкловском и Всеволоде Багрицком, но нельзя не упомянуть и тех, кто ушел из интерната на фронт и не вернулся: Юрия Арго, Юния Кушнирова, Наталью Дзюбинскую.

Вторая часть и есть собственно свод воспоминаний, которые касаются не только военного детства, но и довоенной жизни.

Книга иллюстрирована большим количеством семейных фотографий, до этого нигде не публиковавшихся; в конце приводится расширенный указатель имен.

Незаменимую помощь в работе над рукописью оказали Ольга Минина, Валентин Масловский, Дом-музей Марины Цветаевой в лице директора Э.С. Красовской, где часто собираются «чисто-польские дети» и где прошли уже две выставки, посвященные эвакуации писателей и их семей из Москвы в Чистополь и Елабугу.

Наталья Громова

Часть I

Наталья Громова Жизнь и гибель Георгия Эфрона

Встреча с неизвестной родиной

Георгий Эфрон (Мур), сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона родился в Чехии, до четырнадцати с половиной лет жил во Франции, затем приехал с матерью в Советский Союз. Был воспитан на высочайших образцах мировой культуры, свободно изъяснялся по-французски, прекрасно анализировал политику, общественную жизнь, состояние культуры. Он одевался как денди, умел вести светские разговоры. В отличие от юношей своих лет не хотел идти на войну, но был призван, попал в стройроту, где служили в

основном уголовники, а спустя короткое время был отправлен на передовую.

Уделом последних двух лет его жизни стало сопротивление судьбе. Он хотел жить, хотел учиться, хотел стать писателем, изо всех сил ограждал себя от грубости, хамства, насилия, предчувствуя, что угроза исходит именно оттуда. Но он так и не сумел увернуться. Рок, уничтоживший его семью, поглотил не только отца и мать – он забрал и его.

Чем же была короткая жизнь Георгия Эфрона на фоне всеобщей катастрофы?

Марина Цветаева и ее сын ступили на советскую землю 18 июня 1939 года. Они прибыли из французского порта Гавр в Ленинград пароходом «Мария Ульянова». До них весной 1937 года в Советский Союз приехала Ариадна Эфрон. С первых дней она стала посылать в Париж восторженные письма о Москве, москвичах, новых улицах, домах, кремлевских звездах и первомайских парадах. Поздней осенью 1937 года в Москве появился ее отец Сергей Эфрон.



Марина Цветаева. Москва, 1940



Сергей Эфрон в санатории. 1938

С начала 30-х годов Сергей Эфрон возглавлял в Париже «Союз возвращения на Родину», был завербован органами НКВД, которые за определенные «услуги» обещали наградить его советским паспортом. Дело Игнатия Рейсса навсегда стало частью истории семьи Эфрона-Цветаевой. Бывший советский разведчик-нелегал с огромным стажем, Игнас Порецкий (Рейсс), работал в органах с первых дней советской власти. 17 июля 1937 года он отправил письмо в Москву, где наотрез отказался сотрудничать с НКВД. Письмо было перехвачено советскими агентами, и в тот же день участь разведчика была решена. Сергею Эфрону была поручена слежка за Рейссом, дальнейшее – исполнили другие лица.



Ариадна Эфрон. Париж, 1930-е

Скорее всего, Эфрон не видел письма Рейсса. Возможно, письмо остановило бы его. Эфрон был человеком благородным, он мог бы оценить честность бывшего разведчика, мог бы понять и почувствовать его отчаяние, боль за свою страну, которая катится в пропасть. Но всё свершилось, Рейсс был убит, а Сергей Эфрон бежал в Советский Союз. Во французских газетах появились списки предполагаемых убийц и их пособников, где оказалось и его имя.

От Цветаевой отвернулась вся русская эмиграция: ее никуда не приглашали, перестали печатать, избегали прежние знакомые. Кроме того, ее стали вызывать в полицейский участок на допросы по поводу занятий ее мужа. Оставалось одно – возвращаться с сыном в Советскую Россию, хотя ее и мучили дурные предчувствия.

19 июня 1939 года вся семья собралась на Болшевской даче в поселке НКВД «Новый быт». Дача, по роковому совпадению, принадлежала покончившему с собой Томскому. Сюда же поселили Клепининых – знакомых Цветаевой и Эфрона по Парижу, бежавших из Франции.

Для «искупления вины» (участие в Белом движении и последующая эмиграция) им было предложено стать агентами НКВД. Бывшие эмигранты не могли себе представить, в какую ловушку попали. Цветаева, увидев мужа после двухлетней разлуки и предчувствуя нависшую опасность, записала: «...Обертон – унтертон всего – жуть!...Начинаю понимать, что С <ергей> бессилен, совсем, во всём» [1].

Но Ариадна Эфрон не ощущала надвигающейся беды. «Счастлива я была – за всю жизнь – только в этот период – с 37 по 39 год в Москве, именно в Москве и только в Москве. До этого я счастья не знала». В редакции журнала «За рубежом» она встретила человека, которого полюбила и знала, что он любит ее. Спустя годы в письме поэтессе Маргарите Алигер она рассказывала о нем: «Был у меня, когда-то в молодости, муж, как у всех прочих, и, естественно, не такой, как у всех прочих, – лучше всех!»



Марина Цветаева. Голицыно. 1940-е, зима

Самуил (Муля) Давыдович Гуревич, которого Ариадна считала мужем, был человеком сложной судьбы, и даже в наше время, когда многое стало известно, однозначно оценить его роль в жизни Цветаевых очень трудно. Родился он в Швейцарии в семье профессиональных революционеров, рос в Америке, в пятнадцать лет приехал в Россию. Блистательно знал несколько языков, был близок к Михаилу Кольцову, но, как ни странно, даже после его ареста Мулю Гуревича не тронули. Мало того, он был исключен с 1929 года из партии за «троцкистский уклон», трижды подавал прошение о восстановлении, и неожиданно в 1940 году прошение удовлетворили. А ведь это случилось уже после ареста Ариадны Эфрон, и об их отношениях органы были прекрасно осведомлены. Нет сомнения, находясь на высоких должностях в «Жургазе», в ТАССе, постоянно контактируя с иностранными корреспондентами агентства «Reiter» и «Associated Press», он сотрудничал с НКВД. Но он неизменно помогал оставшимся на свободе Цветаевой и Муру преодолевать все выпадавшие на их долю бытовые трудности, был их постоянным помощником и советчиком. Ему удалось спасти Алю, когда за отказ доносить лагерное начальство угрожало ей смертью: из Москвы он сумел устроить так, что ее перевели в другой лагерь. Однако в конце концов и Муля Гуревич попал под каток: в 1950 году был арестован, а в 1952-м – расстрелян.



Дом творчества писателей в Голицыне

27 августа 1939 года за Ариадной Эфрон пришла энкавэдэшная машина, и жизнь ее разломилась на две части – до ареста и после. На Лубянке начались ночные допросы, карцер, битье резиновой дубинкой. От нее требовали, чтобы она дала показания против отца. В какой-то момент Аля не выдержала и «призналась», что является шпионкой, а ее отец – агент иностранной разведки. Когда же немного пришла в себя, от всего отказалась, но это уже не имело никакого значения. На Сергея Яковлевича уже давно было заведено дело, бериевский аппарат избавлялся от всех, кто работал на СССР за границей. Арестовали его 10 октября 1939 года. «8 ноября 1939 года мы ушли из Болшево – навсегда...» – писала Марина Цветаева дочери в лагерь. Это место казалось ей проклятым, даже любимые ими обеими кошки погибли здесь.

А в это время мир в изумлении смотрел, как Молотов и Риббентроп заключают пакт о ненападении и Советский Союз «мирно» присоединяет к своей территории Прибалтику и Западную Украину. Первого сентября немцы вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война.

Марине Цветаевой с Муром по ходатайству Бориса Пастернака удалось на время устроиться в писательском Доме творчества в Голицыно. Несмотря на страх перед Болшевской дачей, где почти все жильцы были арестованы, Цветаева вынуждена была поехать туда за вещами. Выяснилось, что милиционер, который сжег в печке часть их семейной библиотеки, удавился на ремне. Место действительно оказалось проклятым.

Что же в это время чувствовал Мур?

Семейный корабль уже шел ко дну, а мальчик пытался снова и снова разобраться в жизни взрослых, в жизни своей семьи. Но более всего хотел вписаться в советскую реальность, иметь друзей, хорошо учиться. Дневник, который он вел, заменял ему несуществующего друга. В нем он анализировал как международную обстановку, так и загадку ареста своей сестры, отца и соседей по даче. Он еще верил в справедливость советской власти, верил в то, что его отец делал замечательные дела. Конечно, в глазах Мура, отец – герой, который боролся с фашизмом, посылая бойцов в Испанию, выполнял особые поручения для родной страны. Он был уверен, что с отцом и сестрой разберутся и их освободят.

«Вспоминаю со сложным чувством кисло-сладкой трагичности дачу в Болшеве, – писал он в дневнике. – Больной сердцем отец и тасканье мое с ним на почту в Болшево, где долго ждали телефона. Жара. Отец почти седой, с палкой, в сером пиджаке. Благородное, умное и кроткое лицо. Именно благородное. Нервный. Я его очень жалею и жалел. Непладно у него было с сердцем – нередко припадки, и приходила Нина Николаевна со шприцом. Поездки с отцом в город и встреча с человеком из НКВД. Приезды в Болшево Алёши (теперь высланного на 8 лет). Гулянье его и Митьки (пасынка Клепининых. -Н.Г.) и езда на лодке. Устраивание колец и каждое утро занятия мои физкультурой под руководством отца. Но нет. Вспоминать об этом поистине трагическом времени в Болшеве не стоит. Жаль отца; жаль, что он угодил в тюрьму. Бедный отец! Но надеюсь, что его оправдают. Алю жалко, но отца больше жалко. Как он

самоотверженно работал во Франции! Сколько он там замечательного дела сделал».

Цветаева ездит в Москву, выстаивает очереди в окошечко на Кузнецком мосту – приемный пункт НКВД, передает посылки мужу и дочери. В июне 1940 года выясняется, что Сергея Эфрона нет ни в Лефортово, ни во внутренней тюрьме на Лубянке. Цветаева мечется от окна к окну, предполагая, что он в госпитале или уже умер. В июне арестовывают еще одного знакомого Эфрона, тоже возвращенца, – архитектора Павла Балтера. Мур, которому, заметим, только пятнадцать лет, пишет: «Перевод отца из Лефортовской тюрьмы в НКВД и арест Балтера, бесспорно, означают “оживление” дела. Возможно, отца перевели в НКВД с целью сделать очную ставку между ним и Балтером».

В дневнике Мура есть текст, напоминающий по стилю аналитическую записку НКВД. Он поражает невероятной осведомленностью мальчика в шпионских делах отца. Он знает многих из проходящих по «делу Рейсса». Каждому из них он дает подробную психологическую характеристику. Из этих записей следует, что Мур постоянно присутствовал при разговорах взрослых и не раз ходил с отцом (об этом он упоминает в дневнике) на встречу с агентами. Ему известны детали вербовки бойцов в Испанию, он упоминает о рассказах некоего Кордэ. Кто же это? Это одно из имен Константина Родзевича, бывшего возлюбленного Цветаевой, друга Эфрона и агента НКВД. Как могло случиться, что подросток был посвящен в опасные игры взрослых?

Мур верил, что статус отца, смелого советского разведчика, изменит его собственную жизнь. Однако оказалось, что в СССР они с матерью вновь стали гонимыми, бездомными бывшими эмигрантами. Жизнь шла по иному сценарию.

В Доме творчества в Голицыне, возле которого они поселились после бегства из Болшево, было не лучше. Когда они приходили обедать, многие писатели при виде Цветаевой шарахались в сторону, а те, с кем удавалось более-менее дружески пообщаться, разговаривали лишь на отвлеченные темы. Мур, который вынужден был здесь учиться, мечтал о нормальной жизни в Москве, о новых знакомствах. Он хотел попасть в хорошую московскую школу и научился приспособливаться к советским реалиям: просить известных писателей хлопотать за себя, стоять в очередях в РОНО, ходить по инстанциям.

Ему трудно с матерью, с ее поэзией, которая нравится только узкому кругу знакомых.

«Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее книги, оказались неприемлемыми. Теперь она понесла какие-то другие стихи – поэмы – может, их напечатают. Отрицательную рецензию, по словам Тагера, на стихи матери дал мой голицынский друг критик Зелинский. Сказал что-то о формализме. Между нами говоря, он совершенно прав, и, конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери – совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью.

Вообще я думаю, что книга стихов или поэм – просто не выйдет.

И нечего на Зелинского обижаться, он по-другому не мог написать рецензию. Но нужно сказать к чести матери, что она совершенно не хотела выпускать такой книги и хочет только переводить».

Мать со стихами, которые нигде не печатали, представлялась ему неким обломком прошлого. Он любил стихи Маяковского, Асеева, Багрицкого и даже Долматовского. Ему очень нравится Митька Сеземан, пасынок Клепинина, с которым он знаком еще с Парижа. Тот старше на три года, выше ростом, а главное, умеет иронично относиться к жизни. Когда они встретились, Митя очень забавно разобрал их общие семейные обстоятельства: его родители тоже сидят в тюрьме. А о высылке своего брата он говорил, что ему она не повредит, а даже пойдет на пользу. Митя остроумен, самоуверен, с ним можно обсуждать женщин, и Муру очень хочется быть на него похожим. Они вместе решают, что Париж закончился с их отъездом, а теперь там уже немцы. К сожалению, им нельзя с Митей часто видеться, приходится встречаться тайно, их дружбу осуждает мать, считая, что семья Клепининых оклеветала отца. Но Митя – единственный мальчик на свете, у которого общая с Муром судьба, и Мур ужасно дорожит этой дружбой. Взрослые, терзаемые взаимными подозрениями, не одобряют их встреч, Самуил Гуревич требует от Мура, чтобы тот перестал общаться с

товарищем.



Улица Горького. Москва, кон. 1930-х

Мур сначала обманывает взрослых, а затем, уже не скрываясь, ходит с Митей повсюду – в букинистические магазины, в оперу, в кафе, по улице Горького. И хотя он видит в нем и лицемерие, и жадность, и эгоизм, и неверность в дружбе, все-таки, не найдя никого ближе, уже после смерти матери в письме из Чистополя к тетке будет умолять: «... разыщите Митьку... Он мой единственный друг».

В самый канун войны, в середине июня Мур стал встречаться с девочкой из своего класса. Он так давно желал этого, изнемогая от одиночества, от неудовлетворенных юношеских желаний! Он строит самые разнообразные планы на будущее. Мечтает об отдельной комнате, о самостоятельности. Его всё больше и больше тяготит статус «сына Марины Ивановны», он хочет, чтобы окружающие оценили его собственные достоинства. А тем временем мать терзает постоянными скандалами и претензиями соседи по коммуналке. «Я знаю, что когда-нибудь я буду жить самостоятельно, что я избавлюсь от всех проблем, что я смогу прямо смотреть всем в глаза, а не исподлобья, как теперь. Я вылезу, потому что я настойчив и умен, и я надеюсь на свое будущее».

А будущего уже нет. Ход истории незаметен, но неумолим.

«Мура ты не узнала бы, – писала Марина Цветаева дочери в лагерь, – он худой, прозрачный, руки как стебли (или как плети, очень слаб), все говорят о его хрупкости. <... > Внутри он всё такой же суровый и одинокий и – достойный: ни одной жалобы – ни на что».

Марина Ивановна, и это видно из немногочисленных писем к Але в лагерь, чувствовала по отношению к сыну неизбывную вину. За его болезни, одиночество, безытность. Те, кто видел их в Москве в 1941 году вместе, говорили о том, что Мур держался от матери обособленно, раздражался на нее. Если они вместе шли по улице, он пытался идти отдельно, а она нелепо кидалась к нему, хватала, как маленького, за руку.

Потом, из ташкентского одиночества, наступившего после ее смерти, в письме к сестре он отзовется о матери значительно мягче: «... насчет книги о маме я уже думал давно, и мы напишем ее вдвоем – написала же Эва Кюри про свою знаменитую мать». Но к этому пониманию Мур шел через такие испытания, какие другого бы подростка просто сломали.

Война

18 июня 1941 года Мур с матерью, Алексеем Кручёных и Лидией Либединской гуляют в Кусково, катаются на лодке. О фотографии, на которой они все снялись, Мур пишет: «... фотография чудовищная, как и следовало ожидать». Это последний снимок, на которой мать и сын вместе.

«22 июня – война; узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покр<овскому> бульвару», – записала Марина Цветаева. Теперь ее преследовал страх бомбежек, страх за сына, которому по-мальчишески интересно дежурить на крыше дома на Покровке, где они ютились в комнате в коммуналке. Москву стали бомбить уже через месяц после начала войны и бомбили почти ежедневно, хотя первое сообщение об этом появилось в газете «Вечерняя Москва» только 27 июля. «На Москву налетело около ста самолетов противника, но к городу прорвалось не более пяти-семи. В Москве возникло несколько пожаров, есть убитые и раненые».



Кусково, 18 июня 1941. Слева направо: Марина Цветаева, Lidия Либединская, Алексей Кручёных, Георгий Эфрон

А немного раньше 16 июля 1941 года Мур беспощадно проанализирует в дневнике собственную жизнь и жизнь своей семьи, которой раньше втайне гордился. Почему в эти дни он с такой трезвостью посмотрит в глаза реальности?



Мур (Георгий Эфрон). Чистополь. 1941, сентябрь

«С некоторого времени ощущение, меня доминирующее, стало распад. <...> Процесс распада всех без исключения моральных ценностей начался у меня по-настоящему еще в детстве, когда я увидел семью в разладе... Семьи не было, был ничем не связанный коллектив. Распад семьи начался с разногласий между матерью и сестрой – сестра переехала жить одна, а потом распад семьи усилился отъездом сестры в СССР. Распад семьи был не только в антагонизме – очень остром – матери и сестры, но и в антагонизме матери и отца. Распад был еще в том, что отец и мать оказали на меня совершенно различные влияния, и вместо того, чтобы им подчиняться, я шел своей дорогой, пробиваясь сквозь педагогические разногласия и идеологический сумбур. Процесс распада продолжался пребыванием моим в католической школе Маяра в Кламаре. <...> Все моральные – так называемые объективные – ценности летели к чорту. Понятие семьи – постепенно уходило. Религия – перестала существовать. Коммунизм был негласный и законспирированный. Выходила каша влияний. Создавалась довольно-таки эклектическая философски-идеологическая подкладка. Процесс распада продолжался скоропалительным бегством отца из Франции... отъездом из дому в отель и отказом от школы... далекой перспективой поездки в СССР и вместе с тем общением – вынужденно-матерьяльным – с эмигрантами. Распад усугублялся ничегонеделаньем, шляньем по кафэ... политическим положением, боязнью войны, письмами отца, передаваемыми секретно... какая каша, боже мой! Наконец отъезд в СССР. По правде сказать, отъезд в СССР имел для меня... большое значение. Я сильно надеялся наконец отыскать в СССР среду устойчивую, незыбкие идеалы, крепких друзей, жизнь интенсивную и насыщенную содержанием. <...> И я поехал. Попал на дачу, где сейчас же начались раздоры между Львовыми (Клепиниными. – Н.Г?) и нами, дразги из-за площади, шляния и встречи отца с таинственными людьми из НКВД... Слова отца, что сейчас еще ничего не известно. Полная законспирированность отца, мать ни с кем не видится, я – один с Митькой. <...> Тот же распад, только усугубленный необычной обстановкой. Потом – аресты отца и Али, завершающие распад семьи окончательно. Всё, к чему ты привык – скорее, начинаешь привыкать, – летит к чорту. Это и есть разложение и меня беспрестанно преследует. Саморождается космополитизм, деклассированность и эклектичность во взглядах. <...> Наконец – Покровский бульвар. Как будто прочность. Договор на 2 года. Хожу в школу, знакомлюсь, привыкаю. Но тут скандалы с соседями. <...> Кончаю 8-й класс – причем ни с кем не сблизился... Никакой среды не нашел, да и нет ее. <...> Тут – война! И всё опять к чорту. <...> Всё это я пишу не из какого-то там пессимизма – я вообще очень оптимистичен. Но чтобы показать факты. Пусть с меня не спрашивают доброты, хорошего настроения, добродушия,

благодарности. Пусть меня оставят в покое. Я от себя не завишу и пока не буду зависеть, значить ничего не буду. Но я имею право на холодность, с кем хочу. Пусть не попрекают меня моими флиртами, пусть оставят меня в покое. Я имею право на эгоизм, так как вся моя жизнь сложилась так, чтобы сделать из меня эгоиста и эгоцентрика. Я ничего не прошу».

Всё, абсолютно всё оказалось в его жизни призрачным. Отца и сестру не выпустили из тюрьмы, ни в чём не разобрались. Стихи матери не печатают, еле-еле берут переводы. У него нет никакого статуса – так и не ставший советским, но уже и не французский юноша, он вне всякого социума. С началом войны Мур ощутил полное отсутствие будущего. В силу своего эгоизма он оказался вне патриотического настроения своих сверстников – чувства, которое объединило целое поколение его ровесников. Ироническая, язвительная маска настолько прочно приросла к его лицу, что, уже оказавшись в эвакуации в полном одиночестве и страдая от этого, он, может быть, и жаждал ее снять, но уже не умел без нее жить.

Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого сына от опасностей, понимала, что это только отсрочка. Казалось, что за городом безопасней; они выехали на некоторое время на дачу к Кочетковым в Пески. Там жили престарелая поэтесса Вера Меркурьева, еще какие-то старые женщины, которые вели разговоры о пропавшей кошке и вспоминали о двенадцати кошках, отравленных в Гражданскую войну. Мур с отвращением слушал, называя их в дневнике старыми идиотками. Запах старости и кошек смешивался воедино. Он хотел вырваться к молодым, ясным, здоровым людям. Мать для него воплощала то же прошлое, что и старухи на даче. Наступали страшные времена, когда о животных думать неприлично. Но многим было невыносимо смотреть им в глаза, понимая, что их придется бросить или уморить голодом. Для Мура же эти мысли и разговоры – тоже из области распада и разложения.

28 июля 1941 года Мур пишет в дневнике: «У многих людей дома почти целиком разрушены. 9 часов вечера. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бомбить, я, по крайней мере, немного посплю). В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной – чтобы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань (матери дали разрешение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери, а мы не входим ни в одну из этих категорий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться в Москве. Мать дрейфит из-за меня на крыше».

Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к эвакуируемым, которые выезжали 25 или 27 июля в Чистополь. Мур боялся, что может оказаться среди маленьких детей единственным шестнадцатилетним. Но их в эшелон не включили. Каждый день Цветаева ходила в Литфонд, чтобы как-то уехать из города. Создавались всё новые и новые группы, люди рвались уехать подальше от Москвы. Совсем скоро эти же писатели будут умолять руководство вернуть их назад в собственные дома.

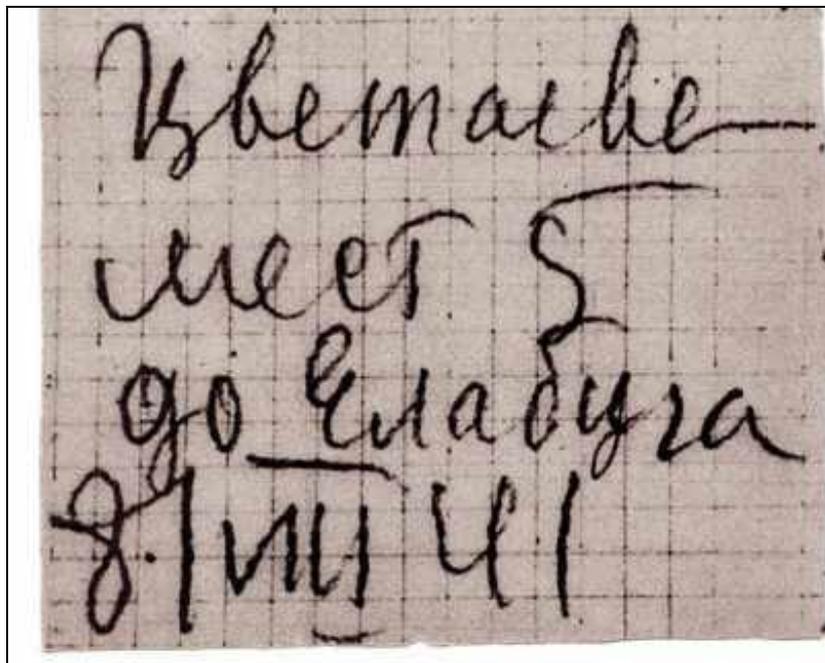


Москва. 1941, осень

26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике:

«Попомню я русскую интеллигенцию...! Более неорганизованных, пугливых, несуразных, бегающих людей нигде и никогда не видал Литфонд – сплошной карусель не совершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым и Фединым. Всё это дает ощущение бреда. Каковы же все-таки последние новости нашего несчастного отъезда? Как будто опять начинает сколачиваться группа писателей, для которой сейчас ищут место эвакуации – не то Тамбов, не то Марийскую АССР, не то опять Татарию. Что-то такое в этом роде намечается – для тех, кто не уехал в Чистополь. Но даже если что-нибудь выйдет с образованием этой группы, если найдут место и сговорятся с местными властями, еще совершенно неизвестно, удастся ли нам попасть в эту группу или нет».

Его счет с интеллигенцией, так он определяет мечущихся советских писателей, будет продолжаться и в Елабуге, и в Чистополе, и в Ташкенте. Мур пройдет все круги писательской эвакуации, сохраняя свой насмешливый, отстраненный, злой взгляд на людей. Мальчик, выросший в атмосфере почитания интеллигенции – это было в крови отца, матери, старшей сестры, – внутренне всю свою короткую жизнь оспаривает аргументы родителей. Он видит в писательском круге обывателей, мало чем отличных от французских буржуа, так раздражавших его родителей. Наверняка, он не мог отказать себе в удовольствии лишний раз уколоть этим Марину Ивановну.



Билет до Елабуги на пять мест: два – Цветаева с сыном, три – вещи

В те дни он отмечает, что Москва разделилась на два лагеря: кто боится бомбежек и кто их не боится. Лидия Либединская рассказывала, что они с полугодичной дочкой, мамой и бабушкой вскоре перестали спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от бомбы рухнул дом на Полянке. Ее тоже включили в списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи, и Лидия с ребенком должна была плыть тем же пароходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фронта привезли ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра. Это и решило ее судьбу: она устроилась в госпиталь, чтобы ухаживать за ним.

В начале августа Цветаева уже собрала все вещи и искала возможности покинуть город, но Мур не желал уезжать, сопротивлялся, как мог. Он хотел остаться, вместе с другими мальчишками тушить зажигалки, общаться с редкими знакомыми. И все-таки 8 августа 1941 года они покинули Москву.

Москва-река-Кама. 8 августа

8 августа Пастернак вместе с Виктором Боковым (тот посылал вещи для своей семьи) провожали с Речного вокзала пароход с эвакуирующимися, среди которых была и Цветаева с Муром. По слухам, этот пароход был организован через Литфонд стараниями Тамары Ивановой для сестры и тещи Всеволода Иванова.

Лидия Либединская рассказывала, что она тоже была на пристани вместе с Львом Александровичем Бруни – они провожали Цветаеву. Цветаева уезжала из Москвы, преодолевая сопротивление Мура. Она была растеряна, не знала, как следует поступить, и эта растерянность усугублялась раздражением сына, уставшего от ее метаний.

Врач Берта Михайловна Горелик отплывала тем же пароходом: «Не знаю, как я вообще это пережила. Муж каждый день в Литфонд звонит, справляется, где дети. Никто не отвечает, куда отвезли детей, говорили, разбомбили детский поезд, и когда я, наконец, узнала, что дети приехали в Чистополь, то пошла в военкомат и попросила дать мне две недели, чтобы забрать ребенка. Мне говорят, что бомбят Москву, все увозят детей. Я им ответила: что со мной будет, то и с ребенком. Я хочу его забрать. Муж узнал, что пароход идет в Чистополь».

№№ по порядку	Имя	Возраст	ПУНКТЫ			Масса в шм	Кол-во шт	Классификация груза	Вес		Примечание	Примечание
			Отправления	Различия	Погрузки с мол. деп. и на мол. деп.				Тонн	Кг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	От команды парохода		Счет									
	Литфонду		за выгрузку									
	парохода		эвакуированных									
			пассажиров									
			по одному									
			рубли с матр.									
			Всего									
			92									
			руб.									
			Тонны									
			Всего									
			92									
			руб.									
			Всего									
			92									
			руб.									
			Всего									
			92									
			руб.									

Счет от команды парохода «Чувашская республика» Литфонду за выгрузку вещей с парохода эвакуированных пассажиров. 17 августа 1941

Пароход «Александр Пирогов» был старый, шел медленно. «Мы спим сидя, темно, вонь, – пишет в дневниках Мура, – но не стоит беспокоиться о комфорте – комфорт не русский продукт». Однако Мура утешало наличие сверстников. Тот факт, что он не один взрослый мальчик, который отправляется в эвакуацию с женщинами, инвалидами и малыми детьми, успокаивал его. Рядом оказался Вадим Сикорский, сын переводчицы Татьяны Сикорской, и Александр Соколовский, сын поэтессы Нины Саконской. Соколовский, хотя и окончил семь классов, был ровесником Мура. Тот писал о нем как о человеке культурном, разбирающемся в музыке. Вадим Сикорский был намного старше обоих мальчиков, ему было уже девятнадцать. Он учился в Литинституте, любил литературу, писал стихи. Мальчики подружились и время на пароходе проводили вместе. Вместе они окажутся и в Елабуге. У каждого из подростков – трудные отношения с матерями, их силой вывозят из Москвы. Это же, видимо, объединило и трех матерей в Елабуге.



На Каме возле Елабуги

Берта Горелик вспоминала:

«Двенадцать дней мы не ехали, а стояли. Как бомбят, мы останавливались. Дамы поважнее сидели в каютах, а мы на палубе. Цветаева была с сыном. Я ее увидела, кажется, дня через два. Подошла к ней жена Вилли Бределя – антифашиста, она мне ее

представила. Говорили друг с другом по-немецки. Почему-то Бределыпа ко мне сразу расположилась, стала рассказывать про свои болезни. Она представила мне Цветаеву.

Та была бледная, серого цвета. Волосы бесцветные с проседью уже. Она была с такой тоской в глазах. Я не знала, что муж расстрелян, что дочь посажена, я не знала, что им нельзя жить в Москве. Я ничего этого не знала. Вообще ее жизнь я узнала только тогда, когда мы приехали в Чистополь».

В 20-х числах августа они встретятся – жена Бределя, Берта Михайловна и Цветаева, когда Марина Ивановна придет хлопотать о возможности жить и работать в Чистополе.

Цветаева оказалась среди общего горя, которое уравнивало всех в беде. Но было одно существенное отличие: все умели включаться в советскую систему отношений, а она нет.

«Когда мы ехали, она узнала, что я врач, – вспоминала Берта Горелик об их коротком разговоре на пароходе.

– Вы не могли бы меня взять посудомойкой, я могу и полы мыть. Я ей говорю, ваше дело – писать стихи. Я же ничего не знала о ней. Знала то, что существует такая писательница, что эмигрировала, но дальнейшая ее судьба мне была неизвестна. Она мне ответила:

– Кому теперь нужны мои стихи?

Я ей сказала, вы знаете, я бы, конечно, с удовольствием вас взяла, но я же еду всего на две недели».

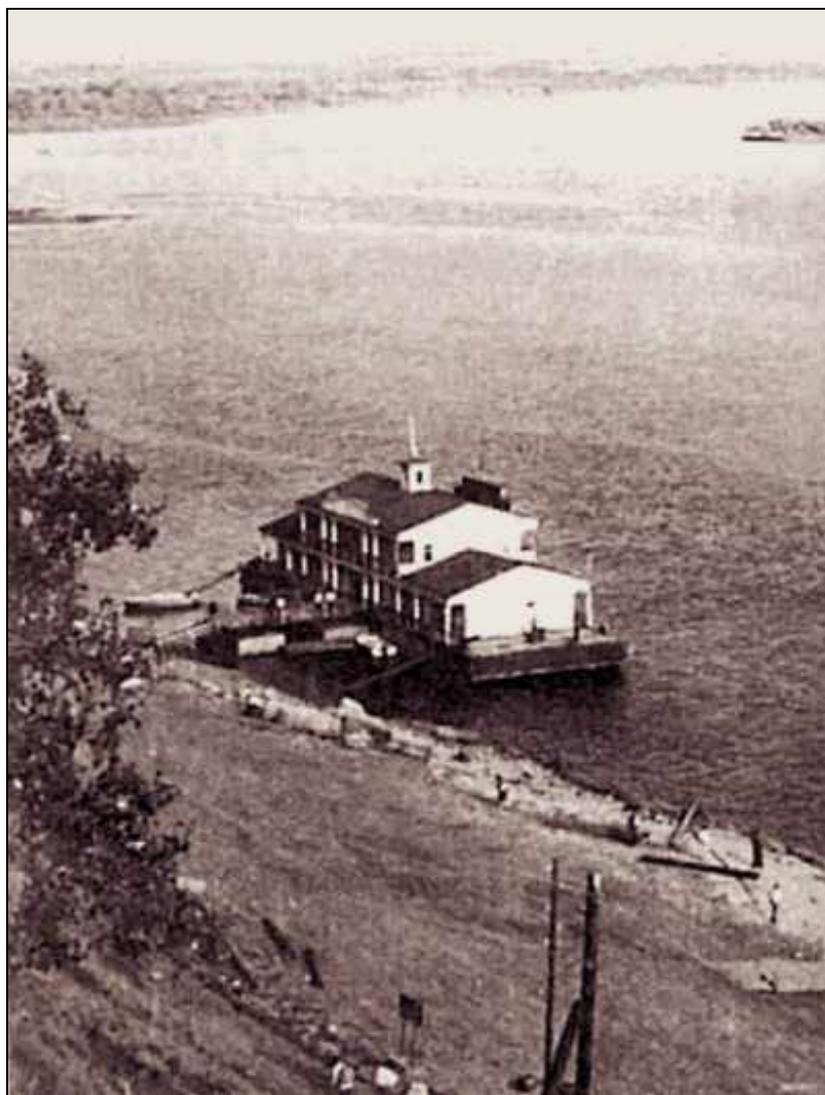
Все на пароходе говорят о том, где жить и на что жить. Из разговоров становилось понятно, что у всех есть какая-то поддержка от родственников, деньги, которые везут с собой. Цветаева – в растерянности. Страх, что нельзя будет найти работу, овладевает ею всё больше.

Мур рассуждает в дневнике о возможности устроиться: «В Казани есть поэтесса-переводчица М. Алигер, которая наверняка знает о замечательной репутации матери. (Может быть, наоборот она не поможет нам устроиться в Казани, опасаясь сильной конкуренции в области переводов)» [2]. Судя по всему, место переводчицы ими подробно обсуждалось, и даже было отправлено письмо в Казань на имя секретаря Союза писателей Имамутдинова. В Горьком пересели на «Советскую Чувашию». И пароход двинулся дальше. И все-таки вряд ли кто-то обращал внимание в те дни на невысокую седую женщину. Она терялась среди огромного людского моря, которое волнами устремлялось в стороны от Москвы.

Елабуга. 18–24 августа

В Чистополе на пароход поднялись женщины, которые ехали в Берсут, в детский лагерь. Они уговаривали Цветаеву после Елабуги вернуться в Чистополь. Они говорили, что там много писателей, что необходимо осесть там, и всё устроится. Как известно из воспоминаний Лидии Корнеевны Чуковской, Флора Лейтес, жена писателя Александра Лейтеса, которая работала в интернате, обещала похлопотать о прописке и дать Цветаевой телеграмму.

Итак, 18 августа Цветаева с сыном высадились на берег. Плыли они до Елабуги десять дней, что, конечно же, немало.



Дебаркадер в Елабуге

В Елабуге первое, что они увидели, была – старая пристань. Длинная, тягостная дорога в город. На холмистых пыльных улицах расплзающиеся старые не то избушки, не то сараи. Заборы – кривые, косые – серее серого. Весь город похож на одинокую улицу на пригорке – с тремя соборами, цепочкой купеческих особняков, в которых горсовет, библиотека, НКВД, Дом культуры. На горе над Елабугой – Чертово городище. Его когда-то поставили на высоком берегу Камы волжские булгары. Сооружение из плоских камней словно перемигивается с соборами, стоящими по другую сторону. По одну сторону – черт, по другую – Бог. Перед недолгим убежищем, домом Бродельщиковых, недалеко – Покровский собор. От Покровского бульвара в Москве – к Покровскому собору в Елабуге...

С парохода всех ведут в библиотечный техникум. «Елабуга похожа на сонную, спокойную деревню», – замечает Мур в дневнике. Цветаева дает телеграмму в Чистополь Флоре Лейтес.

19 августа Мур писал в дневнике, что хотел бы жить вместе с Сикорскими; Вадим вспоминал, что Марина Ивановна сказала: «Давайте поселимся вместе, пусть мальчики подружатся». Однако не вышло.

Видимо, Цветаева идет в горсовет, где предлагает себя в качестве преподавательницы французского языка. Лидия Либединская вспоминала, как накануне войны Цветаева говорила, что могла бы позаниматься с ней французским, пусть и бесплатно.

В этот день они ждут ответную телеграмму от Лейтес. Посылают телеграмму сами. Мур пишет в дневнике, что Асеева в Чистополе нет, он в Казани. Но Асеев в Чистополе. По свидетельству Лидии Чуковской, Флора Лейтес приходит на почту с телеграммой, чтобы написать Цветаевой об отказе в прописке Асеева и Тренёва. Чуковская ее отговаривает, ей кажется, что Цветаеву не надо травмировать: приедет и устроится сама.

20 августа. Телеграммы всё еще нет. Цветаева идет в горсовет узнать про работу. Сикорская почему-то писала, что Цветаева отказывалась от мысли поступать на службу и не искала работу. Но это не так. Скорее всего, Цветаева делилась с ней своими опасениями, что на любом месте потребуют документы, заполнения анкеты, а это приведет к излишнему интересу к ее особе. В тот же день Мур пишет, что ей предложили быть переводчицей с немецкого в НКВД. Но это вовсе не означает, что Цветаева ходила в НКВД. Просто в райсовете, горсовете была специальная комната (это помнят все, кто жил в советские времена), где сидели люди из органов. Наверное, когда она сказала какому-нибудь мелкому чиновнику, какими языками владеет, ее автоматически направили в такую комнату, откуда и пришел запрос на людей, умеющих изъясняться по-немецки. Несомненно, конторе был необходим человек, владеющий языком, тем более что в Елабуге готовились организовать лагерь военнопленных. Ведь это была не Москва, где переводчика было найти очень легко.

Версия о том, что Цветаеву пытались вербовать, кажется сомнительной. Ведь мы знаем из дневников Мура, что М.И. сама пошла в горсовет в поисках работы, сама рассказывала о знании языков, о возможности их применить. Ее французский в Елабуге не нужен.

Надо отдать должное Муру, шестнадцатилетнему подростку, он тоже ищет работу: обходит библиотеки, канцелярии – любые места, где есть хоть какая-нибудь надежда получить место. «Мне жалко мать, но еще больше жалко себя самого», – пишет он. Их багаж все еще на пристани, его перевезут в общежитие, так как комнаты еще нет.



Елабуга. Дорога на пристань

20 августа Вадима Сикорского назначают заведующим клубом. Наверное, не обошлось без энергичного участия его матери – Татьяны Сикорской. Она была переводчицей, автором многих советских песен. Радость от получения этой должности, отданной девятнадцатилетнему юноше, омрачается, когда выясняется, что всех предыдущих заведующих – посадили.

Мур надеется, что будет работать с Сикорским в клубе, рисовать плакаты, карикатуры, но выясняется, что за это платят гроши. Нина Саконская, с которой ехали на пароходе, устраивается учительницей пения. А у Цветаевой и Мура не видно никаких перспектив. Как это получается? Приехали вместе, со взрослыми сыновьями, казалось бы, у всех одни и те же возможности, однако видно, насколько они различны. Если на пароходе в разговорах о работе маячила какая-то надежда, то теперь Цветаева и Мур оказались по сути лишенными какого бы то ни было будущего в Елабуге. Впереди зима, и необходимость быть хоть как-то устроенными, иметь карточки абсолютно для каждой семьи была вопросом жизни и смерти.



Елабуга. Дорога от пристани

Сикорская, устроив сына, собирается ехать в Москву к мужу, а затем вернуться в Елабугу. Но к ее возвращению ни Цветаевой, ни Мура уже не будет. И ее сын Вадим Сикорский, последний оставшийся в живых свидетель тех дней, в своих воспоминаниях так и не рассказал, что произошло после смерти Цветаевой. Его записи туманны, основаны на дневниках матери, которая, как мы видим, была с Цветаевой в Елабуге только до катастрофы.

Итак, перспектив нет. На Чистополь делается последняя ставка. Мур язвительно запишет: «Самое ужасное, то, что во всем этом есть трагичность, всё это отдает мелодрамой, которую я ненавижу».

Комнатами распоряжается горсовет, куда определяют, там и надо жить. Мур отмечает в дневнике, что лучшие комнаты будут отданы семьям и профессорам филиала Ленинградского университета, которые прибывают 21 августа. Интересно, что сюда с университетом приедет сын Алексея Толстого Никита Толстой, а затем к нему 30 ноября 1941 года отец его жены – Михаил Лозинский, который всю войну будет переводить в Елабуге «Божественную комедию», а именно ее вторую часть – «Чистилище».

21 августа Цветаева и ее сын, наконец, переезжают в комнату, предоставленную горсоветом. Это изба на улице Ворошилова, 10.

Им отвели часть горницы, отделенную перегородкой, не достававшей до потолка. За занавеской – пяти-шестиметровый угол с тремя окошками на улицу. В закутке – кровать, кушетка, стул и тумбочка. Фамилия хозяев – Бродельщиковы.

Мура раздражает всё – комната, город, улица, уже и новые товарищи. Видимо, 22 и 23 августа Мур и Марина Ивановна заняты поиском работы, переживанием новых обстоятельств. Они решают, что пора ехать в Чистополь, подгоняет еще то, что вещи остались на пристани – не распакованные.

Цветаева панически боялась что-либо предпринимать сама – так видно по всем ее решениям. Ее судьбу определяли самые разные люди, которые оказывались в тот момент поблизости. Она сама писала о потере воли – то, что с ней происходило, можно определить только так.

24 августа, так и не получив долгожданную телеграмму от Лейтес, Цветаева сама отправляется на пароходе в Чистополь вместе с Сикорской, которая едет в Москву. Там же – некая дама из Литфонда по фамилии Струцовская, на советы которой всё время ссылается Мур. Куда она подевалась в Чистополе – неясно. Известно, что Цветаева с собой берет шерсть для продажи. «Настроение у нее – самоубийственное, – пишет Мур после ее отъезда, – деньги тают, а работы нет».

В Елабуге с мальчиками остается Нина Саконская, детская поэтесса и писательница, мать Саши (Лельки) Соколовского. Эту маленькую красивую женщину грядущая катастрофа заденет непосредственно.

Чистополь Цветаевой. 24–28 августа

23 августа Виноградов-Мамонт описывает в дневнике картины чистопольской жизни: «А в городе плач: 2000 мобилизованных отправили из города на фронт. Тяжелая будет зима!»

Все эти дни по городу в грязи по колени идут толпы плачущих женщин и детей. На этом фоне московская публика, и в частности Ангелина Степанова с писателями, в Доме культуры ставят 25 августа «Любовь Яровую» Тренёва.

Берта Горелик рассказывала, что к ним стала иногда приезжать Цветаева. Однако у рассказчика мог произойти некоторый сдвиг в памяти. Ей казалось, что Цветаева приезжала несколько раз, а скорее всего, в те дни она несколько раз заходила к Елизавете Бредель, жене писателя-антифашиста Вилли Бределя.

«Приезжала и боялась оставаться ночевать, уезжала последним паромом. Я уходила, чтоб им не мешать. Они говорили по-немецки, а я ничего не понимала, но не прислушивалась, старалась не мешать им. В один из дней предложила остаться переночевать, места в доме хватало, но Цветаева не осталась. Перед самым отъездом, зашла в дом и принесла огромный рулон гарусной шерсти, великолепного цвета, вынула ее и сказала:

– Купите у меня за сто рублей.

Я была поражена.

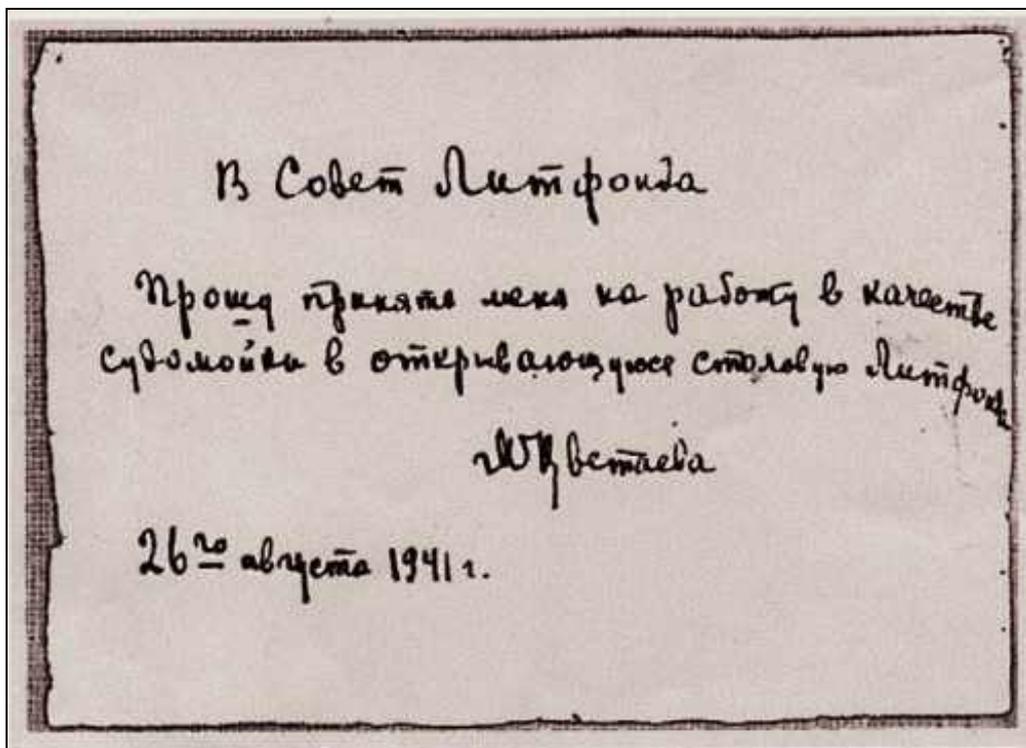
– Да, что вы говорите, сто рублей стоит килограмм картошки на рынке, вы лучше свяжите себе кофту, зима ведь идет.

Я сказала, что могу дать ей сто рублей, только не надо продавать эту шерсть. Но она отказалась, пошла к матери Долматовского, и та купила».

Возможно, из того горестного (гарусного) рулона шерсти была связана хорошая кофточка. В письме к Маргарите Алигер от начала 1942 года из Чистополя Наталья Тренёва (Павленко) упоминает о вязании: «И наконец – мы вяжем, да как – запоем, не отрываясь. Софка связала себе две кофточки, чудесные, надо сказать. Я, как более занятая по хозяйству, успела связать только одну. Мы даже в театр пытаемся ходить с вязаньем». Софка – это Софья Долматовская, жена поэта Евгения Долматовского.

На улице Цветаева встретила Галину Алперс, жену театрального критика Бориса Алперса. Они были знакомы еще по пароходу. Сказала ей и женщинам, стоявшим рядом (одна из них была Елена Санникова), что хочет перебраться в Чистополь, но прописки и работы нет. На что Галина Алперс повторила ей то, в чём потом убеждала и Лидия Чуковская: главное приехать – пропишут. Алперс приводила в пример свой случай. А что касается работы, то женщины как раз обсуждали организацию писательской столовой. Тогда Цветаева и сказала им, что готова работать посудомойкой, это показалось ей выходом из положения.

Но столовая откроется только в октябре, встреча же на улице закончится тем, что Цветаева уйдет с Еленой Санниковой. О том, как переплетутся судьбы этих двух женщин, речь впереди, но самоубийство Санниковой через два месяца молва отнесет к той встрече, к отражению в ней гибели Цветаевой. Подруга Санниковой Галина Алперс написала, что они ушли с Цветаевой боковой улицей, взявшись за руки.



Просьба М.И. Цветаевой в Совет Литфонда города Чистополя. 26 августа 1941

Есть еще одно любопытное свидетельство. Оно принадлежит писательнице Наталье Соколовой (Типот). В письме к Марии Белкиной, которое Соколова послала ей после выхода книги Белкиной «Скрещение судеб», она рассказывает, что в первые месяцы эвакуации оказалась со своим маленьким сыном, заболевшим дизентерией, в чистопольской больнице. А ее мать жила в одной комнате с Жанной Гаузнер, дочерью Веры Инбер. Именно у них Цветаева провела одну из тех августовских ночей. Спустя годы Жанна Гаузнер, обсуждая с Натальей Соколовой те дни, вспоминала о Цветаевой: «Она плохо понимала реальную жизнь. Хотела работать на кухне, и это казалось ей нетребовательностью, величайшим смирением». Получается, что ночь, проведенная в доме матери Н. Соколовой и Ж. Гаузнер, была после уличного разговора о столовой для писателей.



Елена Санникова. 1930-е

Как бы сегодня ни казалось нам унижительной та записка, которую Цветаева написала о желании быть посудомойкой, но реальность была еще ужасней. Не так-то просто было получить и это место. Устроиться так, чтобы быть поближе к еде, хотелось

многим. Может быть, кто-то объяснил Цветаевой, что и здесь перспективы нет?

Меньше всего Цветаевой был свойственен прагматический подход: мысль о том, чтобы оказаться рядом с кухней и оттуда, что-то выносить, вряд ли приходила ей в голову. Место посудомойки было самым ничтожным, по ее представлениям, и она была готова и на него.

«Ты же помнишь войну – говорила Гаузнер Наталье Соколовой. – Все были голодны, все хотели работать на кухне, поближе к пище, горячей пище, кипящему котлу. Изысканный поэт Парнах, полжизни проведенный в Париже, сидел при входе в столовую (не то интернатскую, не то общую писательскую), не пускал прорывающихся местных ребяташек, следил, чтобы приходящие не таскали ложек и стаканов, – и был счастлив, что так хорошо устроился. Зина Пастернак была сестрой-хозяйкой детсада, работала день и ночь, львиную долю полагающейся ей еды относила Пастернаку. Ну, как было объяснить Цветаевой, что место помойки на кухне важнее и завиднее, чем место поэта?»



Общежитие учительского института в Чистополе, с июля 1941-го – общежитие писательских семей. В разное время здесь жили семьи В. Бокова, Ж. Гаузнер, Е. и В. Катаевых, С. Обрадовича, К. Паустовского, Н. Соколовой и др. Во время своего приезда в Чистополь 25–26 августа 1941 здесь ночевала Марина Цветаева

И еще Гаузнер вспоминала, что, когда Цветаева ночевала у них, она все повторяла: «Если меня не будет, Асеевы о Муре позаботятся». Это стало вроде навязчивой идеи. «Должны позаботиться, не могут не позаботиться»; «Мур без меня будет пристроен». Известно, что в Чистополе Цветаева переночевала у Валерии Владимировны Навашинной, жены Паустовского, о чем написано в воспоминаниях Л.К. Чуковской, которая утверждала, что ночевала она у Навашинной в общежитии. Однако у Паустовского – в то время мужа Навашинной – была уже в двадцатых числа августа комната, которая соседствовала с асеевской. Это подтверждается строками из письма критика А. Дермана к И. Новикову, который поселился в этой комнате после отъезда Паустовского в Алма-Ату.



Лидия Корнеевна Чуковская

«...Мы в Чистополе с 3 августа, – пишет он. – Довольно много времени в усилиях “устроиться”, долго прожили в общежитии и т. д. А потом вдруг повезло. Паустовский с семьей решил уехать в Алма-Ату, и ко мне перешла принадлежавшая ему комната, отличная, необыкновенная теплая в центре. Сосед мой по комнате – Асеев с женой и бельсэрами. Был здесь обильный и дешевый рынок, сейчас – скудный и дорогой».

Таким образом, получается, что Цветаева, ночуя в комнате Паустовских, не могла не общаться с Асеевым и сестрами его жены Оксаны. Как уже говорилось, сначала Асеев вместе с Тренёвым не подписал Флоре Лейтес разрешение на прописку Цветаевой в Чистополе. Когда же он лично встретился с Мариной Ивановной, то такое разрешение дал – но не устное, а письменное. На собрание он не пошел, вместо этого прислал записку с согласием. Тренёв остался при своем мнении.

Судя по письму жены поэта Зенкевича А.Н. Зенкевич к мужу, 20 августа в Чистополь в военной форме прибыл КГ. Паустовский. За несколько месяцев войны он побывал в Одессе, где пытался организовать фронтовую газету, затем, в самом начале августа, вернулся в Москву, обнаружил, что его квартира в Лаврушинском переулке разбомблена, и, пожив немного на даче у Федина, приехал к семье в Чистополь. Он не мог не встретить Цветаеву, хотя бы потому, что входил в совет по делам эвакуированных. Но почему он ничего об этом не писал? И когда Цветаева ночевала у Навашинной, где был Паустовский? [3]

Ксения (Оксана) Синякова, жена Асеева, комнаты которой соседствовали с навашинскими, рассказывала потом Белкиной, что Цветаева приходила к ним в Чистополе и они ее принимали. Ксения подчеркивала: хорошо принимали. Может быть, это и толкнуло Цветаеву к тому, чтобы завещать сына Асееву и сестрам Синяковым.

Паустовский как выясняется, не успел узнать о судьбе Цветаевой и ее сына. Он покинул город, когда весть о самоубийстве еще не долетела до Чистополя, и было это 1 или 2 сентября, о чем писала Лидия Чуковская в письме к отцу А свою комнату Паустовский и Навашина передали близкому другу, «старика» Дерману, с которым писатель дружил в еще довоенной Ялте. Так тот оказался рядом с Асеевым. Но вернемся к странствиям Цветаевой по Чистополю.



Константин Тренёв. Рисунок И. Нестерова

Лидия Чуковская писала, что встретила Цветаеву 26 августа. В тот день проходило собрание Совета эвакуированных, решавшее ее судьбу. Лидия Корнеевна была совершенно уверена, что Цветаева пропишется в городе. Это следовало и из ее собственного опыта, в чем-то близкого цветаевской судьбе: у Чуковской был расстрелян муж. «Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла, – писала она в очерке “Предсмертие”. –... Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренёва и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она, безусловно, не слыхала никогда ни единой».

Цветаева сидела с Чуковской в коридоре и ожидала, пока закончится партийное собрание. Из кабинета вышла Вера Смирнова (тогда она была парторгом писательской организации Чистополя) и сказала, что Цветаевой нечего волноваться, судьба ее решена, она может прописываться. Против был один только Тренёв, все остальные согласны. С Чуковской они пошли в гости к Татьяне Арбузовой и Михаилу Шнейдеру, где Цветаева читала стихи, хотела вернуться к ним вечером, переночевать, но так и не пришла.

Как недавно выяснилось, она была и у еврейского писателя Нояха Лурье, с которым прятельствовала в 1940 году в Голицыне.



Горисполком города Чистополь

Его внучка Юлия Винер, которой тогда было шесть лет, написала мне из Израиля:

«Цветаеву я в Чистополе видела, это правда, и именно у моего дедушки Нояха Лурье (я была в литфондовском детдоме, а он приехал позже и жил в какой-то лачуге в самом Чистополе), но никакого зрительного образа не сохранилось, я и понятия не имела, кто это, осталось только общее ощущение ужасной неприкаянности и несчастья, а я, сама в то время несчастная и неприкаянная, очень сильно это воспринимала. И потому эта женщина была мне неприятна, и хотелось, чтобы поскорей ушла. Может быть, я даже что-нибудь в этом роде ей и сказала».

Это стало известно почти случайно, сам Ноях Лурье не оставил воспоминаний о той встрече, может быть, из-за ее мимолетности.

Виноградов-Мамонт записывает в дневнике 27 августа – в последний день, когда Цветаева находилась в Чистополе:

«Шел в 11 ч. в музей, а дорогу мне пересекла страшная процессия: 800 мобилизованных (35–42 лет), бородатых, изнуренных колхозников с мешками за спинами, шагали к пристани. Кое-кто из них на руках нес детей. А вокруг каждого мобилизованного бойца воют бабы и по 5–6 ребятишек <...> рядом жена заливается горькими слезами, детишки прижимаются к отцу, быть может, в последний раз».



Елизавета Лойтер

Эту картину не могла не видеть Цветаева. В Гражданскую она с лихвой хлебнула горя – голод, смерть ребенка, холод, страх, отчаяние. Принять в себя снова эту горечь – видимо, было не по силам.

Вот и на пристани, где встретила Лизу Лойтер, пианистку, жену поэта Ильи Френкеля, попросила вместо себя купить билет на пароход. Было много пьяных, Цветаева боялась их. Можно только представить, как пили мужики, уходя на фронт. Не случайна фраза из предсмертного письма Цветаевой о судьбе сына: «Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного».

Дочь Елизаветы Лойтер Марина Ковальская вспоминала: «Когда мама встретилась с Цветаевой, она везла в Казань к главному врачу Юру Барта, у которого был поражен глаз, который, насколько помню, не удалось врачам спасти.

Я запомнила из рассказа мамы только то, что М.И. обратилась к ней с просьбой купить билет до Елабуги. Она была, по словам мамы, страшно измучена и голодна. А у мамы из еды был только арбуз, который они втроем и съели на пристани.

Содержание их разговора я не помню, или мама не передала мне его».

Без меня Мур будет пристроен... 28–31 августа

Возвращение в Елабугу было тяжелым. Опять спорили с Муром, искали возможный выход. 29 августа решили брать подводу и ехать на пристань. Мур собирался выписаться из военкомата. 30 августа всё изменилось. Точно так же было в Москве: казалось бы, они всё определили – и вдруг всё рушилось в последний момент.

«Вчера к вечеру мать еще решила ехать завтра в Чистополь. Но потом к ней пришли Н.П. Саконская и некая Ржановская, которые посоветовали не уезжать. Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном совхозе в 2 км отсюда – там платят б р. в день плюс хлеб, кажется. Мать ухватилась за эту перспективу, тем более, что, по ее словам, комнаты в Чистополе можно найти только на окраинах, на отвратительных, грязных, далеких от центра улицах. Потом Ржановская и Саконская сказали, что *Us ne laisseron pas tomber* [4] мать, что они организуют среди писателей уроки французского языка и т. д. По правде сказать, я им ни капли не верю, как не вижу возможности работы в этом совхозе. Говорят, работа в совхозе продлится по ноябрь включительно. Как мне кажется, это должна быть очень грязная работа. Мать – как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово” произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из Москвы, я махнул рукой на всё и предоставил полностью матери право veto и т. д. Пусть разбирается сама».



Елабуга. Покровская церковь на улице Покровской

Можно только представить, что устроил ей Мур, когда они остались одни. Но он тоже на что-то рассчитывал. 31 августа – последний день каникул, он хотел идти в школу в Чистополе – это был его главный аргумент.

В последний день Цветаева была у Саконской. Либединская вспоминает, что уютный уголок, который Саконская сумела создать в чужом доме в Елабуге, нравился Цветаевой. В закутке висело бакинское сюзане, которое та привезла с собой.

«Вышитое на сатине, тогда это модно было, надо было как-то стены прикрывать. Это сюзане было большое, как ковер. На Востоке всегда оставляют несделанный завиток, потому что кончается работа, кончается жизнь. Такой завиток есть на всех ручных коврах. Саконская рассказывала, что Цветаевой сюзане очень нравилось. Оно спускалось со стенки и накрывало пружинный матрас, а рядом стояла настольная лампа, которую Саконская тоже привезла с собой из Москвы. Цветаева любила садиться в свете лампы на фоне сюзане. Саконская так и запомнила ее в предпоследний вечер. И еще она сказала, что отговаривала ее уезжать».

Нина Саконская умерла в 1951 году. Ариадна Эфрон разыскала Татьяну Сикорскую, но о попытках списаться с Саконской ничего не известно. Дневники Мура расширили возможность узнать о тех, кто был в те дни рядом с Цветаевой.

Была некая Ржановская, еще семья Загорских. Кое-что о них удалось узнать. Все-таки рядом были писатели, кроме того, с Саконской у Цветаевой было множество прежних общих знакомых.

Ждали вот-вот сотрудников Ленинградского университета, может быть, их и имели в виду Саконская и Ржановская, когда говорили о преподавании среди писателей французского языка.

И еще. Собрано много рассказов елабужцев о том, что они встречали, разговаривали, общались с несчастной женщиной; многие полагают, что это была Цветаева. Однако вполне возможно, что, вспоминая те дни спустя годы, любую растерянную эвакуированную женщину они могли счесть Цветаевой. Писатели в этом смысле более надежный народ, хотя бы потому, что они пусть отдаленно, но представляли, что она за поэт, или слышали о ней в Москве, как, например, Берта Горелик.



Елабуга. Дом, куда поселили Цветаеву с сыном

Валентина Марковна Ржановская жила в Елабуге на Тойминской улице, дом № 1. Ее муж Евгений Семенович Юнга (Михейкин) был писателем и военным журналистом, работал в газете «Фронтовик». А Загорский Михаил Борисович был в 20-30-е годы известным театральным критиком, его материалы, освещавшие театральную жизнь, в том числе и еврейских театров ГОСЕТ, «Габима» и других, часто появлялись в печати. Беда в том, что Загорский умер, как и Саконская, в 1951 году, когда до признания Цветаевой оставались считанные годы.

31 августа

Судя по предсмертной записке, Цветаева была абсолютно уверена, что сын в Елабуге не останется, а уедет в Чистополь. И как ей представлялось накануне, один он сможет устроиться лучше, чем с ней. Видимо, и на нее действовала советская идеология, представление о том, что заботу о сироте государство возьмет на себя. Как это ни печально, но, скорее всего, такая возможность – пусть в запале, пусть в ссоре – накануне могла ими обсуждаться. Мур же пишет в дневнике, что последние дни мать просила освободить ее, говорила о самоубийстве. И вот еще на что хочу обратить внимание. Много пишут о предсмертной записке родным и записке Асееву, а вот записка писателям, на мой взгляд, осмыслена не до конца.

«<ПИСАТЕЛЯМ> Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь к Н.Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом – сложить и довезти в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. *Со мною он пропадет.* (Курсив М. Цветаевой. —Н.Г!) Адр<ес> Асеева на конверте.

Не похороните живой! Хорошенько проверьте».



Записная книжка М. Цветаевой. Музей М.И. Цветаевой в Елабуге

Цветаева обращается именно к елабужским писателям, а не чистопольским. Просит их позаботиться о мальчишке, посадить его на пароход, а себя похоронить. Судя по всему, они выполнили просьбы Цветаевой, но мы знаем об этом ничтожно мало.

Почему хотела отправить Мура к Асееву? Все-таки нельзя отказаться от мысли, что такое доверие к нему и сестрам Синяковым могло возникнуть в последнюю поездку в Чистополь, при более короткой встрече с поэтом, о которой нам ничего не известно.

Итак, два самых близких человека, мать и сын, были истерзаны обстоятельствами, истерзаны друг другом. Вместо поддержки они мучили и боролись друг с другом. Оттого, наверное, и прозвучали слова Мура, так поразившие окружающих, о том, что Марина Ивановна поступила правильно. Но уже отмечалось, что жалость, боль, сочувствие к матери пришло позже, в Ташкенте, когда мера одиночества и даже одичания Мура превысила все возможные пределы. Вот тогда он и скажет Самуилу Гуревичу о ее страдании накануне гибели.

10	Причина смерти	Асфиксия при задушении.
11	Какие предельные медицинские документы о смерти, кем и когда выданы, за какой номер, сведения	справка врага от 31/VIII - 41г.
12	Номер паспорта и военного билета умершего и справка отов, куда и когда был снят	Сдан в милицию.
13	Фамилия, имя и адрес владельца	Загорск, ул. Ворошилова дом №10.
14	Подпись заявителя	Загорск
15	Особые отметки	Св-во о смерти выдано 1/IX-41г. из выдана Кильоварович мать или Серг. по урн.

Если умерший — иждивенец, то в графе II и пункте а указывается, на каком основании и кем он иждивен, а в пункте б — место работы или на предприятии которого умерший находится. Для пенсионеров указать пенсионер.

Зав. бюро ЗАГС 2/IX 85
Делопроизводитель

Акт о смерти Цветаевой. Музей М.И. Цветаевой в Елабуге

О самоубийстве написано много. О том, как в тот день Цветаева осталась одна, как ее нашли. Дневник Мура так и не прояснил, как проходили похороны, где оказалась могила; кто ее нашел, кто вынул из петли уже стало областью мифов. Но зато появилось много косвенных свидетельств. Сопоставив их с прежними, можно увидеть нечто новое. Еще раз попробуем разобраться в людях, которые окружали Мура в тот день. Ведь не к мальчикам обращала Цветаева свое письмо о помощи Муру.

Вадим Сикорский говорит, что 31 августа он сидел в кинотеатре и смотрел фильм «Гроза». После вопля Катерины и молний на экране вдруг раздался женский крик: «Сикорский!» Сикорский пишет: «Я бросился к выходу. Жена писателя Загорского сообщила: «Марина Ивановна повесилась. Хозяин вернулся домой и наткнулся...»

Мур, который боялся войти в дом, увидеть покойницу, ушел ночевать к Сикорскому. Весь последующий день он был в милиции, откуда забрал записки матери, в больнице, где получил свидетельство о смерти, в загсе, где взял разрешение на похороны. Когда он пишет, что М.И. была «в полном здравии в момент самоубийства», то скорее всего имеет в виду результаты медицинского освидетельствования, которые были указаны в справке из больницы.

Через день, 2 сентября, ее хоронили. «Долго ждали лошадей, гроб. Похоронена на средства горсовета на кладбище». По всей вероятности, провожали Цветаеву Мур, Саконская с сыном, Сикорский, Ржановская, супруги Загорские...

Конечно, хотелось расспросить фактически единственного оставшегося свидетеля тех дней — Вадима Сикорского. Хотя, судя по его собственным воспоминаниям, трудно было надеяться на что-то новое. Но случай вскоре представился сам. Он позвонил Марии Белкиной, чтобы обсудить с ней дневники Мура, та попросила разрешения поговорить с ним мне. Сикорский был доброжелателен, но вопросы принимал в штыки, говоря, что давно уже всё рассказал.

Вот запись нашего разговора.

В. С.: Мур был замкнутым, молчун. Я был потрясен, когда прочел его дневники. Я не представлял, что он такой... умный, всё понимает. Он никогда ничего не говорил, не обсуждал.

А Цветаева... она мне казалась ужасно старой, все время сидела и вязала. Я даже не представлял, какой она поэт. Она мне читала свою поэму «Царь-Девушка». Мне ужасно не понравилось. Узнал ее как поэта только спустя восемь лет. И был буквально потрясен. Елабуга была страшная. Там были не писатели, а какая-то мелочь. Я их и не читал никогда. Там был страшный быт. Мы выживали. И в этом нет ничего интересного. Мур ко мне пришел на одну ночь.

Н.Г. : Вы ее хоронили?

В.С.: Почему вы спрашиваете? (*После паузы?*) Можете считать, что меня там не было. Всем нужно про место на кладбище, всем, а зачем оно? Я как в дыму был. Пил тогда очень.

Н.Г.: В дневниках Мура написано, что будто бы Цветаева хотела, что бы вы жили вместе. Хотела, чтоб мальчики дружили.

В.С. (*смеется*)! Мама боялась влияния Мура на меня. Хотя чем он мог на меня влиять? Только высокомерным своим видом и молчанием. Они оба меня раздражали, честно скажу. Особенно, когда в моем присутствии говорили по-французски. Мне казалось, что это ужасно неприлично. Культурные люди, а пользуются тем, что я не понимаю... В ту ночь прибежал ко мне, весь трясся...

...Я пришел (был списан) с Тихоокеанского флота. Меня комиссовали. Хотели снова забрать в армию, но я был по здоровью не годен.

Мне мать говорила, что в Елабуге будут писатели, будет интересно. А оказалась страшная дыра... Вы знаете, я вспоминать об этом не могу... Мне плохо, когда вспоминаю... Вот Аля – другое дело, с ней мы с мамой много общались.

Похороны эвакуированных

Когда кривляться станет ни к чему
И даже правда будет позабыта,
Я подойду к могильному холму
И голос подниму в ее защиту...

Б. Пастернак

Разговор о могиле Цветаевой начался очень скоро. В начале 1942 года в Елабуге на той же Тойминской улице, где жила Ржановская, поселилась близкая приятельница Пастернака Марика Гонта.

В письме от 25 сентября 1942 года Пастернак просил ее: «Напишите, в каком состоянии могила Цветаевой. Есть ли на ней крест или камень или надпись или какой-нибудь отличительный знак?» Марика отвечает 12 октября 1942 года: «О Марине напишу особо. Когда хоронили Добычина, пытались установить место, где лежит Марина, и с некоторой вероятностью положили камень». Как всегда бывает, письма, в котором Марика собиралась особо сообщить о Марине, не сохранилось.



Крест у раздвоенного дерева. 1960. Фото Анастасии Цветаевой

Я решила узнать, кто такой Добычин и когда его похоронили. Выяснилось всё довольно скоро. В письме в Союз писателей на имя Фадеева жена З.Ф. Серякова, Н.Е. Добычина, пишет: «Первого октября мой муж умер, пролежав пять месяцев в больнице, я осталась в Елабуге одна, так как все мои родные и близкие в Москве». А 9 октября 1942 года М. Загорский и В. Ржановская, то есть те же люди, что были возле Мура в последние дни, просят руководство Союза писателей дать разрешение жене Добычина на въезд в Москву, чтобы позволить ей разбирать архив мужа. Тот Добычин, как оказалось, – переводчик с алтайского языка.

А вот письмо М. Загорского в Союз писателей П. Скосыреву от 15 октября 1942 года:

«С сожалением начинаю свое письмо печальной вестью:

1 октября умер Н.Е. Добычин.

Сегодня мы его хоронили.

Вот уже вторая потеря, первой была Марина Цветаева.

Из членов Союза оказались здесь всего трое: я, Марголис и Зелинский. Н.П. Саконская уехала в Москву...»

Еще одно несчастье, происшедшее спустя два месяца, – самоубийство Елены Санниковой. Санникова погибла позже, в октябре, но, забегаю вперед, придется рассказать о ней именно здесь.



Кладбище в Чистополе. Рисунок Агды Шор

Известие о смерти Цветаевой пришло вместе с Муром, приплывшим в Чистополь. И вот наш чистопольский хроникер Виноградов-Мамонт фиксирует:

«4 сентября. <...> утром пришло известие: мне перевели из Москвы 100 руб<лей>... Денег на почте я не получил, ибо в кассе – пусто. <...> (Там от одной писательницы узнал, что Марина Цветаева повесилась). Веселый, солнечный день и темно-синяя (“сапфирная”) Кама <...>»

В этой записи особенно поразителен конец. Не надо думать, что хроникер – человек недобрый. Спустя два месяца он проявит себя с самой наилучшей стороны.

«25 октября. Суббота. <...> В четвертом часу я заезжал в столовую – узнать новости. Сел с Арским за столик – глотать “шрапнель” (кашу). Вдруг приходит женщина и просит кого-нибудь из писателей помочь перенести труп Елены Санниковой (Обрадович сказал мне утром, что она повесилась), жены Григория Санникова – поэта. Никто из писателей не пошел. Я не считал возможным отказать в такой просьбе. Пришел на Красноармейскую, 125. На дворе лавка, на ней труп, накрытый простыней. Дали мне ее паспорт. Я взглянул на карточку, – и узнал в ней даму, которая 4 сентября сообщила мне: “Марина Цветаева повесилась”».

Все-таки жизненная драматургия невероятна. Ведь кто-то другой мог рассказать Виноградову-Мамонту о Цветаевой, не Санникова.

«Мне пришлось – пишет хроникер, – сопровождать труп в морг. Я попросил Нейштадт, жену переводчика, сообщить жене, что я остался на собрании.

Возница был учитель, хозяин квартиры, где жила Санникова. Оказалось, что она боялась нищеты. Получая 800 рублей в месяц, она прятала деньги, а иногда безрассудно их тратила – и потом приходила в Литфонд за пособием.

Считалась ненормальной психологически женщиной. Вчера вечером принесли ей повестку, отправляли в колхоз. А утром она повесилась на печной отдушине, поджав ноги. <...> Мальчик, сын 14 лет, обнаружил труп. С учителем мы в темноте (был шестой час вечера) проехали, утопая в грязи на кладбище. Не нашли ворота. Объехали кругом и потом между могил – провезли свою колымагу до морга (то есть простой избы – мертвецкой). По дороге лицо покойницы открывалось, и я задергивал простыню. У морга я с учителем переложил труп на носилки и внес в морг, где положили рядом с голым трупом какого-то мужчины... Сколько раз я встречался с поэтом, и он не знал, какую услугу суждено мне было оказать его жене. Поехали обратно, в полной темноте, оставив позади и морг, и сторожку, где шло пьянство и раздавались песни».

Вот так в городе, где у Санниковой было много знакомых, вез ее в морг чужой человек. Галина Алперс рассказывала, что Санникова очень боялась надвигающейся зимы, всё время повторяла: «Как мы переживем зиму, детей нечем кормить, они замерзнут»; «Лучше детям, если я уйду, тогда о них будут заботиться». В отделе народного образования она надеялась получить место преподавателя английского языка. Мотив самоубийства – освободить от себя детей. Как всё похоже: гибель, мотивы... Это и создало укрепившееся на долгие годы мнение, что Санникова покончила с собой под влиянием Марины Цветаевой.

О. Дзюбинская вспоминала: «Из-за угла навстречу мне вышла Санникова, вид ее был ужасен: лапти вместо галош, суковатая палка, черное пальто, застегнутое на все пуговицы: лицо – белое, как бумага.

– Оля, вчера в Елабуге повесилась Марина Цветаева. – И пошла дальше». Хоронили на чистопольском кладбище Елену Санникову Борис Алперс, его жена Галина, Виноградов-Мамонт и Ольга Дзюбинская.

Сыну Елены Санниковой не удалось, спустя годы, разыскать могилу матери, несмотря на то что, когда отец приехал с фронта за ними, они вместе ходили на кладбище. Время стерло все следы.

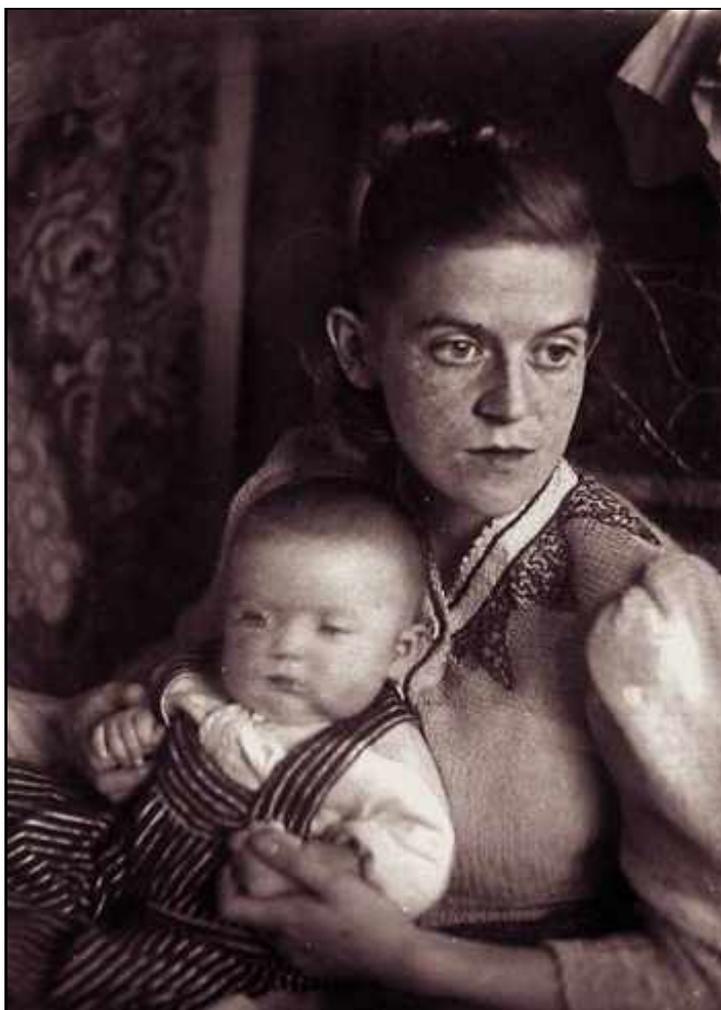
Завершая рассказ о Елене (Белле) Санниковой (девичья фамилия которой была Назарбекян), хотелось бы напомнить ее романтическую историю. В начале века она была одной из первых петербургских красавиц. Ее называли грузинская княжна Белла. В 1912 году в Териоках был организован летний театр, Мейерхольд ставил спектакли. В один из дней М. Кузмин, художницы Елена Бебутова и Лидия Яковлева и Белла Назарбекян, которой был увлечен художник Сапунов, ушли на лодке в море. «Скоро, в ту же ночь, – писал А.А. Мгебров, – разыгралась страшная трагедия, которая темным ужасом легла на всю нашу дальнейшую жизнь в Териоках: далеко в море лодка каким-то образом перевернулась, и в то время, как все держались за нее, крича о помощи, Сапунов, незаметно для других, исчез и утонул... Никогда я не забуду лиц тех, кто спасся: они были жалкими и растерянными до ужаса...» Море Сапунова вернуло через одиннадцать дней. Говорили, что он хотел утонуть из-за любви к Белле.

О могиле же Цветаевой разговор шел всю войну и после. Уже в 1948 году Пастернак писал В. Авдееву о том, что необходимо продолжить поиски. «Дочь Цветаевой запросила письмом Ник. Ник. Асеева, известно ли место, где погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом Лозинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего территориального соседства с Елабугой, <может> быть, у Вас там есть знакомые и Вы что-нибудь знаете по этому поводу.

Если бы мне десять лет тому назад (она была еще в Париже, я был противником этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы всё это обидным и немислимым бредом. И так всё в жизни».

Эхо гибели Цветаевой

Наталья Соколова в письме Белкиной вспоминала, что в дни, когда Мур хоронил (!?) мать, в Елабуге оказался критик Юрий Оснос, в то время муж Жанны Гаузнер. Они встретились на пристани. Мур писал, что Оснос помог ему таскать вещи, покупать билеты в Чистополь. Ехали они вместе. «Хорошо, что я с ним поехал. Пароход “Москва” был битком набит <...> эвакуированными, мобилизованными, всё это воняло и кричало, и сесть туда не пришлось – не пускали. <...> Приехав в Чистополь, я позавтракал у Осноса и пошел к Асеевым». Наталья Соколова вспоминает то же самое: «Оснос, вернувшись из поездки, привез растерянного Мура на нашу квартиру, помог ему дотащить вещи – знаменитый чемодан с рукописями матери и весь остальной скарб».



Наталья Соколова с сыном. 1940–1941

Мы оставим на некоторое время Мура. В данном случае он был источником вести, которая сразу же стала циркулировать среди сообщества писателей. Никто не знал подробностей, да и писать развернуто не решались.

Лидия Чуковская сообщала отцу: «Сегодня 4/IX. В Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цветаеву. Она повесилась».

Мария Белкина 10 сентября писала мужу в Ленинград, где он служил вместе с другими писателями: «...Марина Ивановна – стала уже историей литературы. Она умерла. Как мне всегда казалось, она умрет не просто. У нее была слишком трудная жизнь, видно, она под конец не выдержала. Я видела ее перед отъездом». Через некоторое время последовало другое письмо, где говорилось, что Цветаева умерла, как герой рассказа Л. Толстого «Поликушка». Так она намекала мужу на обстоятельства ее гибели.

Сама Белкина получила известие от Софьи Вишневецкой (жены Вс. Вишневецкого). Та пришла навещать ее в роддом и сказала презрительно: «В то время как вся страна воюет, Цветаева нашла время повеситься».

Интересно, что и Пастернак 10 сентября писал жене: «Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне (телеграммы идут дольше писем). Если это правда, то какой же это ужас! Позаботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! Вот и говори после этого о “посторонних” заботах! Это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ей. Она была на очень высоком счету в интеллигентном обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья, Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец Асеев. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом и по многи<м> друг<им> причинам, я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно. Я всегда в глубине души знал, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил!»

С Муром они встретятся через месяц в Москве.
В записных книжках от 15 сентября Гладков пишет: «Слухи о смерти Долматовского, <...> о самоубийстве М. Цветаевой. Наши войска оставили Кременчуг».



Пристань в Чистополе

Самоубийство Цветаевой переживалось и осмыслялось, видимо, всю войну и потом, но до нас дошли только обрывки фраз и письменных свидетельств, которых было очень немного. Сикорская писала в дневнике, что получила письмо из Елабуги от Саконской и побежала с ним в Союз писателей. Там даже создали комиссию, дабы найти могилу. Свидетельство выглядит невероятно. Просматривая бумаги Союза писателей, связанные с эвакуацией писателей в Чистополь, не нашлось ни одной официальной, с упоминанием имени Цветаевой. Может быть, еще найдется.

Но самое странное, что след от того самоубийства остался в жизни Саконской и ее сына Лёльки. Известно, что мальчики – Вадим Сикорский, Александр Соколовский и Георгий Эфрон – с недовольством смотрели на свое елабужское заточение. Уже на пароходе они стали изводить матерей тем, чтобы вернуться назад. После гибели Цветаевой и отъезда Мура произошло еще одно трагическое событие. Когда матери не было дома, Саша Соколовский соорудил петлю и успел уже затянуть ее на своей шее, но тут мать вошла в комнату и увидела его висящим. Он был еще жив. Маленькая хрупкая женщина стала вынимать юношу из петли. Последствия этой истории сказались на ее здоровье, и Нина Саконская до конца дней не оправилась. Прожила недолго, до 1951 года. Может быть, с этим событием и связано ее молчание, отсутствие воспоминаний о тех днях.

Мур в Чистополе. Сентябрь 1941 года

Итак, начало сентября 1941 года. Идут дожди, на улицах Чистополя непролазная грязь. Мур идет к Асееву, который потрясен смертью Цветаевой. Но тут же сообщает мальчику, что вынужден ехать в Москву, поэтому взять его к себе не может. Наш хроникер Виноградов-Мамонт записал в дневнике, как 15 сентября встретил сестер Синяковых и был приглашен в гости к Асееву.

«По набережной Камы дошли до Соборного спуска. Сели на паром... На носу сидели три женщины с узелками шиповника. Разговорились. Оказалось, это – сестры Оксаны Асеевой. Живут они <в Москве> в Скатерном <переулке> 22!!! Против нас! Я поведал им о своей встрече с В. Хлебниковым <в Пятигорске 1921 г., осень> Зашло солнце. Мы высадились на берег. Поднялись в гору. Н.Н. Асеев утром работает и нигде не показывался. Чистополь ему нравится. Адрес его ул. Володарского, 69– Мы получили

приглашение к Асеевым и непременно воспользуемся».

Асеев оставался в Чистополе и делал всё, чтобы пристроить Мура в интернат. Однако это было непросто: за интернат надо было платить, а Асеев вовсе не хотел брать оплату на себя. Он уговаривает юношу ехать в Москву в Литфонд с письмом. Неизвестно, знал ли Асеев о том, что в Москве уже никого не прописывают. Эвакуированных прикрепляли к тому месту, куда они выезжали.

«От Асеева веет мертвечиной... – вдруг записывает Мур. – Как скучно живут Асеевы! У него – хоть поэзия, а у ней и у сестер – только разговоры на всевозможные темы».



Николай Асеев. Чистополь. Фото В.Д. Авдеева

В глазах Чистополя Асеев – главный благодетель, он помогает мальчику. Еще 11 сентября директор интерната Хохлов получил телеграмму из Москвы, что Мура можно зачислить, ему даже предлагается материальная помощь. Воспоминания об Асееве у чистопольцев сходятся почти у всех в одном: он старался что-то делать. На несчастье – скупая жена, Оксана Синякова, жадность ее была общеизвестна. Гладков вспоминал, как зимой голодала семья сестры Оксаны – Веры Синяковой. Семен Гехт, муж Веры, ходил по рынку, пытаясь продать белье своей жены, и там же ходил и Асеев, скупавший разные вещи за бесценок. Берта Горелик спустя годы, после смерти Асеева, была лечащим врачом Оксаны Асеевой и говорила, что квартира была очень запущена, а под матрасом после ее смерти нашли пачки денег... Оксана тяжело восприняла такую обузу, как Мур.

Наталья Соколова вспоминала о Муре в Чистополе:

«В этот период несколько раз заходил к Жанне и Юре (Ж. Гаузнер и Ю. Оснос. – Н.Г.), я его видела, разговаривала с ним. Это был высокий красивый юноша с хорошей выправкой, гордой посадкой головы и очень светлыми глазами. “Настоящий ариец”, как кто-то о нем шутя сказал. Аккуратный, подтянутый, вещи на нем ладно сидели, шли ему. Не располагал к фамильярности, панибратству, похлопыванию по плечу. Он казался замкнутым, холодным, пожалуй, даже высокомерным, но это, очевидно, было у него защитное – пусть не смеют жалеть, сочувствовать, оплакивать его горькое сиротство. Холодность, сдержанность были, конечно же, продиктованы гордостью, самолюбием».

А одна из сестер Синяковых, Надежда, писала в Москву близкому приятелю – писателю

МА. Левашову (сентябрь 1941 г.): «Милый Гулливер! <...> Живем мы хорошо. Мне здесь нравится, люди симпатичные, половина татар. Скучать некогда. Нас постигло несчастье, Цветаева лишила себя жизни, она повесилась.

Печально, очень ее жаль. По вечерам Коля читает ее великолепные стихи. Ее сын здесь живет в общежитии пионеров».

Мур стал заметной фигурой в Чистополе, о нем вспоминали многие. Трагическая судьба гениальной матери, его облик, так непохожий на окружающих, – всё привлекало к нему внимание взрослых, мальчиков и девочек. Юная Гедда Шор, бывшая в старшей группе школы-интерната, вспоминала, что влюбилась в него с первого взгляда.

За те двадцать дней, которые Мур был в интернате, он успел подружиться с Тимуром Гайдаром; как он сам об этом пишет, там было множество детей «знаменитостей». Дети Зинаиды Пастернак тоже здесь – Лёня и Станислав Нейгауз, ночью играющий на разбитом рояле, чтобы быть в музыкальной форме.

Затем приезжает Хмара, директор Литфонда, и тоже предлагает Муру выехать в Москву. Рассказывает, что там открыты школы, говорит, что Союз писателей непременно ему поможет.

Итак, Мур покидает Чистополь. Асеев останется, а юноша поплывет пароходом до Казани, оттуда поездом в Москву. При нем чемоданы с рукописями матери, вещи. Много из вещей он продал сестрам Синяковым, но все равно кое-что осталось. Перед отъездом Асеев читал мальчику главы своей поэмы о начале войны; в дневнике Мур записал, что поэма ему понравилась.

Тел неоплаканных груды,
Дум недодуманных дни, —
люди не любят чуда:
горы немытой посуды,
суды и пересуды,
страхи да слухи одни.
Так же стригут бородки,
так же влекут кули,
так же по стопке водки
лихо вливают в глотки,
так же читают сводки,
словно война – вдали...

Война на многое открыла глаза советской интеллигенции. Писатели и поэты уже забыли, как выглядит Россия, хотя многие из них произошли из низов. И вдруг в эвакуации они буквально упали с небес на землю, ощутили под ногами засасывающую, чавкающую грязь. Сборник стихов Н. Асеева об эвакуации 1941 был назван клеветническим, и в конце 1943 года был подвергнут жесточайшему разному в ЦК ВКП(б).

В конце сентября Наталья Соколова и Жанна Гаузнер с кастрюльками и бидонами шли за литфондовским питанием. Встретили Мура, который сказал им, что собирается ехать в Москву. Узнал у Жанны адрес общих знакомых. Далее Наталья Соколова пишет: «Мур простился с нами, перешел через улицу, месяц вязкую грязь проезжей части, потом зашагал по деревянным мосткам, которые в Чистополе заменяли тротуар. Мы смотрели ему вслед. Юный, стройный, с высоко вскинутой головой и прищуренными глазами, он, казалось, не замечал одноэтажных деревянных домов с мезонинами и затейливыми резными наличниками окон, с розетками тесовых ворот, замурзанных ребятишек, которые гоняли в большой луже самодельный плотик, бабьей очереди с ведрами у водопроводной колонки. Жанна сказала с каким-то печальным недоумением: «Европеец, а вон куда занесло. Кто бы мог предсказать... И один. Совсем один»».

Здесь нельзя не отметить, что и Жанна Гаузнер долго была парижанкой, она выросла и была воспитана в Париже и уже взрослой приехала в Москву к матери Вере Инбер.

Москва. 16 октября

К началу октября почти все, кто собирался выехать из Москвы, уже уехали. Но чем ближе немцы подходили к столице, тем противоречивее вела себя власть. Граждан предупреждали, что, если они останутся в Москве, это будет означать, что они дожидаются немцев. Тех же, кто эвакуировался, презрительно звали дезертирами.

30 сентября Мур прибыл в Москву. Опять встал вопрос, который преследовал советского человека повсюду, – вопрос о прописке. Но в Москве уже прописаться практически невозможно. Город находится на осадном положении. Мур кидается за помощью к Эренбургу, ведь тот по-особому связан с их семьей, в 20-е годы нашел в Праге пропавшего без вести Сергея Эфрона. Но теперь и он был бессилён чем-то помочь. Все взрослые, к которым Мур обращается, вообще приходят в ужас от того, как могло случиться так, что мальчика уже эвакуированного, отправили в осажденный город! Каждый ему говорит, чтобы он сейчас же уезжал. Но он потратил столько сил, чтобы вернуться!



Москва. Конец 1941-го

«Что со мною происходит? – в отчаянии пишет он в дневнике 14 октября. – Каждое принимаемое мною решение автоматически подвергается автокритике, и притом столь безжалостной, что немедленно превращается в решение диаметрально противоположное первому. Мое положение трагично. Оно трагично из-за страшной внутренней опустошенности, которой я страдаю. Конечно, это – трагедия. Не знаю, что думать, как решать, что говорить. Мысли о самоубийстве, о смерти как о самом достойном, лучшем выходе из проклятого “тупика”, о котором писала М.И. Не могу же я ехать в Ташкент из-за того, что там – а может быть, и в Ашхабаде – Митька!»

Всё усугублялось тем, что ни радио, ни газеты не сообщали о том, что на самом деле происходит на фронтах. 15 октября газеты вышли с угрожающими заголовками: «Кровавые орды фашистов лезут к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве. Остановить и опрокинуть смертельного врага!»

На улицах метет позёмка.

На Центральном аэродроме Сталина постоянно ждет специальный самолет. На железнодорожной платформе вблизи завода «Серп и молот» находится специальный поезд для его эвакуации. В Куйбышеве для вождя подготовлено жилье в бывшем здании обкома. На берегу Волги отремонтировали несколько дач, под землей соорудили колоссальное бомбоубежище.

С первых же дней войны НКВД высылало заключенных подальше от фронта. Огромное количество составов с арестованными и ссыльными заняло железнодорожные ветки, необходимые для перевозки солдат и вооружения.

16 октября по приговору тройки НКВД был расстрелян Сергей Эфрон, в списке он шел под номером 1, отец Георгия Эфрона, блуждающего в это время по Москве. В тот день

юноша видит и слышит то же, что и остальные: «Положение в Москве абсолютно непонятно. Черт и тот голову сломит: никто ничего не понимает. События, кстати, ускоряются. Каковы же факты трех последних дней? Огромное количество людей уезжают куда глаза глядят, нагруженные мешками, сундуками. Десятки перегруженных вещами грузовиков удирают на полном газу. Впечатление такое, что 50 % Москвы эвакуируется. Метро больше не работает. Говорили, что красные хотели минировать город и взорвать его из метро, до отступления. Теперь говорят, что метро закрыли, чтобы перевозить красные войска, которые оставляют город. Сегодня Моссовет приостановил эвакуацию. В шесть часов читали по радио декрет Моссовета, предписывающий троллейбусам и автобусам работать нормально, магазинам и ресторанам работать в обычном режиме. Что это означает? Говорят, что Большой театр, уехавший три дня назад, остановлен в Коломне и их бомбят. Писатели (Союз) находятся в каких-то 50 км от Москвы, и их тоже бомбят. Президиум Союза удрал, кто самолетом, кто на автомобиле, забрав деньги тех, кто хотел ехать в Ташкент. Это безобразие. Кочетков не уехал. Ничего не понять. Говорят, военкоматы отвечают людям, которые хотят идти на фронт защищать Москву: “Возвращайтесь и сидите дома”».

По дорогам, ведущим на восток и юг, шли толпы с тюками, чемоданами, узлами. Остались записи о тех днях в дневниках простых москвичей: «Шестнадцатого октября шоссе Энтузиастов заполнилось бегущими людьми. Шум, крик, гам. Люди двинулись на восток, в сторону города Горького... Застава Ильича... По площади летают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет гарью. Какие-то люди то там, то здесь останавливают направляющиеся к шоссе автомашины. Стаскивают ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвыривают их по земле. Раздаются возгласы: бей евреев!»

В тот день были отмечены случаи разграбления магазинов, нападения на продовольственные склады.

«Вечерняя Москва» рассказывала о расправе над беженцами в заметке «Перед лицом военного трибунала». Утром 18 октября на окраине города проезжали грузовики с эвакуированными. Дворник Абдрахманов с компанией напал на один такой грузовик. Хулиганы бросали в машину камни. Когда же машина остановилась, они вытащили из нее пассажиров, избивали их и растащили вещи. Милиция с помощью граждан задержала пятнадцать бандитов. Зачинщиков нападения трибунал приговорил к расстрелу.

В эти октябрьские дни поступает требование ко многим гражданам Москвы уходить пешком из города. Об этом пишет в записных книжках А. Гладков. Актеры из Арбузовской студии, не прекратившие репетиции с началом войны, успели устроиться в последний уходивший эшелон Союза писателей.

«Не буду описывать тебе знаменитый день 16 октября, – писал А. Гладков брату, – когда в сводке Совинформбюро появилось сообщение о прорыве фронта под Москвой, – это тема для романа. Мне было предписано “эвакуироваться” с Союзом писателей, и в конце октября я после долгих обсуждений этого вопроса на семейном совете уехал вместе с Тоней и Арбузовым (с нами также были студийцы – Сева Багрицкий – сын поэта – весной 42-го г. он был убит на С[еверо]-З[ападно]м фронте, и Лёва Тоом, сын критика Лидии Тоом) в последнем писательском эшелоне через Казань в Чистополь, избранный официально местоприбытием Союза писателей...»

Телефонная связь работала, и в учреждениях звенели звонки: суровые голоса называли фамилии некоторых сотрудников и объявляли «от имени органов», что эти лица к утру следующего дня должны покинуть Москву. Желание остаться и разделить судьбу родного города воспринималось властью с раздраженным подозрением. Мур ходит по опустевшим улицам. Ужасно боится, что город будут оборонять и он погибнет в перестрелке. В то время, когда люди бегут из Москвы, он сидит в библиотеке, читает Малларме, Андре Жида. Ему больше некуда спрятаться от страшных мыслей, от необходимости делать выбор.



Москва. 1941–1942

У него есть деньги от проданных вещей. И он объедается пирожными, печеньем, всем, что попадается ему на глаза.

«26 октября 1941 года, – пишет он в дневнике, – 24-го вечером позвонил А.С. Кочетков и предложил мне включиться в эшелон на Ташкент – последний эшелон писателей. 25-го я пошел в главный почтамт, где нашел телеграмму из Ашхабада, содержащую точный адрес Митьки. Он – в Ашхабаде. Тут я решил ехать, тем более что 25-го числа вышло постановление, обязывающее всё трудоспособное население выйти на строительство кольца оборонительных укреплений вокруг Москвы. Поскольку я знаю, где Митька; поскольку едет Кочетков и мы поедем вместе; учитывая то, что решили ожесточенно биться за город (строятся баррикады), и то, что всех посылают на строительство укреплений, я счел целесообразным включиться в список эшелона на Ташкент. Думаю доехать до Ташкента, а там, если Кочетков поедет в Ашхабад, поехать с ним: нужно же куда-нибудь приткнуться. Потом, страшно хочется увидеть Митьку».

28 октября Мур выезжает с Кочетковым в Ташкент. Так снова круто меняется его судьба.

Ташкент. В каморке на улице Карла Маркса

Вместе с переводчиком Кочетковым, его женой и поэтессой Меркурьевой 30 октября Мур выехал в эвакуацию, теперь в Среднюю Азию. Они постоянно пропускали поезда, идущие на войну, путешествие было тяжким, длилось почти месяц, и только в конце ноября они прибыли в Ташкент.

Приехав, он сразу связался с Митей Сеземаном, который был в это время в Ашхабаде, но оказалось, что вырваться туда очень сложно, город более провинциальный, чем Ташкент, и Мур остается здесь.



Ташкент, улица Жуковского. Двор, где жили Ахматова, Луговской, Погодин, Вирта

Жизнь в Ташкенте оказалась для него в каком-то смысле еще более тяжелой, чем в Чистополе и Москве. Бесконечные мысли о еде, ужасный быт, одиночество – при большом количестве знакомых. Над ним снова навис призыв в армию, куда он очень не хотел идти. Но в Ташкенте ему удалось устроиться в школу. Узбекский мальчик по имени Измаил вспоминал, как в их класс привели «новенького». «Кто-то бросил реплику: “Ну, вот, теперь у нас есть свой Печорин”. Мальчик был высокий, стройный, с большими голубыми глазами, с идеально зачесанными “в пробор” светло-русыми волосами, в элегантном костюме, в сорочке, при галстукке. В руках он держал большой кожаный портфель, в котором кроме учебников, были две щетки – для обуви и для одежды. Это нас, помню, потрясло. Шла война. Мы все были одеты неважно, даже небрежно. А он следил за собой, хотя пиджак и ботинки, как мы узнали потом, были у него единственными. Манера носить одежду, разговаривать, держаться – всё свидетельствовало о высокой интеллигентности. К тому же “Печорин” владел французским даже лучше нашей француженки Е.В. Васильевой».

Георгий учился в ташкентской школе, всячески избегая мальчишеских ссор, драк, не любил никаких вечеринок. Его товарищами ненадолго стали Э. Бабаев, В. Берестов и К. Икрамов, но сверстники вызывали у него усмешки, его тянуло к взрослым, благополучным писателям с налаженным бытом или с хорошими манерами.

К лету 1942 года Георгий Эфрон получил угол в доме писателей на улице Карла Маркса. У него была крохотная комнатка, фанерная выгородка без окон, сделанная для хозяйственных надобностей.

«В ней едва помещались стол, стул и узкая кровать, застеленная стареньким пледом, – вспоминал Эдуард Бабаев. – Над столом была укреплена книжная полка, на которой стояли сборники Марины Цветаевой “Версты”, “Ремесло”, “Царь-Девица”.

Иногда Мур читал на память стихи. И тогда оказывалось, что у стен есть уши: то слева,

то справа из-за фанерной перегородки слышались голоса обитателей этого многонаселенного дома, просивших Мура прочесть еще и другие стихи».

Там у него не было ни света, ни отопления, ни воды. Отапливался он керосинкой. Устроился он художником в УзТАГе [5] : «...На заборе, предварительно забелив его, Георгий рисовал патриотические плакаты, карикатуры на фрицев, писал лозунги. Два раза в неделю ходил в гости к Алексею Толстому».

Надо было проявить невероятную предприимчивость, чтобы устроиться в писательскую столовую. Георгий успел подключить к ходатайствам о себе Ахматову, Толстого, Н. Погодина, И. Штока и других.

«В Ташкенте живет Ахматова, – рассказывал он о себе сестре отца и ее близкой подруге, Зинаиде Ширкевич (Мур называл их тетками), – окруженная неустанными заботами и почитанием всех, и особенно А. Толстого, живут Погодин, Толстой, Уткин, Лавренев; приехал из Уфы Корнелий Зелинский, сейчас же поспешивший мне объяснить, что инцидент с книгой М.И. был “недоразумением” и т. д.; я его великодушно “простил”. Впрочем, он до того закончен и совершенен в своем роде, что мы с ним в наилучших отношениях – и ведь он очень умный человек».

В письме к тетке в Москву 7 августа он описывал свой быт и свое драматическое бытие:

«Живу в душной каморке без окна; входя в нее – обливаешься потом. Да еще кто-нибудь иногда одолжит плитку для “готовки” – так становится как в кузнице Вулкана. Это – внешние, наружные влияния. Часто чувствую себя плохо, особенно утром. Трудно подняться с жестчайшей кровати, и ноги как тряпки. Трудно устроиваться со стиркой; мне, щеголю, очень тяжело ходить в грязных брюках.

Живу в доме писателей; шапочно знаком со всеми; хотя ко мне относятся хорошо (одинок, умерла мать и т. д.), но всех смущает моя независимость, вежливость. Понимаете, все знают, как мне тяжело и трудно, видят, как я хожу в развалившихся ботинках, но при этом вид у меня такой, как будто я оделся во всё новое.

Ожидают смущения, когда я выношу тяжелейшее ведро, в пижаме и калошах, но удивляются невозмутимости и все-таки смотрят как на дикобраза (я смеюсь “перекультуренного дикобраза”). <...> На днях, возможно, мне удастся оформиться на постоянную плакатно-халтурную работу (на дому)».



Анна Ахматова. Ташкент, 1942

Питание его было слишком скудным, молодому человеку не хватало того минимума, который он получал по безлитерной карточке. Он не выдержал и продал вещи хозяйки, то есть фактически украл, и на эти деньги некоторое время питался. Потом он расплачивался за это, мучительно унижаясь перед хозяйкой, подавшей на него заявление в милицию, умолял московских теток продавать свои и материнские вещи, книги, но это было потом. Говорят, что ему помогали собирать деньги друзья его сестры Али – А.И. Дейч, и Л.Г. Бать, и тот же АН. Толстой.

Так медленно, но верно в нем происходили внутренние перемены.

«До Ташкента я фактически не жил, – пишет он тетке 21 июля 1942 года, – в смысле опыта жизни, а лишь *переживал*; ощущения приятные и неприятные, восприятия красоты и уродства эстетически перерабатываемые воображением. Но непосредственно я с жизнью не сталкивался, не принимал в ней участия. Теперь же я “учусь азбуке” потому что самое простое для меня – самое трудное, самое сложное».

Видно, как непросто дается душевный опыт, когда как он говорит, осваивает мораль и нравственность вживую. Как трудно не украсть, когда голоден, как трудно не обмануть, когда несчастен, болен и заброшен.

Жизнь Мура Эфрона в основном проходила на улицах Ташкента. Фанерная клетушка без окна была хуже, чем жилье Раскольников, хотя бы потому, что ташкентскую жару там невозможно было вынести. Он много ходил по городу.

«Я люблю ходить гулять к вечеру, часам к 7; мой обычный маршрут: улица Маркса, сквер, улица Пушкинская и обратно. По улице Маркса я выхожу из дома около Совнаркома и памятника Ленину; по правую руку – широкая площадь, которую я пересекаю, когда иду в школу. Потом я миную ограду сада Дома пионеров, кино “Хива”, ряд магазинов (галантерейный, ювелирный, комиссионка, книжный, где я тщательно спрашиваю французские книги); перехожу налево заглядываю в распределитель (если до 6 ч.); потом продолжаю идти по длинной улице Маркса, прохожу около Главунивермага, превращенного в какое-то общежитие, около Русского театра им. Горького (сейчас там идут патриотические пьесы: “Нашествие” Л. Леонова, за которую он получил 100.000 – Сталинскую премию 1 – й степени, “Всегда с Вами” А. Ржешевского и пр.). Прохожу мимо бюллетеней УзТага (последние известия), к которым жадно прилипаю, если за день не успел их прочесть. Много идет по улице студентов с книгами и котелками для обеда, компаний девиц, рабочих, женщин в платках; идут скучные профессора и работники Академии наук, интеллигенты, несколько разложившиеся в Ташкенте и болтающие лишь о том, что им сегодня не удалось получить свеклу в распределителе. Впрочем, торопливо семенит какой-то маленький чеховский интеллигентик в пенсне; он судорожно сжимает в руке “Вестник древней истории”, и, уж конечно, интересуется он только древними дрязгами и ест как попало и что попало <...>. Прохожу мимо САГУ (Средне-Азиатского гос. университета) и выхожу на дорожку сквера. Гремит радио. На дорожке узбеки-продавцы продают папиросы, конфеты, семечки, бублики, пирожки с рисом. Привычным движением я потягиваю носом и прохожу прочь – что хорошо – или, наоборот, трачу последние гроши на какую-нибудь дрянь. Дорожка сквера выводит меня на Пушкинскую улицу – тоже длинную и “центральную”. На углу – Наркомат торговли, горком – напротив, дальше – распределитель, такой же, как на ул. Маркса; потом Наркомпрос и Управление по делам искусств при СНК [6] УзССР, дальше – аптека, гостиница, Первомайская улица, на одном конце которой – Союз писателей и столовая, на другом – дом, где жили Толстые».

Бабаев вспоминал, как они с Муром шли по улице Жуковской.

«И вдруг увидели Алексея Николаевича Толстого. По случаю жаркой погоды он был одет в светлый костюм. И шел, опираясь на трость, попыхивая трубкой. На голове у него была легкая соломенная шляпа.

Мы пустились вдогонку за ним. И уже почти поравнялись, как со стороны Пушкинской на Жуковскую вышла высокая и неторопливая женщина в длинном полотняном платье. На улице были и другие люди, но мы смотрели только на нее. Мы остановились. И Алексей Николаевич остановился. Навстречу ему шла Анна Ахматова.

Мур потащил меня за руку, мы издали смотрели на Алексея Толстого и Анну Ахматову,

встретившихся под платаном.

– Анна Андреевна! – говорил Алексей Николаевич, снимая шляпу и целуя ее руку.

– Я вспоминала вас недавно, – сказала Анна Андреевна, – в академии был литературный вечер. И я почему-то ожидала увидеть вас среди приглашенных. Вы ведь академик... <...>

По улице Жуковской тянулся караван верблюдов по направлению к Алайскому базару. Это был единственный вполне надежный вид транспорта в те годы, как, впрочем, и во все другие времена. Верблюды перекликались резкими птичьими голосами, вытягивали шеи и высоко шагали в клубах пыли.

На Анну Андреевну с ее бурбонским профилем и на Алексея Толстого с его обломовской внешностью никто не обращал особенного внимания среди этого шума и гама».

Мур своим ироничным взглядом подмечал все нелепости жизни в писательской колонии.

«...Я нахожусь в постоянном и тесном общении с писательской средой. Я успел познакомиться с нравами этой среды, с ее специфическими особенностями, с ее кулисами, ее языком, привычками, ужимками и гримасами. В будущем я смогу хорошо использовать богатейший материал, накопившийся у меня о наших писателях, – материал для интереснейших материалов романа».

Ариадна Эфрон волновалась, что брат излишне высокомерен, что он будет возбуждать против себя только раздражение и злость. Из лагеря она пыталась дотянуться до него, делая какие-то бесполезные внушения, уговаривая его не ссориться с их общими знакомыми. Но Мур в середине 1942 года совсем рассорился даже с Анной Андреевной Ахматовой. Она стала говорить о нем ужасные вещи, мол, правы те, кто называет его убийцей своей матери, а он зло писал о ней Але: «Несколько слов об Ахматовой. Она живет припеваючи, ее все холят, она окружена почитателями и почитательницами, официально опекается и пользуется всякими льготами».

Это было внешнее впечатление, распространенное среди недоброжелателей Ахматовой. Мур подхватывает его, потому что за ним еще и судьба его матери.

«Подчас мне завидно – за маму, – продолжает он письмо. – Она бы тоже могла быть в таком “ореоле людей”, жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо никогда не была “богиней”, сфинксом, каким является Ахматова».

Он посчитался с Ахматовой за мать, которую она-то по-своему очень ценила, любила. С каждой годовщиной ее смерти подымала как поэта всё выше и выше. Но и в Муре Анна Андреевна перестала видеть маленького, запуганного страшной жизнью мальчика, который нуждался в любви и закрывался от мира кривой усмешкой. Она, вероятно, мысленно сравнивала свою судьбу с судьбой Марины Ивановны, своего сына с ее сыном. Ей, наверное, казалось, что ее сын – другой, что он намного лучше. Ее сын Лев Гумилев, заключенный в лагере, в конце войны чудом освобождается, попадает на фронт и доходит с боями до Берлина. Его судьба пощадила, а цветаевского сына – нет.

Мур тоже не хотел помнить о том, что Ахматова, с ее «ореолом», не уехала в 20-е годы из страны, что она несла и несла тот крест, который выпал цветаевской семье на несколько лет, а на ее долю – на многие годы. Они – Ахматова и Мур – с какого-то времени видят друг друга чужими глазами, всё более доверяя слухам и сплетням.

О Муре все говорили с уверенностью, что это он виновен в смерти матери. Его называли бесчувственным, высокомерным. Эдуард Бабаев вспоминал, как одна дама бросилась к Муру с вопросами о матери, на что тот холодно оборвал ее: «Разве вы не знаете, что Марина Ивановна повесилась!» Женщина была потрясена. Так было со многими другими, кто пытался его пожалеть: он по-своему защищался.



Лестница на балахану. Ташкент

То, что он чувствовал на самом деле, что понял за год сиротской жизни в Ташкенте, – все свои горькие мысли он доверит в письме от 8 января 1943 года Муле Гуревичу. «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился за такое внезапное превращение... Но как я ее понимаю теперь! Теперь я могу легко проследить возникновение и развитие внутренней мотивировки каждого ее слова, каждого поступка, включая самоубийство. Она тоже не видела будущего и тяготилась настоящим, и пойми, пойми, как давило ее прошлое, как гудело оно, как говорило!»

Невозможно представить, что эти слова писал человек с холодным сердцем, хотя даже Аля от насмешливых и язвительных писем юноши-подростка приходила в негодование и называла брата бесчувственным Каем. А он продолжал свой анализ, он ведь должен был понять, осмыслить причину рока, который поглотил всю их семью.

«Мне кажется, что для нашей семьи это проблема взаимосвязи трех величин: настоящего, прошлого и будущего – основная проблема. Лишь тот избегает трагедии в жизни, у кого эти величины не находятся в борьбе и противодействии, у кого жизнь образует одно целое. У С<ергея> Я<ковлевича> всегда преобладало будущее; только им он и жил. У М<арины> И<вановны> всегда преобладало прошлое, многое ей застилавшее. Об Але не говорю – не знаю. Я же всегда хватался за настоящее, но в последние времена это настоящее стало сопротивляться и прошлое начало наступление. И в том, что у каждого из членов нашей семьи преобладала одна из этих трех величин – в ущерб другим, в этом-то наша трагедия и причина нашей уязвимости, наших несчастий; у всех отсутствовала единая мера, которая бы измеряла явления всех трех величин. Вполне возможно, что такой меры вообще не существует, но мы это отсутствие осознали с особой силой».

Редкостная для подростка глубина прозрения! И вместе с тем – типично юношеский максимализм, неоправданный сарказм и ирония.

О поэтах Луговском и Антокольском Мур оставил язвительный комментарий в своем дневнике:

«29 августа 1942. Дом профессора-пушкиниста Ц<явловского>. Приходят два поэта: Павел А<нтокольский> и Владимир Л<уговской>... Как большинство своих братьев,

когда они соберутся вместе, они начинают говорить о недалеком, довоенном прошлом. У этих двух в воспоминаниях явно перевешивает тоска по выпитому и съеденному. Все они ездили на съезды в республики, где их угощали; сколько выпито и сколько съедено! Мне смешно. А. и Л. рассказывают, главным образом, о Грузии, драках в ресторанах, выпивках, имитируя акцент грузин. Всё это занимательно, ибо Л. – прекрасный рассказчик, а А. – остроумный человек, но крайне примитивно. Нашли о чем вспоминать! О кафе и окороках! Ну и источники вдохновения. А ведь это официальные сливки интеллигенции. Все-таки насколько они ниже западной. А может, они правы? Ведь действительно, описываемые наслаждения – “бесспорны”».

Мальчик, который делает много верных замечаний, часто не понимает, не чувствует раненую душу этих людей, прячущуюся за шумными разговорами. Ведь не могли же они на глазах чужих рассказывать один – об убитом сыне, другой – о только что умершей матери, о том страшном сквозняке, на котором они оказались. И только воспоминания, только совместное прикосновение к прошлым счастливым дням могли вернуть им, как заблудившимся в истории детям, чувство устойчивости и порядка. Услышала бы их сейчас мать Мура, Марина Цветаева, наверняка поняла, почувствовала бы, что стоит за этими легковесными разговорами.

Антокольский вернется из Ташкента в свой дом в арбатском переулке и напишет поэму «Сын», в которой выплечет горе миллионов отцов и матерей, потерявших во время войны своих детей.

Я не знаю, будут ли свиданья,

Знаю только, что не кончен бой.

Оба мы – песчинки мирозданья.

Больше мы не встретимся с тобой.

И боль за затянутого в эту страшную кровавую воронку Мура тоже будет звучать в этой поэме.

Ташкентский лицей

В Ташкенте жили дети писателей, поэтов, ученых, просто эвакуированных. Многие из этих детей и подростков сами стали талантливыми поэтами, писателями, учеными. Дух той ташкентской жизни они не забыли никогда.

«В Ташкенте существовала такая организация – ЦДХВД – Центральный дом художественного воспитания детей. Сокращенно: вездеход, – писал Э. Бабаев. – Здесь, в этих залах и кабинетах, на площадках под деревьями, собирались маленькие музыканты, художники, певцы, гимнасты, фехтовальщики и поэты. Их искали и находили по дворам, по школам.

Вездеход поспевал повсюду, видел и слышал всех. Он был спасателем, наставником, верным другом, был нашим Лицедем.

А помещался он в правом боковом флигеле Дворца пионеров, занимавшего настоящий дворец великого князя. Здесь устраивались театральные и литературные вечера».

В этом Дворце пионеров преподавала Лидия Корнеевна Чуковская, она занималась с детьми литературоведением. Надежда Яковлевна Мандельштам учила иностранным языкам, а Татьяна Александровна Луговская – рисунку и живописи. В письме Малюгину Татьяна Луговская писала еще в начале 1942 года: «Работаю я в одном богоугодном детском учреждении (ЦДХВД), весьма скудно вознаграждающем меня во всех своих статьях. Вся прелесть этой работы заключается в том, что у меня остается свободное время, которое я могу тратить на живопись и еще другую, менее полезную, но гораздо более прибыльную деятельность: продаю свои тряпки. И мое неожиданное “разбогатение” объясняется удачей именно на этом фронте моей деятельности». Неизвестно, встречался ли с Татьяной Луговской в Доме пионеров будущий поэт Валентин Берестов, который попал в Ташкент мальчиком, – в дальнейшем он стал близким другом Татьяны Луговской и ее мужа Сергея Ермолинского, а жена Берестова, детская художница Татьяна Александрова, была ее ученицей.

В Ташкенте Валентин Берестов вел дневники, которые потом легли в основу книги воспоминаний. Вместе с Эдуардом Бабаевым, будущим известным литературоведом, автором книг о Толстом, они ходили в кружки к Лидии Корнеевне и Надежде Яковлевне.

Потом занятия были перенесены на балахану [7], где началась дружба мальчиков с Ахматовой. Валентин Берестов в Ташкенте страдал от дистрофии и много болел. Его спасло знакомство, а затем дружба с Чуковским.

«Меня с помощью Чуковского подкормили, вылечили, обули, зачислили в лит. кружок и вместе с юными художниками, питомцами Абрама Эфроса и Елены Михайловны Фрадкиной <...> и двумя школьниками, писавшими стихи и прозу, Эдиком Бабаевым и Зоей Тумановой, передали в ЦДХВД. Там дали нам карточки в столовую, 200 рублей стипендии и двух преподавательниц. Одна из них – Лидия Корнеевна Чуковская, румяная, с юными сияющими близорукими глазами, но совсем седая. Мы не знали, что ее мужа расстреляли, а брата убили на фронте. <...>

Другая преподавательница – Надежда Яковлевна Мандельштам. В кожанке, носатая, быстрая, с вечной папиросой во рту. Похожа на нестарую и, скорее, добрую Бабу-Ягу. В пустом классе школы имени Шумилова, арендованном ЦДХВД, она усадила нас троих (Мура, Берестова, Бабаева. – КГ.!) за столы: «Ну, вундеркинды проклятые! Поэтов из вас не выйдет. Но я обязана заниматься с вами, а то останусь без карточек на хлеб и без зарплаты. Получать их зря не хочу. Кем бы вы ни стали, иностранный язык вам не помешает. Какой язык хотите изучать?»

Надежда Яковлевна на выбор предложила им французский, немецкий, английский. Они решили изучать английский язык.

Некоторое время к Надежде Яковлевне ходил и Мур Эфрон. У нее Бабаев и Берестов познакомились с этим необычным юношей, который, однако, близко ни с кем не сходилась. Иронично и зло в мае 1943 года пишет он об этих занятиях: «...зашел в литкружок при ЦДХВД, руководимый женой – кажется, первой – Мандельштама. Это женщина – длинноволосая, с выдающимися скулами, с толстенными губами и кривоногая. Эх, потеха! Говорит она проникновенно, взрывами (я смеюсь: поэтический мотоцикл!). Бесконечные разговоры о стихах, искусстве, жизни, войне, родине, чувствах, культуре, прошлом, будущем, чести... Уф!

И всё это с большой буквы. Неизлечимая интеллигенция, всегда ты будешь разглагольствовать! Я ненавижу все эти словопрения; только опыт жизни, жизненная практика может чему-либо научить, а говорить с 16-18-летними детьми о таких материях – пустое и ненужное дело. И я стараюсь придать легкий тон всем этим нелепым заседаниям, пуская шутки, остря и смеюсь напропалую. Лучше смеяться, чем переживать, – и мой легкий скептицизм, и природная склонность к иронии всегда разряжают атмосферу...»

17 августа 1942 года, за год до описываемого похода в кружок, не успев еще хорошо узнать этих интеллигентных мальчиков, он писал сестре еще более жесткие строки: «У меня окончательно оформилась нелюбовь к молодежи. У молодежи я увидел несколько очень отталкивающих черт: невежество, грубость, пренебрежение ко всему, что вне своего “молодежного” круга интересов. Молодежь просто уродлива».

И все-таки Эдуард Бабаев и Валентин Берестов считали Мура своим товарищем и даже пытались выпускать с ним рукописный журнал под названием «Улисс».

«Нас было трое, – писал Бабаев. – Встретились, познакомились и подружились мы во время эвакуации в Ташкенте. Самым старшим среди нас был Георгий Эфрон, или Мур, сын Марины Цветаевой, ему тогда исполнилось шестнадцать.

Мы читали друг другу свои стихи, обменивались книгами, спорили, когда и где откроется второй фронт. Мур написал статью о современной французской поэзии, которую Алексей Николаевич Толстой одобрил и обещал напечатать в журнале “Новый мир”. Валентин Берестов уже читал свои стихи по радио, и его слушала вся ташкентская эвакуация. А я, начитавшись “Римских древностей”, сочинял роман из античной истории. <...>

Дом, в котором жил Мур, казался мне Олимпом. Здесь можно было бы собрать материалы для добрых десяти номеров журнала. А Мур посмеивался над моими иллюзиями. И говорил, что Олимп имеет еще другое наименование и в просторечии называется “лепрозорием”. <...> Но смех его был невеселый. Он был похож на Подростка из Достоевского, потрясенного неблагообразием какой-то семейной тайны. И в доме писателей, на “Олимпе” или в “лепрозории”, он был одинок. Я видел, как он медленно, как

бы нехотя, поднимается по лестнице в свою фанерную комнату».

Бабаев говорил, что Мур писал роман о потерянном подростке, который бродит по улицам Парижа. В этом же романе Мур использовал факты семейной хроники, коснулся темы самоубийства. Вспоминая об этом, мемуарист, вероятно, думал о судьбе Марины Цветаевой. Однако, судя по дневникам, Мур намеревался создать не просто роман, а огромное полотно о своей семье, где бы вывел свою бабушку Елизавету Дурново и деда Якова Эфрона, описал бы парижскую трагедию, приведшую к самоубийству бабушки и брата отца Константина Эфрона (об этом он хотел расспросить Лилию Эфрон). Он хотел узнать, как познакомились Елизавета Дурново и Яков Эфрон, как приехали в Париж, собирался дать историческую панораму этого города начала века.

Так как Мур каждую неделю ходил в гости к Алексею Толстому, то однажды он рассказал ему о журнале «Улисс». При последнем посещении Толстой подарил ему папку, на которой еще до конца не стерлось название «Хождение по мукам». Так и уехал Мур из Ташкента 27 сентября 1943 года в Москву с этой символической папкой.

Возвращение в Москву. Фронт

Еще накануне своего отъезда Мур сделал сестре в письме характерное признание: «... лишь теперь я понял, какое колоссальное положительное значение имела в моей жизни семья. Вплоть до самой смерти мамы я враждебно относился к семье, к понятию семьи. Не имея опыта жизни бессемейной, я видел лишь отрицательные стороны семейной жизни, по ним судил – и осуждал. Мне казалось, что семья тормозила мое развитие и восхождение, а на деле она была не тормозом, а двигателем. И теперь я тщетно жалею, скорблю о доме, уюте, близких и вижу, как тяжело я ошибался. Но уже поздно».

Как эти слова могли бы осчастливить его мать, которая до последней минуты испытывала острое чувство вины перед сыном!

Мур писал в мае 1943 года сестре Але, что на днях уезжает вся Академия наук, в том числе и три профессора, живущие в их доме: «Цявловский, Благой, Бродский (один – седой с бородкой, другой – лысый в очках, третий – с закрученными усами и пенсне)». Просил Людмилу Ильиничну, жену А. Толстого, помочь ему вернуться из эвакуации. Скорее всего, Толстые помогли.

В сентябре-октябре он оказался в Москве. В ноябрьской холодной Москве 1943 года почти не было света, горел он только на главных улицах, на всех остальных люди вечером пробирались ощупью, натываясь на прохожих. По нескольку часов стояли в очереди в баню. Зато работали филармония, консерватория, выставки.

Осенью 1943 года Мур поступил в Литинститут, в котором проучился чуть более трех месяцев.

«26 ноября 1943 года за столом неподалеку от меня появился очередной новичок, и я на перемене узнал, что фамилия его Эфрон, зовут – Георгием; наш однокурсник Дима Сикорский называл его Муром – писал в воспоминаниях Анатолий Мошковский. – Лицо у Георгия было очень интеллигентное: высокий бледный лоб, орлиный нос и длинные узкие иронические губы. Во всем его облике чувствовалась порода – в четких чертах лица, в умных светло-серых глазах, в подбородке, даже в этой бледности... Достоинство, зрелость, опыт, умение, как мне казалось, далеко видеть и глубоко понимать».

Как скоро выяснилось, мы с ним были ровесники – по восемнадцать, но он казался лет на пять старше, умудренней, образованней меня. На переменах к нему иногда подходил Дима Сикорский в авиационном синем кителе, рослый, крепкий, видный парень; они расхаживали по аудитории, разговаривали, посмеивались над чем-то. Дима был сыном переводчицы Татьяны Сикорской. «Наверно, и Георгий писательский сыночек», – подумал я».

Вадим Сикорский говорил, что Мур остался в его памяти именно как студент Литинститута, елабужского мальчика он почти не помнил. И всё время повторял, что Эфрон практически не общался ни с кем, молчал, был чрезвычайно закрыт.

Анатолий Мошковский вспоминал: «В первом семестре нам читал что-то вроде курса «Введение в творчество» бывший теоретик конструктивизма Корнелий Люцианович Зелинский – пожилой, носатый, лоцный, одетый с иголки, при модном галстуке, пришедший к нам на курс с нелестной кличкой, данной ему старшекурсниками: Карьерий».

Лицемерович Вазелинский. Отставив от стола стул и вытянув ноги в рисунчатых, невиданных в то время носках и в тщательно отглаженных брюках, он самоуверенно, с апломбом говорил».



Угол в комнате Е.Я. Эфрон (Мерзляковский пер., 16, кв. 27). После приезда из Франции, а позднее – после освобождения из лагеря здесь жила Ариадна Эфрон; после ареста С. Эфрона – М. Цветаева с Муром

Новое пересечение Мура и Зеленского произошло после того, как они виделись издали в Ташкенте, а главное после их краткой дружбы в Голицыне, где Цветаева жила вместе с сыном в 1940 году. Когда Мур заболел, критик трогательно заботился о нем:

«28.3.40. Вчера навестил меня критик Зелинский – он умный человек, с хитрецей. Он был когда-то во Франции – служил в посольстве – и знает Париж. Он меня ободрил своим оптимистическим взглядом на будущее – что ж, может, он и прав, что через 10–15 лет мы перегоним капиталистов. Конечно, не нужно унывать от трудных бытовых условий, не нужно смотреть обывательски – это он прав. Сегодня он едет в Москву и привезет мне книжек советских авторов и, главное, несколько номеров “Интернациональной литературы”» [8] .

В начале 1941 года Цветаева после того, как ей пересказали внутреннюю разгромную рецензию Зелинского, сделавшую невозможной публикацию уже подготовленного к печати сборника ее стихов, запишет у себя в книжке: «Сволочь – Зелинский!» А Мур снова будет в оппозиции к матери. Как они встретились Москве в 1943 году, осталось неизвестным, однако Зелинский был не из тех, кто мучился угрызениями совести. Уже попав в армию, Мур с горечью вспоминал оставленный институт, где он столько еще мог сделать. «Часто думаю о Москве, об Институте, – писал он тетке Елизавете Эроф, – который мне понравился, а еще чаще все думы сливаются в одно безразличное впитывание всех извне идущих звуков, запахов и впечатлений (это – в свободное время)».



Елизавета Яковлевна Эфрон. 1930-е

Он прошел унижительную службу в строительных ротах, куда отправляли таких, как он, с подозрительным происхождением. Обстановка в ротах была столь тяжела, что все мечтали о фронте как об освобождении. «Ротный старшина наш – просто зверь; говорит он только матом, – писал Мур теткам в Москву, – ненавидит интеллигентов, заставляет мыть полы по три раза, угрожает избить и проломить голову. <...> 99 % роты – направленные из тюрем и лагерей уголовники, которым армия, фронт заменила приговор». Он жалуется на жизнь; вновь, по-своему, высокомерием противостоит хамству, оскорблениям, из последних мальчишеских сил старается не сломаться.

К сожалению, о нем некому было хлопотать, как это произошло в случае с Серёжей Шиловским, сыном Елены Сергеевны и Евгения Александровича Шиловского, видного генерала. Муру не повезло, как Льву Гумилеву, сыну Ахматовой, который встретил победу в Берлине. Правда, после войны на долю Гумилева выпало очередное тюремное заключение и лагерь.

Неотвратимо надвигалась отправка на фронт. Мур погибнет почти сразу, буквально через две недели.

«26-го февраля меня призвали в армию, – писал он в одном из последних писем к Але. – Три месяца я пробыл в запасном полку под Москвой, причем ездил в Рязанскую обл. на лесозаготовки. В конце мая я уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь сейчас. Боев еще не было; царит предгрозовое затишье в ожидании огромных сражений и битв. Кормят несколько лучше, чем в запасном полку. Погода часто меняется, места – болотистые, много комаров, местность холмистая; есть и леса. Всё это – сведения чисто географического характера, но здесь – фронт и писать подробно, конечно, нельзя.

Физически я чувствую себя неплохо; в запасном полку месяца полтора болел (всё – нога), а теперь всё зажило; бесспорно я слабее других в одном – в отношении рук, которые у меня и малы и не цепки и не сильны. Пока что работаю по писарской части, но завтра пойду в бой автоматчиком или пулеметчиком. Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обязательно; я верю в свою судьбу, которая мне сулит в будущем очень много хорошего. Пиши

обязательно; прости за бестолковое – спешное! – письмо. Крепко целую. Твой брат Мур!»



Георгий Эфрон в интернате для детей писателей. Чистополь, 21 сентября 1941

Встреча Мура с настоящим оказалась роковой. По его же теории, прошлое удушило Марину Ивановну, будущее погубило Сергея Эфрона, его отца. В одном из последних писем он определил на то время главное в своей жизни: «Очень хочется верить, что, несмотря ни на что, мне удастся сохранить человеческий облик, что всё неокончательно потеряно. Если бы ты только знал, как я люблю цивилизацию и культуру, как дышу ими – и как ненавижу грубость и оскал невежества, как страдаю и мучаюсь от них».

В конце мая Мура отправили на Западный фронт, его рота находилась в составе 1-го Прибалтийского фронта. 7 июля 1944 года он был ранен где-то под Витебском. Далее никаких сведений о нем нет, он исчез среди умерших от ран солдат, его тело, видимо, было оставлено медсанбатом где-то в тех местах. Вероятнее всего, его похоронили под деревней Друйка Белорусской ССР.

От жизнеописания Георгия Эфрона в его дневниках остается ощущение, что этот юноша, более всего пытающийся увернуться от гибели, неотвратно двигался ей навстречу. Он мнит себя умным и хитрым, избегает записи в трудотряд в начале войны (рытье окопов), боится прописываться в октябре 1941 года в Москве, когда вдруг появляется возможность, – чтобы не быть призванным, чтобы не поставили на учет в военкомате. Эти маленькие хитрости приводят к тому, что неизбежная военная повинность его настигает тогда, когда, казалось бы, столько преодолено; он учится в Литинституте, он достиг цели, и на дворе уже 1944 год, и всё самое страшное позади. Но почему-то именно теперь – его убивают.

А как же Митя Сеземан? Что случилось с «единственным другом»? Из письма Али в конце 1942 года Мур узнал, что Митю арестовали, это произошло в университете, эвакуированном сначала в Ашхабад, затем в Свердловск. Как Мур вспоминал, взяли не из-за родственников, а по доносу какой-то девицы, написавшей, что Митя пропагандировал буржуазную французскую литературу. Дали ему пять лет лагерей. Но так как у него обострился туберкулез, которым в скрытой форме он был болен и до

ареста, его активировали, то есть отпустили, как тяжелобольного, умирать на свободе. Поразительно, но он выздоровел и даже смог пойти на фронт, и так реабилитироваться. Был ранен. После войны работал переводчиком. В 70-е годы ему удалось вернуться в свою любимую Францию, где он дожил до наших дней. Умер восьмидесяти восьми лет в 2010 году. Он успел прочесть письма и дневники Мура и был немало удивлен, что Мур столько писал о нем, считая его лучшим другом, что посвящал ему больше места в своих записках, нежели великой матери. Сеземан отозвался о Муре, под впечатлением от прочитанных дневников, как о человеке эгоистичном и вздорном, холодно воспринявшем смерть Цветаевой. Его шокировало письмо, дошедшее до него спустя пятьдесят лет, где Мур мимоходом пишет о самоубийстве матери и переживает о том, как бы им найти друг друга в хаосе войны.

Кажется, через много лет Митя так и не понял этого странного юношу. Не понял его мыслей о самом себе, о матери, о своей семье, истории. А как же мог Мур показаться другу жалким и беспомощным? Мог ли он рассказать о голоде, одиночестве, страхе войны? Как ни странно, он открыл сердце более взрослому – Муле Гуревичу. А с Митей Сеземаном они так и не встретились – ни при жизни, ни после смерти.

Удивительно, как жизнь двух юношей, оказавшихся в столь похожих обстоятельствах – французское детство, завербованные родители, аресты родственников – двигалась абсолютно разными маршрутами. А ведь у Мура не было тяжкого опыта болезней и тюрьмы, как у его друга Мити. Муру помогали именитые писатели, но почему-то ему не везло, а Мите – «везло». И тут, кажется, вступила в свои права не только воля человека, но и прошлое его рода, прошлое семьи Эфронов, прошлое матери, которое так и не отпустило его от себя.

Чем же была эта короткая жизнь? Что она была призвана доказать и показать на этой земле? Ожидая отправки на трудовой фронт в 1943 году, Мур, как уже говорилось, сделал Муле Гуревичу горькое признание: «Около меня не нашлось ни одного человека, который, взяв меня за обе руки, внятно произнес бы мне: “Жизнь – впереди, война – кончится; не горюй, ничто не вечно, трудности закалят тебя, всё идет к лучшему...”...я знаю эти слова; они мне были очень нужны, но никто их не произнес, и вокруг меня был тот же человеческий хаос, что и вокруг Марины Ивановны в месяцы отъезда из Москвы и жизни в Татарии. <...> Она совсем потеряла голову... она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное превращение... Но как я ее понимаю теперь!»

Приложение Так это было

Из воспоминаний Флоры Лейтес

Воспоминания Флоры Лейтес – своеобразное дополнение к истории гибели Цветаевой и злключениям Мура. Именно Флора Моисеевна отправилась к литературным начальникам в Чистополе (Тренёву и Асееву) с прошением о прописке для Цветаевой.

Эти воспоминания были написаны несколько десятилетий спустя, и в них есть ошибки памяти, которые обнаружились благодаря очерку Лидии Корнеевны Чуковской «Предсмертие», основанном на дневниковых записях. Так, встретились Лейтес с Цветаевой не в интернате, как позже утверждала Флора Моисеевна, а на пароходе в Елабугу.

Флора Лейтес рассказывает, как после своего первого визита к Асееву она пошла на почту, чтобы дать телеграмму, которую Цветаева так ждала. У Чуковской с этого эпизода начинается очерк:

«На телеграфном бланке, протянутом мне моей собеседницей, было крупно выведено: "Асеев и Тренёв отказали в прописке".

– Нет, такую телеграмму посылать нельзя, – сказала я. – Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии. Да и подумаешь, высшая инстанция: Тренёв и Асеев! Да и подумаешь, столица Чистополь! Здесь прописывают литераторов всех без изъятия. Были бы невоеннообязанные».

Видимо, Флора не знала, что потом правление все-таки разрешило Цветаевой прописаться в Чистополе.

Стихами я ранена с детства. Может быть, потому, что в заброшенном захолустном местечке Белоруссии русской грамоте меня учила подружка Манька, дочь священника,

по сказкам Пушкина. Эти сказки, их лад, ритм, рифма покорили меня. Я возвращалась домой, а в ушах звенело: «Кабы я была царица», – говорит одна девица...» Или: «... добрый ужин был бы нам, однако, нужен...» Я стала сама искать рифму к каждому слову, но, увы, из этого ничего не вышло.

А когда семья переехала в Москву и я училась в гимназии, я, как корью, переболела всеми модными тогда поэтами: Игорь Северянин, ранняя Ахматова, Блок, Цветаева – знала почти всё наизусть. Революция – Маяковский, бегаю в Политехнический, не пропускаю ни одного его выступления; «Двенадцать» Блока – тоже наизусть, строчки сами запоминались. Даже в выборе мужа огромную роль сыграло то, что он тоже был одержим поэзией. У него было две страсти: поэзия и философия. Из его философии особенно запомнилось из Канта: «...звездное небо над нами, нравственный закон внутри нас...» Он заметно углубил мое знание и понимание «небожителей»: Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой. Цветаеву он цитировал особенно часто. И хотя, вернувшись из эвакуации, мы разошлись, я навсегда сохранила благодарность за то, что он приобщил меня к настоящей поэзии...

...И вот 1941 год – Отечественная война. В Чистополь – провинциальный городок на Каме – были эвакуированы сначала дети, затем семьи писателей-фронтовиков и маститые писатели: Леонов, Тренёв, Асеев. Некоторое время там жил и Пастернак; в детском саду находился его маленький сын, а жена его Зинаида Николаевна там работала. Однажды я, боготворившая

Пастернака, специально пришла в детский сад, чтобы познакомиться с его женой, и с бесцеремонностью молодости спросила: «Зинаида Николаевна, за что вас полюбил Пастернак?» Она зло ответила: «За мои рабочие руки».

Для детей школьного возраста был организован интернат, им заведовала Анна Зиновьевна, жена писателя Дмитрия Стонова, – опытный педагог, человек щедрой души. Она до сих пор ведет большую общественную работу при Союзе писателей, заботится об обеспечении вдов и сирот писателей, погибших на войне.



Флора Лейтес перед войной

Моя восьмилетняя дочь находилась в интернате, и я пришла к Стоновой, попросила взять меня на работу. Мне показалось, что она слегка иронически разглядывает меня. Дело в том, что в Москве я – красивая, нарядная – мелькала на премьерах, вернисажах и, наверное, казалась пустышкой. Но ведь «быть» и «казаться» не всегда совпадают.

– А что вы умеете делать?

Отчетливо помню до сих пор, что в уме пронеслись стихи:

Хотите, всё буду делать даром:

Чистить, мыть, стирать и мечь.

Я могу служить у вас швейцаром.

Швейцары у вас есть?

Но, улыбнувшись, я ответила: «Всё, что надо будет». Анна Зиновьевна взяла меня воспитательницей к самым маленьким мальчикам: первый и второй класс. Ох, как трудно было завоевать сердца этих малышей! Пошла с ними гулять – они разбежались, и я, растерянная, осталась одна. По ночам я плакала от своей беспомощности. Всё же нашла путь – играть с ними «на равных». Вот мы – отряд красноармейцев, впереди командир, последним замыкающим – я. Разумеется, каждый хочет быть командиром. Увидев нас, приехавший навестить свою семью поэт Галкин сказал: «Вот идет Флора со своим взводом». Уже научились ходить строем. Затеяли спектакль. В общем, они стали «моими». Бывали дни, когда я забывала заходить к девочкам, где была моя дочь. Ими «заведовала» Раиса Чичерова. Она, встретив меня, говорила: «Не беспокойся, у нас всё в порядке». Однажды дочь закатила мне истерику: «Ты своих мальчиков любишь больше, чем меня». Пришлось приласкать и всё объяснить, но сердце болело, я действительно иногда забывала о ней.



Анна Зиновьевна Стонова. Чистополь, 1942

Кроме Стоновой в интернате работали жена Щипачева Лёля Златова, жена поэта Ильи Френкеля Лиза Лойтер, Раиса Чичерова, Любовь Кушнирова. Их мужья были на фронте. Мы еженедельно устраивали банный день, так как очень боялись инфекций. Для меня этот день был особенно трудным. Старшие ребята могли сами собрать себе белье и сами помыться. Мне же приходилось собирать белье для всех, что-то зашивать, штопать. И в бане я в купальном костюме кладу каждого на скамью, тру мочалкой с двух сторон, старшие подносят воду, обливаю каждого, кладу следующего. Купальник прилип к телу, по лицу течет пот. Ко мне подходит Лиза Лойтер и говорит: «Флора, где ты настоящая: на приеме в бархатном платье или здесь, в бане?» Я с раздражением отвечаю: «И тут, и там – настоящая».

Кормили нас «сбоем». Знаете, что это такое? В мирное время эти коровьи внутренности выбрасывают. Однако на кухне тоже работала мама – жена писателя Кушнирова, и она ухитрялась сделать их съедобными. Но моим ребятам всё равно надо было что-нибудь интересное рассказывать или читать, чтобы они ели механически. Помню, как читала «Хижину дяди Тома».

Однажды в «мертвый час», когда дети спали, мы с Лелей Златовой (она была литературным критиком) стояли в вестибюле интерната, перед столовой. Раскрылась дверь, и вошла женщина, почти незаметная, в старом коричневом костюме и коричневом берете, остановилась, оглядываясь кругом – куда ей дальше идти. Меня точно током ударило.

- Ты знаешь, кто эта женщина?
- Нет, – равнодушно ответила Златова.
- Это же Марина Цветаева!

Я подбежала к ней, схватила ее руки и заглядывая в не то зеленые, не то серые потухшие глаза:

- Вы – Марина Цветаева!

Она слегка откинулась назад от моего наскока и спросила:

- А разве здесь меня кто-нибудь знает?

А я в ответ:

Гора горевала,

А горы глиной горькой горюют

В часы разлук...

Глаза ее мигом засветились.

Не отпуская ее рук, я спросила:

- Ну как вы? Как вам там?

Она ответила одной фразой:

- У каждого человека должен быть кусок твердой почвы, чтобы не вязла нога.

(Елабуга была немощеной деревней.)

Я, восторженно:

- Вам надо переехать сюда. Здесь же все, здесь Асеев...

- Здесь негде жить, нет комнат, всё занято.

– Вы будете жить у меня. У меня есть комната, а сама я всё время в интернате, – тараторила я, восторженная дурочка. И тут же подумала, что Стонова не откажет мне в разрешении поставить раскладушку возле моих малышей.

- Но для этого нужно разрешение правления.

- Ну и что ж? Всем заправляет Асеев. Я завтра утром пойду к нему.

И мы условились встретиться здесь же через четыре дня.

Назавтра рано утром я уверенно зашагала к Асееву («...этот

может, хватка у него моя...»). Дверь мне открыла Ксана (жена Асеева. вся розовая, в чем-то розовом. Певуче-барским тоном, растягивая слова, она сказала: «Флора, что так рано, мы так рано не встаем». И она зевнула. Из дверей другой комнаты, завязывая кисти теплого халата, вышел угрюмый Асеев:

- Что случилось, Флора?

– Извините, Николай Николаевич, что так рано, мне же нужно поднять ребят, отправить их в школу, – заискивающе оправдывалась я. Потом восторженно: – Приехала Марина Цветаева! Ей там очень плохо, надо, чтобы она переехала сюда, здесь же все, здесь Вы!

Пристально вглядываюсь и вижу пустые глаза.

- Здесь нет жилья, ни одной свободной комнаты.

– Она будет жить в моей комнате, у меня хорошая комната, а сама я всё время в интернате.

- Но для этого нужно разрешение правления.

- Так за этим я и пришла к вам.

- Хорошо, я поставлю этот вопрос на правлении.

Когда я пришла к нему за ответом в назначенное время, он сказал:

- Правление решило, что она должна находиться там, куда ее направили.

...Через неделю она повесилась, а Мура привезли в интернат.

Я считаю себя виноватой – я должна была узнать, когда будет заседать это правление, и сказать: «Советское правительство разрешило ей вернуться, тем самым она стала советской гражданкой. До войны она жила в Москве, кто дал вам право устанавливать для нее “черту оседлости”?»

Или надо было всё проделать втихаря, она бы приехала, и они бы не посмели ее выселить...

...Я знаю, никакой моей вины

В том, что иные не пришли с войны...

...Но всё же, всё же, всё же...

Наталья Громова Судьба Всеволода Багрицкого

Восемнадцатилетний юноша, освобожденный от призыва, сын поэта и уже сам поэт, Всеволод Багрицкий писал в дневнике 16 октября:

«Женщины в платках. Ни одного человека без свертка или рюкзака. Переполненные троллейбусы – люди ехали просто сзади, там, где свисают две веревки и лесенка ведет на крышу.

Ободранные, небритые, ничего не понимающие бойцы. Метро, которое почему-то было закрыто. Санитарные машины, наполненные женщинами в пуховых платках, узлами, швейными машинами.

Мое путешествие будто бы пришло к концу. Я должен был уехать из Москвы на машине, но в связи с появлением нового, более реального плана вместе с Арбузовым и Гладковым отправился 22 октября на поезде в Казань. Передвигались мы довольно комфортабельно, ни разу не были подвергнуты бомбардировке. Хотя на каждой впереди следующей станции валялись остатки разрушенных вагонов. В общем, нам повезло.



Всеволод Багрицкий. 1940-е

Сейчас нахожусь в Чистополе. В двадцати часах езды на пароходе от Казани. Приехал сюда я только вчера вечером. Но чувствую – тоска здесь невероятная. Найду ли я какую-нибудь работу?

Пока живу в гостинице. Обедал я в отвратительной столовой.

Скоро начнется зима, навигация прекратится. И этот дрянной Чистополь вообще будет отрезан от мира. Картина безрадостная. Но жизнь есть жизнь».

Такое отношение к городу было связано с ужасающим контрастом, которую являла московская и чистопольская реальность.

Театральная студия под руководством А. Арбузова, в которой состояли В. Плучек, А. Гладков, Вс. Багрицкий и другие, оказалась в Чистополе в конце октября с последним эшелонам, отправленным Союзом писателей. Гладков писал в записных книжках, что попасть ему туда удалось благодаря Севе Багрицкому, который занес его в писательские списки.

Всеволод Багрицкий попал в театральную бригаду почти случайно, как актер: удачными оказались его диалоги и стихи в пьесе «Город на заре», написанной группой студийцев. В Чистополе он не знал, куда себя деть.

Сын знаменитого поэта Эдуарда Багрицкого, Всеволод с пятнадцати лет оказался без матери. Она была арестована 4 августа в 1937 года, а спустя месяц с небольшим его двоюродный брат, пасынок писателя Юрия Олеши, выбросился из окна квартиры на Тверской. Под знаком этих событий и проходило взросление мальчика.

«Арест матери я принял как должное, – писал он в дневнике. – В то время ночное исчезновение какого-нибудь человека не вызывало удивления. Люди ко всему привыкают – холоду, голоду, безденежью, смерти. Так привыкли и к арестам. Всё казалось закономерным. Маму увезли под утро. Встретился я с ней через два года посреди выжженной солнцем казахстанской степи. Об этом я напишу когда-нибудь.

Игорь, мой двоюродный брат, умер неожиданно. Еще за два дня до смерти я с ним разговаривал. Правда, не помню, о чем, но, кажется, о чем-то очень веселом. Ничего особенного в его поведении ни тогда, ни сейчас не видел и не вижу. Хотя принято говорить, что перед смертью Игорь «здорово изменился». Смерть его была так неожиданна, как бывает неожиданным стук в дверь поздней ночью.

Сначала она не произвела на меня никакого впечатления. Меня интересовали только подробности самоубийства. Последние шаги, последние слова, последний взмах руки. Мне неудобно было спрашивать об этом у очевидцев – Юры и Оли. Но, каюсь, эти слова искренни».



Всеволод с отцом Эдуардом Багрицким

Валентина Барнет рассказывала, как прибежала в дом Юрия Олеша сразу после несчастья. Когда она вошла, его жена Ольга Густавовна бросилась к ней со словами: «Как скучно, Валя! Как скучно!»

Она говорила Козинцевой, что видела открытое окно, кинулась, но не могла туда подойти, разрывала страшная боль в груди. Потом, когда прошло время, она через Валентину спрашивала Олешу, который успел сбежать вниз, был ли мальчик, лежащий на земле, еще жив? Тот сказал: «Да».

Всеволод всё время мечтал о встрече с матерью, жил этой мыслью постоянно. В 1939 году ему и тетке, Серафиме Суок, удалось съездить к ней в лагерь в Караганду на короткое свидание. Когда началась война, его мать, Лидия Густавовна, внутренне ощутила, что больше не увидит сына.

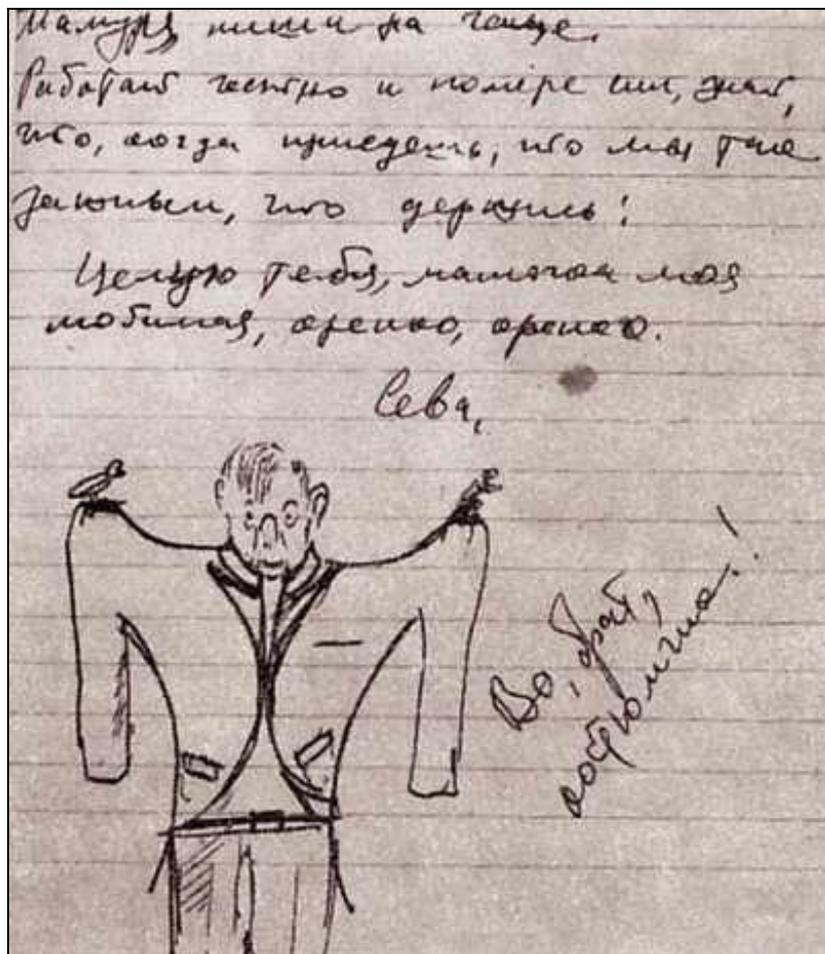
«Мне скоро восемнадцать лет, – писал Вс. Багрицкий накануне войны, – но я уже видел столько горя, столько грусти, столько человеческих страданий, что мне иногда хочется сказать людям, да и самому себе: зачем мы живем, друзья? Ведь всё равно “мы все сойдем под вечны своды”. Так вот (опять увлекся), я стал задумываться о происходящем, искать начало и конец, определенную закономерность событий. Увы, мне стало еще тяжелее. Тоска. Тоска.

Мне по-настоящему сейчас тяжело. Тяжело от одиночества, хотя я уже постепенно привыкаю к нему».

Трагические судьбы подростков Георгия Эфрона и Всеволода Багрицкого в чем-то перекликаются. Оба вели очень откровенные дневники, пытались осмыслить драматические судьбы родителей и свои, испытали безграничное одиночество, погибли сразу же, как попали на фронт. Однако Всеволод обладал жалостью и любовью к людям, которой так не хватало Муру.

В 1940 году, в восемнадцать лет, Всеволод Багрицкий внезапно связал жизнь с болезненной девушкой, как писала его нянька матери в лагерь, «стал скучать и от скуки женился», но через несколько месяцев развелся. Нянька строго указывала: наша настоящая невеста, Люся, в Ленинграде. Люся – это Елена Георгиевна Боннэр.

В конце ноября в Чистополе Всеволод участвовал вместе со студийцами в постановке спектаклей, но игра на сцене ему не удавалась. Все родственники – тетки Ольга и Серафима Суок, Юрий Олеша – эвакуированы в Среднюю Азию. Он один, не знает с кем посоветоваться о будущем. В результате 6 декабря он пишет заявление в политуправление РККА с просьбой отправить его на фронт.



Письмо Всеволода Багрицкого к матери
От Багрицкого Всеволода Эдуардовича,
прожив, в гор. Чистополь,
ул. Володарского, дом 32, кв. 8.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Политуправление РККА направить меня на работу во фронтовую печать.

Я родился в 1922 г. 29 августа 1940 г. был снят с воинского учета по болезни (близорукость).

Я – поэт. Помимо того до закрытия «Литературной газеты» был штатным ее работником, а также сотрудничал в ряде других московских газет и журналов.

6 декабря 1941 г.

В. Багрицкий

В тот же день он написал стихотворение, в котором видны причины, толкнувшие близорукого юношу на фронт. 6 декабря

Мне противно жить, не раздеваясь,
На гнилой соломе спать
И, замерзшим нищим подавая,
Надоевший голод забывать.
Коченея, прятаться от ветра.
Вспоминать погибших имена.
Из дому не получать ответа.
Барахло на черный хлеб менять.
Дважды в день считать себя умершим,
Путать планы, числа и пути.
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.

Наталья Соколова, одна из обитательниц Чистопольской колонии, вспоминала:

«Сева ходил хвостиком за Таей Макашиной, которая ему покровительствовала, помогала справляться с нелегким эвакуационным бытом. Денег у него не было. Он не знал, как себя применить, к чему приткнуться. Осыпал Таю и окружающих стихами – своими, отца, других поэтов. Он жил поэзией. Не знаю, каким он стал бы поэтом,

доведись ему прожить долгую жизнь; но читателем и почитателем стихов еще смолodu был идеальным, прирожденным, божьей милостью. Он выглядел совсем мальчишкой – слегка раскосые глаза, короткий туповатый нос, волосы лохматые, густые, распадающиеся, вздымаемые чистопольским ветром.

Сева не вынес своей пассивной тыловой жизни и в декабре добился отправки на фронт. Чистополь, второй по величине город Татарии, летом жил пароходным сообщением по Каме, а зимой был наглухо отрезан от мира. Вероятно, Сева уходил, как и все зимние призывники, держась за веревку, привязанную к задку саней (сани собирались «караванами», длинными вереницами, в Казань одиночные сани не отправляли). «На веревке пехом» шли призывники в лютую стужу и в буран, когда в двух шагах ничего не видно. Отстать нельзя, отстанешь – смерть, заметет, заморозит. Тая сетовала, что Сева уходил легко одетый, утеплить его было нечем».



Лидия Густавовна Багрицкая и Елена Георгиевна Боннэр. Вечер памяти Всеволода Багрицкого. 1961

Старше его на десять-пятнадцать лет, Gladkov и Arbutov, находящиеся в Чистополе, на фронт не рвутся. Конечно же, будут фронтовые бригады, выезд со студийцами на фронт со спектаклями. Однако внезапный уход Всеволода, освобожденного от армии, они воспринимали как детский поступок. Об этом говорит запись в книжке А. Gladkova 6 марта 1942 года:

«Arbutov получил письмо от Севки Багрицкого. Читали мы его и смеялись до слез. Человек находится на фронте, а пишет о разных пустяках... <...> В подтексте письма чувствуется испуг и тоска и тяготы фронтовой жизни. Попал Севка как кур в ощи... В целом жалкое письмо».

Они читают письмо, ерничают, а «Севка» уже неделю как погиб... Лежит в земле и навсегда взрослее их.

Gladkov – человек яркий, умный... и очень циничный. Он почитал погибшего Мейерхольда, которого ему посчастливилось узнать, с огромным пиететом относился к Пастернаку – именно благодаря его заметкам и дневникам остались замечательные

страницы о чистопольском периоде в жизни поэта, но отношение к современникам, к тому же Алексею Арбузову, Всеволоду Багрицкому, Александру Галичу – язвительно-ироничное.

Последние записи Всеволода, сделанные на фронте:

«Весь противоположный берег усеян трупами. Из-под снега видны серые солдатские шинели. Нет, не чувство страха охватывает при виде этого зрелища, а чувство глубокого бесконечного одиночества.

Особенно поразила меня фигура бойца – первая, которую я увидел. Голова и плечи его были занесены снегом. Он лежал спиной к дороге, поджав ноги к груди. Из-под снега были видны только часть спины и фляжка. Скоро его занесет совсем. И весной, когда тронется Волхов, унесет в Ильмень».

Наконец весть о гибели юноши дошла до Чистополя.

«Убит Севка Багрицкий, – писал в дневнике А. Гладков. – Я был знаком с ним недолго, но обстоятельства сделали наше знакомство более коротким. Началось с того, что Севка постоянно попадался нам с Тоней в поворотный период нашего романа, везде, во всех ресторанах, куда мы ходили... <...> 16,17,18 октября студиицы получили сообщение уходить пешком из Москвы.

В этот момент безвольный, растерянный Севка по очереди соглашался с любым, кто имел какое-нибудь твердое мнение... Севка записал меня в писательской эшелон в клубе ССП... Памятное путешествие в одном купе... Севка устраивается в багажнике... Его общество и паразитическое существование.

Чистополь... Севка проявляет чудеса в искусстве устраиваться... Погрузка дров на Каме, поиск комнаты...

Неудачная экспедиция в колхозе. Сгоревшие ботинки... Плачевный дебют в театре... Севка читает первые стихи у Арбузова. Хорошие стихи».

Тая Макашина вспоминала, что Сева Багрицкий плавал на пароходе в Елабугу, разыскивая могилу Цветаевой.

На его могильной плите вырезаны строки из стихов Цветаевой, которую он любил:

«Воин-поэт Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года

Я вечности не приемлю,

Зачем меня погребли?

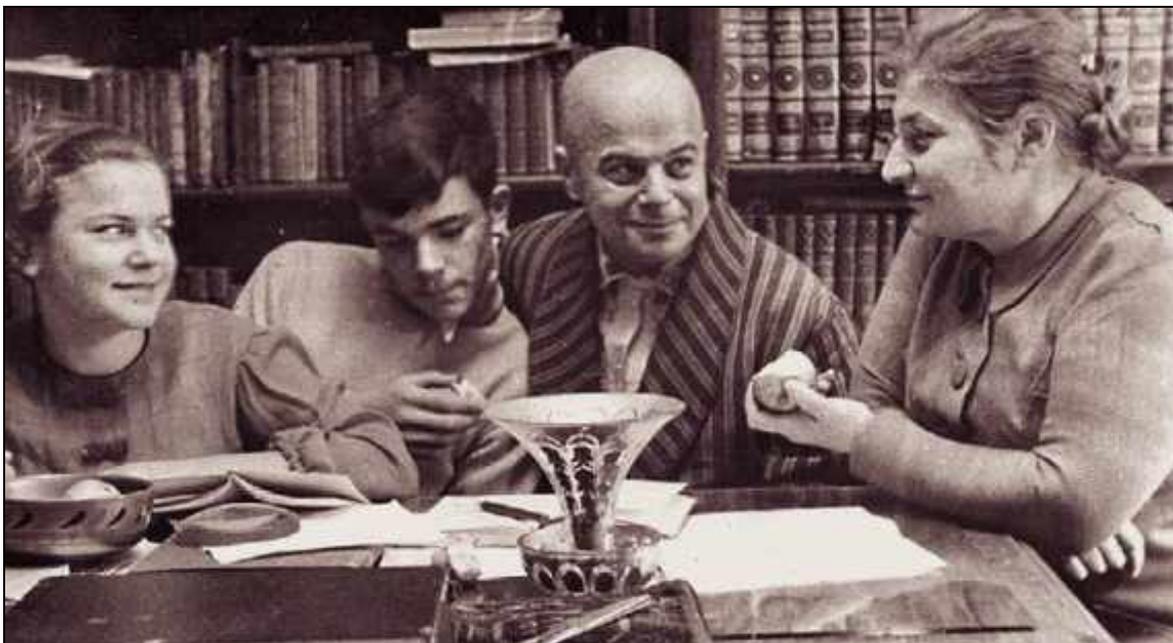
Мне так не хотелось в землю

С любимой моей земли...»

Варвара Шкловская Никита Шкловский и его родные

Никита (Китя) родился 1 сентября 1924 года. Родители – Виктор Борисович Шкловский и Василиса Георгиевна Шкловская-Корди. Я была на два с половиной года младше его – 1927 года.

Это был очень благородный мальчик, неленивый, умный, имеющий свое собственное мнение о многих вещах. Он очень дружил с нашей матерью Василисой Георгиевной. Она всегда говорила, что принципы придумали ленивые люди, двух одинаковых случаев не бывает, надо до всего доходить своим умом. Поэтому в школе ему было трудно. Он занимался боксом, получил первый разряд, чтобы защищать слабых. Еще он очень любил животных. Когда мы с мамой летом ездили на полтора месяца в Коктебель, он собирал недоутопленных котят, находил им мать-кошку, которая их докармливала молоком. Вдова Волошина ему сказала, что он обязан их пристроить, так как всю зиму здесь бегают стаи голодных собак и кошек. И мы их пристраивали, так как они были неплохо воспитаны. Правда, котята всегда были голодные, поэтому ловили ласточек, которые в избытке жили на побережье. Когда Никита видел их с птицей в зубах, он всегда отнимал ее, и они с мамой (она в Первую мировую была сестрой милосердия) лечили ласточке крыло, накладывали повязку и после выздоровления отпускали ее.



Семья Шкловских: Варвара, Никита, Виктор Борисович и Василиса Георгиевна. 1939–1940

Никита понимал, что кошка тоже страдает, когда у нее отнимают добычу, и всегда отдавал ей свою котлету

Отец, Виктор Борисович Шкловский, был вечно занят, нами всё больше хвастался.

Про маму говорил: «Люся изменяет мне с детьми». У нас были такие же круглые головы, как у отца. Про Никиту он понимал, что мальчик очень чуткий, благородный. Когда Никита погиб, он страдал, но потом сказал: «Надо перестать плакать и продолжать работать». Но маму никогда не отпустило, нет.

Мы с Никитой жили, как партизаны. Знали, что дома одна жизнь, а в школе – другая. Дома мы прятали от соседки Осипа Мандельштама, когда он у нас останавливался. Мы прыгали перед ней, отвлекали, если ему надо было куда-нибудь пройти незамеченным. Про соседку было известно, что она «стучит». Она была дочкой царского генерала, кончила институт благородных девиц, в комнате висела фотография нежной шестнадцатилетней барышни. Потом стала 120-килограммовой истеричной дамой, руководившей издательством «Советский плакат» и называвшей себя «Лялочка-душечка».

Никита понимал, что происходит, что было совсем нехарактерно для его одноклассников, у которых были арестованы или расстреляны родители, и им казалось, что это их частный случай. Надежда Яковлевна Мандельштам однажды рассказывала про высокую клетку с двумя канарейками; они вылетали по очереди по определенному хлопку и пели. Никита посмотрел на птиц и сказал: «Союз писателей...»

В начале войны брат, мама и я оказалась в Чистополе, а весной уехали к отцу в Алма-Ату, где он работал на «Мосфильме». Никита учился в чистопольской школе в десятом классе, а я – в седьмом в писательском интернате. Класс Никиты целиком забрали на фронт, погибли все без исключения.



Москва, 1939

В Чистополе проездом была Ахматова. Первый раз я ее увидела, когда она зашла к нам попить чаю; она была очень исхудавшей. Никита спас ее калошу, утонувшую в грязи. А что такое чистопольская грязь – невозможно описать! С Ахматовой мама была знакома с детских лет, они жили неподалеку друг от друга на даче под Херсонесом. Это было в 1900 году, маме было тогда семь лет, а старшей маминой сестре – четырнадцать (она с 1886 года), а Ахматова была постарше, лет пятнадцати-шестнадцати, потому что все взрослые вокруг говорили, что по ней сходят с ума молодые люди. Мама точно знала, что у нее не тот год рождения, она старше была года на три-четыре, но всегда скрывала, как и многие женщины того времени.

Я училась в одном классе с Гришей Куреллой, Люсей Ставской, Тимуром Гайдаром. Некоторые мои одноклассники хамили учителям, делая им замечания за их неправильный выговор. Мура (Георгия Эфрона) хорошо помню. Он был как инопланетянин. Стройный, высокий юноша, одетый в заграничное. В начале войны Никиту послали рыть окопы, и он не сразу приехал в Чистополь. Сначала приехала моя тетка с матерью нашего отца Виктора Борисовича.



Никита Шкловский. Чистополь, 1942

Бабушка была очень недобрая. Она жила со старшим сыном Владимиром Борисовичем Шкловским, филологом, знавшим тридцать с лишним языков, преподавателем духовной академии. Бабушка любила только его. Преподавал он церковно-славянский. Когда Владимира Борисовича сослали на Соловки, отец вытащил его оттуда. Но в начале 30-х годов его снова арестовали, уже по так называемому делу «словарников» (целый круг авторов, делавших немецко-русский словарь, обвинили в фашизме, считая, что они ставили слова в словаре «с тайным смыслом»). Владимир Борисович попал на Беломорканал. Отец взял путевку от пограничников и поехал туда искать брата. Энкавэдэшники спросили его, как он у них себя чувствует. Отец ответил: «Как живая чернобурка в пушном магазине». Брата ему снова удалось вытащить. Владимир Борисович был очень верующий, он сказал отцу, что помолился Анике-воину, поэтому Виктору Борисовичу удалось приехать за ним и вызволить. Его все-таки расстреляли в 1938 году по делу эсперантистов. Другого брата отца,

Николая Борисовича, расстреляли в 1918 году вместе с царскими офицерами. Сестра Евгения Борисовна умерла 1919 году в Петрограде от голода.

Весной 1942 года мы уехали к отцу в Алма-Ату, пережив страшно холодную чистопольскую зиму.

В Алма-Ате Никита поступил в артиллерийское училище, весь курс занял шесть месяцев, после чего он попал на фронт, где был ранен в голову. Лежал в госпитале. В 1944 году семья вернулась в Москву, а Никиту снова отправили на передовую. Он погиб 8 февраля 1945 года под Кенигсбергом. За три месяца до окончания войны. Я знаю, что война забрала самых лучших, самых благородных, таким был и мой брат.

Запись Н. Громовой

Часть II

Елена Левина От Клязьмы до Камы

Я родилась в центре Москвы, в доме, где раньше находилась гостиница «Лоскутная». Там жили мои родители.

Помню светлую просторную комнату, холсты с картинами, мольберт и запах масляной краски. Это была мамина комната. Мама была художницей. Звали ее Ева Розенгольц. В 1949 году ее арестовали и затем выслали в Красноярский край. В 1956 году реабилитировали. Вернувшись, она много работала до самого своего конца.

Хотела выразить в живописи всё, что пережила. И ей это удалось.

Папина комната была поменьше и полутемная. Письменный стол, лампа и корзина для бумаг. Железная кровать с солдатским одеялом, и запах тройного одеколona. Мой папа – Борис Михайлович Левин. Учился в МГУ на геофаке и одновременно писал рассказы.



Елена Борисовна Левина. 2012

Собирался стать этнографом-антропологом, но стал писателем.

Он погиб в 1940 году, во время советско-финской войны, в бою под Суоми-Сальме, так и не дописав последней книги «Вот такая это была лошадь».

В раннем детстве я жила на даче на Клязьме. В школьные годы лето проводила в пионерлагерях Литфонда, в разных местах Подмосковья. Война застала во Внукове. Сразу же стали копать траншеи. В начале июля нас эвакуировали на Каму, сначала – в Берсут, а затем – в город Чистополь. В конце 1942 года вернулась домой и продолжала учиться. Сменила несколько школ: та, где я училась до войны, была закрыта.

Важное событие произошло при переходе в девятый класс, после войны. Меня взяли в путешествие в Среднюю Азию. Пригласил сосед, он поехал за семьей, которая жила на Тянь-Шане, под Джелалабадом. Мама отпустила, чтобы я отдохнула и поела фруктов.

Летели на «Дугласе» с посадками во многих городах. В горах было много орехов, их перерабатывали в густую смесь, ее называли «витамин», много фруктов.

Из-за холерного карантина в Джелалабаде пришлось задержаться до конца декабря. Там стала ходить в школу – внизу, в долине. Спускалась по крутой тропинке. Подъемы и спуски. Спуски и подъемы. Всё было интересно. В классе еще оставались эвакуированные дети и дети высланных поляков.

Горные обрывы с разноцветными пластами пород покорили меня. Я захотела стать геологом. Вернувшись в Москву, училась неважно, сдала экзамены за десятый класс экстерном. В 1947 году поступила на географический факультет МГУ – помогло знание карты. Во время учебы ездила в разные экспедиции.

С 1952 года стала работать в «Аэрогеологии» как геоморфолог. Распределили в Каракумы, на древнее русло Узбоя. По нему проектировали провести канал от Амударьи до Каспия. После смерти вождя стройку закрыли. Сочли нерентабельной: отсутствие населения и угроза засоления почв. Но мы продолжали заниматься составлением геологических карт на равнины и предгорья Средней Азии. Эта область геологии требует широких знаний от археологии до геофизики, подвижности и выносливости. Она самая романтическая.

С конца 1960-х годов занималась той же геологической съемкой, уже на Русской равнине, в ее северной глубинке, и в Поволжье. Только здесь уже была другая геология, с ней пришлось знакомиться заново.

В эти годы появились первые снимки из космоса. Открылись новые возможности в исследовании Земли. Я стала работать с 1977 года на географическом факультете МГУ, в группе, занимавшейся проблемами экологии. По космическим снимкам мы составили специальную карту каждого района нашей страны. Эта карта тогда опередила возможности времени. Она стала основой геоинформационной системы, названной мониторингом.

В начале 1990-х годов стала преподавать в школе географию в пятых-восьмых классах. Продолжаю работу, начатую еще в 1980-е годы, над историей административного деления России и связями его границ с природными рубежами.

Последние годы много времени уделяю наследию своей мамы – Евы Павловны Левиной-Розенгольц. Составила альбом и каталог ее творчества. Сейчас это для меня самое главное.

Они были молоды, они были талантливы...

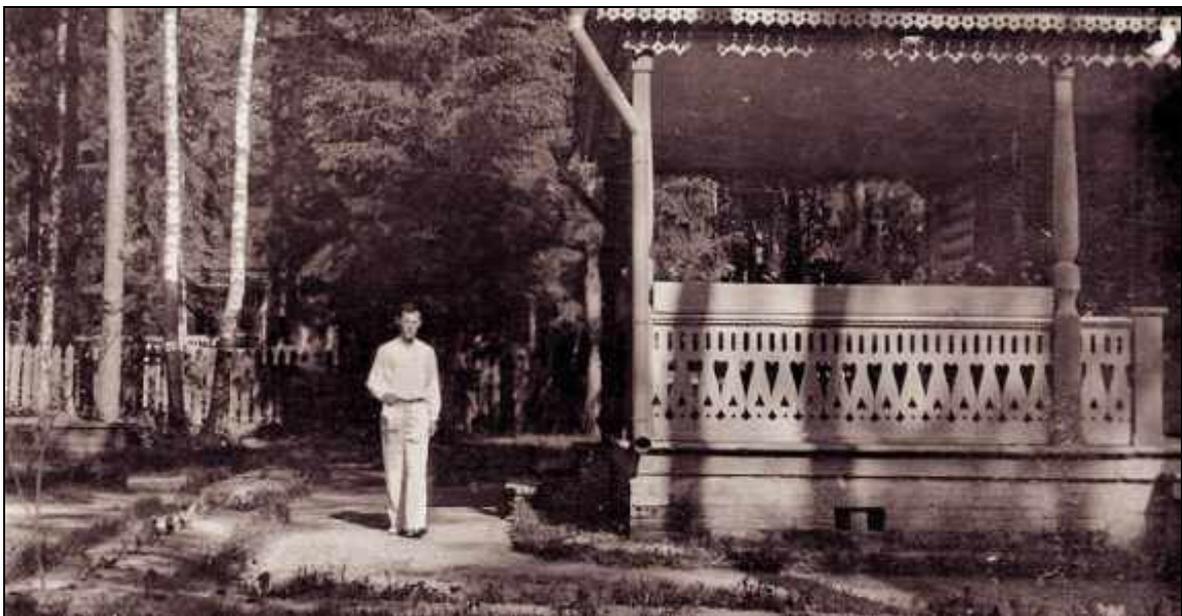
Молодые писатели Илья Ильф, Евгений Петров, Борис Левин и художник Константин Ротов в 1931 году приобрели дачу на станции Клязьма. Все они еще с 1920-х годов работали в юмористических журналах, дружили, ездили вместе в командировки. Они были молоды. Они были талантливы. Они были полны надежд и планов...

Почти у всех были маленькие дети.



Илья Ильф, Борис Левин, Евгений Петров. Нач. 1930-х. Из архива А. Ильф

Дачу купили у Михаила Кольцова, а до него дом принадлежал какому-то купцу. Ходили слухи, что где-то запрятан винный погреб, и время от времени в шутку его начинали искать. Дом находился недалеко от станции. Улица была широкая, заросшая травой, с узкими тротуарами и огромной лужей посередине, непроезжей после дождей. С правой стороны, как раз против этой лужи, и стояла наша дача, в глубине участка, отгороженная невысоким серым забором из мелких планочек.



Дача на Клязьме, вид сбоку. На дорожке – Илья Ильф. 1-я пол. 1930-х. Из архива А. Ильф

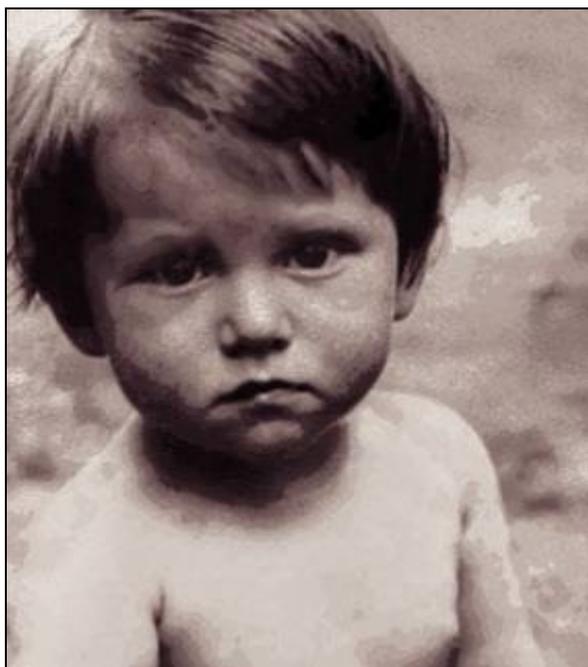
Она была двухэтажная, точнее, с мансардой и башенкой, голубая, отделанная синим кантом. Синими же были наличники, рамы и столбики, подпиравшие крышу террасы.

Участок – просторный, светлый, с соснами и березами. От калитки к дому шла аллея из кустов с розовыми цветами в виде метелочек. Перед домом были разбиты грядки с табаком, и большая клумба с анютиными глазками, а вдоль фундамента всегда росли настурции. Направо от клумбы – маленькая полянка, где играли дети, а взрослые – иногда в городки. За ней у забора – огород с кустиками укропа и заросли крапивы. Налево, в стороне от дома, находилась площадка, где вечерами играли в волейбол и собиралось много народу смотреть. А когда не хватало игроков, то зазывали даже прохожих.

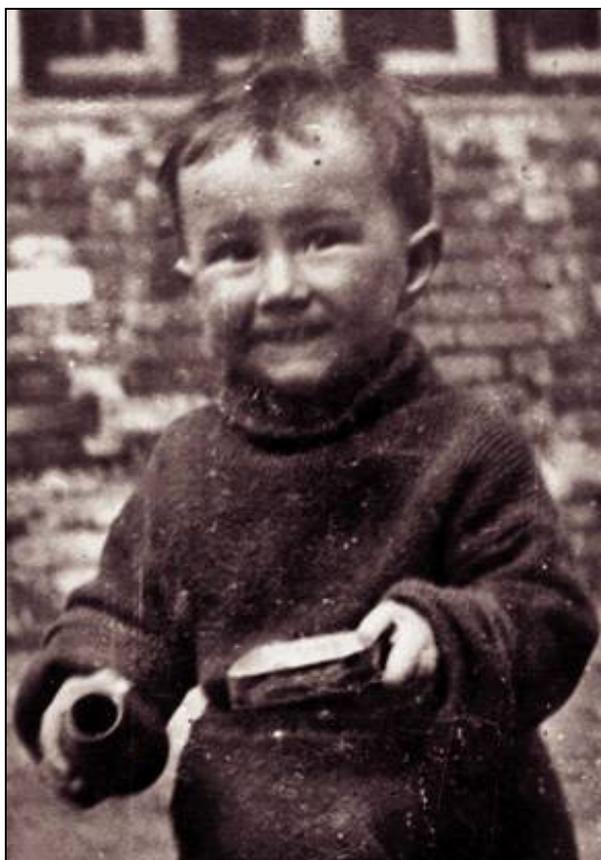
На одной половине первого этажа жили Ильфы и Петровы, их комнаты выходили на широкую террасу под крышей; в другой половине – Ротovy, в большой комнате с открытой террасой. В дальнем углу дома – общая кухня с входом с крыльца.



Ирочка Ротова. Клязьма, нач. 1930-х



Петя Петров. Клязьма, нач. 1930-х. Фото И. Ильфа



Ёла Левина. Клязьма, нач. 1930-х

Скрипучая деревянная лестница вела на мансарду, где жили мы. У нас имелась одна большая комната, со скошенным потолком и оконцем, из которой попадали в маленькие комнаты и чуланы. Две из них располагались прямо над крышей террасы, и на нее можно было выходить из окошек, а одна – в башенке. Это была как раз моя. Каждая комната имела свое название. Одна, например, называлась гроб.

На даче жили дети: Петька Петров, Ирка Ротова и я, Ёлка. Мы родились друг за другом: я и Ирка – осенью 1928 года, а Петька – в январе 1929-го. Позднее, уже в 1935 году, появилась на свет Сашенька Ильф.

Петька никак не мог выговорить слово «шоссе», Петров над этим долго бился, сердился на него. Петя стал кинооператором, очень хорошим, но, к несчастью, рано умер.

Ирка была худющая и зеленая, потому что ела колбасу, а я розовенькая, потому что ела морковь, – так говорила моя бабушка. Ирка любила дразниться и гримасничать, как обезьяна, а Петька был покладистый, и от него пахло грудным молочком – так мы считали – и мы его нюхали.

С утра пораньше мы выбегали из дома и начинали носиться. Это мешало Ильфу. Он говорил: «Они топчут, как пони». Из игрушек у нас были лопатки, папиросные коробки и куклы. Но больше всего мы любили копать какие-то ямы, драться и смотреть, как играют в волейбол. Сами тоже играли в мячик, бегали с сачками за бабочками, шлепали по лужам во время дождя.



Константин Павлович Ротов. Нач. 1930-х. Фото И. Ильфа



Клара Абрамовна Розенгольц, бабушка Ёлки. Кон. 1940-х

Днем за кустиками нас обливали водой, нагретой на солнце в тазиках. В жаркие дни водили на речку. Мы выходили на крутой берег, смотрели на купающихся, спускались по тропинке на пляж, валялись в песке, гонялись за стрекозами, бултыхались в воде, но плавать нас почему-то не научили.

Еще нас водили есть клубнику на какую-то дачу, где были парники и росло много флоксов. Садись на лавочку и скромно ждали, когда принесут ягоды. Однажды нам с Иркой дали одну тарелку клубники на двоих, разделив ее ложкой пополам, и мы подрались. Я быстро съела свою долю, а Ирка облизывала ягодки и строила рожи. Я не выдержала и стукнула по тарелке, так что все ягоды разлетелись.

Мы все время что-то выдумывали. Однажды разделись догола, обмазались сажей от кувшинов, в которых грели воду, и, как негритята, отправились на станцию. Все смотрели с удивлением, по дороге нас узнали и отправили домой. В другой раз мы захотели денег и вышли за калитку с огромным эмалированным чайником и стаканом. Всем прохожим предлагали купить воду, уговаривали, люди улыбались и отказывались. Тогда мы нарвали цветов и стали предлагать букеты. Опять все улыбались, но никто ничего не брал. На свою беду, мимо нашей калитки шла девочка с бидоном для керосина, и в руках у нее был желанный рубль. Ирка выхватила рубль, а мы всучили девочке букет. На ее крик сбежались взрослые и отодрали нас.

Больше всех с нами занимались Константин Павлович Ротов и моя бабушка. Они ходили с нами гулять на поле аэродрома, и мы смотрели, как взлетают самолеты и

прыгают парашютисты. Как-то мы заблудились в лесу и всё шли, шли на солнечный лучик, наконец вышли на незнакомую опушку, где встретили слепых, которые привели нас домой. Это было невероятно, все над нами смеялись.



Борис Левин. Сер. 1930-х



Евгений Петров и Борис Левин. Клязьма, сер. 1930-х. Фото И. Ильфа
У Петьки тоже была бабушка, которая любила его кормить. «Петя! Петя! Ручки мыть!»

– кричала она. Однажды она выбежала за ним с горшочком пшенной каши: «Ну, Петя, хоть ложечку», – но вместо него подбежали мы с открытыми ртами, и она поочередно кормила нас потрясающе вкусной кашей, желтой, рассыпчатой, сладкой, как гоголь-моголь. Кстати, гоголь-моголем нас кормили часто. Молоком нас поили от козы, которая щипала травку на соседнем участке. Однажды мы ее накормили папиросами.

Я жила с бабушкой и няней, часто к нам приезжал папа. Он жил в комнате, где было мало солнца. Там стояли железная кровать, накрытая зеленоватым одеялом, письменный стол и корзинка для бумаг. Когда он появлялся, мы все очень радовались, а я особенно, и вылезала с ним на крышу, на зависть Петьке и Ирке, но папа их тут же звал. Они мчались как угорелые к нам наверх, и мы уже все вместе сидели и ели картошку в мундире. Мама приезжала редко – она много работала и говорила, что не любит дачу и дач вообще, ей нужен простор. Она ездила под Рязань к своей подруге рисовать.

Мой папа был добрый, грустный и смелый. Он был участник Гражданской войны. Как-то к нам ночью залезли грабители, и он единственный выбежал на шум, выстрелил из пистолета в воздух и спугнул их. С Ильфом у них была такая игра: «Среди кого больше мерзавцев – у партийных или беспартийных». Когда Ильф вспоминал очередного мерзавца партийного, он мчался наверх, а когда папа беспартийного, то бежал вниз со словами: «А этот?»

Во время финской войны папа был спецкорреспондентом «Правды» на севере Карелии и погиб в бою под Суоми-Сальме вместе с Сергеем Диковским, тоже корреспондентом и писателем. В этом бою погибла почти вся дивизия. Тогда было написано стихотворение Евгения Долматовского:

Мороз был трескуч, и огонь был гневен,
Ужели мы встретиться не должны,
Сереза Диковский и Боря Левин,
В шесть часов вечера после войны...

Папа и Константин Павлович ходили на даче одно время в полосатых футболках, Ильф обычно в коричневых брюках и рубашке, его жена Мария Николаевна – в однотонном сарафане. А Валя Петрова часто носила кремовую кофточку и темно-синие расклешенные брюки на груди с якорем, от которого на спину спускались лямки. Это было очень модно. Петров же с утра ходил в пижаме, но не такой мешковатой, как носят в поездах, а в красивой, видимо заграничной, в полосочку, с воротником шалью, и подпоясывался шнурком. Сам он был высокий, стройный, смуглый, с темными прямыми волосами. У него было узкое лицо с высокими скулами и узкие глаза. Что-то в нем было от индейца. Мы, дети, были ему неинтересны.



Екатерина Борисовна Ротова. 1936



Евгений Петров. 1-я пол. 1930-х. Фото И. Ильфа

Вообще все они, я имею в виду наших пап, были всегда подтянутые, одежда сидела на них хорошо.

Екатерину Борисовну Ротову я запомнила в светлых платьях с яркими цветами и с красным маникюром, который меня поразил. Я думала, что это у нее одной такие ногти. Как-то мы ехали на дачу, и на перроне, при посадке в электричку, была давка. Вдруг в толпе мелькнули красные ногти, я радостно кинулась в ту сторону, но, конечно, это была не она.

Мама носила чаще всего полотняные платья. Я хорошо запомнила одно – светло-серое с небольшой синенькой вышивкой крестиком.

В середине тридцатых годов на даче часто бывал Валентин Катаев, Петькин дядя, с женой Эстер, светло-рыжей хрупкой красавицей с зеленоватыми, чуть раскосыми глазами, всегда смеющейся, приветливой. Она мне очень нравилась, а через некоторое время Эстер пополнела, и я в недоумении толкала ее в живот, спрашивая: «Эстерка, почему ты такая?»

Вскоре она родила девочку. На радостях Катаев подарил Петьке велосипед – черный, лакированный, с кожаным седлом и педалями, как каучуковые подошвы. Потрясающий. Ирка тут же закричала: «Папа, я хочу, я хочу!» – «Ирочка, у меня нет денег». – «Как нет?» И она сказала: «Я знаю, что есть и где лежат». И мы все побежали за ней. Ирка открыла ящик письменного стола, там в углу лежали деньги.



Писатели на маневрах. Справа налево: Б. Левин, И. Ильф и Е. Петров. Карикатура К. Ротова

Скоро Константин Павлович привез ей велосипед, а я молча переживала, так как мой папа был в отъезде. Но на следующий же день Константин Павлович привез мне тоже велосипед, сказав, что от папы. Велосипеды мы обожали, ездили всё время вместе повсюду, на зиму забирали в Москву, где они стояли как предметы мебели.

Помню, как мы ожидали затмения солнца: сажей замазывали стекла, потом папа привез очки, и, наконец, очень рано, на рассвете мы отправились наблюдать, почему-то на аэродром. Конечно, на велосипедах, с бабушками и Константином Павловичем. Там было уже много народа, мы устроились на поле и стали смотреть, но ничего не было видно. Кто-то посоветовал смотреть, лежа вверх ногами. Так и сделали. А теперь видно, сказал кто-то, а я и так ничего не увидела.



Среди дачников. Справа налево: Евгений Петров, Илья Ильф, крайняя слева – Валентина Петрова. Клязьма, 1-я пол. 1930-х. Из архива А. Ильф

К нам приходило много гостей, некоторые жили где-то рядом. Например, Ардовы. А однажды на белой лошади приехал мальчик – наш ровесник. Это был Алёша Баталов. С ним пришла его мама. То, что лошадь – старая кляча, было неважно, мы были потрясены. Всё было здорово. Нам дали посидеть в седле. Только Петьке его мама не разрешила, он так расстроился, что с воплем бросился на землю.

Алёша Баталов приходил к нам в гости, мы играли в дочери-матери, он сказал, что будет папой, и сшил кукле платье. Ирка сразу же в него влюбилась. Позже они поженились, и у них родилась дочка Надя.

Петькина мама, Валентина Леонтьевна, так мы ее называли, была совсем молоденькая и хорошенькая, с пепельными волнистыми волосами. Ее обожал Юрий Карлович Олеша, все это знали, и мы тоже. Он подарил ей духи «Манон», Петька тут же пригласил нас, стал показывать и открывать флакон, а мы нюхать, и он почти всё вылил на нас. Валентина Леонтьевна издалека учуяла запах, тут же примчалась и обрушилась на нас.

Через некоторое время Олеша подарил ей куклу, очень большую, с закрывающимися глазами, нарядную. Кукла сидела в углу на стуле и была отделена толстым шнурком или канатом, как музейная редкость, чтобы только мы ее не касались. Книжка «Три толстяка» была посвящена Валентине Леонтьевне, но почему-то в современных изданиях это не указывается.

Олеша был небольшого роста, с серыми колючими глазами. На нас посматривал настороженно и с опаской.

Днем нас укладывали спать. Раскладушки ставили обычно рядом с огородом, в тени. Одно время мы заладили удирать: делали вид, что уснули, и вскоре вскакивали. Особенно отличалась я. И вот бабушка поставила мою раскладушку в крапиву. Я забыла про это, проснувшись, вскочила и прыгнула. На мой крик прибежали Ильф и бабушка. Бабушка смеялась, радовалась, что ей удалось меня проучить, а Ильф сильно сочувствовал, взял на руки и обдувал. Мы взрослых называли по имени и отчеству, они друг к другу обращались по имени и на «вы». Пожалуй, только папа и Константин Павлович были на «ты».



Мария Ильф. Нач. 1930-х. Фото И. Ильфа

Ильф и Мария Николаевна часто сидели на ступеньках террасы и наблюдали, как мы играем, расспрашивали нас обо всём. Им даже можно было пожаловаться, когда мы ссорились. А наши родители никогда в жизни не вмешивались в отношения между детьми.

Иногда Ильф сидел один, снимал пенсне и протирал глаза. Иногда быстро ходил по аллейке, которая вела к калитке. Позже по этой аллейке он катал коляску с Сашенькой. Коляска была кофейного цвета, на мягких рессорах. У них в комнате было просторно, светло, но я помню только мольберт, за которым рисовала Мария Николаевна, тахту и обеденный стол, прижатый к стене, – на нем стояли какие-то вазочки с печеньем и чашки.

За год до войны после пионерского лагеря я приехала на дачу, когда уже не было Ильфа. Там жили Мария Николаевна и Сашенька. Она напоминала маленькую барышню, нежную с меднорыжими волосами и веснушками, в вязаном платице. С ней гуляла воспитательница в буклях, которую звали «мадам», и она учила Сашеньку французскому.

Константин Павлович, пожалуй, был самым доступным для детей. Он рисовал за письменным столом, где у него был идеальный порядок: карандаши отточенные, кисточки чистенькие. Мы часто подбегали к нему, становились за спиной и смотрели, как он раскрашивает рисунки. Петька иногда стоял подолгу как завороченный, и Константин Павлович ему говорил: «Не сопи».

Однажды Константин Павлович посадил помидоры. Помидоры всё никак не созревали. И как-то вечером Константин Павлович выкрасил их в ярко-красный цвет. Утром прибежал сосед, вместе с которым он покупал рассаду с криком: «Костя, почему у тебя красные, почему?»

На даче взрослые часто смеялись, любили розыгрыши. Какие-то шутки я помню, о некоторых знаю понаслышке. Например, об одном розыгрыше Ильфа. «Однажды Илья Арнольдович, загадочно улыбаясь, сказал Марии Николаевне: “Завтра к нам на целый день придет художник Кукрыникс с женой и детьми”. В воскресенье рано утром открывается калитка, и входят ... трое мужчин, каждый с женой и детьми».



Илья Ильф на даче. Нач. 1930-х. Из архива А. Ильф

Ротов любил радио, у него был приемник, он разбирался в технике и установил на террасе радиоточку, а из комнаты можно было вещать. Например, моего папу разыграли так. Как бы настоящий диктор объявил литературную передачу – отзыв Льва Никулина о романе Левина «Юноша». Отзыв был ругательный. Папа поверил и возмутился:

«Каков мерзавец, только вчера его встретил – он так хвалил! Как увижу, набью морду».

Тогда приемники ценились по количеству ламп. Как-то к Ротову пришел знакомый, и между ними состоялся такой разговор: «Костя, я купил двухламповый, а у тебя какой?» – «У меня – трехламповый». – «А где же третья?» – «А она в уборной».

Наша дача оказалась несчастливой. С ней была связана какая-то мистика. Говорили, что перед смертью Ильфа на всей даче зажегся свет. Это случилось ранней весной 1937 года. А в 1940 году на финской войне погиб мой папа Борис

Левин, летом 1940 года на даче арестовали Константина Ротова, в 1942 году в Отечественную войну разбился на самолете Евгений Петров. К счастью, Константин Павлович вернулся. Самые первые хозяева тоже погибли. И когда дачи не стало, наши мамы сказали: «Слава богу, что у нас ее нет».

Берсут

Берсут... Высокий, крутой обрыв над рекой, видны песок, камни и валуны. Кое-где заросли кустов и сосны с обнаженными корнями. На противоположном берегу зеленые луга. Кама в этом месте широкая и очень стремительная, ниже по течению она поворачивала, образуя излучину.

На повороте реки в нее впадал ручей. Здесь же находилась пристань, куда пришвартовывались пароходы, катера и баржи. Сюда пристал и наш пароход. От пристани вдоль ручья поднималась дорожка к бывшему Дому отдыха, расположенному над обрывом Камы. Его территория отделялась от дороги и леса низким забором. Два больших корпуса и несколько подсобных помещений.

Нас приехало много: школьники, детсадовцы и мамы с маленькими детьми. Школьники разместились в одном из корпусов. Спальни (или палаты) со стороны реки выходили на широкие террасы, похожие на палубы.

Главным руководителем лагеря был Борис Михайлович Мазин, до этого начальник пионерлагеря во Внукове. Он и вывозил нас из Москвы вместе с Евгенией Давыдовной Косачевской, сотрудницей Литфонда, молодой, активной, с волнистыми волосами, в

тубетейке. Писатели ее хорошо знали, называли Женя, многие дружили с ней. Борис Михайлович относился к нам заботливо, и мы это ценили. Он погиб на фронте, как и муж Косачевской.



Алёша Баталов с братом Мишей. 1939

Нас долго расселяли, переводили из палаты в палату, и в конце концов я оказалась вместе с Таней Беленькой, Эрой Росиной и Лялей Маркиш. Таню и Эру я знала давно, еще по пионерлагерю, а вот Ляля приехала из Киева. Она любила рисовать. У Эры в ноябре погибнут папа и мама, защищая Москву. Тогда, летом, этого невозможно было и предвидеть. Ее папа, Самуил Росин, вступил в ополчение, в роту, состоявшую из писателей. Он был талантливый еврейский поэт, лирик. Накануне войны написал пророческие строчки: «Умру я в самой гуще боя, оставшись юным навсегда». А мама повезла продовольствие в ту самую «писательскую роту», где шли бои, под самую Вязьму.

Оттуда они оба уже не вернулись.

В другом большом корпусе находилась столовая, к ней примыкала застекленная терраса. Там стоял рояль, была сцена.

Детский сад и мамы с малышами жили отдельно. Девочки двенадцати-тринадцати лет помогали мамашам – гуляли с малышами.

Мы катали детей на лодке и с кормы полоскали пеленки. Еще девочки чистили картошку для столовой. У мальчиков тоже были свои обязанности: снабжать всех водой, доставать бревна, прибывшие к берегу, и колоть дрова для кухни. Воду привозили в бочках на телеге. Мне поручали нянчить Илюшу Петрова, а также Мишу и Бору Ардовых. Особенно нежно я относилась к Боре, так как его называли в честь моего папы, к тому же он был бледненький и слабенький, а Миша, наоборот, крепкий и загорелый, носил желтую курточку и напоминал итальянского мальчика. Их старший брат по матери, Алёша Баталов, тоже нам помогал, кроме того, он привозил для всех воду в бочке на лошади. Илюша Петров – светленький карапузик в черных бархатных штанишках, ему было около двух лет. Чаще Валентина Леонтьевна, его мама, возилась с ним сама или поручала его старшему брату Пете. Их отец писатель Евгений Петров, в то время редактор «Огонька», постоянно выезжал на фронт как военный корреспондент.

В Берсуге я впервые увидела мою сестричку по отцу, годовалую Аничку. Она сидела на руках своей бабушки Анны Сергеевны, которая при встречах радовалась мне, называла Ёлочкой, всегда улыбалась как-то грустно и виновато. Им помогала Скина Вафа, дочь индусского поэта Эс-Хабиба Вафа – коммуниста, тогда уже покойного. В Берсуге я услышала такую эпиграмму: «В Москву приехал Эс-Хабиб Вафа, Эс-Хабибу Вафа в Москве лафа». Скина была худющая, смуглая, с иссиня-черными косами, с удлинёнными, насмешливыми глазами. Она часто давала мне подержать Аничку, причем с таким видом, мол, нянчи сама. Аничка, как и Боря, была слабенькая и трогательная. Ее было жалко.



Анечка Герасимова с бабушкой Анной Сергеевной. 1942

Утро начиналось с зарядки и линейки, на которой сообщали сводки с фронта и распорядок дня. В конце июля мы услышали, что бомбили Москву, и очень растревожились, забеспокоились о своих родных. На линейку, чтобы узнать новости, подходили и взрослые. Запомнилась девочка-подросток, дочь воспитательницы детсада: высокая, с короткими русыми волосами под гребенку, сероглазая, в очках, с выпуклым лбом и упрямым подбородком. Всегда с книгой под мышкой. Она жила отдельно и смотрела на нас со стороны. Спустя годы она вспоминала, что мы ей казались «красивыми и умными». Это была Галя Щербакова. Она стала искусствоведом, собирателем и знатоком старинных вышивок народов Поволжья.

Кормили нас хорошо, простой и здоровой пищей, всегда свежей. Много времени с нами проводил физкультурник Костя. Мы его знали по пионерлагерю. С ним купались, он учил нас грести и плавать, с ним всегда ходили в лес и, когда разбрелись, то аукались: «Костя!» Мы собирали бересклет, ломали ветки и обрубали корни для каких-то военных целей. В лесу были заросли малины, а на опушках полно земляники.

В столовой раздавали еду Эстер Катаева, Зинаида Николаевна Пастернак и Кира Владимировна, жена Лебедева-Кумача. Последняя была высокая, кареглазая, с черными волосами, стянутыми на затылке. В ней чувствовалась «роковая женщина». Марина, ее дочь, напротив, была совсем незаметная, но умненькая девочка. К несчастью, у нее после дифтерита сильно выпадали волосы, ее стригли наголо, и она ходила в голубом или красном берете. А стриг ее Николай Николаевич Ляшко, ставший писателем еще до революции, автор «Сладкой каторги» – книжки про тяжелый труд и любовь на конфетной фабрике. Николай Николаевич появился в Берсуге позднее, видимо, в помощь начальству, высокий, темноволосый, внимательный. Мне нравилась его дочка

Туська, румяная, синеглазая, ходившая в мальчишеских рубашках, выдумщица и бесстрашная. Я с ней дружила.



Лена Левина. 1939

Все были искусаны какими-то вредными комарами и расчесывались до крови. Эти раны смазывали зеленкой, и мы все были пятнистыми. Мазаться ходили к медсестре Ирине Николаевне, по прозвищу Ирник, темноволосой, белозубой, с соболиными бровями. Ее знали уже не первый год и любили. Рядом с ней всегда находился маленький сын Серёжа.

Раны от укусов назывались «импитиго». Даже распевали такую песенку: «Мальчик трубочку курил. Импитиго. Импитиго на носу. Импитиго». Этот припев придумал Женя Зингер, простодушный и веселый, по прозвищу «рыжий Жоня» или «пожарник». Он был влюблен в Эву Василевскую, которая была так хороша, что кроме него на нее никто не осмеливался и взглянуть.

В старшей группе выделялся своей образованностью и нервностью Макс Бременер с крупными карими глазами на бледном лице, а также мрачноватый и неуклюжий Реджи Бывалов, страстный радиолюбитель. Вместе с Володей Волосовым он смастерил приемник, и они ловили новости. К ним все испытывали чувство уважения.

В Берсуте была большая библиотека, и мы много читали, пользовался успехом «Агасфер». Вообще читающих детей было много, некоторые даже хвастались своей начитанностью и пониманием, что халтура, а что нет. Кстати, такие слова, как «халтура», «сволочь», и выражение «я тебя презираю», были тогда в ходу. Хороших и ярких детей было немало, обо всех и не скажешь, и не упомнишь. Но вот кто противно себя вел, так это Цезарь Голодный. У него был неплохой голос, и он часто затягивал, подражая Лемешеву: «Онегин, я люблю Татьяну» или: «Я Цезарь, я Цезарь, я голодный». Но чаще всего он кого-нибудь поддразнивал, особенно Нелю Иоффе, ей было лет одиннадцать, ее легко было довести до слез. Цезарь это знал и постоянно дразнил: «Нелла Еффе, чай, какао, тухлый коффе». И хихикал. Он был старше, ему было уже четырнадцать, но ему как-то всё сходило с рук. Хотя обычно неблагоприятные поступки осуждались.

Помню такой случай. Лучше всех плавал Вадим Билль-Бело-церковский, он даже переплывал Каму. Во время очередного заплыва он почему-то стал тонуть. В это время на лодке катались большие девочки и Алёша Баталов, который греб и ничего не заметил, поэтому не кинулся спасать. На помощь бросился кто-то другой. Не

разобравшись, Алёше устроили темную. Он это переживал.

Вода в реке у нашего берега была холодная, на дне выходили родники. Иногда мы сплавлялись на лодках ниже по течению, где на другом берегу были отмель и песчаная коса. Конечно, в сопровождении старших ребят и Кости.

В Берсуде царила любовная атмосфера, все в кого-то были влюблены. Но я еще ни в кого. А вот Алёше нравились многие девочки, и он тоже нравился. Но самыми главными героями были Тимур Гайдар и Стасик Нейгауз. Даже кто-то сочинил: «Тимур Гайдар наружностью невзрачен, но среди девочек слывет он львом». Старшие девочки были совсем барышни, некоторые – просто маленькие женщины. Особенно выделялась Ира Нейштадт, изященькая, с локонами и всё время напевающая: «В далекой, знойной Аргентине, где небо южное так сине, где женщины как на картине, там Джо влюбился в Кло».

Я дружила со многими девочками, многие мне нравились. Но так получилось, что больше всех я общалась с Таней Беленькой. Таня влюбилась в нашего горниста Лёдика Леонидова, хорошенького мальчика со вздернутым носиком, в панамке. Мы знали его еще с Внукова, он и там был горнистом, он был как бы при должности, которой дорожил. Как-то Лёдик заболел, и его положили в изолятор. Таня попросила меня пойти к нему и сказать о ее любви. Была лунная ночь. Изолятор находился вдали от всех зданий. Это был дом на высоком фундаменте и с высокими окнами. Я встала на спину Тани, подтянулась и увидела Лёдика. Он лежал на спине, с открытыми глазами, а рядом поблескивал горн. Видимо, проснулся от нашего перешептывания. Я, набравшись смелости, сказала, что Таня его любит. На что он громко выкрикнул: «Передай своей Таньке, чтоб она пошла к черту». – «Что, что, что он сказал?» – спросила Таня и тут же стала выпрямляться, причитая при этом: «Я всё слышала, слышала». Я спрыгнула, чтоб не грохнуть.

Что я ей могла сказать в утешение, кроме того, что «он дурак, дурак»? Неожиданно на обратном пути мы встретили большого и считавшегося очень хорошим мальчиком Рема Венгрова. Он был удивлен, что мы не спим, что бродим так поздно, что Таня плачет. Таня, рыдая, всё рассказала и сквозь слезы всё повторяла: «У меня больше не будет романов, не будет». Он стал ее тоже утешать и самое главное, что он ей сказал: «Таня, у тебя будут романы, поверь мне, поверь, обещаю». И Таня успокоилась.



Таня Беленькая. Внуково, 1939

Но, видимо, ей нужно было еще выговориться, отвести душу, и утром она пошла к большим девочкам, к той самой красотке Ире Нейштадт и великовозрастной Марьяне Брагиной. И пришла очень вовремя: у них были такие же проблемы и только одна Таня могла им помочь. Они дали ей ответственное тайное задание, которое она должна была выполнить вместе со мной в тот же день поздно вечером. Девочкам стало известно, что именно в этот вечер встречаются Стасик Нейгауз и Марк Исаков для очень важного разговора, в котором пойдет речь о любви. И наконец откроется, в кого же влюблен Стасик. А нам нужно подслушать этот разговор. Встреча должна была происходить у скамейки на лестнице, которая вела к Каме.

Лестница была длинная (178 ступенек) деревянная, почти вертикальная. В двух местах расходилась по сторонам, там были площадки, а затем соединялась в один пролет. Нижние ступени опирались на узкую полоску берега. К нему примыкали мостки с прицепленными лодками. После отбоя мы пошли на лестницу. На верхней площадке залезли за стенку, к которой прислонялась скамейка, и уселись на склоне, закрыв головы кофточками, чтобы спастись от летучих мышей, и притаились. Вдруг раздался топот и голоса, это спускались мальчишки – и не двое, как нам обещали, а целая компания. Мы от неожиданности захихикали. Они действительно остановились у скамейки и начали курить. «Да, – сказал кто-то, – в Москве я курил “Яву”». – «А я “Казбек”, – похвастался

другой, – а здесь приходится махорку». Затем последовало длительное молчание, и потом задумчиво кто-то произнес: «А девчонки-то здесь все проститутки». Еле сдерживая смех, чуть не свалившись со склона, мы убежали.

Я решила, что свой долг мы выполнили, но не тут-то было: оказалось, этого мало, важный разговор перенесен на завтра и нас снова просят его подслушать. На этот раз мы пошли настроенные очень смешливо, устроились, как в прошлый раз. Опять тот же топот и голоса. Начались те же разговоры про курево. На нас сразу же напал смех, и мы стали трястись, под нами посыпался песок с камнями. Мальчишки встревожились и заподозрили что-то неладное. «Холоденко, посмотри, что там», – приказал кто-то. Стало страшно. Мы прижались друг к другу и к земле. Холоденко чуть-чуть зашел и заглянул за стенку. Делая вид, что он всё обследовал, уверенно объявил: «Никого нет, это летучие мыши».

Только мы успокоились, как мальчишки начали пйсать на дощатую со щелями стенку, за которой мы сидели. Тут мы не вытерпели и бросились бежать как сумасшедшие вниз по склону, местами обрывистому, держась за кусты и обдираясь. Из-под ног летели камни. А по лестнице, грохоча и улюлюкая, мчались мальчишки неизвестно за кем. Мы раньше оказались у мостков, отвязали лодку и стали грести вниз по течению. Каким-то чудом нас не отнесло на середину реки и прибило к берегу ниже пристани. Бросили лодку и тихонько пошли по склону к калитке нашего дома.

В доме нас встретила главная воспитательница Тамара Владимировна, жена Всеволода Иванова, представительная, с холодными серыми глазами, коротко стриженная, с проседью. Она поинтересовалась, откуда явились; пришлось сказать, что из туалета.

Тамара Владимировна была озабочена отношениями между мальчиками и девочками. Например, не разрешала мальчикам садиться на кровати девочек, когда они заходили к нам в комнаты. Причем никому и в голову не приходило, что это неприлично, а больше и сидеть-то негде было. Это вызывало у нас протест. Кроме того, Тамара Владимировна негодовала, когда мы ночью ходили по-маленькому на верхнюю террасу и всё протекало вниз, на террасу первого этажа, куда выходила ее комната. Туалет находился далеко от нашего корпуса, бегать туда не хотелось, так как было темно и холодно. Но Тамара Владимировна не спала и следила за нами. Даже на утренней линейке требовала признаний, но все отнекивались.

У нее было два сына: старший Миша, длинный, с унылым лицом, и младший Кома, доброжелательный и образованный мальчик. Ему приходилось много лежать из-за болезни костей. Было стыдно перед ним, это нас немного сдерживало. Тамара Владимировна следила не только за нашей моральной чистотой, но и за физической: проверяла перед едой руки, смотрела, чтобы пили непременно кипяченую воду, потому что у многих бывало расстройство желудка.



Пионерлагерь во Внукове, 1940. Слева направо: Надя Павлова, Лена Левина, пионервожатая Нина, Лиля Васильева, Гедда Шор

Сразу же, как мы приехали, она собрала детей сочинять пьесу о войне. Кома по роли должен был патетически произнести: «А я пойду добровольцем!» – и взмахнуть рукой. Во время показа он от смущения вытянул вперед руку и почесал затылок. Это вызвало доброжелательный смех. Всё это происходило на той же самой нижней террасе, на которой читали стихи, играли в шахматы, Лёва Наврозов, картавя, декламировал: «Тучки небесные, вечные стханники». Там почти всё время лежал Кома, там говорили о литературе, о войне.

У нас бывали вечера самодеятельности. Эти вечера проходили торжественно в зале, где стоял рояль. Играл Шопена Стасик Нейгауз; изумительно свистела Гедда Шор, просто виртуозно. Я такого свиста больше никогда не слышала. Главным ее шедевром был «Соловей» Алябьева. Однажды Елизавета Эммануиловна Лойтер, замечательная пианистка, вместе с Зинаидой Николаевной Пастернак исполнили «Лунную сонату». Это было событие! Август, вечер, и черное небо с яркими звездами, временами падавшими...

Я сидела на лавочке на краю обрыва и смотрела в небо, и музыка соединяла меня со всем миром. Этого никогда не забыть. Это все запомнили.

С пристани уходили на фронт. Призывники шли по дороге сверху из деревни, до которой мы никогда не доходили. Всегда было много провожающих. Невозможно было слышать этот стон и громыхание бульжников.

Стали появляться беженцы. Как-то у нашей калитки оказались цыгане. Среди них была красавица, кормившая ребенка. Она гадала. Никто не захотел к ней подойти, кроме Тани Беленькой. Цыганка предсказала ей жизнь еще богаче, чем у родителей. Таня недоумевала: «Богаче уж не может быть». Ее раннее детство было очень благополучным, пока в тридцать седьмом родителей не посадили. Ее отца, замнаркома пищевой промышленности, тогда уже расстреляли, а мама находилась в лагере как жена врага народа. Но Таня вообще не боялась будущего. Она часто напевала: «Что ты смотришь на меня в упор, я твоих не испугалась глаз», – особенно выделяя куплет: «Ну что же, что ж, жалеть не стану, я таких, как ты, всегда достану, ты же поздно или рано всё равно ко мне придешь».

Сама себе Таня тоже напророчила – случайно пролила чернила на фотографию двоюродного брата Алёши Перевозникова (до войны Алёша жил вместе с ней и ее братом Юрой) и тут же заметила: «Это плохая примета, он погиб». Так и случилось.

Алёшу убили под Москвой в самом начале войны. Его отец был немец, жил в Германии. Уходя в армию, Алёша сказал: «А вдруг я с ним встречу с глаз на глаз. Что тогда?»



Таня Беленькая. Нач. 1940-х

Тане дали с собой некоторые вещи погибшей тети, Алёшиной мамы, Инки. Они были взрослые, красивые, заграничные. Перебирая их, Таня вспоминала тетю, хотелось быть похожей на Инку. Инка была коминтерновка, воевала в Испании, красавица, в середине тридцатых у нее был роман с Фадеевым. В самый разгар ежовщины ее вызвали в Москву из-за границы. К этому времени были арестованы все ее близкие. Она ждала ареста, нервы не выдержали – бросилась с крыши своего дома, где жили молодые коммунисты. Они приехали в «страну светлого будущего», мечтали о мировом братстве и приветствовали друг друга рот-фронтским жестом. Их оставалось всё меньше и меньше.

Когда это случилось, Алёша возвращался из школы, увидел собравшуюся толпу около дома и всё понял. Таня рассказывала об этом отстраненно, принимая как неизбежность. А я пропускала всё это через себя, как кадры кинофильма.

Таня была щедрая, независимая, очень хорошенькая, с японскими глазками, но порой бывала и резкой к тем, кто ее раздражал. В раннем детстве ее любили, баловали, она была счастлива. Всё, что обрушилось на нее, открыло глаза на жизнь, сделало взрослее. Я за нее всегда переживала.

Со мной происходили какие-то странные вещи. Однажды я вышла ночью в коридор, заходила в чужие комнаты: искала место, где бы лечь, и где-то устроилась. В другой раз во сне всё сбросила с кровати на пол, легла на железную сетку, укрылась матрасом, а проснулась в ужасе: что же это такое. Все говорили, что это всё из-за луны. Возможно, это были издержки роста, а возможно, из-за перемены жизни, ее неустроенности. С другими тоже что-то происходило, многие девочки по ночам плакали. Мы всё время думали о войне.

Кончался август. Старших девочек и мальчиков отправили собирать урожай в колхоз «Малый Толкиш», который находился на другом берегу Камы. Они переправлялись на лодках с новой воспитательницей Еленой Викторовной Златовой, мамой Вити Щипачёва. Скоро должен был начаться учебный год, пошли разговоры о нашем переезде в Чистополь, в «город на Каме, где – не знаем сами».

Здесь, в Берсуте, мы впервые встретились с могучей природой: с дремучим лесом, глубокими оврагами, с огромными корягами, злыми комарами и зарослями малины. Всё это было непривычно, тревожно и не похоже на уютное Подмоскovie. А сама Кама, несущаяся единым холодным потоком, отталкивала нас. В переводе с татарского «Берсут» означает: «Один поток». И он стремительно уносил нас в другую жизнь.

Осень в Чистополе

Я не помню, как приехали в Чистополь, но в памяти осталось: санпропускник и долгая дорога от пристани. Лошади с телегами, какие-то мужики в грубых плащах из брезента. Дом крестьянина. Вход с улицы. Крыльцо. Лестница, ступенек десять, площадка, от нее коридоры налево, направо, и двери в так называемые палаты. Суета, кто-то новый, к кому-то приехали мамы, а кто-то уезжает.

Старшие мальчики заранее подготовили помещение. Они быстро освоились и встретили нас победой на футбольном поле и песней на мотив «Гоп со смыком»:

Чистополь невзрачный городишко, да, да.

Негде разгуляться здесь мальчишке, да, да;

Ни кафе, ни ресторанов, вальс танцуют под баяны;

Братцы, вот какие здесь идут дела...

Там были еще такие слова: «Есть в городе Литфонда интернат, да, да, много разных там живет ребят, да, да, есть там Тимка, есть там Шурка, Мишка Гроссман – тоже урка. Вот какие там живут ребята, да, да. Стас Нейгауз – на рояле он играет, и голы он забивает». Про футбол разговоров было много, кто кому надавал.

В Чистополе пробыли несколько дней, и нас отправили в колхоз. На этот раз всех, начиная с пятого класса. Это был всё тот же «Малый Толкиш».

Главное воспоминание – жуткая тоска. Полуразрушенная колокольня, над которой кружатся вороны. Морозящий дождь, в небе улетающие журавли, а мы кричим: «Чур, мое счастье, чур, моя свадьба».

Помню, мчится брочка и на ней лихой белозубый парень, бригадир у старших ребят, приподнявшись, взволнованно спрашивает: «Где они?» – и на лету выкрикивает: «Меня призвали, ухожу на фронт». – «В поле, в поле», – отвечаем мы. Кто-то замечает: «Он же влюблен в Люську Ставскую». – «Нет, в Варю Шкловскую».

Всех поселили в школе. Мы, девочки пятых и шестых классов, заняли большую комнату и устроились на сене, под окнами. В углу громоздились парты.

С утра пошли на полевой стан. Колхозники, в основном женщины, глянули на нас с любопытством и поручили выдергивать («тянуть») вику. Это оказалось нелегко. Скоро устали и проголодались. На обед, к нашему разочарованию, был только гороховый суп и черный хлеб без масла. Сахара тоже больше не было.

На соседнем поле рос турнепс, и мы на него навалились, а уж когда увидели горох, счастьем не было предела. Совсем рядом находилось поле с маком. Одна девочка так наелась, что уснула на краю, у дороги. Больше всего приходилось тянуть вику, реже собирать горох и мак. Старшие девочки и мальчики работали на комбайне, скирдовали сено и просеивали зерно. Все очень уставали. Вместо сахара получали по пять-шесть конфеток-«подушечек», начиненных повидлом, очень вкусных, особенно с черным хлебом и чаем. Их хранила наша руководительница Елена Викторовна Златова в наволочке. Мы не удерживались и по несколько штук воровали, а она делала вид, что не замечает. Конфеты выделял колхоз вместо сахара за работу. Колхозные бабы улыбались: вот так вот, привыкайте.

Нам, маленьким, было тяжело, голодно и, когда затянули дожди, вдобавок мокро. И несколько человек решили бежать обратно, в интернат: я, Таня Беленькая, Юра Колычев, Вова Шифферс, Шура Хазан и, кажется, еще Туся Ляшко. Мы понимали, что это подло, но, что-то нас подстегивало, возможно, озорство. Я рассказала о нашем плане Алёше Баталову. Он сначала загорелся, но тут же раздумал, так как работал на комбайне и был там необходим. Все старшие ребята оставались в колхозе до самых холодов и первых заморозков, пока не убрали весь урожай.

В день побега погода стояла ясная и теплая. Пошли по грунтовой дороге, до Чистополя было двадцать два километра. Шли легко, через какое-то время увидели речку, решили искупаться. Мы, девчонки, полезли в воду в платьях, так как за лето подросли и

стеснялись уже ходить в трусиках. И так, мокрые, пошли дальше, по дороге никто не встречался. Неожиданно вблизи дороги увидели деревянную вышку и несколько рабочих. Они бурили скважину. Мы покрутились около них и пошли. Мы беспокоились, как нас встретят в Чистополе, как накажут. Но никто не обратил внимания: как ушли, так и пришли, словно никакого колхоза и не было. Как раз ребята собирались в баню, мы к ним присоединились. Этот поход запомнился навсегда. Шли строем в линейку. Волосы накеросинены и поверх повязаны вафельными полотенцами. Подходя к писательской столовой, я заметила красивого молодого человека – тонкого, темноволосого, одетого в коричневый однобортный костюм, на голове темно-синий берет. Руки он держал в карманах и озабоченно слушал Валентина Парнаха, поэта-переводчика. В этот момент меня толкнула в спину Гедда Шор: «Лена, запомни, это Мур Цветаев, я в него влюблена». И я запомнила. Мне он показался старше, лет двадцати, и очень элегантным. И берет сидел на нем как-то особенно, по-французски. Мы уже знали, что случилось. Знали, что Цветаеву не прописали, обзывали всех начальников, от кого это зависело, сволочами, в том числе нашего директора Хохлова. Говорили, что именно он не взял ее на работу.

Парнах тоже был эмигрант и тоже из Франции. Он вернулся в 1920-е годы пропагандировать джаз, наивный, поверивший в молодую Россию. Почему-то он мне улыбался и спрашивал: «Скажи, Ёлочка, а хороший ли парень мой сын Шурка?» – а Шурка в это время был еще в детском саду. Парнах тоже был по-своему элегантен, хотя и тщедушен, и в стареньком пальто, и в помятой шляпе.

Мы много бегали по городу. Он нам нравился. «Церковь и базар, городской бульвар...» И песенка «Таня, Танюша, Татьяна моя», казалась про наш Чистополь. Мне запомнилось одно окно, двустворчатое, распахнутое, в котором я увидела знакомую по Берсуту девочку. К ней приехали родители, и они там поселились. Она облокотилась на широкий подоконник, за ней виднелась комната с высоким потолком. Дом был добротный, перед ним куст сирени, от него веяло таким покоем, которого и сейчас хочется. С тех пор я полюбила маленькие города.

Мы жили неустроенно. А на базаре продавалось много молока, золотистого масла в форме шариков, горшочки с топленой простоквашей-варенцом с запеченной, коричневой корочкой. Всё было безумно вкусно, иногда нам удавалось купить. В магазинах, по-моему, не было хлеба. Но на полках стояли горки консервов из крабов. Просто их тогда никто не ценил, не понимали, что это такое.

В правом крыле Дома крестьянина жили все маленькие девочки. Центральная палата была самая многолюдная, я жила в ней. Все мы были вшивые и ужасно этого стыдились. Не понимаю, почему нас не обстригли. В палате слева жили девочки чуть-чуть поменьше. Выделялась Ляля Розанова по прозвищу Муха. Ее мама была у них воспитательницей. Несмотря на общую неустроенность, они готовили спектакль по книге Лялиного папы Сергея Розанова «Приключения Травки».

В палате справа среди девочек моего возраста жила Марианна Бехер, ученица девятого класса. Ее отец Иоганнес Бехер, немецкий поэт, и мать находились в Казани. Они были пожилые люди. Кто-то из начальства упрекнул Марианну, что она немка и ей здесь не место. Она сидела в лыжных штанах, схватившись за голову в полном отчаянии. Это было несправедливо, и я всё старалась ее успокоить.



Детский сад Литфонда. 1939. В центре – А.И.Гроссман с дочерью Лялей Розановой. Крайний слева сидит – Миша Либединский. Стоят: Витя Щипачев (крайний слева), Лариса Лейтес (шестая слева), Валентин Никулин (крайний справа)

В это время многие уезжали в более далекие и теплые места. Очень быстро уехали Петровы, Катаевы, наша «любимица» Тамара Владимировна с Комой и Мишей. Появились новые воспитатели, например, Нина Антоновна Ардова (Ольшевская), которая временно устроилась с детьми в маленькой комнатке интерната на втором этаже. Стали приходить посылки из дома с зимними вещами. Я тоже получила: мама прислала мне старинный атлас мира на немецком языке. Я и сейчас в него заглядываю. В нем замечательно изображен рельеф и есть карты всех крупных столиц мира.



Нина Антоновна Ольшевская (Ардова). Нач. 1940-х

Когда одни уезжали, а другие приезжали, в интернате злобствовала малярка. Изолятор был забит. Девочки и мальчики находились в нем вместе, в одной палате. Появился новый врач – Наталия Петровна Перекрестова – худенькая, старенькая, седая, похожая на курсистку. Она внушала доверие. Ирник – медсестра Ирина Николаевна – неизменно была при ней. Я тоже дня три провалялась с температурой.

Уже наступила вторая половина сентября. Вернулся из колхоза Алёша Баталов. Он тоже получил посылку с ценными вещами: костюм лезгина с газырями, папаху белую, портфель для школы, готовальню большую, старинную, с костяными ручками, и печать их рода. Костюм он сразу же надел и прибежал показаться. А в эти дни Ира Ржешевская, его любовь еще по Берсуту, тяжело заболела и лежала в изоляторе с высокой температурой. Он так испугался за нее, что побежал за мамой, и они вместе всматривались сквозь стертую пятно на белом стекле амбулаторной двери, чтобы увидеть Иру. Как вспоминала спустя многие годы Ольшевская, Алёшина мама, он всё спрашивал, а не умрет ли девочка.

Нина Антоновна была актриса, красивая, добрая, естественная. Прихожу я как-то, и она спрашивает: «Ёлка! У тебя есть вши? А то я у Алёши нашла». Я покраснела и замялась. Она без всяких охов да ахов сказала: «Давай посмотрю, вычешу». И я перестала ее стесняться.

Ничем путным мы в это время не занимались, воспитательницей в нашей группе была Татьяна Михайловна, жена Леонида Леонова, мама Лены и Наташи, спокойная и доброжелательная.

Во второй половине сентября ко мне приехали мама и бабушка с четырехлетней Ирккой, моей двоюродной сестренкой. Они остановились в гостинице, где приезжих долго не держали, да и денег у них не было. С трудом удалось снять только угол в ветхом домике, за печкой, но места там было очень мало. А самое главное – нужно было ждать, пропишут их или нет. Бабушка растила Ирку с четырех месяцев, обожала ее. Ирка была шустрая, хорошенькая, кудрявая, с глазками, как вишни, любила песню «Чайка смело пролетела над седой волной...». За ней нужен был глаз да глаз, бабушка еле поспевала. Ирка была дочерью бабушкиного сына – Германа Павловича Розенгольца, ученого, микробиолога. Его арестовали в 1937 году в Перми, где он был директором и научным руководителем Института микробиологии и эпидемиологии. Это случилось сразу после ареста его старшего брата Аркадия Павловича, бывшего наркома внешней торговли СССР, проходившего по процессу право-троцкистского блока и расстрелянного в марте 1938 года.

Герман Павлович женился в Германии во время командировки на Лотте Лютце, тоже микробиологе. После его ареста Лотта приехала в Москву к бабушке со своими детьми и оставила у нее Ирку и старшую девочку, так как боялась, что ее могут арестовать, а со средней дочерью вернулась в Пермь. Ее не арестовали, и через некоторое время она увезла и старшую. А бабушка продолжала растить Ирку.

Я по-прежнему жила в большой комнате, наши с Таней кровати стояли рядом. Каждый вечер перед сном совершался обход воспитательницы с врачом или кем-нибудь еще. Вдруг стук в окно: мама. Оказалось, ночевать ей негде, и пришлось спрятать ее у себя. После обхода мама не смогла бы войти, так как интернат запирался. Чтобы я не волновалась и чтобы не заметили, Таня легла спать с ней. В палате было много девочек, но никто не выдал. Смелый Танин поступок я до сих пор вспоминаю с благодарностью. Плевала она на всякие условности.

Потом бабушка и мама снова поселились в гостинице и ждали, как решится их судьба. Я помню, как забежала к ним и узнала, что их все-таки не пропишут, потому что бабушка не мать писателя. Но главная причина в том, что она мать врагов народа. Мама вышла проводить меня, мы поднимались вверх по склону, к интернату. И тут она стала со мной говорить, советовать. С ней познакомился один летчик, очень порядочный человек, и предлагает выйти за него замуж и хочет нас удочерить. «Меня не надо», – тут же буркнула я. «Да, – сказала она, – но Ирка сменит фамилию, представляешь, он не боится нашей фамилии, хотя и Герой Советского Союза». Она назвала. Я забыла, то ли Дорохов, то ли Доронин. Мне это было неприятно слышать, и я заявила: «Делай, как

хочешь, а я останусь в интернате». – «Что ты, что ты, я так, советуюсь, я ничего не буду делать, если тебе не нравится». Это было нехорошо с моей стороны. В это время я была какая-то отчужденная, жила другими интересами, меня тяготили мамины заботы, они мне были не по силам.



Ева Павловна Левина-Розенгольц. 1936

Мама не знала, как быть: то ли бабушку с Иркой отправить в Пермь, где жила Лотта с детьми, то ли всем уехать в Казань. Я всё это смутно помню, но впоследствии мама рассказывала, как она летала на биплане (так она называла открытый маленький самолетик «У-2») в Казань в обнимку с козой. Летала на разведку узнать насчет жилья или за билетами в Пермь. Вернувшись, она и постучалась ко мне в окно, когда ей негде было ночевать.

До отъезда из Чистополя мама, бабушка и Ирка ютились в огромной комнате, поближе к пристани, в большой еврейской семье беженцев из Бессарабии. Запомнилась молодая женщина с грудным младенцем, со светлыми волнистыми волосами. Глаза у нее были большие, серовато-зеленые, под выпуклыми веками. Я, как всегда, забежала на минутку. Женщина посмотрела на меня с нежностью, в ней было что-то библейское, как на картинах старых художников.

Бабушка и мама уехали в Казань, я их не провожала. Они не хотели меня лишней раз беспокоить. В те дни в Чистополе я была им чужая. Мне стыдно до сих пор. Мне даже как-то приснилось: война; люди бегут от опасности в гору, и бегущие похожи на тех беженцев, а главное – со мной бабушка и мама, и они отстают, я оглядываюсь, тащу их за руки и оставляю. Мне жутко. Я их бросила...

В то же время некоторые писательские беженцы выглядели вполне благополучно. Особенно писатель Пётр Павленко. У него на лице блестели очки без оправы, а на поводках он выгуливал двух здоровых догов. Он в ту пору был знаменит и богат. Но многим другим жилось трудно и приходилось мыкаться.

Наша палата напоминала проходной двор, многие уезжали. Таня собиралась в Омск к тетке и ее мужу, бывшим разведчикам, которых только что выпустили из заключения, и

мужа назначили большим начальником. Таня не понимала, в чем дело. Всё это было странно и удивительно. Но мы, дети, никогда не задавали лишних вопросов. Таня, уезжала до пристани, на телеге в хорошем настроении, с надеждой на лучшее. Провожаящим на прощание сказала: «Не поминайте лихом».



Виктор Ефимович Ардов с детьми Борей и Мишей. Нач. 1940-х

Из близких знакомых у меня остались Ардовы, и то ненадолго. За ними приехал Виктор Ефимович. Мы собрались в столовой послушать его рассказ «Укушенный». Алёша Баталов стоял около Ардова и переживал за него. Ему хотелось, чтобы нам понравился рассказ. И, когда мы смеялись, он радовался. А зная, что будет дальше, давал понять: это еще что, самое смешное впереди. Все хохотали, одна девочка (Неля Дайреджиева) так смеялась, что никак не могла успокоиться, и тогда все уже смеялись над ней.

Ардовы тоже уезжали на телеге. Шел дождь со снегом. При прощании Алёша сообщил, что знает одну тайну. Это тайна жизни, и он не может ее открыть, так как я еще не пойму, а услышал он ее с Реджи по радио. И непременно потом расскажет. Мне было безумно интересно, я любила тайны. Но так я ее и не узнала.

До их отъезда мы вместе с Алёшей ходили в школу, сидели за одной партой. Школа находилась далеко, за сквером, в сторону пристани. Почему-то в той школе учились из интернатовских одни шестиклассники. И здесь преподавали только немецкий язык, а я учила в пятом английский, но мне домашних знаний хватило для шестого класса.

Нас, из интерната, было несколько человек. Я помню только мальчиков, а из девочек – Лену Леонову. Хорошо запомнился единственный урок немецкого. Перед ним Юра Кольчев крупно написал на доске: «Не хотим учить немецкий». Никто не успел стереть, как в класс вошел учитель. Он был молодой, высокий, хромал и с палкой. Он сразу же заметил надпись и гневно спросил: «Кто написал?» Он повторял много раз, он подходил к мальчикам с вопросом: «Ты?» Он кричал: «Вы трусы». От него несло перегаром, он был пьян. Наконец утихомирился, подошел к столу, обвел класс взглядом и остановился на Алёше: «Баталов, к доске». Я испугалась. Учитель набросился с допросом: «Это ты, и не признаешься, трус». Алёша сначала сказал, что не он, но учитель кричал и обвинял. Алёша молчал. Учитель побагровел и ударил его по лицу. Алёша слегка покачнулся, покраснел, на глазах появились слезы, рванулся, чтоб дать сдачи, но выдержал и промолчал. Я вцепилась в скамейку парты. «Иди на место», – сказал учитель. А я про себя подумала: какой Алёша молодец, что выдержал. Урок закончился. Мальчишки кинулись бить Кольчева.

После отъезда Ардовых я продолжала ходить в школу. Учились во вторую смену.

Возвращались всегда гурьбой. Было уже темно, и местные ребята нас задевали, дразнили. Мы отбивались портфелями. Нас, интернатовских, почему-то разъединили по разным классам. Поэтому если у меня кончался урок позже, то обязательно кто-нибудь ждал. Помню Никиту Санникова, Шуру Хазана и того же Колычева. Но совсем не помню ни учителей, ни как проходили уроки. На углу Володарского я видела истощенных мужчин, ободранных, с алюминиевыми мисками в руках, протягивающих их в окошко за похлебкой. Это были выпущенные заключенные, так мне сказали. Я вспоминала своих родных: одного дядю расстрелянного, а другого сидевшего неизвестно где. А может, они живы?

Мои хождения в школу скоро закончились: заболела. Высокая температура, сыпь. Положили в изолятор, оказалась ветряная оспа. Я лежала совсем одна, в проходной комнате, где врач и сестра принимали ребят с жалобами. Им измеряли температуру, перевязывали. Здесь же стоял шкаф с медикаментами. В соседней комнате лежал Миша Гроссман, ему было лет пятнадцать. Чем он болел, не помню. Иногда он подходил и говорил, чтобы я не чесалась.

К Мише Гроссману вечерами заходила Зоя Барта, хорошенькая и умненькая девушка, лет семнадцати-восемнадцати. Она работала подавальщицей у нас в столовой, а ее братишка Юра учился в четвертом классе и жил в интернате. Они были дети венгерского писателя Шандора Барта.

Однажды, когда свет в моей комнате погасили, зашла Зоя, и я услышала: «Скажи, Мишка, какой у тебя был самый тяжелый день в жизни?» И Мишка ответил: «Когда пришли арестовывать отца и его уводили».

Я была потрясена, потому что не думала, что эта тема могла касаться и писательских детей.

Я тогда не знала, что его родной отец Борис Губер, тоже писатель, посажен, а Василий Гроссман – его отчим.



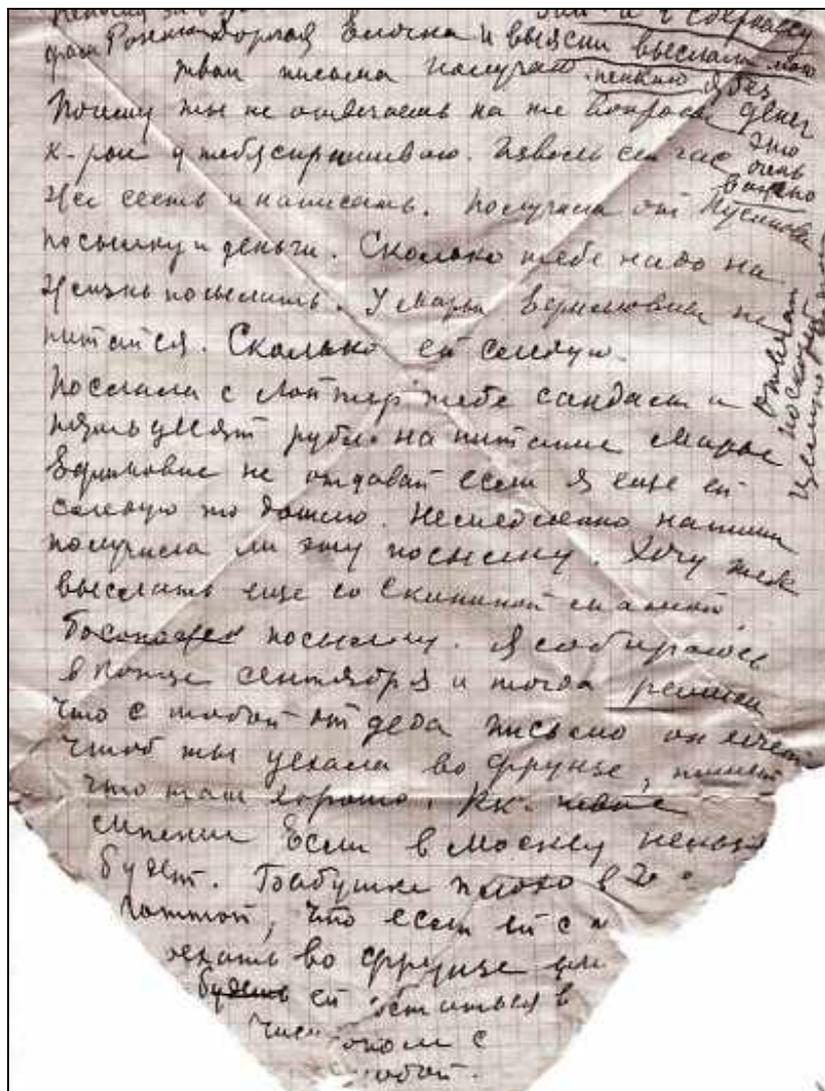
Лена Левина и Люда Рихтер с пионервожатой. Внуково, перед войной

В изоляторе я узнала, что нас окончательно расселили и я буду жить в пятнадцатой палате с девочками из пятого класса, они мне заняли место. Среди них были Ира Ржешевская и Люда Рихтер, которых я знала с самых первых поездок в пионерлагерь. В 1937 году мы были вместе в Поречье, через год – в Малеевке, в последующие годы – во Внукове, где нас летом застала война. Мы всегда жили в одной палате.

Люда была светленькая, складненькая, хорошо танцевала, мечтала стать балериной. Невероятная аккуратистка. Настоящая ее фамилия была Дурова. Ее опекала тетя – журналистка Зинаида Рихтер, отличившаяся в тридцатые годы прошлого века

репортажами из Китая, участием в перелетах и прыжками с парашютом. Ее даже называли «бабушкой газетного репортажа». Родители всегда навещали Люду в лагере с младшим братом Лёвкой, будущим артистом, крепко держа его за руки. Он то висел на руках, поджав ноги, то кувырчался. Людина мама была крупная в однотонном сарафане, добрая, очень домашняя. А папа худой, в строгом костюме. По типу – чеховский интеллигент. Люда нравилась Цезарю Голодному, и он с ней заигрывал. А когда отпускал комплименты, то обращался к ней «бабка», видимо, памятуя прозвище тети. Люда жила в Лефортово и всегда с гордостью говорила: «У нас в Лефортово». А Ира Ржешевская жила на Зацепе и говорила: «У нас на Зацепе». Она была высокая, статная, зеленоглазая красавица.





Письмо Евы Левиной-Розенгольц к дочери Лене из Москвы в Чистополь

И правдивая девочка, максималистка. На наших вечерах, вытянувшись, как паж, читала стихи из жизни маркизов и королей: «Король дает последний бал по милости господней».

Воспитательницей в этой палате стала Раиса Яковлевна Чичерова, жена писателя. Я ее знала только внешне, она казалась мне недоброй и ограниченной.

Начался ноябрь, а я всё еще валялась в изоляторе и ничего не знала о бабушке и маме. Вдруг неожиданно услышала за дверью голос Раисы Яковлевны: «Что это за странная женщина, похожая на ту, из Парижа?» Ей кто-то ответил: «Это мама Лены Левиной». В тоне было пренебрежение. Мне стало не по себе. Мама, конечно, казалась странной, необычной. Она носила брюки, в том числе и дома, когда работала, держалась свободно, курила. Она приехала последним парходом, сразу же пошла в интернат, чтобы увидеть меня, узнала, что я болею, а ее не пустили. Я расстроилась, меня это ранило. Я возненавидела Раису Яковлевну. К моей радости, девочки из пятнадцатой палаты уже успели с ней поскандальить, считали противной и дурой. Это успокоило мое сердце.

Наконец я вышла из изолятора. Была глубокая осень с заморозками, и уже падал снег.

Зима. Пятнадцатая палата

Комната большая, светлая с круглой железной печью. При входе налево стояла моя кровать. У каждого своя тумбочка. В центре – небольшой прямоугольный стол. Над ним висел абажур. Часто не было света, пользовались коптилками. Вместе со мной нас было семеро: Ира Ржешевская, Люда Рихтер, Лиза Григорьева, Тамара Хесина, Эра Росина, Мира Зивельчинская. Меня перевели в другую школу, расположенную довольно близко, на нашей улице, налево от интерната, за пожарной каланчой. Там учились все интернатовцы.

Жизнь вошла в свою колею. Занятия в школе, уроки; за столом делали письменные, а на кроватях – устные. С радостью ходили в баню. Вши исчезли. Всё время хотелось

есть. Вспоминали московскую еду. Еда у нас была, какая-никакая, но была, и вовремя. Завтрак, обед и ужин. Я помню, что часто давали гороховый суп, вместо мяса какую-то требуху, называемую сбоем. Пшенная каша, чечевица. Картофельные котлеты с бледно-розовым киселем. Весной стали кормить пирогами из ржаной муки с луком. Вначале мы на них набросились, но вскоре они надоели, так как их плохо пропекали и внутри они были слякотные. От них болели животы. Настоящий сахар заменили постным. Он был вкусный, как вареная сгущенка, в виде тонких плиточек, размером пять на три сантиметра. Его получали за завтраком и ужином. Комнату убирали сами, часто мыли полы. Раиса Яковлевна требовала тщательности: «До плитусов, до плитусов». Мы ей дерзили, всё делали с сопротивлением. Однажды она принесла для глажки рубахи и трусики мальчишек. Мы разворчались: мол, не наша забота. Угомонились только тогда, когда она сказала, что мальчишки из холодной воды вытаскивают нам бревна и не ропщут.

Зима была холодная, с Камы постоянно дули пронзительные ветры. Руки всегда замерзшие. Когда температура опускалась ниже тридцати пяти градусов, занятия отменялись и на пожарную каланчу вывешивали флаг. Мы так радовались, что выбегали на улицу раздетые, чтобы убедиться, висит ли он. В школе едва топили, сидели, накрывшись пальто.

Мы везде держались всей палатой: вместе сидели в столовой, вместе ходили в кино, были шумные, всё время чем-то возмущались. То мы были недовольны поэтом Асеевым и ходили его поучать, чтобы лучше относился к своему отцу То возмущались Леоновым: как тот посмел скупить весь мед на рынке, когда за ним стояла большая очередь.

Однажды Леонов пришел по каким-то делам к начальству и повесил шубу в нашей комнате, а мы не задумываясь порезали полу его шубы. Узнав об этом, Анна Зиновьевна старалась объяснить нам, как это нехорошо. Да мы и не скрывали, считая, что так ему и надо. А на вопрос, почему он не на фронте, Анна Зиновьевна ответила: «Он хороший писатель». Нас это еще больше настроило против него.

Еще я дружила с Мурой Луговской, Таней Зариной и Таней Никитиной. Они жили втроем в маленькой комнатке на третьем этаже и в отличие от нас были тихие и скромные. С Мурой меня связывало давнее знакомство. Однажды в лагерь во Внукове приехали наши папы. Мы были удивлены и обрадованы, что они дружат, вместе пошли гулять. Нас еще сблизало, что папы с нами не жили, а мы их любили. Мура внешне напоминала миленькую кисочку, домашнюю и уютную, а на самом деле была достаточно глубокая и даже взрослая. Дома ее звали Муха. Она любила это вспоминать, но в интернате это имя как-то не пристало, так же как и мое имя Ёлка. У нее на кровати лежала маленькая подушечка (думочка) и еще какие-то вещицы, напоминающие дом. Ее мама Тамара Эдгаровна работала в Бахрушинском музее, и Мура часто рассказывала о нем. А еще напоминал об этом музее бювар, который принадлежал Лизе Григорьевой. Он был темно-вишневый, кожаный, с инициалами «В.Б.», вытесненными золотом, что означало Верочка Бахрушина. Бювар Лизе достался в подарок от родственников Бахрушиных. Лиза часто сидела на кровати, наклонившись над ним, изображая игру на пианино, и напевала: «Одинок стоит домик-крошечка, он на нас глядит в три окошечка...» Лиза была смешливая и любила над собой надсмехаться. Внешне она походила на немку, и к ней прилепилось прозвище Лизхен. Лизин папа Григорий Григорьев-Каттель погиб в бою под Боровском, в народном ополчении. Он был автор научно-популярных повестей и рассказов, интересных и взрослым, и детям.

В интернате Лиза хотела продолжать занятия музыкой, но стеснялась. Однажды зайдя в кинотеатр, увидела пианино, прикоснулась к клавишам, и на звуки вышла сотрудница, оказавшаяся эвакуированной из Москвы пианисткой. Ее звали Инна Рубиновна. Она стала приходить в интернат заниматься с Лизой и другими детьми бесплатно.

Таня Зарина была ленинградка и племянница писателя Сергея Дзюбинского. Позже к ней приехала, вырвавшись из блокады, мама. Она устроилась воспитательницей в детском саду. Сам Дзюбинский воевал на передовой, а жена и дочери снимали комнату в Чистополе. Старшая из сестер – Ольга, прекрасная рассказчица и художественно одаренная, уже была студенткой театроведческого отделения ГИТИСа. Средняя –

Наташа, хорошенькая, смелая, мечтала стать артисткой, пока еще училась в десятом классе. Одно время была у нас пионервожатой. Она окончила курсы медсестер и летом 1943 года ушла на фронт. Я видела ее перед отъездом, уже в Москве. Встретились у театра Ермоловой. Пришли все ребята, кто уже вернулся домой. Наташа в шинели, кирзовых сапогах с вещмешком. Это была последняя встреча. Она погибла за двадцать дней до конца войны, на передовой в медсанбате во время обстрела. Наташа находилась в землянке, вой сирены ей показался стоном раненого – выскочила и была убита. Самая младшая из сестер Алёнка в основном жила в интернате.

Хорошо запомнилась Тамара Хесина, в синеньком платье с белым воротничком, с удивленным взглядом темно-карих глаз, плотненькая в отличие от нас, поэтому шутили: «Тамара Хесина слона перевесила». Она была совершенно незлобивая, сердечная и чуткая девочка. Ей приходилось опекать младшего братишку Витю, который жил в детском саду.

В школе класс был переполнен. За партой сидели втроем с Таней Зариной и Таней Никитиной. Из интернатских еще с нами в классе учился Алёша Сурков. Он жил дома, но много времени проводил в интернате. Кроме нас были еще эвакуированные дети. Я дружила как с ними, так и с местными. Но вообще мы держались своей кучкой, нас не хватало на других. Учителей я совсем не помню. Смутно только классную руководительницу – Нину Степановну. Случайно сохранился у меня дневник за шестой класс, и сейчас видно, как много уроков я пропускала. Запомнился урок по алгебре, когда объясняли, что $a+b=c$. В моей голове это никак не укладывалось, никак. С тех пор и пошли затруднения с математикой.

Мы всё еще продолжали отвратительно грубить Раисе Яковлевне. Что бы нам ни говорилось, всё воспринималось в штыки, несмотря на то, что это были разумные замечания и просьбы. Стыдно вспоминать. Даже пугали при ней, нарочно. Как-то она сказала: «Я даже при самом близком мне человеке – Иван Иваныче такого себе не позволяю».

Зимой вечерами, после того как уроки были сделаны, мы садились вокруг стола с каким-нибудь рукоделием, и Раиса Яковлевна читала вслух. Однажды она принесла «Малыша» Доде. Книжка взволновала. Тяжело было слушать, как дети издеваются над учителем. Мы расплакались и бросились к Раисе Яковлевне. Это было примирение. И Раиса Яковлевна стала нам близким человеком. Теперь мне она нравилась больше всех воспитателей.

Хорошо запомнилось, как нам поручили ловить дезертиров. Обычно ловили старшие ребята. Но почему-то послали меня на пару с Алёшей Сурковым. Нужно было по указанной улице заходить в дома и расспрашивать, есть ли мужчины и где они находятся. В первый день всё прошло нормально, мы обошли несколько домов. А на второй день нас выгнали. Мы прошли палисадник и стали стучаться. Никто не отозвался, мы вошли в сени и открыли дверь в комнату. Перед нами была печь, а на ней лежал мужик. Были видны его ноги в валенках. Вышла хозяйка и на наши, как казалось, невинные вопросы, сказала, что мужчин нет. А мы, показав на печку, спросили: «А этот?» И «этот» свалился с печки, чуть ли ни с топором бросился на нас с криком: «Вон отсюда, поганцы». Мы тут же сбежали. Было и страшно, и неприятно. Как помню, Алёша, немного окая, сказал: «Знаешь, это дело опасное, лучше не будем ходить. Здесь многие не любят советскую власть. Раньше они жили лучше, были богатые купцы, мукомольщики, торговали зерном. Вообще, кулачья осталось много». Недавно появились листовки: «Бей жидов и коммунистов, долой Сталина-лошадника, спасай Россию». Меня это сообщение ошарашило. Я не понимала, почему «Сталина-лошадника», а спросить постеснялась. И, мы, бросив наше задание, пошли в затон кататься с горки. Санок у нас не было, съезжали в большой корзине, в которую набивалось несколько ребят, и получалась куча-мала.

Алёша жил дома, поэтому лучше знал город и встречался с самыми разными людьми. Мы же существовали в своем замкнутом мире. Даже на улицу выходили по увольнительным запискам. Нам хватало общения друг с другом и с людьми, которые приходили в интернат получать обеды, в основном писатели или их жены.

Когда кто-нибудь приезжал с фронта, то обязательно выступал в интернате. Так что

впечатлений хватало. Я запомнила Илью Сельвинского в очках, совсем штатского человека, в военной форме, и как проникновенно он читал новое стихотворение: «Я это видел своими глазами». Особенно меня взволновала строчка «С какую заботою детская шейка повязана маминым серым кашне...»

На первом этаже интерната находились столовая и кухня, перед ними была большая проходная комната – «красный уголок», в ней стоял старинный рояль, и там проводились все представления: музыкальные, спектакли, чтение стихов и выступления писателей. Красный уголок перегородили длинной вешалкой, и отделенная часть превратилась в прихожую. Из нее через холодный и короткий коридор был выход во двор, а затем через арку – на улицу. В коридоре, против выхода, поднималась лестница, состоящая из двух маршей. Она вела на второй этаж, где находились наши комнаты. А дверь парадного крыльца была заколочена.

Вечером, когда всё утихомиривалось, за рояль садился Стасик Нейгауз и занимался до полуночи, если не позже. Чтобы ему не мешать, мы устраивались за вешалкой и слушали, кто сколько мог. А Светлана Шкапская сидела обычно до самого конца, так как любила его игру. Стасик работал много и серьезно, с полной самоотдачей. Он играл множество этюдов для беглости пальцев, ведь ему приходилось вместе с другими ребятами вытаскивать бревна из холодной Камы. У него коченели руки, но он никогда не отлынивал и не жаловался. На наших вечерах Стасик исполнял Шопена, Баха, Шуберта, Рахманинова, Листа. Тем не менее для нашего развлечения наигрывал всякие песенки: и блатные, и придуманные нами про интернатскую жизнь, словом, всё, что просили.

Многие он никогда раньше и не слышал, ему их насвистывали. В стихотворении Миша Панченко позднее вспоминал:

Далекие, скорбные годы,
И всё же, как их не кляни,
Среди грозовой непогоды
Бывали погожие дни,
И радостью наполнились души,
И прочь уходила печаль.
О море, о небе, о суше.
О жизни нам ведал рояль.
С тех пор для меня твое имя услышать —
и то как бальзам!
Мой Стас. Мой бурсак и... Святыня, —
Поверь моим мокрым глазам...

Были еще дети, которые занимались музыкой. Время для занятий распределялось по расписанию. Кажется, давалось по три часа днем. Особенно выделялся способностями Толя Дукор, наш барабанщик еще с пионерлагеря. У него было потрясающее чувство ритма. Он обожал свой барабан и отстукивал любимыми палочками не только подъемы и походные марши, а всё что угодно. На фортепиано играл прекрасно, часто импровизировал. До войны он учился в школе им. Гнесиных. В нем было что-то от джазиста. Ему было лет десять-одиннадцать, чуть полноватый, на голове русский ежик волос. Лицо округлое, веснушчатое, нос маленький. Он играл не только классику, но наигрывал, как и Стас, разные песенки. Толя был менее усерден, чем Стас, так как был подвижный и озорной. Он был всеобщий любимец.

Музыкальные вечера бывали часто. Играла Елизавета Эммануиловна Лойтер. Я запомнила Бетховена, Чайковского. Она же всегда аккомпанировала самодеятельности. У нас выступала известная скрипачка Елена Лунц, играла сочинения Паганини. Она тоже была в эвакуации в Чистополе. Стихи читала Людмила Кайранская. В городе даже висели афиши с ее концертами. На меня же произвела огромное впечатление Ангелина Иосифовна Степанова. Как-то зимой мы собрались в зале послушать Пушкина в ее исполнении. Она стояла сбоку от сцены, в углу, слегка поеживаясь от холода, в накинутом на плечи деревенском платке, и читала: «Мороз и солнце, день чудесный...», «Прощай, любезная калмычка...». Как же она читала, как она читала! Я до сих пор помню ее интонацию и ее голос. А «Калмычку» я услышала вообще впервые. С тех пор я

полюбила ее, мы бегали в чисто-польский театр на спектакль «Дядюшкин сон», где она играла Зиночку.



Зинаида Николаевна Пастернак с сыном Леонидом. 1942

Младшие ребята часто ставили спектакли. Помню, «Рейнекелиса» Гёте и еще небольшой спектакль на немецком языке, который начинался: «Als Burlala geboren war...», а заканчивался: «...gestorben war» [9]. Главными исполнителями в нем были Лариса Лейтес и Никита Бескин. Они напевали под аккомпанемент Елизаветы Эммануиловны. Лариса выглядела как сероглазый воробышек, а Никита – как светло-рыжий ребенок-старичок. У нас впервые запели «Давай закурим...». Музыку сочинила всё та же Елизавета Эммануиловна на стихи своего мужа Ильи Френкеля. Он в то время приехал с фронта на несколько дней повидаться с семьей.

Как-то я увидела в писательской столовой Пастернака. Было холодно, все сидели в пальто и ели из алюминиевых тарелок. А Борис Леонидович был раздет, только в накинутой на плечи телогрейке. С тех пор, где бы мне не ни приходилось перекусывать, я всегда снимаю верхнюю одежду.

Пастернака все боготворили и почитали. Я тогда еще не знала его стихов, но всё равно преклонялась перед ним. Он часто заходил в интернат, держался естественно и просто, носил телогрейку. Летом он читал нам первым перевод «Ромео и Джульетты». Было видно, что ему интересно, как мы слушаем. После его окружили и высказывались не только воспитатели, но и дети.

В интернате работала его жена Зинаида Николаевна, сначала сестрой-хозяйкой, а затем подавальщицей, всегда подтянутая, в белом фартуке и накрахмаленной наколке. Нам, девочкам, она тогда казалась некрасивой: у нее был тяжелый подбородок, она не улыбалась, и мы удивлялись, почему же Пастернак посвятил ей такие стихи: «Красавица моя, вся статья, / Вся суть твоя мне по сердцу, / Вся рвется музыкою статья, / И вся на рифму просится...» Несмотря на суровый характер, она как-то сочувственно на нас глядела и никогда не отказывала в добавке, а даже и сама предлагала.

В нашем отношении к воспитателям мы зависели от мнения старших ребят. Мы

прислушивались к их малейшим намекам. Когда они впервые поехали в колхоз с Еленой Викторовной Златовой, то были в восторге от нее. А спустя какое-то время назвали ее сухарем. Но мне Елена Викторовна нравилась. Она как-то во время дежурства зашла к нам в комнату погасить свет и пожелать спокойной ночи, подошла ко мне и нежно погладила. Это внимание мне было дорого, и я ее защищала. Старшие ребята, конечно, были максималисты. И если что не так, то каждое лыко было в строку. Даже к Анне Зиновьевне придирались. Сначала относились к ней с восхищением, а вскоре я услышала, что она «волк в овечьей шкуре». Анна Зиновьевна выглядела настоящей дамой старинного образца, хотя была советской учительницей биологии, – статная, с гладкой прической и взглядом серых глаз с поволокой как-то сквозь тебя. Перед ней я чувствовала себя двоечницей. Она любила музыку и поэзию. Из ее уст я впервые услышала Мандельштама: «Мне на плечи бросается век-волкодав». Жизнь показала, что Анна Зиновьевна по своим поступкам и делам – порядочный человек. Многим она помогла.

Выделялась среди воспитателей своей непосредственностью Флора Моисеевна Лейтес, в прошлом известная красотка среди писательских жен – за глаза просто Флора, естественная, даже какая-то слишком натуральная, с крупным носом. Она кокетливо ходила в наброшенном на плечи голубом одеяльце, как будто это модный палантин. Ее никто не боялся. Сначала ее восприняли на ура, а потом: «нет – дура». Цезарь Голодный подходил вечно с одним вопросом: «Расскажите, Флорочка, как Маяковский объяснялся вам в любви на пляже?» Флора смеялась и подковырки не замечала. Тем не менее Флора одна из первых и немногих, кто поддержал Цветаеву в ее последние тяжелые дни.

Словом, угодить нам было трудно. А уж нашего директора Якова Фёдоровича Хохлова мы просто считали сволочью, хотя всё хозяйство держалось на нем.



Миша Либединский с мамой Марией Фёдоровной Бергольц. Перед войной Мы, конечно, не могли судить о его работе, но его грубости и хамства не терпели и боялись.

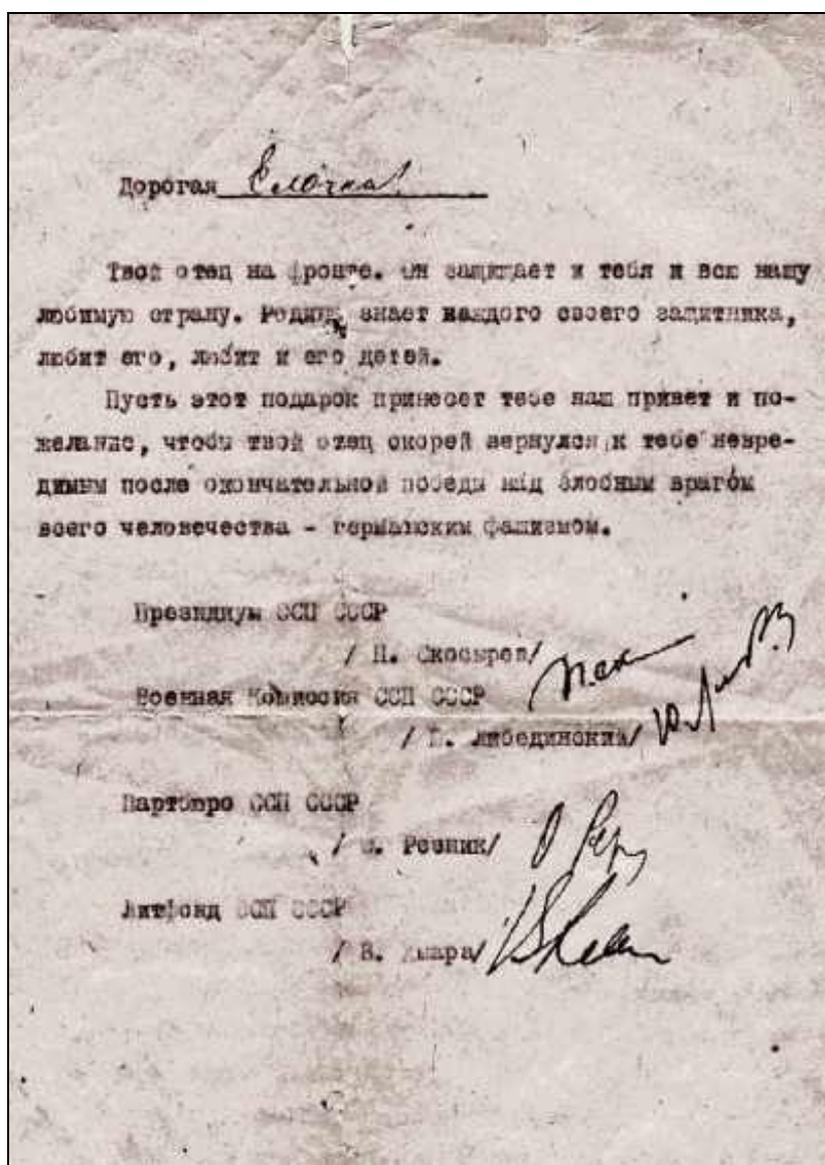
Анна Зиновьевна служила буфером между нами. Летом он начал «чистку кадров». Например,

Лоре Дыкман пришлось уехать.

А Мурку Луговскую Хохлов доводил до слез, грозился выгнать, так как вовремя не пришли деньги за ее проживание, да еще мучил вопросами, что с ее папаней, прекрасно зная, что у того неприятности.

С другими воспитателями я не сталкивалась, но мне они казались не вредными, а хорошими. Молодая и красивая Рита Ноевна Лурье справлялась с самыми трудными мальчишками – десяти-одиннадцати лет. Они были неуправляемые, у них часто бывали драки, они устраивали темную то одному, то другому, спорили на «американку», или на более суровую «русскую» [10]. Причем всё происходило на фоне вечного желания есть. Да и рассчитывались едой. В споры их вовлекали старшие мальчишки, которые, конечно, выигрывали. Об этом догадались воспитатели и стали строго следить в столовой, пока это не прекратилось. Этих мальчишек боялись и продавцы на рынке, так как они могли что-нибудь стибрить. Запомнилась парочка братьев – Миша и Юра Панченко. Они были погодки. Один кареглазый, другой сероглазый. Называли их «Экипаж братьев Панченко». По виду два таких невинных лобастых оболтуса. Когда они ссорились с Толей Дукором, то дразнили его, заикаясь: «Толстый, жирный, конопатый, жаба». Эти мальчишки почти всем давали прозвища.

Недолго к этой группе примыкал Миша Либединский, но ему доставалось. Он был правдив и наивен, романтичен и влюбчив. Я слышала, как он в уборной, которая у нас называлась «ноль-ноль», распевал «Сулико».



Приложение к подарку от Союза писателей Лене Левиной. 1942

Мишу я впервые увидела до войны, ему было около шести, а мне – восемь. Меня привел к Либединским папа, они жили недалеко, на Сивцевом Вражке. Миша сразу же вытащил из дивана коллекцию минералов и стал про нее рассказывать. Поразила своей красотой его мама Мария Фёдоровна, а для папы просто Маша или Муся. У нее было тонкое лицо с правильными чертами. Когда мы зашли, она сидела перед зеркалом и расчесывала длинные светло-каштановые волосы, которые почти прикрывали ее

стройную фигуру. Она была младшей сестрой Ольги Берггольц, ей посвящено стихотворение, начинающееся так: «Машенька, сестра моя, москвичка! / Ленинградцы говорят с тобой. / На военной грозной перекличке / Слышишь ли далекий голос мой?» Она привезла детям подарки от Союза писателей. И я тоже получила подарок, к нему было приложено письмо с обращением: «Дорогая Ёлочка! Твой отец на фронте. Он защищает и тебя и всю нашу любимую страну. Родина знает каждого своего защитника, любит его, любит и его детей...». Я поверила, что мой отец жив. Это было убедительно. Главное, мне этого хотелось. В интернате Миша не прижился, его обижали, пришлось переехать к любимой бабушке. Главным обидчиком был Никита Бескин, «гаденьш», как вспоминал Миша. В конце зимы приехала его мама, та самая Муся, по-прежнему красивая, в худеньком пальто и в летном шлеме, который был ей к лицу.



Ёлка с мамой. 1940-е

Моя мама жила на улице Галактионова, в маленькой и уютной комнатке, но приходила я к ней редко – всё какие-то дела. Жилось ей трудно, я не представляла, на что она жила, но когда я приходила, она всегда меня подкармливала. Обычно это бывали хлеб с маслом и луком. Хозяева у нее были муж и жена, грамотные, городские. Его смутно помню, похож на бухгалтера. А хозяйка смотрела исподлобья, как-то подозрительно, к тому же она носила очки, привязанные черными шнурками.

В первый же раз, когда я пришла, мама радостно сообщила: «Представляешь, у них целая коллекция граммофонных пластинок. Много Шаляпина и других певцов. Можно послушать, но в их комнате». Среди пластинок оказалась одна с записью арии Германа «Что наша жизнь? Игра!» в исполнении маминого дяди – Николая Ростовского. Мама, конечно, обрадовалась. Удивительно: он в это время жил рядом – в Казани, а мы и не знали!

Мама работала в художественной артели товаров ширпотреба объединения инвалидов. В чем заключалась работа – не знаю. Знаю только, что ей удалось создать цех для «обеспечения работой эвакуированных жен писателей-фронтовиков», в котором «изготавливалась продукция для детей дошкольного возраста». Так указано в

сохранившейся справке. Это был заработок для членов семей писателей, а главное – рабочая карточка, спасение для многих. Всё это организовывалось под покровительством ССП [11], с помощью К.А. Федина и А.Г. Глебова. Цех включили в артель им. Ворошилова Всекопинсоюза (объединение инвалидов) Чистополя. Я помню, как в интернате мы тоже вязали из вигоневых ниток распашонки для детей, но это было недолго. Позднее, уже в Москве, цех перерос в вязальную, а затем в швейно-пошивочную мастерскую Литфонда, а затем в первоклассное ателье.

Мама иногда приходила ко мне в интернат. Она была доверчивая и радовалась пустякам. Я слышала, что она красивая, но относилась к этому, как к повседневности. Ведь это мама. Я запомнила, как она как-то зимой пришла ко мне в сером пальто с небольшим воротником из серого каракуля, в такой же шапке, бывшей папиной папаше времен Гражданской войны, а сверху повязанная серым платком. И радостно сообщила: «Мне сказали, что я самая красивая женщина в Чистополе, а как ты считаешь?» Я смутилась и что-то буркнула, хотя действительно видела, что красивая: у нее такие ясные голубые глаза на румянном лице! Но мне неловко. Всегда неловко. Как-то она посмотрела на меня, что-то веселое мелькнуло в ее взгляде, и она удивленно заметила: «А ведь у тебя волосы стали виться. Ты что, влюбилась?» Я, конечно, скукожилась от смущения и отмахнулась.



Мария Тимофеевна Бергольц. Ленинград, кон. 1940-х

У мамы в Чистополе появились близкие люди. Среди них были и старые знакомые – Лиза Крон, Тарковские, и новые, с которыми она потом продолжала встречаться и в Москве: Бэлочка Коток, Василиса Георгиевна Шкловская, Бугаевские, Оля Дзюбинская. Из интернатских детей с мамой в Чистополе подружилась Галя Щербакова. Навещала ее и Нелла Иоффе. Как-то она зашла к маме, и застала ее без сознания, видимо, от угара, и

вызвала врача. Вернувшись в интернат, срочно погнала меня к ней.

Некоторые из чистопольских знакомых жили в Москве по соседству, и связь продолжалась. Например, Татьяна Исаевна, жена поэта Николая Панова, служившего на Балтике. В детском саду находился ее сын Женя. Как-то Татьяна Исаевна, проходя мимо наших окон и увидев маму, всё махала, махала рукой, и мама ей вслед заметила: «Панова – хорошая баба». Для мамы это была высшая похвала. А я подумала: какая же баба, она интеллигентная и городская.

Особенно нежно мама относилась к родителям Юрия Крымова, уже к тому времени погибшего на войне. Их она называла Беклемишевы. Мама – Вера Евгеньевна Беклемишева, высокая худая старуха с горящими карими глазами, куда-то устремленными, в ней было много девичьего, и отец – Соломон Юльевич Копельман, бывший издатель. Он был невысокий, с неуверенной походкой старика. Даже когда стоял, казалось, его можно сдуть, как одуванчик. У них была невестка, часто заходившая в интернат, Ирена, польского происхождения. Мне безумно нравилась ее внешность, хотелось ей подражать. Она носила воротник зимнего пальто нараспашку, как апаш, и я так же делала. Сейчас я бы сказала, что она была похожа на Анни Жирардо.

Мама познакомилась и подружилась с Марией Тимофеевной Бергольц, матерью Ольги и Муси. Мария Тимофеевна как-то удлинила мне пальтишко, из которого я выросла, так удачно, что я его полюбила и долго носила.

В Чистополе жили четыре сестры Синяковы, любимицы футуристов и сами авангардистки. Одна из них, Ксения, была жена Асеева. Две сестры, Мария и Надежда, жили вместе с ней. Мария, давнишняя мамина знакомая с гладкой прической, молчаливая и с внимательным взглядом серых глаз, была художница. Надежда, в прошлом пианистка, немного с чудинкой. За глаза мама ее звала Надькой, а также добавляла, что она очень талантлива и в нее был влюблен Пастернак. Четвертая, Вера, жила с мужем Семёном Гехтом отдельно.

У Асеевых была большая комната в угловом доме на главной улице, на втором этаже. Как-то мы пошли к ним в гости. Нас встретили приветливо, меня разглядывали. Кажется, я им понравилась. А Надя сказала, что у меня нос похож на нос Сережи Навашина. Я восприняла это как комплимент, так как слышала, что он «красавчик».

Ранней весной мама собралась в Москву: ее беспокоила квартира, в ней временно поселились чужие люди, а главное, нужно было зарабатывать. В Союзе писателей ей дали командировку в Казань с просьбой в управление НКВД о получении пропуска в Москву по делам артели. И она первым же пароходом решила уехать в Казань.

Из Чистополя не так просто было выехать, так как расписание еще не установилось и существовали проблемы с билетами. Она провела на пристани два дня. У меня сохранилось письмо, отправленное с пристани, где она пишет: «Вчера думала тронуться, но не удалось. Хотелось утром добежать до тебя, чтобы крепенько поцеловать, но боялась рискнуть. Еду на Горький, спокойно, билет на руках. Как дальше, не знаю».

Начало весны связано с Алёшей Сурковым: он принес нам свежий светло-зеленый огурец. И мы делим его на несколько частей. Запах потрясающий. Алёша вообще был добрый, он много возился с маленькой сестренкой Наташкой. Как-то она расхныкалась. Дома было холодно, и ей хотелось есть. Алёша посыпал кусок черного хлеба солью, разрезал на кусочки и сказал: «Ешь по кирпичику, и у тебя сложится печка, и будет тепло». И Наташка успокоилась.

Незаметно кончилась школа, перевели в следующий класс. И началась наша работа на огороде.

Лето и осень. 1942 год

Окраина Чистополя переходила в колхозное поле, небольшая его часть с краю была отдана нам под огород. Начали с посадки картошки. Потом окучивали, помнится, не один раз. Пололи репу, свеклу, морковь и еще что-то. Каждому выделялось по несколько грядок для выполнения нормы. Спозаранку шли на огород, работали до обеда, примерно до двух часов дня, уставали. Осенью отбивали просо палками и цепью, затем провеивали. Собирали урожай и засаливали зеленые помидоры в бочки. Как это делать, показывал сам директор Хохлов. Тогда он мне даже понравился.

Летом мы переехали в знаменитую палату номер шесть, где до нас жили старшие девочки. Мы к ним относились с пиететом, переезд нас обрадовал, как перемена жизни, да и палата была уютнее. Мне нравилась Варя Шкловская, и мне досталось то место, на котором она спала. Я видела в этом хороший знак. Зимой мы заметили, как на лестнице против нашей комнаты Варя целовалась с Борей, сыном Хохлова. В это время прошли слухи, что у них роман. Тут же появилась песенка с нескладными словами: «И вот из палаты под номером шесть нам велено было блондинку привести», – имелась в виду Варя. Ей тогда было пятнадцать лет, и для меня в дальнейшем это стало как бы точкой отсчета. Как же так, Варя в этом возрасте уже целовалась, а я еще нет.

Мы много времени проводили в нашем дворе: стирали, гладили, чистили картошку для кухни. Я помню, как Люся Ставская помогала мне стирать. Она была по-бабьи заботлива. Во дворе даже делали стенгазету. Двор окружали сараи и стойла для лошадей. В интернате была лошадь с телегой и возчик. Часто лошадью правили старшие мальчики. В лес за ягодами и грибами не ходили и, как ни странно, даже не купались. Одно время увлекались вышиванием аппликаций на наволочках для маленьких подушек. Я вышила белого поваренка на темно-синем сатине. Мне его нарисовала Гедда. Шор. Еще мы занимались немецким языком с Маргаритой Вильгельмовной Куреллой. Дураки – ленились. Помню, учили стихотворение Гёте: «*Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? / Es ist der Vater mit seinem Kind*» [12].

Летом мы стали ходить в госпиталь. Он находился за парком, наискосок от школы. Мы выступали по палатам с чтением стихов, одна девочка играла на баяне, другие танцевали. Я читала стихотворение Михаила Светлова «Двое». Оно было про Гражданскую войну, но мне нравилось и подходило к военной обстановке. Еще стихотворение Лебедева-Кумача «Юный патриот» – о мальчишке, тушившем зажигалки. Оно начиналось так: «Руки смуглые в царапинах, / Непокорный взбит вихор, / На плечах тужурка папина, / Строг и важен разговор...» Самое важное было помогать писать раненым письма. Мы это охотно делали. Старшие ребята отправлялись группками работать в колхоз на короткие сроки. Колхоз находился километрах в семи от Чистополя. Ездили на подводе или ходили пешком.

Осенью 13-го сентября произошло событие, которое нас потрясло на всю жизнь.

Большие мальчики рвались на фронт, даже до срока. Так, Женя Зингер и Миша Гроссман ходили летом в военкомат на занятия по военной подготовке, в так называемый всеобуч. В этот день они пошли как обычно. Во дворе ждали военрука.

Кроме них на занятия пришли ребята из местных и эвакуированные. Кто-то нашел валявшийся снаряд. На нем стояло клеймо 1923 года. Думали, что учебный. Стали его чем-то бить, колотить, и произошел сильный взрыв. Все ребята были сильно ранены, изувечены и погибли – кто на месте, а кто в госпитале. Их было тринадцать. А Жене Зингеру повезло, потому что он в это время отлучился в уборную.

Грохот от взрыва раздался такой силы, что мы слышали его на огороде и не могли понять, что это. Когда вернулись в интернат, то увидели взволнованного Женю, стоявшего у входа в дом. Он уже что-то рассказывал, а когда подошли мы, начал снова и много раз повторял и повторял, как нашли снаряд, как его упорно били, всё пытались выяснить, настоящий или нет. Какой ужас он увидел: изувеченные тела, погибших и Мишу без рук и ног. Потом появились люди с носилками, которые отвозили их в госпиталь. Один мальчик успел сказать: «Я из Лодейного Поля, у меня отец генерал, на фронте» – и умолк. Миша умер на другой день.

У Миши чуть ли не накануне был день рождения, ему стукнуло шестнадцать лет. Ребята принесли ему на стуле Тату Сельвинскую, как бы в подарок. Считалось, что он в нее влюблен. Шутка понравилась, и все смеялись.

После началось расследование, прилетели начальники даже из Москвы. Женю вызывали как свидетеля и требовали, чтоб он подтвердил, что снаряд им подсунул военрук. Это была неправда, военрука в то время не было. Он был местный парень, вернувшийся с фронта по ранению. Женя упорно отрицал этот поклеп, хотя на него и давили.

Не обошлось и без скандала. Одну из воспитательниц Женя послал на три буквы: та первая встретила его, удивилась, что он выжил, и назвала везунчиком. Кончилось тем,

что его выгнали из интерната за мат. Но через некоторое время приехал с фронта его отец, журналист и писатель Макс Зингер, крепко поговорил с директором Хохловым, и вскоре Женя вернулся. После окончания девятого класса он уехал и поступил служить во флот. О флоте у нас мечтали многие.

В тот же день, когда произошла трагедия у военкомата, нас собрала Анна Зиновьевна в столовой и прочитала письмо от Тимура Гайдара. Он некоторое время назад рванул в Москву и тоже стремился в армию, во флот. Его письмо начиналось так: «Дорогие ребята, погиб мой отец. Погиб не только мой отец и хороший писатель, но и хороший человек». Дальше не помню, я ревела. А заканчивалось письмо словами: «Ближе вас у меня никого нет». Все плакали.

И всё это произошло в один день.

Тимур действительно был верным товарищем, никогда никого не обижал, брался за любую работу. Он мечтал о море, носил тельняшку и пояс с морской бляхой. У него было двое штанов, я даже их запомнила: коричневые вельветовые, фасонистые, любимые, а другие кофейного цвета, обычные. Их перед отъездом он поменял на сто кусков постного сахара, который скопили брат и сестра Зивельчинские – Мира и Лёва. Ему в дорогу сахар был необходим, а Лева уже вырос из своих брюк. Копили сахар для Москвы, недоедали.

Мира жила в нашей палате. Лёва вечером приоткрывал дверь и отдавал ей свою долю. Она хранила сахар в наволочке, в закутке за кроватью. Мира была серьезная, голубоглазая, с тихим надтреснутым голосом, хорошо училась и много читала. К ее мнению мы прислушивались. После ареста моей мамы она оказалась надежным и верным другом, не оставляла меня.

Поздней осенью, в начале ноября, за мной приехала мама. Пропуска для меня не было, поэтому билет на поезд купить нельзя. Я поехала зайцем. К нам прилепились еще двое безбилетников – Фрида Эгарт и Вадим Обрадович. Их родители просили маму довести ребят только до Казани, в надежде, что им помогут в тамошнем Союзе писателей. Мы целую ночь провели на пристани в ожидании катера. Он был последний. Кроме нас его ждала Лора Дыкман. Она уезжала в Ташкент к родителям, ее провожал Гриша Курелла. К утру собралось много народу, особенно женщин, им нужно было что-то передать в Москву. Наконец причалил наш катер, перекинули трап, и толпа ринулась на палубу. Одна из провожающих, жена писателя с грудным ребенком, поднялась с нами, и попросила маму поддержать его минутку и скрылась. На катере что-то забурчало, сообщили, что скоро отправка, а женщины не было. Подняли трап и, пыхтя, стали отплывать. Что делать? Мама бросилась на поиски – нигде нет. Тогда она побежала к капитану, и катер повернул назад. Там еще стояла толпа провожающих, и эта женщина как ни в чем не бывало забрала младенца.

Мы спустились в трюм, чтобы найти место, где приткнуться. Там встретили Семёна Израилевича Липкина. Он сидел около окошка в морской форме, возвращался с побывки в свою часть и меня посадил рядом. Поплыли. Я смотрела на воду.



Ева Павловна Левина-Розенгольц. Красноярский край, нач. 1950-х

Мое отношение к жизни в Чистополе было двойственное. С одной стороны, Чистополь оставался для меня дорогим городом. В интернате мы все сроднились. При встречах после Чистополя понимали друг друга с полуслова. Когда я потом услышала, что в Мясном Боре находят останки погибших солдат из глубинки Татарии, я вспомнила тех ребят, которые уходили на войну под плач своих матерей и громыхание бульжников на пристани. Это было в Берсуге. Это были мои земляки.

С другой стороны, мне никогда не хотелось там снова побывать, хотя возможность была, так как какое-то время работала в тех краях. Не хотелось возвращаться в прошлое. Дело не во вшах и постоянном недоедании. Мы все-таки были в интернате и вовремя имели свою тарелку супа, о нас заботились, и у нас была интересная жизнь. Но у каждого ребенка были свои тревоги и трудности: у большинства отцы были на войне, у некоторых и матери. Многие не вернулись. Война перевернула наши жизни.

Я сожалею, что ни на историю края, ни на архитектуру города мы тогда не обращали внимания, не ценили старинные постройки, для нас он был «невзрачный городишко». Мы были временные, эвакуированные. Я помню, как хорошо Чистополь расположен на пологой равнине на берегу Камы, в удобном месте для причала судов, вокруг распаханые поля, а за ними – Прикамская тайга.

Центральная улица тянется вверх от реки. Она была самая широкая, со сквером посередине, застроенная в основном каменными купеческими особняками. Параллельно ей шли улицы более узкие, с деревянными домами, а их пересекали переулки, повторяющие изгиб реки, – так образовывались городские кварталы в виде неправильных квадратов.

На меня яркое впечатление произвел дом, в котором жили Леоновы. Как-то меня пригласила в гости Лена Леонова. Это был особняк на центральной улице. Крыльцо и высокие, без переплетов окна по фасаду. Комната большая, прямоугольная. Почти во всю ее длину большой стол, над ним старинный абажур с бахромой из бисера. Стены с полками книг и шкафами. Я была удивлена и спросила: «Неужели вы столько книг

притащили?» Лена объяснила, что этот дом и книги принадлежат бывшему представителю издательства Сабашниковых в Казани. Лена показала мне мелкие фигурки животных и предметов, которые она лепила из расплавленных тюбиков от зубной пасты.



Интернатские девочки во Внукове. 1944. Слева направо: сидят – Марина Лебедева-Кумач, Скина Вафа, Лиза Григорьева, Эра Росина; стоят – Римма Шугаева, Лена Левина, Лина Гершензон, Тамара Хесина

Вокруг Чистополя располагались, бывшие дворянские усадьбы, а мы и не видели их. В Чистополе отбывали ссылку крестьяне после Тамбовского восстания. На Алёшу Суркова и Толю Дукора нападали ребята – их дети, и каждый раз приходилось с ними драться, когда мы шли из школы ночевать домой или несли обед в судках.

В Чистополе мы были укрыты от ужасов войны. Мое пребывание там сыграло важную роль в моей жизни. Это и коллектив, и преодоление трудностей, и, главное, непосредственная связь с природой. Она повлияла на выбор профессии, там начался мой путь в геологию и географию. Даже вспоминая местный пейзаж, мне хочется его объяснить глазами геолога.

Сейчас нас осталось мало. Время спрессовало тогдашнюю разницу в возрасте, сnivelировало ее. Мы все как одноклассники, как из одного гнезда. От Гриши Куреллы, ушедшего на войну, до маленькой тогда Наташи Сурковой. Жизнь разметала нас даже по разным странам, но осталось роднящее прошлое – военное детство в Чистополе. А это много значит.

Софья Богатырёва Берсут-Чистополь-Москва

Родилась 19 марта 1932-го в Москве и прожила там большую часть жизни. Мой отец Игнатий Игнатьевич Ивич-Бернштейн (печатался под псевдонимом Александр Ивич) – писатель, литературный критик, журналист; в двадцатых годах прошлого века создал издательство «Картонный домик», которое просуществовало недолго, но выпустило несколько значительных книг.



Софья Игнатьевна Богатырёва. 2000-е

Отец был высокообразованным, блестящим и талантливым человеком, прирожденным хранителем культуры и как хранитель запрещенных в советское время рукописей и произведений уничтоженных режимом или эмигрировавших поэтов и писателей сыграл в истории новейшей русской литературы заметную роль. Выпавшие его поколению потрясения: Февральская революция, Октябрьский переворот, Большой террор, Отечественная война, которую он прошел с первых ее дней до последних военным корреспондентом в действующей армии, клеймо «безродного космополита», доставшееся ему в 1949-м – не позволили моему отцу, как и многим его ровесникам, реализовать свои возможности в полной мере.

Моя мать, Анна Марковна Бамдас, в тридцатых годах работала в журнале «Огонек», пережив и его расцвет, и разгон редакции, позднее – в журнале немецких антифашистов "Das Wort" («Слово») и в «Знамени». Родители были очень разными по характеру: отец – несколько высокомерный, холодноватый петербуржец, мама – типичная москвичка, отзывчивая, гостеприимная, любящая людей и всеми тоже любимая. Довоенное детство прошло под знаком взаимодействия противоположных сил: безмятежного тепла внутри дома и грозной опасности, клубившейся снаружи. Те, от кого шло тепло, – мама, папа, няня, потом гувернантка, навещавшие нас бабушка и тетя – противостояли холоду, идущему извне – страху. Страху обыска и ареста родителей. На сей счет имелись инструкции, очень рано выученные назубок: если родителей «заберут», надо бежать к той самой любимой тете, непременно пешком и ночью, а то утром увезут в детский дом. Когда возник страх, мне теперь не вспомнить, сейчас кажется, что был всегда. Ночным кошмаром долгие годы оставался звук тормозов машины, остановившейся у дверей нашего дома – может быть, именно той, что явилась забрать маму и папу. Своих взглядов на сталинский режим и на то, что происходит в стране, от меня не скрывали.

Чистополь, несмотря на голод, холод и бесконечные болезни, которые к нам всем всё время липли, в моей жизни оказался важнейшим периодом нравственного становления,

поисков ответа на вопросы «что такое хорошо, и что такое плохо». Примеряла опытным путем и ту, и другую модель поведения, пока не убедилась, что каждое, даже малейшее, нарушение этических норм против меня же и оборачивается. Очень это пригодилось в дальнейшем! Если бы я находилась в интернате постоянно, а не была проходящей полупансионеркой, на размышления и разного рода переживания ушло бы меньше времени и сил, удалось бы приобрести полезные навыки общежития, но зато внутренняя жизнь и душевная работа не были бы столь интенсивными. Память о тех полудетских попытках выработать к десяти годам свой категорический императив помогла мне понять роль ранних отроческих лет в развитии мировоззрения и подтолкнула к тому, чтобы впоследствии всерьез заняться литературой для детей и детским творчеством.



Константин Богатырёв. 1950

Школьные годы после возвращения в Москву провела, читая русскую и, в переводах, иностранную классику, стихи и прозу Серебряного века (у отца была отличная библиотека, частично погибшая во время войны, но и того, что осталось, мне хватало с лихвой), а также слушая разговоры бывавших у нас друзей дома: Виктора Шкловского, Лидии Чуковской, Надежды Мандельштам, Алексея Ивановича Пантелеева, Ивана Халтурина, Ираклия Андроникова и других, менее известных, но не менее замечательных людей. В школу старалась ходить как можно реже, на уроках читала книжки, но в десятом классе взялась за ум, получила золотую медаль, благодаря чему поступила на филологический факультет МГУ. В университете продолжала делать то же, что в школе: читать книжки, только не тайком под партой, а на законных основаниях, занимаясь в основном русской поэзией. В то время нам было у кого учиться: на филфаке вели семинары и читали лекции С.И. Радциг, Н.К. Гудзий, Д.Д. Благой, Ю.Б. Виппер, С.М. Бонди, С.И. Бернштейн. Курс наш был в должной степени ярким, и сокурсники ко мне благоволили, но все мои дружбы наталкивались на один и тот же порог, через который мое доброе отношение не могло переступить: любовь к советской власти и откровенный прагматизм, у кого-то – грубый и примитивный, у кого-то – поглубже спрятанный.

Окончание университета совпало с наступлением «оттепели». Стали возвращаться из

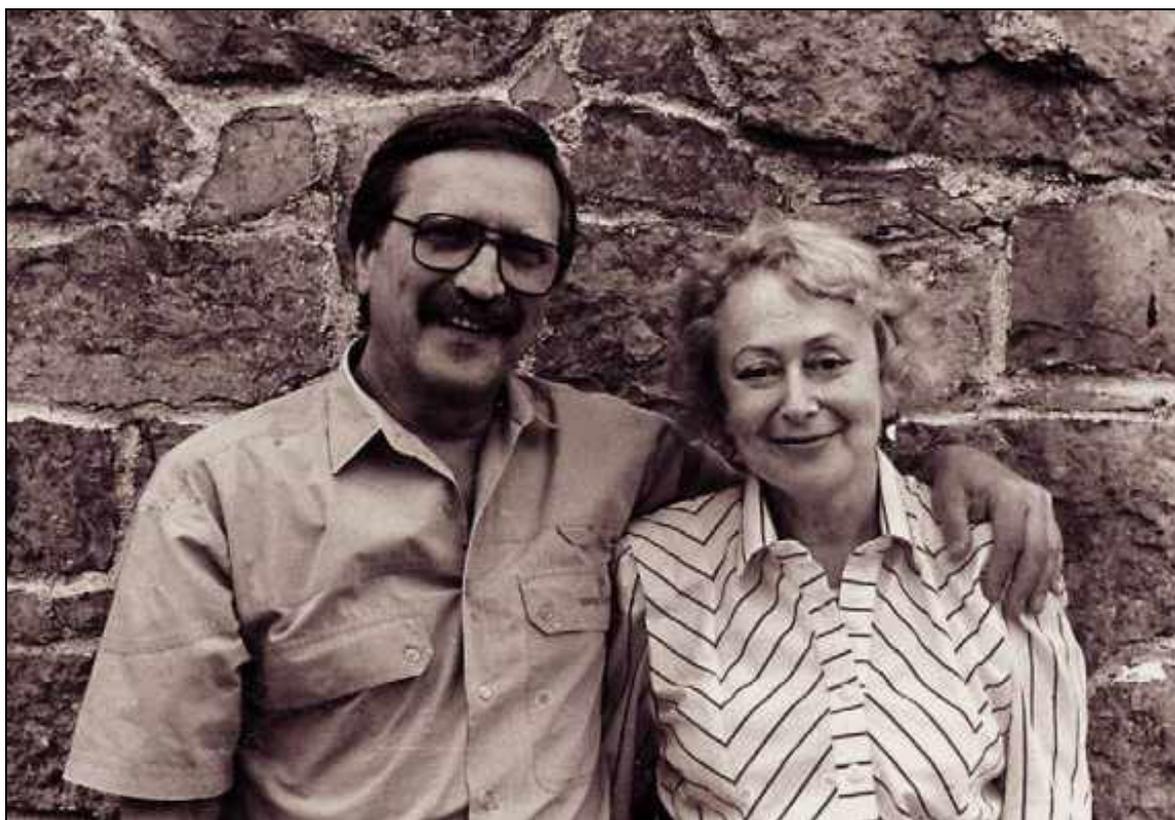
лагерей люди, близкие по духу моим родителям и их кругу, оживилось тусклое лицо тогдашнего общества, в литературе повеяло свежей мыслью. В доме Виктора Шкловского, где когда-то встретились мои родители, я познакомилась с Константином Богатырёвым (1925–1976), одним и тех, кто вернулся оттуда, вышла за него замуж и радостно погрузилась в жизнь московской диссидентствующей богемы. Надо сказать, что тогдашняя богема, в противовес расхожему мнению, отличалась бескорыстным трудолюбием: каждый стремился делать то, что доступно знаниям и способностям, не рассчитывая в обозримом будущем на признание: публикацию стихов и прозы, выставку картин, исполнение музыкальных произведений. Костя прилежно переводил «Новые стихотворения» Райнера Мариа Рильке, одно за другим, не позволяя себе отклоняться не только от авторского замысла и построения каждого опуса, но даже от порядка их расположения в книге. Я исполняла при нем обязанности первого читателя и рецензента, используя филологическое образование для научного обоснования своих придинок, благо в университете усиленно изучала теорию стиха. А для заработка годились: мне – журналистика, ему – заказные переводы. В октябре 1958-го родился наш сын, по желанию его отца названный тоже Константином.



В гостях у Нины Берберовой. 1990-е

В годы «оттепели» у нас возникло много интереснейших знакомств: Костя и раньше был близок с Борисом Пастернаком, а теперь мы встречались с Анной Ахматовой, Юрием Олешей, Лилей Брик, Александром Галичем, подружился с Геннадием Айги, Валентином Берестовым, Наумом (Эмкой) Коржавиным, Юрием и Валерией Айхенвальдами, Андреем Волконским, часто виделись с Вячеславом (Комой) Ивановым по прозвищу «обыкновенный гений», заходили к нам Холин с Сапгиром, останавливался, приезжая из Питера, Иосиф Бродский. Разумеется, исправно посещали все подпольные и домашние выставки нонконформистов и не пропускали исполнения «новой» музыки.

На излете «оттепели» «Пионер», журнал для подростков, либеральный и по тем временам смелый, где я часто печаталась, зачислил меня в штат. Полтора десятка лет вела там отдел поэзии и детского творчества, что давало возможность открывать дорогу начинающим литераторам, а также помогать мальчикам и девочкам, сочиняющим стихи (или то, что они считали стихами), найти слова для своих мыслей и чувств. Благодаря «Пионеру» появились три мои книги: документальные рассказы «Клуб "Шуруп" и хранители библиотеки», беседы о писателях «Литературная карта России» и «Кораблик» – сборник стихов, написанных детьми в возрасте от восьми до четырнадцати лет, а также большое число очерков и эссе. Попутно в меру сил занималась диссидентской деятельностью: распространяла «Хронику текущих событий», «Открытое письмо Михаилу Шолохову» Лидии Чуковской; перепечатывала и раздавала в хорошие руки стихи Иосифа Бродского и сделанную Фридой Вигдоровой запись суда над ним; собирала подписи под обращением писателей в защиту Синявского и Даниэля и деньги в помощь семьям политзаключенных.



Со вторым мужем Юрием Езепчуком. Вермонт, 1993

С началом перестройки ушла из «Пионера», чтобы продолжить дело моего отца, о чем всегда мечтала. Публиковала неизвестные тексты из его архива вкупе со своими статьями о них, а также работы о поэзии и прозе Серебряного века. В 1989-м получила приглашение преподавать в одном из американских университетов, Миддлбери колледж, затем читала курсы по русской литературе в университете штата Висконсин, в Лондонском и Денверском университетах, отдельные лекции – в Принстоне, в Беркли, UCLA. Неожиданно для себя осознала, что обрела новую профессию – из журналиста превратилась в профессора – и что обитаю в новой стране, с иным языком и незнакомыми нравами. К тому времени мой второй муж Юрий Езепчук, молекулярный биолог, стал работать в университете штата Колорадо в Денвере, где мы с ним живем по сей день и где я теперь пишу воспоминания о людях, с которыми мне посчастливилось встретиться в прошлом.

Как хорошо уметь читать!

Я не умею читать. Мне в школу на будущий год, а я читать не умею! Мама ужасается, папа потешается. Под великим секретом мама поделилась своей бедой с подругой и теперь обречена выслушивать со всех сторон рассказы о вундеркиндах-грамотеях: тот в семь лет читает Толстого, та в шесть с половиной – Тургенева. Мама верит и обливается слезами, папа пытается утешать:

– Научится она читать, увидишь. Профессором, может быть, не станет, но читать выучится, это я тебе обещаю, – говорит он маме.

Да умею я читать, успокойтесь! Велика премудрость: «Ма-ша-ка-ша-ешь-ма-ша-ка-шу». Неохота мне жевать вашу Машу с кашей – скучно. Я хочу читать так, как они, мама с папой: чтобы толстая книга, мелкий шрифт и – быстро.



Соня Ивич по прозвищу «Заяц». 1940

– «Если кузнец Вакула принесет те самые черевички, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж», – это папа читает мне Гоголя.

– Покоен, прочен и легок,
Катится городом возок.

Вся в черном, мертвенно бледна,
Княгиня едет в нем одна...

Ямщик столицу миновал.
Далек княгине путь лежал,
Была суровая зима...

На каждой станции сама
Выходит путница: «Скорей
Перепрягайте лошадей!» —

это мама читает мне Некрасова.

Ну какая может быть Маша с кашей после такого?!

В зиму сорок первого по вечерам папа читает вслух «Оливера Твиста» (по ходу дела адаптируя текст, как я обнаружила позднее). Мы сидим в обнимку на зеленом плюшевом диване, а на фоне стены – той, что напротив, – движутся то быстро, то неторопливо послушные его голосу фигуры Оливера, его обидчиков и защитников. Мама сидит у стола, но смотрит не на стенку, а на нас с папой.

Так – легко и свободно – и чтобы мама так слушала, у меня не выходит. А если не выходит так, то не надо мне никак. То, что получается у меня, по моим понятиям, не значит «уметь читать». Я и говорю всем, что не умею. Проверить никто не догадывается. Нам бы следовало договориться о дефинициях, но подобные темы не принято обсуждать с дошкольниками.

Дабы приохотить к чтению, мне покупают подходящие книжки.

– Вот: про девочку и собаку. Совсем как у нас. Правда, похоже? – спрашивает мама не совсем натуральным голосом.

Ничуть не похоже. На картинке в книжке девочка с гладкими прилизанными волосами возится с кудлатой собачонкой. У нас ничего подобного. Кудлатая у нас – девочка. Волосы у меня вьются, в косички их не убирают, они и кудрявятся, как хотят. А доберман-пинчер Дик – тот весь гладкий, от кончиков острых ушей до остатка обрубленного хвоста. Ну зачем стану я разбирать-стараться про *ту* девочку и *ту* собачку, когда вот она я, девочка, и вот он Дик, собака? Лучше я ему сама что-нибудь сочиню, как мне надо: печально, красиво и с хорошим концом. Дику рассказывать – одно удовольствие. Пока ему чешешь за ухом, лежит не шелохнется, от него не услышать: «Не выдумывай» или: «А теперь скажи, как было на самом деле». Мы с ним хорошо понимаем друг друга. Он из того чудесного, волшебного мира, где хочется жить всегда, а не только перед сном, где мне всё по росту и по вкусу, ладно и складно, где я умею читать «с выражением» и лучше всех играю в лапту.

...Мы дочитали «Оливера Твиста» и начали «Маугли».
Тут всё и рухнуло.

Мы так никогда и не узнали, кто позвонил нам по телефону и прокричал в трубку не своим ГОЛОСОМ:

– Включите радио!

По радио передавали речь Молотова. Он сообщил, что началась война. День был воскресный, полдень, мы собирались переезжать на дачу.



Игнатий Игнатьевич Бернштейн (писатель Александр Ивич).1942

Война застала нас среди упакованных корзин и собранных чемоданов. Взрослые принялись в молчании их разбирать. Я подошла к окну и уставилась на хорошо знакомый мне тополь, который стоял тут всю мою жизнь, стараясь покрепче его запомнить: я так поняла, что теперь всё будет по-другому. Так оно и вышло.

Отец был мобилизован на третий день войны.

Детей писателей отправили в эвакуацию 6 июля.

Только малыши до трех лет поехали с мамами.

Из тех, кого определили в интернат и поселили в Берсуте, на высоком берегу реки

Камы, я была, кажется, самой младшей и уж точно самой несамостоятельной. У меня была с собой кукла с закрывающимися глазами, и я всем говорила, что не умею читать. Я пыталась жить в том, навсегда исчезнувшем мире, с папой и мамой, с «Оливером Твистом» и Диком, и безнадежно не ориентировалась в новой реальности.

Со мной всё время что-то случалось, я постоянно куда-то проваливалась: в глубокую лужу, в лисью нору, в придорожную канаву, в противопожарный бочажок. В конце концов я провалилась в полноводную Каму, что принесло мне даже кратковременную славу, потому что выудил меня оттуда, а выудив, завернул в свою рубашку и отнес на руках по высокому откосу в спальню младших девочек Тимур Гайдар, кумир старших девочек. В Тимура все они были влюблены поголовно: повесть «Тимур и его команда» перед самой войной печаталась из номера в номер в газете «Пионерская правда» и даже успела выйти в свет отдельной книгой.

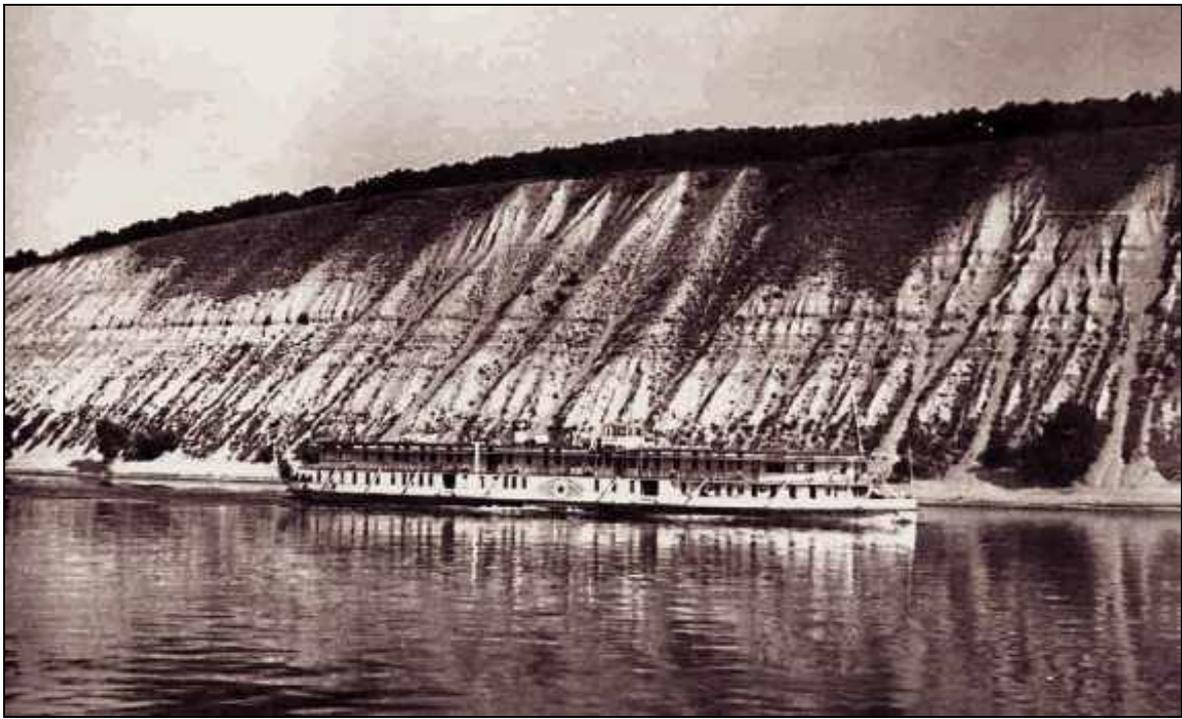
Важная сторона интернатовской жизни – кто в кого влюблен – тоже мне плохо дается: я не могу разобраться, достаточно ли тут одного кандидата или их должно быть несколько, можно ли брать героев из книжек или только живых, а если из живых, то непременно ли здешних или разрешается кого-нибудь из довоенной жизни? Когда меня окончательно допекли насмешками: «в куклы играет, читать не умеет, в кого влюбиться не знает, надо ей в детский сад, а не к нам», – я брякнула наугад имя Стасика Нейгауза из первого отряда и, как оказалось, сильно промахнулась. Мало того, что он тогда меня, как и прочую мелюзгу из нашего десятого, в упор не видел, но и четверть века спустя, когда разница в годах уже не имела значения, продолжал в упор не видеть меня, хотя мы часто сталкивались нос к носу на пастернаковской даче. Выбери я в те дни, по примеру старших Тимура, какое было бы торжество: я – утопленница, он – спаситель, прямо как в сказке! Но, увы, меня всегда отталкивали коллективные чувства.

Это были лодочные гонки, кто-то с кем-то соревновался из недоступного нам мира больших мальчиков и девочек. Мы смотрели сначала с откоса – с высокого берега Камы, там, где он круто обрывался вниз. Сверху хорошо было видно, что происходит на реке, но все ребята толпились внизу, у пристани, и мы, малышня, потихоньку стали спускаться к ним по великолепной берсутской лестнице; но когда оказались у самой воды, убедились, что за спинами нам теперь ничего не разглядеть. Кто-то догадался влезть на катер, пришвартованный к мосткам, к которым его то прижимало течением, то отгоняло ветром на длину цепи. Мальчик передо мной вскочил на катер, я забросила было ногу на высокую для меня палубу но тут катер отнесло в сторону я и ухнула в образовавшуюся щель. Испугаться я не успела – такая открылась глазу волшебная страна! Зеленая, темно-прозрачная, сумрачная; там колыхались в тишине тончайшие ветвистые заросли, там с неторопливой важностью отшатнулась от меня крупная рыба. Но в тот же миг всё залило резким солнечным светом, затопило шумом, меня принялись тормозить, утешать (от чего?), объяснять, что меня затянуло под настил пристани, и вот Тимур... Тимур – это прекрасно, только – жаль было зеленой страны. Когда с очередным эшелонем в Чистополь приехали мои мама и бабушка и меня забрали из Берсута, воспитатели вздохнули с облегчением.



Анна Марковна Бамдас

Из Чистополя и в Чистополь – одна дорога, по реке. Мама с двумя спутницами – они тоже направлялись в Берсут навестить своих детей – втиснулась на проходивший по Каме парходик. Шел он из Нижнего Новгорода, из Горького по-тогдашнему. На борту оказались эвакуированные москвичи, и мамы попутчицы засыпали их вопросами о бомбежках, разрушениях, о быте, стали выискивать общих знакомых, перебирать воспоминания. А мама отошла к борту – ей надо было принять окончательное решение: брать дочку домой, и если брать, то как прокормить, или оставить в интернате; насчет моих способностей к самостоятельной жизни иллюзий она не питала. Невольно залюбовалась она красотой реки, изломом высокого берега, сквозной решеткой леса над ним. Оглянулась – поделиться: рядом с нею – сухощавая женщина, явно не местная, тоже отделилась от всех, смотрит напряженно, но не на сияющую речную благодать, а парходоиду под ноги, на воду. Мама отпустила замечание насчет пейзажа. Спутница резко отозвалась в том духе, что сейчас людям не до речных красот. И такая безнадежность прозвучала в ее словах, что моя отзывчивая мамочка, которая не могла видеть человека в беде и не попытаться ему помочь, оставив свои невеселые думы, пустилась с незнакомкой в беседу. Что она ей сказала, я не знаю и не узнаю никогда. Известно мне лишь, что – была услышана. В какой-то момент та, резко оборотившись к маме, спросила требовательно: – Так вы думаете, еще возможно жить?



Кама возле Чистополя

Матушка горячо заверила, что не только возможно, но и совершенно необходимо. Тогда строго и без улыбки незнакомка протянула сухую прохладную руку и назвалась: – Марина Цветаева.

Мама вмиг утратила всё свое красноречие, онемела и, как вспоминала потом, даже попятилась. Мысль о том, что она пыталась утешать и чуть ли не наставлять *Марину Цветаеву*, показалась ей нестерпимой: в нашей семье, где царил культ поэзии, Цветаеву высоко почитали, ранние стихи хранились в доме в виде книг, кое-что из поздних в последний предвоенный год проникло в списках. Тут как раз подошли чистопольские попутчицы, узнавшие от москвичей, кто едет с ними, завихрились планы, советы, обещания: как устроить переезд в Чистополь, как уговорить Икса воздействовать на Игрека, правильно настроить Зета... Чем окончились хлопоты перед Икс, Игрек и Зет, всем теперь хорошо известно.

Много раз пыталась я выспросить, что же мама сказала тогда Марине Ивановне, но матушка отмалчивалась или отделялась от меня полувразумительными полужразами: то ли стыдилась своей невольной тогдашней смелости, то ли не хотела делиться ни с кем высоким и печальным воспоминанием. Знаю только, что речь шла не о войне, а о детях.

Это был еще не тот – предсмертный трагический – путь Марины Цветаевой в Елабугу. Сейчас можно с точностью установить дату и обстоятельства встречи. Место действия – пароход «Чувашия», время – 16 августа 1941 года. В дневнике Георгия Эфрона, сына М.И., в записи от 17 августа упоминается встреча с женами писателей, едущими навестить детей в Берсут; М.И. передала с ними письмо Николаю Асееву, а по приезде в Елабугу дала телеграмму Флоре Моисеевне Лейтес. На протяжении следующей недели Мур тоскливо задается вопросом, почему нет вестей из Чистополя, нет ответа на телеграмму, посланную Мариной, пытается найти тому объяснение, уверяет самого себя: «Вряд ли, если бы выяснилось, что нас туда пустить нельзя, они бы не послали ответной телеграммы, – из простой вежливости нужно было бы молниировать ответ». На самом деле, как мы знаем, ответная телеграмма существовала, но Лидия Корнеевна Чуковская остановила Флору Лейтес, сказав, что телеграмму с отказом посылать нельзя.

Из Берсута мама меня увезла в тот же день.

Опять жизнь повернулась. В Берсоте, пусть в новой обстановке, без семьи, все-таки мы оставались среди привычных людей: кого-то из ребят и воспитателей знали по детскому саду, другие похожи были на тех, кого мы знали. Чистенькие коттеджи правительственного дома отдыха, где нас разместили, напоминали подмосковные дачки. И потом лето – везде лето. Но в Чистополе – всё иное. Дом, отгороженный от

улицы деревянным забором, без верхних этажей, с крыльцом вместо подъезда, с огромной русской печью, низкие потолки с балками вместо лепнины, скрипящие половицы вместо паркета, скользкие тряпичные дорожки на полу, а у нас – так еще всамделешный катер стоит во дворе. Чужая жизнь, и это *мы* в ней – чужие. Лишние, «выковыренные», как местные называют нас.

Здесь мне полегче – с мамой, с бабушкой. И – чудо, тут я не недотепа, у меня прорезались таланты! Никто из взрослых не умеет так ловко орудовать ухватом, никто не «чувствует» печки, как я: когда дать чугунок с кашей кипеть, а когда время убрать с жара в сторонку, чтобы упрела. Голода настоящего пока нет, но пшенку – единственную нашу еду – следует варить грамотно: если подсохнет коркой поверху, то по пословице «Сухая ложка рот дерет», а наша ложка всегда сухая: масла мы не видим, молоко – редкость. Хозяйка Алевтина Александровна наблюдает за мной с одобрением, мама – с удивлением, бабушка... насчет бабушки не вполне ясно, она чаще отводит глаза. Петербургской светской даме, некогда славившейся своей элегантностью и не забывшей еще, как государь император поклонился ей, когда его карета встретила на Невском с ее коляской, бабушке, которая даже в Чистополе каждое утро затягивает себя в выдавший виды корсет, похоже, мнилось для единственной внучки иное поприще – без ухвата.

Большую часть дня я провожу в интернате, переехавшем в Чистополь, а время от времени, когда маме удастся найти работу в совхозе и ей придется уезжать из города, остаюсь там ночевать. Я по-прежнему стою на своем: не умею читать, и всё! Но теперь это никого не волнует. Папины письма мама всё равно читает мне вслух, потому что ей так нравится, а в школе – я хожу во второй класс, хотя в первом почти не училась, проболев целый год. Мы иной раз возвращаемся к букварю. Занимательная оказалась книжка, особенно там, где про кашу. Прикидываю – какая у Маши каша: пшенная, как у нас, только с маслом, наверное? Гречневая с молоком? Овсянка? А то встает в памяти волшебное видение: глубокая тарелка, до краев полная пышной манной кашей, а в самой серединке лужица варенья – клубничного? малинового? И в ушах – мой собственный довоенный кислый голос: «Опять манка?» Это же надо было быть такой душой! А Маша ест кашу. Везет людям...

Вот еще новость: у меня завелись поклонники! Один, интернатовский, красиво объяснился в любви, но при том так громко шмыгал носом, подбирая сопли, которые всё равно стекали ему на подбородок, что о взаимности не могло быть и речи. А местный с незнакомым мне парнем постарше как-то увязался за мной после уроков, они оттерли меня от других ребят, загнали к затону, на пустынный берег Камы. Умильно просили чего-то им *дать*. А если *не дам*, грозились утопить в Каме. В толк не возьму, что им надо: у меня только и есть с собой, что школьный портфельчик. Тетрадки и ручку, думаю, ладно, пусть берут, хоть и жалко, но портфель – фигурки, не отдам: дареный, памятный, на нем серебристого цвета пластинка с надписью «Соне Ивич от детского сада Литфонда», мне его торжественно вручили в последний детсадовский день, мама захватила его из Москвы. Но – не в Каму же: осенняя, стылая. Дураки эти портфель не трогают, дергают пуговицы на пальто – зачем им, здоровенным, мое пальтишко, оно и мне коротко?

По счастью, учительница видела, что ко мне привязались, добежала сообщить в интернат, и чудесная наша Анна Зиновьевна, которая нас из всех бед выручала, тут же отрядила на выручку команду ребят покрепче из первого отряда. Заметив их приближение, незадачливые «грабители» растворились в прибрежных кустах. История наделала шуму, я вновь оказалась в центре внимания, но на сей раз популярность моя сомнительного свойства. Ребята – не наши, из первого-второго класса, и не старшие, а те, кому по двенадцать-тринадцать, мальчишки не дают проходу, заставляют снова и снова пересказывать, что там происходило на реке. Я чувствую какую-то пакость, но не могу ее нащупать. В очередной раз по наитию, а скорее уловив, на каком месте начинаются гаденькие ухмылки, догадываюсь заменить глагол: говорю, что большие парни просили *отдать* им портфельчик, и – стоп! – ко мне теряют интерес. А я в первый и далеко не в последний раз восторженно осознаю безграничные возможности русского языка: самую малость меняешь, даже не слово, две буквы всего-то! – и твоя жизнь

перворачивается решительным образом.

Замечательно, что моя наивная мамочка оказалась не догадливее меня, и я получила от нее выговор: «Неужели ты не можешь найти общий язык с одноклассниками?» Слава богу, не нашла.

По улицам Чистополя разгуливают, собираются группами, обсуждают сводки с фронта и цены на базаре те, кто по моим понятиям не люди, а книжки из папиной библиотеки. Вот прошел Николай Асеев. Вот стоит Леонид Леонов. Вот беседуют два Константина – Федин с Тренёвым. В дверях столовой встречает посетителей и проверяет пропуска жуткого вида старик. На беду, он всегда заговаривает со мной, норовит погладить по голове, взять за руку. Я в ужасе вырываюсь, убегаю (а это много – убежать из столовой!). Мама остается извиняться за мое поведение, потом находит и приводит меня назад, снова и снова рассыпается в извинениях перед оборванцем, однако старается пройти мимо так, чтобы он до меня не дотянулся. Выговаривает мне: он – поэт и музыкант, парижанин. Ладно, пусть поэт, пусть парижанин, только пусть не дотрагивается до меня! Это – Валентин Парнах, знаменитый некогда не только поэт и музыкант, но еще и танцор, тот, кто первым принес в русский язык слово «джаз», кто создал первый джазовый оркестр в России, кого рисовал Пикассо, кто был прообразом Парнока в «Египетской марке» Осипа Мандельштама, кого ценили Блок и Мейерхольд... Везет ему на несправедливые упреки: сейчас пишут, будто он перехватил у Марины Цветаевой место, которое позволило бы той покинуть Елабугу и устроиться в менее безнадежном Чистополе. Вранье и напраслина: Валентин Парнах нанялся в столовую сторожем, а Марина Цветаева претендовала на должность судомойки.



Николай Асеев, Мария Петровых, Илья Сельвинский, Борис Пастернак. Чистополь, 1942. Фото В.А. Авдеева

По вечерам мама и бабушка иногда уходят на литературные встречи, потом долго живут воспоминаниями о них, часто и как-то по-особенному произносят имя «Пастернак». Кто это Пастернак, мне известно – нянечка из детского сада, называется «сестра-хозяйка», строгая Зинаида Николаевна, мама маленького Лёнечки и знаменитого Стасика Нейгауза. Стасик, кстати сказать, – теперь едва ли не самая популярная у нас личность, почти затмил Тимура Гайдара. В Доме крестьянина, где поселился интернат, стоит в красном уголке рояль, и Стасику, в нарушение режима, разрешено упражняться после отбоя. Разумеется, мы не можем упустить такое

событие. В ожидании концерта в темноте за портьерой прячется добрая половина женской части интерната. Стасик ничего и никого не замечает, но Anne Зиновьевне каждый вечер приходится нас разгонять. В стенной газете появляется стишок:

Все интернатовцы храпят,
Лишь десять девушек не спят:
Готовится облава
На Станислава.

Могу засвидетельствовать: девушек (если считать тех, кто еще не имел права на это красивое звание, то есть недомерков вроде меня) собиралось куда как больше.

Незнакомый мне человек приходит в наш дом. Он ни на кого не похож. Я не могу заметить, что его появление вносит смятение на нашу кухню. Бабушка выступает непривычной для меня твердой походкой, поправляя гребни в седых буклях (если бы я знала тогда о поклонах государя императора, я бы тут же вспомнила эту легенду, но, к чести бабушки, она сама ничего такого не рассказывала, я услышала стороной, уже после ее кончины). Мама, захлопотав, выносит почти забытый мною предмет – нашу пишущую машинку «Москва», я и не знала, что она ее сюда привезла. При виде машинки гость приходит в неопишуемый, какой-то детский восторг и ужасно начинает мне нравиться. Он не говорит, а гудит, слегка даже захлебываясь, про пьесу, про машинку, он восхищается тем, что мама догадалась ее захватить, и потому нравится мне еще больше. Он выкладывает на кухонный стол газетный сверток, порывшись, извлекает оттуда стопку листков, покрытых крупной летящей вязью, просит их отпечатать, что-то объясняет маме, показывая отдельные страницы, и вдруг так же горячо, громко и быстро, как только что хвалил маму, начинает ругать пьесу и уверять, что перепечатывать ее вообще-то не стоит. Тут даже я ощущаю некое противоречие – зачем же тогда принес и на стол выложил? – но гость внезапно замолкает на полуслове (у меня мелькает в уме непочтительное «зарапортовался»), так же внезапно замечает меня и спрашивает, как меня зовут.



Борис Пастернак. Чистополь, 1942

Ужасный вопрос, я постоянно его слышу и никогда не знаю, что отвечать. Меня каждый называет кто во что горазд: папа – Зайцем, мама и за нею интернатовцы – Зайкой, бабушка – Птичкой, учителя – Ивич, ребята в школе – Чиви-чиви, то есть Ивич наоборот, но никто и никогда не зовет меня Соней. Мне кажется, что «Заяц» звучит солиднее, вроде имени-отчества у старших, так и представляюсь гостю. Он не переспрашивает, не выказывает удивления, он, как взрослой, пожимает мне руку и говорит:

– Рад с тобой познакомиться, Заяц.

После его ухода продолжается переполох. Я получаю кучу наставлений: ни в коем случае не дотрагиваться до листков; ни в коем случае не мешать маме работать, то есть перепечатывать *пьесу*; запомнить на всю жизнь, что Пастернак сказал мне: «Рад с тобой познакомиться» («Заяц» деликатно опускают, из чего я заключаю, что выбор имени был сделан мною не лучшим образом). Я уж не решаюсь спросить, какая связь между *этим* Пастернаком, нянечкой из детского сада и недосыгаемым Станиславом Нейгаузом, которому она мама, хотя зовется «сестра». У взрослых во всем такая путаница... Спасибо, никто не знает, что я посмела в мыслях обозвать гостя «зарапортовавшимся».

До листков, оставленных им, дотрагиваться не велено, но о тех, что выскакивают из-под быстрых маминых пальцев, речи не было. Улучив момент, когда в комнате никого нет, беру верхний – полюбоваться ровными строчками и в тот же миг в моем сознании возникают две реплики:

– Ей нет еще четырнадцати лет.

– В Вероне есть и матери моложе.

Я не сразу поняла, откуда они взялись, как попали в мою голову: явились сами собой, просто взяли – и отпечатались там, и вообще, что такое стряслось со мной. Лишь мгновение спустя догадываюсь: я прочитала их! По сей день мне не понять природу того восторга, который захватил, окутал, нет – прожег, пронизал всё мое существо, а потому и памятен по сей день. Была ли некая магия в этих простых словах? Или – в том, что речь шла о девочке тринадцати лет, то есть о личности не столь отдаленной от тогдашней меня? Вернулось ли воспоминание о том, как играли в «дочки-матери» перед войной?

А может быть, проще – то было торжество победы, уверенность: я умею читать по-настоящему! Не как в школе, по обязанности, во всеуслышание, а как мечталось: легко, свободно, про себя и для себя.

Дверь за спиной скрипнула, затворяясь. Я не слышала, как бабушка входила, но она была здесь и видела, что я держала в руках страницу и *читала* ее. Я ожидала нагоняя, замечания, но ничего не последовало. Усаживаясь снова за машинку, мама достала лишний листок блестящей черной – драгоценной тогда – копирки и с того момента печатала лишний экземпляр. Для меня.



Соня. 1940-е

«Ромео и Джульетта» в переводе Бориса Пастернака стала первой книгой, точнее, машинописью, которую я прочитала с радостью и наслаждением, с ходу запоминая наизусть целые пассажи. До последней сцены надеялась, что всё кончится хорошо. Нет, кончилось плохо. Проплакала невесть сколько времени, пока не промокли насквозь листки машинописи. Не примирилась с неизбежным, сочинила другой конец, оставив всех в живых. Когда Пастернак появился у нас снова и поздоровался со мной отдельно («Зайца» он запомнил, а назовись я Соней – мог бы и позабыть), взамен «здрасте» я сообщила ему укоризненно:

Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте, —

на что он улыбнулся, выставив свои смешные зубы, но и вздохнул, как показалось мне, виновато.

В 1949 году в издательстве «Искусство» вышел в свет красиво изданный двухтомник: «Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака». Наверное, он появился в начале года, потому что папа успел его купить; в конце сорок девятого объявленный «безродным космополитом», ставший изгоем, лишившийся работы и заработка мой отец книг не покупал – продавал те, что были. Я раскрыла «Ромео и Джульетту» в надежде пережить снова радость встречи с теми чудесными строчками, однако не обнаружила их: они звучали теперь по-другому, в иных вариантах. Но я навсегда сохранила верность первоначальному тексту.

Спустя пятнадцать лет

История имела продолжение: аукнулась почти полтора десятка лет спустя, в эпоху «великого реабилитанса», когда мы только и жили сообщениями о том, кто *вернулся* (слово в ту пору имело для нас одно значение: *вернулся* – значит из тюрьмы или лагеря). На дне рождения у Виктора Шкловского я встретила Константина Богатырёва, о котором много слышала в детстве: где-то там, на периферии родительских общений существовали два *больших мальчика*, Китик Шкловский и Костик Богатырёв. Никита (Китик), Шкловский появлялся с отцом в нашем доме, да и меня водили к его младшей сестре Варе на елку, а Костю Богатырёва я никогда не видала. Никита Шкловский погиб на войне. Костя Богатырёв с войны пришел живым, поступил в университет, был

арестован по доносу штатного сексота, приговорен к смертной казни с заменой на двадцать пять лет каторги, реабилитирован в 1956-м. Вот этого давно знакомого незнакомца увидела я впервые в Татьянин день, 25 января 1957 года в Шереметьево, на даче у Шкловских, а назавтра обнаружила у подъезда своего дома, где он дожидался меня на лавочке во дворе. Признаться, мне это не слишком понравилось: что за манера – являться без приглашения? Пришлось впустить в дом – не оставлять же на морозе, – но и объяснить, что пришел не ко времени и лучше, мол, в другой раз, созвонившись и вообще... Константин на мое неудовольствие внимания не обратил и слушать меня не стал. С ходу, бросив не глядя на стул пальто, которое тут же сползло на пол, легко прислонившись к притолоке, торжественно объявил:

– Борис Пастернак. Памяти Марины Цветаевой.

Хмуро тянется день день непогожий.

Безутешно струятся ручьи

По клеенчатой двери прихожей

И в открытые окна мои.

За оградой через дорогу

Затопляет общественный сад.

Точно звери вдали пред берлогой

Почернелые тучи лежат.

Мне в ненастье мерещится книга

О земле и ее красоте.

Я рисую лесную шишигу

Для тебя на заглавном листе.

Я не плачу, я травлю и режу,

Надо запечатлеть на меди

Эту жизнь, этот путь непроезжий,

Этот дождь, этот сад впереди.

Ах, Марина, давно уже время —

Да и труд не такой уж ахти —

Твой заброшенный прах в реквиеме

Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса

Я задумывал в прошлом году.

Я слонялся у Камского плеса,

Где зимуют баркасы во льду... [13]

Пастернак-Чистополь-Цветаева. Пласт жизни, тяжелый и темный, ушедший в подсознание, затертый в памяти, казалось, умерший, ворвался в тепло московского дома, в веселую наполненность моей нынешней жизни, и своим дыханием выстудил всё вокруг. Пережитая в детстве трагедия гибели Марины – а мы не так уж были малы и глупы, чтобы не ощутить ее, даже, под влиянием взрослых, понять, – заново взяла за сердце. А вместе с ней ожили бездомность, холод, страх, непроглядная темень, и как будто засосало под ложечкой от голода. Помню, особенно поразило меня слово «затон», одно из важнейших в той, чистопольской жизни, прочно забытое, ни разу не слышанное за прошедшие с тех пор годы. И, Господи, Кама! Разве она еще где-нибудь существует – Кама?

Ты б в санях переехала Каму

В час налетчиков и громил...

А вот и они, тут как тут, давно провалившиеся в памяти «налетчики и громилы», мои одноклассники из чистопольской школы. И – голод, конечно, голод, какой же Чистополь без тоскливого, безнадежного, ни на секунду не отпускающего голода? Он был фоном нашего существования там и явился тут, спрятанный в глубине сравнения:

Мне так же трудно до сих пор

Вообразить тебя умершей

Как скопидомкой-миллионершей

Средь голодающих сестер.

Прошедшее восстало из небытия, явилось властно и больно, ужалило и – отступило,

побежденное силой пастернаковского стиха. То был Чистополь, но Чистополь, преображенный гением Пастернака. Катарсис. Очищение. Поминки не только по Марине Цветаевой, но и по безрадостному военному детству. Примирение с пережитым:

Зима, как пышные поминки,
Средь нашего житья-бытья
В сугробы положить коринки,
Облить вином, вот и кутья.

От любимого мною городского шума и невесомого московского снегопада за окном стихи вели на берег замерзшей Камы, к застывшим во льдах затона баркасам, из этой зимы – в те зимы 1941–1942 г. Они связали воедино настоящее с прошедшим, и было их единство горьким и светлым, как сама жизнь.



Константин Богатырёв. 1960

Того, кто приносит тебе *такие* стихи и *так* их читает, из дому не выставишь. А он, почувствовав силу, притворно прощается, подбирает с пола пальто, мол, заглянул на минуту, только прочесть стихи («Вы ведь были в Чистополе?»), с деланной неохотой соглашается остаться на традиционную московскую «чашечку чаю».

То была его первая надо мною победа, остальные не заставили себя ждать. Константин Богатырёв и Пастернак – отдельная тема. Склонный восхищаться тем, что ему нравилось, и восхищение возгонять до космических высот, Костя Пастернака не просто любил – боготворил, преклонялся перед ним, в нарушение библейской заповеди сотворил себе кумира. Стихами, прозой, беседами о нем, телефонными звонками и встречами Кости с ним – Борис Леонидович присутствовал в нашей жизни столь плотно, что не припомню, хотелось ли мне когда-нибудь снова увидеть поэта. Скорее тянуло спрятаться от него под сень любимого с отроческих лет Мандельштама.



Борис и Зинаида Пастернак на спектакле «Фауст»

И все-таки однажды, в декабре 1959-го, случайно и неожиданно, увидела сравнительно близко – на спектакле посетившего Москву Немецкого драматического театра. Давали «Фауста» с Густавом Грюндгенсом в роли Мефистофеля. Актер и режиссер Густав Грюндгенс тоже принадлежал к числу страстных увлечений Кости. В пору послевоенной службы в Берлине, двадцатилетним лейтенантом оккупационных войск, переодевшись в штатское и пользуясь своим безупречным немецким, Костя не пропускал событий возрождавшейся культурной жизни в поверженной столице, главным из которых стали для него спектакли с участием Грюндгенса. Костя знал его, мягко говоря, сомнительный творческий путь, ценил роман Клауса Манна «Мефистофель» (который со временем и перевел на русский) – жестокую сатиру на Грюндгенса, но всё прощал за блеск таланта и непревзойденную смелость в искусстве перевоплощения.

Борис Пастернак с Зинаидой Николаевной сидели чуть ближе нас к сцене. В антракте Борис Леонидович ушел за кулисы, вернулся на свое место после третьего звонка. Когда занавес опустился в последний раз, артисты откланялись, аплодисменты отзвучали, публика и не думала расходиться, с восторгом и ужасом созерцая спектакль, разыгрывавшийся теперь в партере. Пастернак, стройный, седовласый, элегантный, возвышался над рядами кресел и гудел на весь притихший зал:

– Костя, я говорил с труппой, они очень хотят ко мне приехать, но ведь вы знаете, Переделкино – запретная зона, иностранцам туда нельзя. Надо как-то устроить, чтобы никто не узнал. Вы вот что...

БЛ. помедлил, обдумывая план. Я отвела глаза от него и подняла их на Костю. Тот стоял, поднявшись с кресла, и через несколько театральных рядов, разделявших их, смотрел на Пастернака с тем выражением безмятежного счастья, которое неизменно являлось на его лице при виде кумира, при чтении его стихов и даже при упоминании его имени.

– С поезда, если поедут электричкой, их могут снять, бывало уже такое. Думаю, на такси надежнее, – продолжал Борис Леонидович. – Привезите их ко мне на такси. Только не берите первое на стоянке, может быть подослано. Непременно второе, а пожалуй, что и третье. И, прошу вас, никаких разговоров по телефону на эту тему: всё подслушают, всё испортят.



Софья Богатырёва. 1960-е

Надо родиться в России при Сталине и прожить там всю мою тогда еще коротенькую жизнь, чтобы понять степень ужаса, охватившего меня во время этой беседы: чем она могла обернуться для ее участников, страшно было подумать. А Костя беспечно обсуждал и уточнял во всеуслышание детали «преступного замысла», был горд и счастлив минутой, и не в моих силах было его защитить. В поисках поддержки, подсказки, совета я взглянула на Зинаиду Николаевну. Та уже не сидела, а стояла рядом с мужем, касаясь его плечом. И будучи в отличие от меня женщиной суровой, да и старше раза в два с лишним, она живо прекратила самоубийственное обсуждение самым простым и решительным образом:

– Боря, машина ждет. Боря, мы задерживаем шофера.

Реплика сопровождалась энергичным рывком за полу пиджака. Пастернак, продолжая давать Косте подробнейшие противозаконные инструкции и наивные наставления на тему, как одурачить КГБ, слегка дернулся, попятился вслед за ускользающим пиджаком и увлекаемый дальнейшими подергиваниями и потягиваниями, в конце концов повернулся и последовал за женой. Сидящие на его пути зрители поспешно и почтительно вскочили, прижимаясь к спинкам кресел, и, хотя они просто давали ему дорогу, мне показалось, испуганно от него отшатнулись.

Свет в зале погас. Представление завершилось.

Когда Костя сказал, что мы приглашены Пастернаком на завтрак к Ольге Ивинской, я ничуть не обрадовалась, скорее испугалась и долго изводила Костю вопросами, правильно ли он понял и уверен ли, что приглашение относилось и ко мне. В конце

концов совсем перетрусил: как войти, что сказать, где бы раздобыть шапку-невидимку? На деревянных негнущихся ногах переступила порог нарядной комнаты Ольги Всеволодовны, наполненной к тому времени большим количеством незнакомых мне людей, в надежде, что меня никто не заметит. Не тут-то было! Борис Леонидович задержал мою криво протянутую онемевшую от страха руку, которая даже не ощутила прикосновения его губ, оглядел столь пристальным, внимательным, таким молодым заинтересованным взглядом, что робость моя возросла дальше некуда. Зато знакомство с Ольгой Всеволодовной, напротив, чуть оживило: она была домашняя, полная, небрежно причесанная, непринужденно-вальжно расположившаяся на диване и так естественно не проявила никакого интереса к еще-одной-кем-то-приведенной-гостье, что мне стало поспокойнее. А с ее дочерью Ириной я не раз встречалась на московских тусовках и у Геннадия Айги; правда, к моему огорчению, она тут же ушла, как выразилась, «в лавочку» – оказалось, что под «лавочкой» подразумевался Литературный институт. – Как Ирочка похорошела, – произнес вслед ей Борис Леонидович. И, обратившись к Ольге, добавил простодушно: – может, не стоит ей выходить за Жоржа? (Жорж Нива, молодой французский славист, считался тогда женихом Ирины. – С.Б.)



Ирина Емельянова. Кон. 1950-х

Теперь можно и оглядеться. Среди гостей узнаю Николая Михайловича Любимова, почитаемого всеми нами переводчика зарубежной классики. Внимание притягивает незнакомая мне женщина: она держится чуть отстраненно, не произносит ни слова, но облик ее столь значителен, и строгая мимика так выразительна, что, как мне кажется, все постоянно оглядываются на нее. Позднее я услышу ее имя: Ариадна Эфрон.

Борис Пастернак – о, он сильно изменился с чистопольских времен: теперь он необыкновенно красив, он просто великолепен! – сообщает новость, которая, судя по интонации и выражению лица, представляется ему весьма забавной: в Англии намерены перевести и издать стихи из его ранних книг. Поскольку никто из гостей не разделяет его веселости и не находит планы английских издателей нелепыми, а напротив, радостно их одобряет (однако, зная его отношение к своему творчеству тех лет, никто не осмеливается вступать в открытый спор), Пастернак, в поисках сочувствия, поясняет:

– Это ведь читать нельзя, это – не для людей! Это – для рыб. – И уточняет: – Для

аквариума.

За столом Пастернак рассказывал о Кнуте Гамсуне. Он только что прочел его жизнеописание, присланное ему кем-то из-за границы в подарок. Говорил о Гамсуне, но слышно было, что и о себе. Ни одно произведение писателя не называлось. В его биографии упоминался только тот факт, который совпадал с биографией рассказчика, – присуждение Нобелевской премии. Но самым важным для Бориса Леонидовича казалось поведать о трагическом моменте в жизни Гамсуна, когда тот, в тридцатых годах выступивший в поддержку фашизма, а во время Второй мировой войны встречавшийся с Гитлером и Геббельсом, подвергся в своей стране остракизму, когда читатели стали возвращать ему книги. Об этом Пастернак рассказал дважды, словно бы сомневаясь, что слушатели поняли с первого раза. Трудно поверить, что Борис Пастернак мог уловить какое-то сходство между искренним возмущением норвежцев политическими симпатиями Гамсуна и его поступками, их разочарованием в любимом писателе и той организованной КГБ травлей, объектом которой стал он сам в Советском Союзе, но рассказ звучал очень уж эмоционально, и личный оттенок отчетливо проступал. Звучал – и вдруг оборвался внезапно, напомнив мне столь же резко прерванный чистопольский монолог о несовершенстве шекспировской пьесы.

– Что же это я? Всё говорю, говорю. Наверное, ужасно всем надоел? – смущенно, но и не без лукавства осведомился Пастернак.

Минутное молчание обескураженных гостей нарушил мелодичный, чуть ниже обычного своего тембра и потому бархатистый голос Ольги Ивинской.

– Боря, – многозначительно произнесла она и, чуть помедлив, продолжила, с расстановкой, внятно произнося каждое слово: – слушать тебя – такое счастье. Что еще нужно человеку?

О, где ты, шапка-невидимка?! Мне хотелось провалиться сквозь землю, залезть под стол от стыда: такие слова – вслух? При всем честном народе? Как она могла? Я искоса взглянула на Бориса Леонидовича: он оборотился к Ольге Всеволодовне и ласково смотрел на нее; бросила взгляд на гостей – никто под стол лезть не собирался и никакой неловкости не испытывал. В памяти всплыла другая сцена: зрительный зал после «Фауста», суровое «Боря, машина ждет, мы задерживаем шофера», подталкивания и понукания.

Быть женщиной – великий шаг,

Сводить с ума – геройство.

Нет, эту науку мне никогда не освоить.

Еще за дверью, открывая замок, мы слышали, как в нашей квартире звонит-надрывается телефон. Костя успел подхватить трубку и тут же поманил меня: слушать. Это был Пастернак.

– Костя, лицо вашей жены кажется мне знакомым. Я ведь видел ее? Ребенком? В Чистополе? Ее называли тогда... – он запнулся, припоминая.

Костя нехотя (он не любил мое детское имя) подсказал:

– Зайка.

– Заяц, – поправил Борис Леонидович.

Конфета-подушечка и вопросы самооценки

Называется город Чистополь. Словосочетание «чистое поле» незнакомо мне, я воспринимаю только первую его часть – «чисто» – и удивляюсь: почему же «чисто», когда так грязно? Жидкая грязь заливаает городок, покрывает толстым волнистым слоем проезжую часть и слоем потоньше – деревянные мостки, что служат тут тротуарами. Грязь мягкими комьями выстреливает из-под лошадиных копыт, брызжет из-под колес проезжающих телег. Она враждебна и агрессивна, норовит стянуть с башмаков и потопить мои галоши. Отдать ей галоши – преступление, галоши – большая ценность, мама получила их для меня, *дочери фронтовика*, по *ордеру*. Галоши велики, не подходят к ботинкам, мама набила в них мятой газеты, но они всё равно сползают. Ну вот, опять! Пытаюсь спасти утопающую галошу, балансируя на одной ноге так, чтобы не оступиться в грязь другой, осиротевшей. Попробуй теперь обуться! А руки? Что делать с руками, они стали чернее галош! Грязь. Грязь. Грязь.

На этом фоне он кажется мне особенно чистым – у него светлое лицо, светлые,

возможно, седые волосы, светло-серая одежда, он высокий, прямой, серебристый, он поднимается над бесконечной чернотой, перерезает, разламывает ее надвое и ее становится вроде бы меньше. Мне хочется смотреть на него, но я отворачиваюсь, пригибаюсь к грязи, выуживаю из нее прутик и принимаюсь эту грязь месить: никак нельзя, чтобы он подумал, будто я его тут подкараулила (я, честное слово, не караулила!), чтобы он подумал, будто я чего-то жду (а я, правда, жду).

Его зовут Константин Александрович Федин. Мама говорит, что он хороший писатель, что мой отец его ценит и с ним знаком. То, что считает, думает, ценит папа, который полтора года на фронте и всё больше теряет в моем сознании реальный облик, превращаясь в фотографии и письма, – непреложная истина. Но у Федина кроме литературных заслуг, чего достаточно взрослым, чтобы взирать на него с уважением, есть другие, чрезвычайно важные для меня: всякий раз, когда я попадаюсь ему на глаза, Федин дарит мне *подушечку*.

Тут надо объяснить, что это такое, *подушечка*. Нет, вовсе не маленькая подушка. Это конфета – по форме в самом деле напоминающая подушку, мелкая, липкая, снаружи скуп осыпанная крупинками сахара, заполненная изнутри каплей приторного джема. Едва ли не единственное лакомство, изредка перепадавшее нам в годы войны.



Константин Федин. Чистополь, 1940-е. Фото В.А. Авдеева

Федин замечает меня, спрашивает, зачем я вожусь в грязи, велит бросить прутик и посмотреть на него. Только того мне и надо: бросить прутик и бросить этот жалкий театр для себя, попытку сохранить достоинство в его – и, главное, в своих – глазах. Он опускает руку в карман длинного пальто, вынимает крошечный сверток и теперь смотрит на мои руки. Сверток – к моему разочарованию – возвращается в глубину кармана. Из другого извлекается полузабытый предмет довоенной жизни, совершенно неуместный в здешних условиях, – белый носовой платок. Поколебавшись, Федин двумя

пальцами поднимает за рукав мою руку, ту, что почище, и пробует платком стереть грязь с пальцев. Платок становится черным, пальцы – пятнистыми. Тогда он велит мне открыть рот и аккуратно забросывает туда *подушечку*. Вкус конфеты отбивает память. Отчетливо помню всё, что было до этого момента, но напрочь забыла, что произошло дальше.

Вечером к нам заглянула соседка, такая же эвакуированная москвичка. Мне поручено присматривать за ее маленьким сыном, мы спрятались за печкой. Мама угостила гостью папиросой, папиросный дым смешивается с запахом дыма из печки, когда мы с сынишкой гостьи открываем дверцу. Мне не надо присматривать за Витюшкой, мы оба присматриваем за огнем.

Слушаю вполуха взрослый разговор:

– Конфетки дарит, говорите? А чего ж не подарить? У них дома, известно, ледник жратвой набит, до весны хватит. На рынке мед скупает бочками. Он и Анечке Мартыновой конфетки носит, ваш Федин. Ишь, выбирает, кто покрасивей.

Мгновенный укол ревности: про Анечку мне ничего не известно. Хотя Анечка по нашей иерархии не соперница, ибо еще не вышла из детского сада, а я уже школьница, но что она «покрасивей» – это точно: волосы ниже плеч и вообще. А я при чем? Что ли и я – «покрасивей»?

Мама горячо вступается за Федина, до меня доносится: «как вы можете», «сплетни», «напраслина». Мама опровергает и ледник, и бочку меда, которую, по ее сведениям купил вовсе не Константин Федин, а Николай Асеев. Но с тем, что меня назвали красивой, она не спорит. Она соглашается!

Сокрушительную новость следовало продумать и проверить, однако случай представился лишь на следующий день. Когда все разошлись из дому, я стащила у хозяйкиной дочки Азы ручное зеркальце и принялась изучать свою наружность. О стандартах красоты у меня к тому времени сложились твердые представления, почерпнутые из разговоров старших девочек и популярных песенок: главное – цвет глаз, которые должны быть черными, на худой конец – голубыми. Увы. Те, вытаращенные, что уставились на меня из зеркальца, таковыми не являлись: ни тебе черного, ни голубого. Я попыталась припомнить, воспевались ли где-нибудь зеленые в полоску, но ничего подобного не приходило на память. Отражение дрогнуло и поплыло в сторону: это Азина кошка ткнула меня под локоть – то ли пришла утешить, то ли явилась посторожить хозяйскую собственность. Я поднесла зеркальце к ее усатой морде – и что же там отразилось? Да то же самое, что и минуту назад! Нет, усов и шерсти тогда, конечно, не было, но зеленые в коричневых стрелочках кисины глазки оказались один к одному – такими же, как у меня. Ну, чуть помельче, может быть.

Поздно вечером перед сном меня осенило: я, наверно, ослышалась! Может быть, мамина гостья сказала: «Выбирает, кто по-НЕ-красивей»? Тогда бы всё сошлось: некрасивых надо жалеть, им положен гостинец. А красивым и так хорошо, без конфеты-подушечки.

Мне становится спокойно и тихо на душе. Мысли о красивости-некрасивости уходят, на много лет перестают занимать меня. Остается неотвеченным вопрос об Анечке Мартыновой с ее чудными волосами, но я не успеваю его додумать, засыпаю. А утром начинается совсем другой день.

В Переделкине улицы носят скучные советские названия, которые известны разве что почтальонам. В ходу – фольклорные, прижившиеся: Аллея Классиков, Авеню Парвеню, Выселки Большие

Склоки. Пользуются ими не только литераторы, но и вся округа. Когда Андрей Дмитриевич Сахаров, впервые туда заехавший, спросил у дорожных рабочих, как пройти в Творческий Тупик (так объяснил ему дорогу мой отец), его любезно провели к Дому творчества писателей.

Поскольку названия бытуют в устной традиции, написание и оттенок смысла можно выбрать по вкусу. Застроенная по одной стороне улица, та, что выходит на пустошь перед церковью, долгое время служившей резиденцией патриарха, именуется: хочешь «Неясной поляной» – с намеком на раннего Пастернака, хочешь «Не Ясной Поляной» – в адрес Федина с его амбициями.

Тут я каждую дачу знаю наизусть внутри и снаружи. В № 1 навещала друга моего отца Ивана Халтурина, в № 3 живут мои друзья Женя и Алёна Пастернаки, в № 4 – Кома Иванов, в № 5 зимовал когда-то Валя Берестов. Только в № 2 я никогда не бывала – там обитает член правительства, академик, глава Союза советских писателей, Герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии и прочая и прочая – Константин Александрович Федин.

Никто больше не упоминает о нем как писателе. Теперь не услышишь: «Федин *на* писал», теперь говорят: «Федин *под* писал». Подписывает он разные вещи: иной раз – нормальные (просьбу о жилье для неимущей писательницы), другой раз – чудовищные: запрет на публикацию «Ракового корпуса» Солженицына. Да что говорить! Известно, какую роль, куда как неблагоприятную, сыграл Федин в трагедии Пастернака. С дороги я могу разглядеть его в саду. Внешне он мало изменился. Мне хочется окликнуть его, напомнить чистопольские дни и поблагодарить за *подушечки*, о которых никогда не забуду. Но он стоит далеко от изгороди, почти у самого дома. Минута – и он поднимается на крыльцо, исчезает из виду. Время для новой встречи упущено. Время прошлых встреч ушло. Я испытываю грусть и облегчение, иду дальше своей дорогой.

Теперь уж не узнать, жил ли еще в этом важном чиновнике добрый волшебник моего детства, что берег в кармане липкие конфеты для голодных детей военного времени. Но я точно знаю, что тот перепачканный уличной грязью голодный заморыш живет во мне по сей день.

Праздники нашего поколения

Пора елочку наряжать!

Посреди комнаты растет дерево. Я трогаю его колючие лапы и пытаюсь вместить невероятное. Мой трехлетний жизненный опыт подсказывает, что такого быть не должно: деревья растут только на земле, только летом и только на даче. Зимой в городе они не водятся. Дерево пахнет сразу и летом, хвоей, и зимой – снегом. Оно растет прямо на полу, а мама развешивает на ветках мои игрушки – те, что помельче. Мне это не нравится, я начинаю предупредительно сопеть, собираясь удариться в рев.

– Эй, не киснуть! – строго окликает меня отец. – Не время хныкать, время елочку украшать!

Голос идет сверху, я поднимаю глаза и вижу, что отец стоит на лесенке под потолком и маленькими гвоздиками прибавляет к оконной раме лист плотной черной бумаги. Окно слепнет, мне становится страшно, я прижимаюсь к няне.

– Разболтает девка о елке, хлопот не оберемся, – ворчит няня.

– Да что она там сможет разболтать, наша девица? – смеется отец. – Кто станет слушать?

– Найдутся охотники, – предупреждает няня. – Мне что, мое дело – сторона, на себя пеняйте.

На дворе год 1935-й. Новогодние елки запрещены: они – религиозный пережиток, как постановили власти, вдруг ударившиеся в борьбу с язычеством (мало им показалось борьбы с христианством!). Потому испугана няня Маруся, занавешены окна, нет елочных украшений. Но мои молодые родители не сдаются: им надо сохранить хоть внешние приметы человеческой жизни, свое понимание нормы: раз в доме есть ребенок, должна быть елка на Новый год. Мама пристраивает на ветках длинное ожерелье из прозрачных бусин – я люблю перебирать эти твердые прохладные шарики, когда она его надевает, чуть выше – блестящую цепочку с камушком, еще где-то – серебряный флакончик для духов.

– Не забудь мои галстуки, – подсказывает отец, – там есть пестрые!

Год 1938-й. Второй год Москва не спит ночами в ожидании незваных гостей. Слушают чутко: не остановился ли «черный ворон» у подъезда, лифт у дверей квартиры. Перед Рождеством опасность подходит вплотную к нашей семье: арестован первый журналист страны, герой гражданской войны в Испании Михаил Кольцов, главный редактор журнала «Огонёк». А в «Огоньке» работает моя мама. Маму куда-то *вызывают*, она на долгие часы исчезает из дома, и я слышу, как отец меряет шагами квартиру, бесцельно переходя из комнаты в комнату. Она возвращается поздно и за закрытой – от моих ушей – дверью чужим голосом рассказывает что-то отцу, часто повторяя слово *они*.



Соня Ивич (вторая справа в первом ряду) на детском празднике. Кон. 1930-х

Нависшую над домом угрозу дети ощущают безошибочно. По сей день помню изумление и восторг от известия, что елка, о которой я и не смела мечтать, все-таки будет! И голос отца:

– Раз в доме есть ребенок – должна быть новогодняя елка. Пока...

Немало времени прошло, прежде чем я поняла то, что не было досказано: «Пока есть, кому ее наряжать». Будут ли у дочери отец и мать к следующему новому году? – об этом думали в те дни не только в нашей семье.

Год 1942-й. Война. Мы с мамой и старой бабушкой в эвакуации, в маленьком городке Чистополе, куда вывезли семьи московских писателей. Отец – на фронте, мы живем только письмами от него да сводками с места военных действий. Пришло письмо – значит, папа жив, можно без страха произносить вслух его имя. Я стараюсь не думать о том, что ясно не только старшим, но и мне: пока шло письмо, его могли... он мог быть... – нет, я даже мысленно не позволяю себе слова *убит*.

– В доме есть ребенок, в доме должна быть елка, – не очень уверенно произносит моя мама.

– В доме есть нечего, – сурово напоминает бабушка.



Константин Богатырёв. 1967

Что правда, то правда. Мама берется за любую работу, но эвакуированных интеллигентов полно в городке с его полудеревенским укладом и нанимают их неохотно: они не умеют запрягать лошадей, плохо орудуют пилой и топором. Нам едва хватает на подмороженный картофель, на пшенную кашу без масла и молока. Летом и осенью мы, дети, воруют овощи на чужих огородах, выкапываем руками незрелые мелкие картофелины и едим их сырыми, торопясь, пока нас не застучали. Летом еще выручает суп из крапивы, но в декабре надеяться не на что.

По сей день, когда встречаю кого-нибудь из друзей военного детства, они вспоминают ту чистопольскую елку, которую устроила моя мама. Были гости из интерната для эвакуированных детей. Была елочка, невысокая, но пушистая и пахучая. Был *торт* – а мы даже слова такого не помнили! – из пшеничной муки с медом. Глядя на мамины хлопоты, хозяйка дома, где мы снимали комнату, принесла из дровяного сарая заледеневший ящик, полный настоящих довоенных елочных украшений. Она сама нарядила нашу елочку, а оставшиеся игрушки раздарила нам. Мне достался чудесный крошечный бубен, он тоненько звенел, если его встряхнуть, а когда он совсем оттаял в натопленной комнате, оказалось, что внутри у него – ясное зеркальце! От восторга я бросилась к маме и стала ее просить – для полноты счастья – надеть то *нарядное*, до полу, довоенное платье и с младенчества любимое мною ожерелье из твердых прохладных бусин. Не помню, что ответила мама, помню только свое разочарование. Не скоро мне стало известно, что платье и ожерелье мама обменяла на рынке на кулек белой муки и баночку меда, чтобы испечь нам на елку почти настоящий торт.

Год 1949-й. Война позади, жизнь понемногу налаживается – у многих, только не у нас. Мой отец объявлен *космополитом*, *антипатриотом*, Я читаю об этом в газетах и не могу свести концы с концами: он воевал за нашу страну, я так горжусь его боевыми наградами! Кто же тогда патриоты, если не такие, как он? И что значит это длинное, новое для меня слово космополит? Я смотрела в словаре, но так и не поняла, при чем тут мой папа, всю жизнь проживший в России русский писатель. И как это так: газета называется «Правда», а там всё врут про моего отца?



У здания МГУ. Лев Аннинский, Леонид Козлов, Софья Ивич, их сокурсница Сильва. 1955

В школе учителя стараются пореже смотреть в мою сторону и почти не вызывают к доске: им жутко произносить вслух мою *антисоветскую* фамилию. Родители подруг запрещают дочкам заходить ко мне. Наш дом стал сам на себя не похож: молчит телефон, молчит звонок на дверях. А ведь прежде дня не проходило без гостей – петербургская изысканность отца и московское хлебосольство матери привлекали литературную братию. **Новый 1950-й** мама, папа и я встречаем втроем, но 1 января нас посещает гостя, которую в прежние, многолюдные времена я у нас не видала. Высокая, статная, с пышными седыми волосами вокруг молодого лица, она кажется мне прекрасной. Ее зовут Лидия Корнеевна Чуковская, я многому научусь у нее впоследствии, но тут получаю – как новогодний подарок – первый драгоценный урок: если дом всеми оставлен, посети его.



С сыном Костей. 1961

Год 1953-й я встречаю в веселой студенческой компании, в нарядном, непривычно богато обставленном доме однокурсницы. С первым ударом часов, отбивающих полночь, ее отец провозглашает тост... за Сталина. Нет, я не вскакиваю в гневе из-за стола, не отталкиваю с презрением тарелку, не хлопаю дверь. Я послушно держу бокал за тонкую хрустальную ногу и даже поднимаю его, только не подношу к губам. На большее меня не хватает. С ужасом думаю: что будет дома, если родители узнают о моем позоре?

1957-й мы встречаем как начало новой эры. Свобода! Весна! Где нам, молокососам, догадаться, что это всего лишь оттепель перед новыми холодами? Мы не в силах мирно сидеть вокруг елочки, мы всю ночь большой компанией носимся по московским улицам и, пугая редких прохожих, в десять глоток декламируем еще недавно запрещенные стихи. Мы врываемся в квартиры знакомых, не задумываясь, ждут ли нас там или нет. Мы восторженно повторяем имена тех, кто *вернулся* – из лагеря, из тюрьмы. Я все время слышу – и сама повторяю – имя Константина Богатырёва, но предчувствия не тревожат меня, а ведь меньше месяца осталось до нашей с ним встречи и меньше года – до дня, когда эта фамилия станет моей.

Теперь мы – семейные люди, Новый год встречаем дома – пусть приходят к нам. Приходят знакомые, приводят незнакомых. Милая девушка с новогодним именем Ёлка пришла с другом – смуглым, узкоглазым, молчаливым. Он почти не принимал участия в общем веселии и лишь к утру, когда все выдохлись и утихомирились, стал негромко,

словно себе самому, рассказывать о том, что происходит в комнате. Завороженные и обалдевшие, мы вдруг увидели себя со стороны, в ином измерении, вплетенными в картину мира и космоса, мельчайшими и в то же время значительными.

– Как его зовут? – шепотом спрашиваю у Ёлочки, когда импровизация обрывается столь же внезапно, как началась.

– Генка, – отвечает она беспечно.

– А по фамилии?

– Айги.

1966-й начался розыгрышем: какой-то шутник позвонил и назвался Иосифом Бродским. Неудивительно, меня давно дразнят этим моим увлечением: я всем уши прожужжала, декламируя его стихи, привезенные из Питера.

Чтобы не ударить в грязь лицом (пусть не воображает, что поверила!), беседу веду пренебрежительно, высокомерно, не без язвительности, и в той же манере приглашаю шутника на ужин.



Софья Богатырёва, редактор журнала «Пионер». 1971

В назначенный час у дверей раздаётся звонок и на пороге возникает высокий, рыжеволосый, румяный с мороза и, без сомнения, подлинный Иосиф Бродский! После того, что я утром ему наговорила, мне остается только одно: немедленно и бесповоротно провалиться сквозь землю. Это оказалось затруднительно: мы жили на пятом этаже.

Канун 69-го. После вторжения советских танков в Прагу – по нашим надеждам они прошли столь же тяжело и неотвратно, как по чешским улицам, – в Москве волна репрессий: аресты, обыски. Знакомые приносят нам на хранение пачки сам– и тамиздата, поначалу мы как-то распихиваем их, потом оставляем на виду – все равно прятать уже

негде, но с неизменным почтением отводим самое защищенное место драгоценному грузу – чемодану с бумагами Андрея Дмитриевича Сахарова, которые доверила нам Елена Боннэр.

На встречу **1989-го** к нам едва поспел прямо из Шереметьева американец, профессор русской литературы – мы познакомились, когда он стажировался в Москве. Мельком взглянув, я огорчаюсь, что за два года он отрастил такой толстый живот. Но он стремительно обретает былую стройность, прилюдно расстегнув штаны и вытащив из-за пояса, как кенгуру из сумки детеныша, только что вышедший в США «Метрополь» и два последних номера «Континента» – рождественский подарок, таким способом пронесенный сквозь бдительный таможенный контроль.

...Пока я предаюсь воспоминаниям, перебирая разных времен новогодия, среди которых не было, похоже, ни одного безоблачного и уж точно, ни одного легкого: ведь всё – елку, подарки, угощение – приходилось не покупать, а *доставать* (как я ненавидела это мерзкое слово и то, что оно тогда означало!), и на обочине сознания брезжит вопрос: зачем? Не напрасно ли мы тратили столько сил и времени – во имя чего? Чтобы повеселиться несколько часов в неурочное ночное время? Да нет, разумеется.

Новый год для моего поколения в моей стране был не просто праздник – это был единственный неполитический праздник. Многие сошлось на нем. Ощущение преемственности: в отличие от 1 Мая и 7 Ноября Новый год справляли наши деды и прадеды. Ощущение причастности: Новый год отмечается – пусть в разные даты – всем земным шаром, что тоненькой ниточкой связывало нас с миром по ту сторону железного занавеса. Ощущение независимости: тут ничего не было от советской власти, *этот* праздник мы получили не из ее рук и проводить его могли, как вздумается – без «торжественных собраний» накануне и «демонстраций трудящихся» с утра пораньше. Наконец, то был почти христианский праздник: он приходится как раз на полпути между католическим Рождеством и православным – недаром и елку, и подарки, и школьные каникулы в просторечии называли не новогодними – *Рождественскими ...*

Ладно, хватит старое ворошить! Пора елочку наряжать.

Да здравствует 1 мая, день воздушных шариков!

В нашем довоенном детстве воздушный шарик почитался большой ценностью, в иерархии которых он располагался между поездкой в легковом автомобиле «эмка» и круглой лепешкой мороженого с вафлями, на которых значилось имя, если повезет – даже твое собственное. Замечательно, что все три радости отличались непрочностью, скоротечностью существования. Мороженое исчезало мгновенно, почти в самый миг своего появления; поездка в автомобиле по еще не разросшейся Москве длилась не более получаса, а шарик жил меньше суток, пока не превращался в сморщенный, противно вонявший резиной комок, который при некоторой оборотистости можно было выменять во дворе на фантик – красивую обертку от съеденной кем-то конфеты. Только отчаянные натуры решались на прекрасный и безумный поступок: выпустить из рук хвостик еще упругого, полного жизни шарика и подарить

себе мгновение полета. Тобою сотворенного полета. О случаях, когда шарик взмывал в небеса против твоей воли, не стоит и вспоминать, так это было печально. 1 мая был единственный день в году (а годов жизни к тому времени набежало пять, много – шесть), когда в руках собирались разом не два, не три, а целая гроздь шариков. Они трепетали на пучке тонких веревочек, они рвались из рук, и это не страшило. Подумаешь, упустишь один – вон сколько останется!



Девочка «Заяц». 1930-е

Шарики приносили особые, первомайские гости – в иные дни они у нас не появлялись. 1 мая городской транспорт полдня не работал, а мы жили в Замоскворечье, неподалеку от Красной площади, и после демонстрации мама приводила к нам чуть ли не всю редакцию журнала «Огонёк», где она работала. Гости вваливались шумной разгоряченной толпой с бумажными цветами, портретами вождей и – шариками. Портреты вождей они, уходя, забирали с собой, цветы отец выбрасывал, а шарики – шарики доставались мне.

Я очень любила день 1 мая.

Вот только ложка дегтя в нем присутствовала: что-то неуловимо менялось в этот день в нашей семье. В обычные дни мама и отец были вместе, весь остальной мир – отдельно. Даже я как-то существовала за границами их союза. 1 мая отдельно оказывался отец. Мама была с гостями. Я была с гостями – уж конечно, с гостями! Дневные гости вообще случались нечасто, друзья к родителям заявлялись поздним вечером, а меня отправляли спать до их прихода. 1 мая отец, хоть и добросовестно выполнял обязанности хозяина в традиционном застолье, но участия в общей беседе не принимал, и лицо у него оставалось будничным, даже отчужденным. Мне казалось – сердитым. После ухода гостей за закрытыми дверьми спальни родителей слышался его голос:

– Я прошу... В такое время... В нашем доме...

Он возвращался в столовую, сгребал бумажные цветы демонстрантов и брезгливо, как-то неестественно вывернув и далеко отставив руку, выносил их к помойке на заднем дворе.

Первомайские гости, как и *всенародное ликование* этого дня: музыка, гремевшая из репродукторов, праздные толпы на улицах, цветы и мои драгоценные шарики, – были всего лишь частью «пира во время чумы». Террор набрал силу в стране, и только в дни

государственных праздников москвичи могли спать по ночам почти спокойно. Доблестные стражи порядка тоже веселились и на краткое время прекращали шастать по чужим домам и хватать ни в чем не повинных людей. Мама и ее друзья беспечно радовались *пиру*, отец не мог и не желал забывать о *чуме*.

Праздник воздушных шариков просуществовал недолго: как раз к моим шести с половиной он и оборвался навсегда. В декабре 1938-го главный редактор журнала «Огонёк» Михаил Кольцов был арестован, сотрудников не посадили, но долго *таскали* в известное учреждение, потом распихали по другим изданиям. Моя мама благодаря хорошему знанию языка попала в антифашистский журнал бежавших от Гитлера немецких интеллигентов, он назывался «Das Wort». Я там была однажды, мама привела дочку показать сослуживцам. Меня окружили непривычного вида тетеньки, они всплескивали руками, обнимали, щебетали все разом на непонятном языке, я их испугалась, надулась и стояла столбом.

Дома у нас они не бывали и шариков на Первомай не приносили.

День орденов

В послевоенные годы День Победы, 9 Мая, стал для меня Днем орденов. В этот день отец вынимал из глубины письменного стола плоскую тяжелую коробку и, смущенно посмеиваясь, словно оправдываясь передо мной и мамой, – а мы с самого утра присматривали за ним, чтобы не пропустить торжественный момент, – вынимал, разглядывал, только, к великому моему огорчению, никогда не надевал свои боевые награды. Война с Гитлером отвлекла Сталина от войны со своим народом, годы военных испытаний стали временем примирения внутри страны, когда романтически настроенные интеллигенты прониклись духом патриотизма и кинулись на защиту Родины. В лучших советских традициях Родина сумела им в скором времени отплатить.

Мой отец молчаливо, но глубоко гордился тем, что не был *тыловой крысой*, а честно, как подобает мужчине, отрубил все четыре с половиной года на фронте. На его долю выпала осада Севастополя, на долю его семьи – тяготы эвакуации, бездомность, голод. 9 Мая у нас по традиции собирались папины фронтовые друзья, севастопольцы, те, кто выдержал осаду города длиною в 250 дней. Те, кто выжил. Для них 9 Мая был двойной праздник – День победы и День освобождения Севастополя, город был отвоеван ровно за год до окончания войны, тоже 9 мая.



Майор А. Ивич с капитаном Корзуновым – одним из героев своего очерка. 1943, май

Приготовления начинались задолго. В наш дом в сорок первом попала бомба, обрушив две стены. Стены со временем восстановили, но всё, что находилось внутри, – мебель, утварь, посуда – погубило безвозвратно, а купить что-либо из домашних вещей в то

время было решительно невозможно. По случаю высоких гостей у родни занимались бокалы и тарелки, от соседей приносили стулья. Моя хлебосольная и гостеприимная мама в этот день старалась превзойти себя. Мне разрешалось до позднего вечера сидеть за столом с гостями, но тут уж было не до еды. Я пялила глаза на ордена и лица живых героев и впитывала каждое слово фронтовых рассказов.

Особенно мне нравился один, я знала его наизусть, хотя и с купюрами. 10 мая 1944-го, после объявления о том, что Крым полностью очищен от врага, отец летел по заданию газеты, чтобы дать репортаж о славном событии. Скомандовал пилоту приземлиться на херсонесском аэродроме. Пошли на снижение, с земли по ним открыли огонь. Летчик чудом ушел из-под обстрела, выбрали другой военный аэродром, приземлились, ругательски ругая наземную службу Херсонеса:

– Совсем... – на этом месте, взглянув на меня, рассказчик заменял нужный глагол мычанием, – бьют, – (мычание) – по своим.

В ответ отец и пилот получили разъяснение: не свои и не по своим били. Газета «Правда» объявила: Севастополь освобожден, Москва отсалютовала победителям, сделав 24 залпа из 342 орудий. О том, что в окрестностях города бои продолжаются, в сообщении не сочли нужным упоминать.



Встреча с читателями газеты «Черноморский летчик». 1943

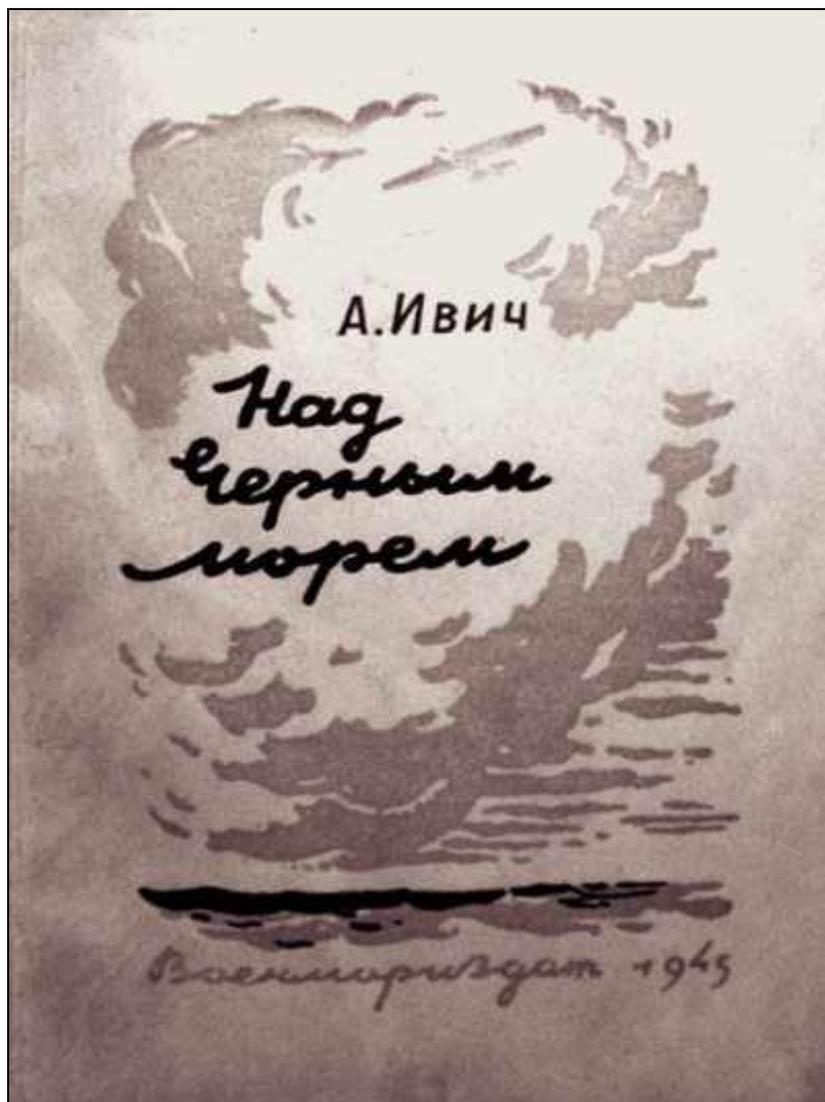
Если кто-нибудь из гостей обращался ко мне с вопросом или несколькими словами, об этом после праздников узнавала вся школа. На беду, обращались главным образом не герои, а их жены, так что хвастаться особенно не приходилось. И ни разу не заговорил со мной самый молодой из них, единственный, кто приходил без жены. Я увидела его впервые в конце войны, когда он привез нам с фронта долгожданное письмо от отца. Он появился в летном обмундировании и меховых сапогах, как-то хитро пристегнутых к поясу. Меховые сапоги меня сразили, мое сердце отныне было отдано ему навеки. Увы, без взаимности. Мама старалась меня утешить:

– Потерпи. Подрастешь немножко, он заметит тебя, увидишь! До скольких терпеть, мама не уточняла, и я тут же принималась про себя кропотливо подсчитывать, опираясь на опыт прочитанных к тому времени книг: если до неполных четырнадцати, как было Джульетте, когда ее полюбил Ромео, то совсем пустяки оставались, вот не пришлось бы ждать до десятого класса.

Арифметикой я могла бы не заниматься: к тому времени, когда я, наконец, переросла Джульетту, встреча фронтовых друзей не состоялась. В том году мой отец был объявлен *космополитом и антипатриотом*, дом наш стал зачумленным, отважные воины не решились переступить его порог. Тут требовалось иное мужество, не военное. Гражданское.

В тот космополитический день 9 Мая никаких приготовлений не было, да и быть не могло: объявленный клеветником, ставший изгоем, отец лишился заработка, семья жила в нищете, принимать гостей всё равно было не на что. Под каким-то предлогом мать увела его из дому.

Я достала из ящика папиного письменного стола коробку с его боевыми наградами – все-таки по семейной традиции это был их законный день.



Книга А. Ивича о летчиках Черноморского флота

Вынимала по одной, полюбовалась каждой: два ордена и пять медалей. Про этот, орден Красной Звезды, отец говорил, что его «просто так» не давали. Этой медалью, «За оборону Севастополя», особенно дорожил. А вот этого я никогда не видала: на дне шкатулки лежали крохотные орденские книжки, мне они показались игрушечными. Там значилось, что награды (номера такие-то) присуждены майору такому-то за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, за героизм, проявленный во славу Родины. Раскрыла лежавшую на столе папку, куда отец методично складывал вырезки из центральных газет, поносивших его за «антипатриотизм и вред, нанесенный Родине». В качестве основного доказательства приводился тот факт, что в одной из своих критических статей он с восторгом отозвался о книге «Охотники за микробами», написанной американцем Полем де Крюи, и тем самым оскорбил всю великую русскую литературу. Герой или преступник? Тут было о чем подумать.

Вскоре после смерти отца нас посетила представительная делегация Музея обороны Севастополя 1941–1942 гг., который, как с гордостью нам сообщили, возводится почти в самом центре города, на мысе Хрустальный. Сотрудники будущего музея загодя собирали материалы для экспозиции, в частности, готовили стенд, посвященный памяти Александра Ивича, писателя, участника обороны Севастополя, майора воздушных сил Черноморского флота, моего отца. По их просьбе мама и я подобрали и отдали им

экземпляры книг отца, посвященных военным годам. Передали в дар столь памятную нам коробку с боевыми наградами.

С тех пор прошло три с лишним десятилетия, а музей всё еще не открыт, частично построенное здание заброшено и разрушается. Судьба орденов и медалей, заслуженных моим отцом, нашей семье неизвестна.

Лариса Лейтес «И никакого розового детства...»

Лейтес Лариса Александровна родилась 7 ноября 1932 года в Москве, в 1941–1943 годах была в эвакуации в интернате Литфонда в Чистополе. В 1955 году окончила химический факультет МГУ; доктор химических наук, профессор.



Лариса Александровна Лейтес. 2010

Ее мать, Флора Моисеевна Бархина, родилась в Белоруссии, близ Орши. До войны сотрудничала в московских газетах как внештатный журналист. В 1941–1943 была с дочерью в эвакуации в Чистополе, где работала воспитательницей в интернате Литфонда. После войны – в редакции иновещания в Радиокомитете, откуда в период борьбы с космополитизмом в 1949 году была уволена. Долгое время не могла найти работу, в последующие годы была заведующей библиотекой.

Отец, Лейтес Александр Михайлович, родился в Брест-Литовске в богатой семье,

разорившейся после революции и обосновавшейся в 1919 году в Харькове. В ранней юности увлекся литературой и революционными идеями. В 1921 году основал в Харькове Первый Всеукраинский Союз писателей и был его ответственным секретарем, рано начал печататься: сборник юношеских стихов, статьи в коммунистической печати и парадоксальная брошюра «Поэзия как анахронизм», где автор утверждал, что в совершенном коммунистическом обществе все будут так счастливы, что надобность в поэзии отпадет. Получил литературное образование в Харьковском институте народного образования (ХИНО).

В 1927 году издал двухтомник на украинском языке «Десять лет украинской литературы», где были даны краткие биографии с портретами всех действующих лиц украинской литературной сцены 1917–1927 года и цитировались их основные произведения. Нелишне заметить, что большинство героев этой книги было арестовано в 1937–1938 годах. Позже, с ростом «незалежных» настроений, эта книга стала вызывать на Украине большой интерес и была небольшим тиражом переиздана в Германии в 1986 году.

В 30-годы А.М. Лейтес по приглашению ЛОКАФ [14] переезжает в Москву, активно печатается в газетах «Правда», «Известия», «Литературная газета», постоянно работает в журнале «Знамя» и других, издает несколько книг, специализируясь в области критики западной литературы, которую он прекрасно знал, владея основными европейскими языками. В 1934 году вступил в Союз писателей.

Будучи невоеннообязанным из-за больного сердца, во время войны А.М. Лейтес был назначен председателем военной комиссии ССП, в конце войны по приглашению К. Симонова занял пост его заместителя в иностранной комиссии ССП. Во время кампании против космополитов в 1949 году был от этой должности отстранен. В последние годы жизни заинтересовался теорией перевода, преподавал в Литературном институте.

Самый счастливый день в году

Рассказ четырехлетней девочки о её жизни в Москве 1937–1938 гг.

Самый счастливый день в году – конечно, мой день рождения. Не только потому, что утром в этот день, когда я просыпаюсь, возле моей кровати стоит столик со всякими подарками, но и потому, что в этот день вся наша страна радуется – на улице громко поет радио, играют оркестры, люди несут красные флаги и бумажные цветы на палках и тоже поют песни. А больше ни в чей день рождения такого не бывает – только в мой, 7 ноября. Но ребята из нашего дома мне не верят, что всё это в честь меня. Ничего, скоро опять мой день рождения, мне будет пять лет, и тогда они увидят. А папа смеется и говорит, что они дураки. А если тебе не верят, надо очень быстро и громко сказать: «Честное ленинское под салютом Всехвождей!» Всехвождей управляют нашей страной. Их портреты тоже несут люди на улице в мой день рождения. Всехвождей много, самый главный – Сталин. Папа говорит, что перечислять их надо только в строго определенном порядке, иначе всем будет очень плохо (только мне кажется, что он при этом немножко смеется). Надо так «Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович...», дальше я забыла, а кончается так: «...Берия, Шверник». Еще есть Микоян, папа говорит, он делает сосиски, а Каганович построил наше метро – «Дворец Советов». Недавно один из Всехвождей умер, его звали Серго, он заведовал всеми машинами. Я знаю, что когда кто-нибудь умирает, надо плакать. Я подошла к своей кровати, уткнула лицо в подушку и очень старалась заплакать, потому что умер Серго, но почему-то у меня не получилось.



Лариса Лейтес с родителями на даче в Голицыно. Кон. 1930-х

Мой папа – писатель, в нашем доме 3/5 на улице Фурманова у всех ребят папы – писатели. Только у Танечки Барто писатель мама, Агния Львовна. Она пишет стихи для детей: «Уронили мишку на пол...». А что пишет папа – я не понимаю, это для взрослых. У писателей тоже есть Всехвождей – Горький. Только он умер прошлым летом, когда мы жили на даче в Голицыне.

Я тогда сидела на ступеньках крыльца и пыталась играть со своей скучной толстой ленивой рыжей морской свинкой Кикой, а мама мыла посуду на террасе. Вдруг вошел папа и сказал: «Знаешь, Флора, Горький умер!» И у мамы из рук выпала и разбилась чашка, которую она вытирала.

Папа почти всегда дома, он работает у себя в кабинете, и ему нельзя мешать. Папин кабинет небольшой и узкий, напротив двери – окно, вся длинная правая стена с пола до потолка усеяна полками с книгами, я люблю по ним лазать, как по лесенке, когда папы нет дома, и рассматривать корешки книг на верхних полках. Слева узенький папин диван и маленький столик, а у окна – большой письменный стол с ящиками, у него сверху зеленая материя, на ней навалены книги и бумаги, и стоит красивый письменный прибор. Если я захожу к папе в кабинет, когда он работает, я всегда удивляюсь, потому что воздух в комнате совсем голубой. Это потому, что папа всё время курит.

А окурки от папирос он складывает в большую черную овальную каменную пепельницу, один ее край сделан в виде лежащей собаки.



Писательский дом на улице Фурманова

Я люблю ее рассматривать, если мне позволяют. Иногда к папе приходит машинистка, тогда она ставит в кабинете на письменный стол свою машинку и быстро печатает всеми пальцами. А папа ходит по кабинету – туда-сюда – и ей диктует. Оттуда доносятся странные слова: «абзац», «кавычки». Эти непонятные кавычки папа велит то открывать, то закрывать. Я всё думаю про них и представляю, что это такие маленькие зверьки, их то загоняют в клетку, то выпускают на волю. Когда, очень редко, папа не работает, можно посидеть у него на диване. С папой очень интересно и весело. Он про всё рассказывает и шутит со мной, придумывает стихи. На свой день рождения придумал такие:

У папы день рожденья, несите поздравленья,
Несите, бога ради, общие тетради.
Мне дочка подарила красивые чернила,
И перья, и платочки. Спасибо милой дочке!

А иногда он читает мне взрослые стихи – или прямо наизусть, или из толстой серой КНИГИ:

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
Или такие:

Качает черт качели – вперед-назад, вперед-назад,

Доска скрипит и рвется, пока не перетрется
Натянутый канат.

На этой старинной, самой толстенной книге написано «Антология русской поэзии XX века». А мама кричит: «Не морочь ребенку голову, она же еще ничего не понимает». – «Ты не права, – спокойно возражает папа, – к хорошим стихам надо приучать с детства, пусть пока не понимает, но вслушивается в музыку стиха». А мне обидно: почему они думают, что я не понимаю! Я ведь давно умею читать сама и обязательно читаю вслух всё, что встречается на пути, даже афиши и объявления на улице. Прохожие удивляются: такая маленькая и уже умеет читать! Как я научилась читать, я не знаю, просто не помню, чтобы было такое время, когда я не умела читать. Недавно мама завела себе пишущую машинку и решила сама научиться печатать и мне велела ей диктовать: вслух читать какую-то странную книжку – «Путешествие на край ночи» [15].



«Мама (слева) и тетя Фира»

Читать – главное мое занятие, я не люблю играть в куклы. Уж если играть, то в каких-нибудь игрушечных зверей или в настольные игры. Самая любимая моя детская книга называется «Что я видел» Бориса Житкова, там написано про всё, только она очень большая, ее трудно удержать в руках.

Мамы почти никогда не бывает дома. Зато у нас есть домработница, которая меня кормит и водит гулять. Она почему-то спит на раскладушке в маленькой тесной кухне, хотя у нас в столовой стоит пустая тахта. Когда мама ненадолго приходит домой, она быстро спрашивает у домработницы: «Девочка ела? Девочка гуляла?» Это про меня.



Альбом шаржей Кукрыниксов на писателей с эпиграммами А.Г. Архангельского

Все говорят, что моя мама очень красивая, но я так не думаю. У нее очень черные волосы и нос крючком, и она часто кричит и на меня, и на папу, и на нашу домработницу. Поэтому домработницы у нас часто меняются. Только вчера была Шура, а сегодня уже Нюра. Домработницы все едут в Москву, потому что там, где они раньше были, жить плохо, там нет еды, а в Москве есть.

Мама часто ходит в Клуб писателей.

Вместе с папой – редко, чаще со своей лучшей подругой тетей Фирой, которая живет у нас за стенкой, в соседней квартире № 67. Папа говорит, что называть ненастоящих теть и дядь «тетями» и «дядями» – это «дурной стиль», а надо – по имени-отчеству. Только тетю Фиру все-таки можно. Папа вообще очень часто говорит со взрослыми про «стиль», часто повторяет: «Стиль – это человек» – и как это может быть?

У тети Фиры есть муж Александр Григорьевич, он тоже писатель, но он никуда не ходит, потому что он очень болен и всё время кашляет, и меня в их квартиру не пускают. А детей у них нет. У нас есть его книги – очень веселые, с большими картинками, в них всё смешное – и стихи, и рассказы, и картинки. Называются они «Карикатуры-пародии» и «ЛитОраторы». Это тоже мои любимые книги. Я их все давно прочла и знаю наизусть. Там смешно сказано про разных писателей, многих я знаю, они живут в нашем доме или приходят к нам в гости. Например, про Михаила Светлова (когда он первый раз у нас дома назвал меня «старуха», я решила обидеться, но потом поняла, что он шутит) так смешно написано:

Серьезное дело поручено мне,
Давлю сапогами клопов на стене.



Лариса с мамой



Александр Михайлович и Флора Моисеевна Лейтес. Конец 1930-х

А про какого-то Зоценко:

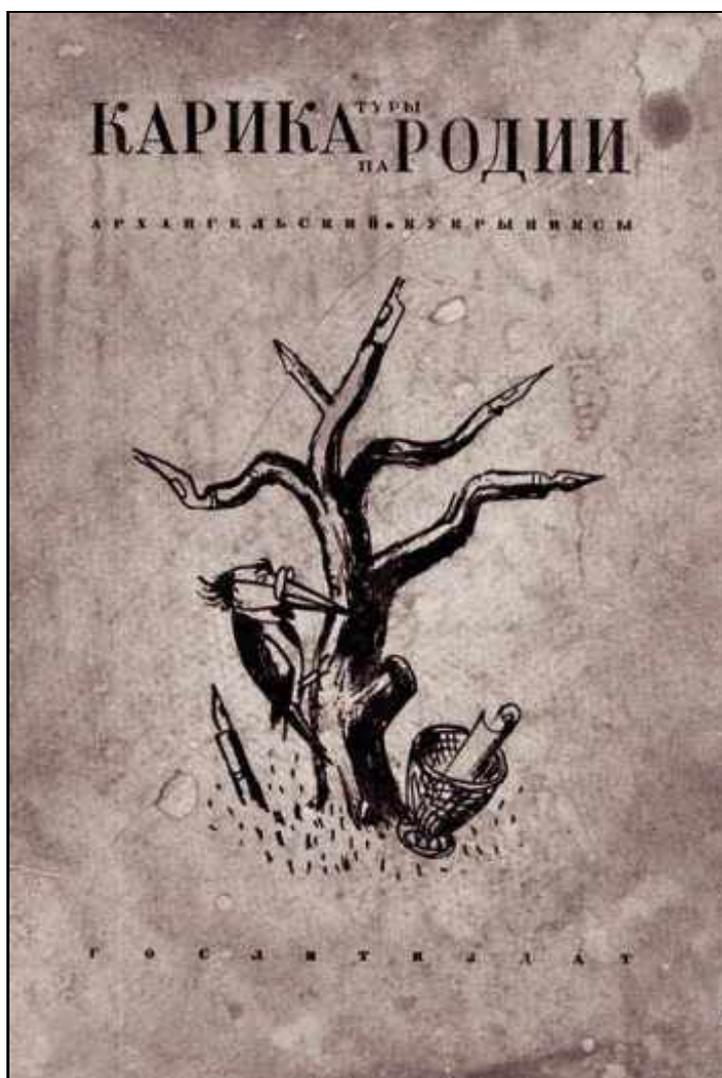
Вот, братцы мои гражданочки, какая со мной хреновина вышла. Прямо помереть со смеху...

Я однажды так и сказала при маминих гостях... Что тут было!

Некоторых писателей на картинках в этих книгах я начала раскрашивать цветными

карандашами, но мне это «категорически» запретили. А вот недавно папа просмотрел эти книги и сказал, что некоторые страницы надо вырвать, потому что эти люди оказались плохими, их надо забыть, а на картинке, где нарисовано сразу много писателей, велел некоторых зачеркнуть. А мне было жалко, и я этого не сделала, только вычеркнула фамилию Бухарин (он, кажется, самый плохой) и закалякала его лицо на большой картинке «Парад литературы» коричневым карандашом.

Когда мама на меня за что-нибудь сердится, можно спрятаться в стенной шкаф, чтобы не попадаться ей на глаза, и там про что-нибудь думать. Шкаф проделан как раз в той стенке в коридоре, за которой живет тетьа Фира. Когда там сидишь, то слышно всё, что делается у них в квартире. Долгое время там ничего интересного не делалось, только слышался грустный кашель. Но однажды я залезла туда и вдруг неожиданно услышала вместо этого громкий отчаянный детский крик. «Мама, – спросила я, – кто там так ужасно орет, у тети Фиры?» И мама мне рассказала, что муж тети Фиры умер, она осталась одна в большой, как у нас, трехкомнатной квартире, которую у нее одной могут отобрать. Поэтому она поменялась на маленькую квартиру в нашем же доме, только в другом подъезде, а сюда въехала семья еще какого-то писателя с ребенком. «Это мальчик, он почти твой ровесник, – сказала мама, – надо вас как-нибудь познакомить, будете вместе играть».



Шаржи Кукрыниксов с эпиграммами А.Г. Архангельского

И вот в очередной раз, когда из бывшей тети-Фириной квартиры доносится детский крик, я вылезаю из стенного шкафа и бегу к маме: «Мам, ну пожалуйста, пойдём знакомиться!» Надо же понять, что там происходит. Мама выходит в общий тамбур, звонит в звонок, и я впервые вхожу в соседнюю квартиру, она точно такая же, как наша, только у нас окна выходят на улицу и с нашего пятого этажа видно Гоголевский бульвар и дальше всю Москву, а у них – на скучный двор. Мы проходим в большую комнату и видим: за круглым столом сидит большая толстая домработница и крепко держит на

руках худенького верткого мальчишку с белой челочкой и слишком большими глазами. Она сует ему в рот ложку с какой-то едой, а мальчишка изо всех сил протестует, крутится, вырывается, колотит своими тоненькими ногами и так орет, что совершенно ясно: его не заставишь. А за этой картиной беспомощно наблюдает девушка с кудрявыми волосами и точно такими же, как у мальчишки, огромными синими глазами, из которых медленно текут большие слезы. Вот она действительно красивая! И так ее становится жалко! Оказалось, мальчишку зовут Витька, а девушка – это вовсе его мама, хотя и такая молодая. Она тихая и добрая, ее зовут Жанна. А папа у них совсем не подходит Жанне, он маленького роста, лысый, толстый и важный. Он явно главнее моего папы, дома бывает редко и часто уезжает далеко-далеко, в какие-то «командировки». Хотя он и не обращает на меня никакого внимания, я его боюсь. Еще у них есть противная собака Рой, у него глаза – как выпуклые пуговицы, и всё время текут слюни, а порода его – бульдог. Он похож лицом на их папу. Роя его тоже боюсь и опасливо обхожу. А с Витькой мы стали дружить, он, как и я, любит читать книжки. Но больше всего он любит командовать.



Парад литературы. Рисунок Кукрыникова

Вскоре наши мамы организовали «группу» из нескольких ребят нашего дома (там все мальчишки, одна я – девочка). Наша воспитательница водит нас гулять на Гоголевский бульвар и учит немецким словам: «Es lebe die rote Oktober!» [16] На бульваре сразу затевается игра. «Я буду Сталин!» – уверенно объявляет Витька. «Нет, я буду Сталин, – пытается протестовать Митяйка Фурманов, – потому что я – Фурманов и мы живем на моей улице – Фурманова». (Мне бы тоже хотелось принять участие в споре и сказать, что только в мой день рождения бывает демонстрация, а в их дни рождения – нет, но я

тихо молчу – от безнадежности.) «Ах так!» – и Витька замахивается на бедного Митяйку, который пускается в бегство. Но Витька бежит быстрее. Драка всегда заканчивается его победой. Витька много бежит и часто падает, поэтому у него на коленках летом коричневые корочки, а осенью, когда нам надевают чулки в резиночку, – дырки. Я отчаянно завидую этим дыркам и однажды решила на преступление: придя домой, взяла ножницы и аккуратно вырезала на коленке нового чулочка круглую дырку размером с пятак. И хотя я изо всех сил уверяла пришедшую домой маму, что это я так упала на бульваре, она мне почему-то не поверила, долго кричала и побила меня. А я очень на нее обиделась, залезла под стол (мое второе убежище помимо стенового шкафа), долго там сидела и представляла себе, как я умру и все будут тогда плакать, и мама тоже, и будет жалеть, что мне не поверила и так со мной обращалась. Вот еще новость – у нас в квартире появилось «радио». Это такая черная круглая бумажная вещь вроде тарелки и с какими-то железными ободками и планочками, она висит на стене, из нее доносится голос или музыка. Я сначала ее испугалась, но потом привыкла и стала слушать. Иногда бывают передачи специально для детей, их ведет человек с добрым голосом – Николай Владимирович Литвинов.



Лариса в детском саду

Однажды, когда мама меня опять обидела, я подставила стул, подлезла к тарелке и в нее пожаловалась шепотом Николаю Владимировичу, а потом с ужасом ждала – что же теперь будет. А ничего не было. Оказывается, говорить в радиотарелку бесполезно, никто тебя всё равно не услышит. И совсем новость. «Ребенок должен расти в коллективе», – так сказала мама, и меня отдают в детский сад. Там все будут дети писателей, потому что это детский сад № 35 Литфонда СССР.

Мальчик

– Мальчик, иди сюда! – это зовет меня мальчик в белой панамке, похожей на гриб-поганку, из-под панамки выглядывают очень черные глаза. А я не мальчик. Я девочка,

девочка Ляля. Просто у меня волосы плохие – реденькие, а маме сказали, что они будут гуще, если обрить ребенка наголо, и поэтому меня сзади совсем обрили, только спереди оставили челочку. Называется – постригли «под мальчика». А одеты мы все одинаково – и мальчики, и девочки – в красивые легкие желто-голубые костюмчики: коротенькие штанишки и кофточка.

Действие происходит летом 1940 года в Переделкине, куда выезжает на лето детский сад № 35 Литфонда СССР. Мне семь лет, и осенью я пойду в школу. Я уже два года в этом писательском детском саду и ко всем привыкла. А мальчик в панамке у нас новенький и, хотя тоже сын писателя, но всем чужой, поэтому он еще не знает, что я девочка. Его отправили в детский сад только на это предшкольное лето, да и то не сначала. Говорят, дома в семье у него что-то случилось. Он в основном бродит один, я даже не знаю, как его зовут. Я его сразу заприметила и про себя называю его просто Мальчик. Я тоже часто брожу одна, потому что все сейчас репетируют пьесу и концерт к «выпускному утреннику». А я стесняюсь, очень быстро и тихо говорю и совсем не умею петь, и поэтому в пьесу меня не взяли.

Я вылезаю из куста орешника и иду на зов. Мальчик предлагает: «Давай играть в цирк!» О, цирк я знаю, я там была, там красный бархат, гимнасты и дрессированные звери. «Я буду дрессировщик, а ты – лошадка». Он отламывает от куста тонкий прутик, становится центр воображаемого круга, машет прутиком и командует: «Алле оп!» Я опускаюсь на четвереньки и скачу по кругу, по команде прыгаю через прутик или поднимаюсь «на дыбы». Он командует совсем не обидно, и мне очень весело воображать себя настоящей лошадкой. И Мальчику весело, я первый раз вижу, как он улыбается.

Так мы с Мальчиком подружились, и жизнь моя расцвела. Он был необычен, его фантазия неистощима. Каких только игр он не придумывал! Они и не снились населению нашей старшей группы, которая в это время в сотый раз повторяла с музыкальной воспитательницей песню, сложенную одним из пап-поэтов на мотив «Утро красит нежным цветом...»:

Уж последние денечки
С вами мы проводим тут,
Отцветут без нас цветочки,
Листья с веток опадут...

Далее следовали стихотворные восхваления заведующей Фанни Петровны и всех воспитателей и припев:

Наш детский сад, к тебе назад
Уж не вернемся снова мы,
Мы здесь росли и выросли
Веселыми, здоровыми.

А кончается так:

Вы уж будете старушки,
А мы снова к вам придем,
В детский сад с собой за ручки
Наших деток приведем.

И как Мальчик был заразителен! С ним я превращалась из тихого заморыша в хоть и не равного, но все-таки активного сотоварища. Изрядное количество уже прочитанных книг позволяло мне радостно воспринимать его затеи. Мы бывали с ним и пиратами, и индейцами, и дикими зверями в джунглях, и отважными путешественниками.



Детский сад во Внукове

Однажды в конце лета утром до завтрака мы без разрешения отправились в далекий поход – открывать неведомые страны – за границу территории детского сада. Недавно прошел дождь, было сыро и грязно, чавкала под ногами мокрая рыжая глина. И когда я перепрыгивала через препятствие – канавку с водой (а в мои семь лет она казалась огромной!) – с моей тощей ноги свалилась сандалия (застегнутая на последнюю дырочку, она всё равно болталась) и утонула в канаве. Так я и возвратилась в детский сад – в одной сандалиии. Конечно, нам попало.

Когда мы снова собрались играть, Мальчик вдруг сказал: «А ведь та сандалия, что осталась, тебе всё равно не нужна, давай ее похороним!» – «Что это – похороним?» – спросила я, еще не знакомая с этим понятием. «Ну как, положим в гроб и закопаем».

А, «гроб» – это я знаю, ведь папа читал мне стихи: «Когда сюда, на этот гордый гроб, придете кудри наклонять и плакать...» И мы взяли коробочку из-под привезенных мамой новых туфель, положили туда злосчастную сандалию и с трудом закопали, а вернее засыпали этот «гроб» с помощью совков из песочницы.

А вечером по политизированному литфондовскому детскому саду № 35 разнеслась радостная весть: умер Троцкий. Ликованию старшей группы не было предела. Но ведь главных врагов у Советского Союза было два: не один Троцкий, а еще и Гитлер. И назавтра у неугомонного Мальчика родилась новая идея: «Давай похороним еще твою туфлю, может быть, тогда умрет Гитлер». Новые похороны были организованы с трудом и прошли не так удачно, и ничего после них – увы! – не последовало, кроме сурового наказания участников...



Лариса Лейтес. 1941

Осенью мы расстались с детским садом № 35, и больше я Мальчика не встречала. Только много лет хранила в памяти эту историю. Так долго, что уже стало казаться – а было ли все это на самом деле? Лишь недавно я рискнула заглянуть в энциклопедию, чтобы проверить себя. И прочла там: Лев Троцкий был убит в Мексике 16 августа 1940 года. Всё так.

И еще: на экране ТВ, на фотографиях в прессе – очень черные глаза знаменитого человека... Он, не он?

Мой Чистополь

Мой Чистополь начался 22 июня 1941 года. Мне было восемь, я отучилась в первом классе, и меня отправили в пионерский лагерь Литфонда во Внукове.

Я была в самом младшем, октябрятском отряде, многих ребят из отряда я уже знала – мы были вместе в детском саду или жили летом в дачных поселках Литфонда.

На воскресенье, 22 июня, было назначено открытие лагеря и родительский день, мы ждали этот день как праздник: подметали территорию, готовили «самодетельность» – разучивали стихи и песни.

О детстве счастливом, что дали нам,

Веселая песня, звени!

Спасибо великому Сталину

За наши чудесные дни.

Неожиданно днем раздался сигнал пионерской «тревоги». Его исполняли наш горнист Ледик Леонидов и барабанщик Толя Дукор – очень известные в лагере люди. Все помчались на линейку и быстро построились. Начальник лагеря объявил, что началась война. Это известие было воспринято младшим отрядом как радостное. Как же: «если завтра война...», «своей земли ни пяди...», «малой кровью, могучим ударом..» – мы росли на этом. Значит, через несколько дней мы разобьем проклятых фашистов! И наши мальчишки весело, с громкими воинственными криками забегали и заскакали по лагерным дорожкам, вооружившись палками.



Берсут. 2005

Вскоре потянулись приехавшие растерянные, обескураженные родители, радость поникла. Еще несколько дней мы прожили в лагере, потом нас отправили домой. А дома – пересеченные полосками бумаги оконные стекла, занавешенные вечером окна – сначала одеялами, потом появилось «затемнение» – специальные шторы из плотной темно-синей бумаги. Возникло слово «эвакуация». Избирательная память многого не сохранила. Чередуются полные провалы и яркие застывшие цветные картины. Не помню, как прощалась с родителями 6 июля, зато сразу вижу: идущий поезд, общий вагон, мы (персонажи из младшего отряда) сидим на деревянной нижней полке, болтаем ногами, не достаящими до пола, и выбрасываем в приоткрытое окно бутерброды, заботливо приготовленные в дорогу мамами: белый хлеб, сливочное масло, домашние котлеты, колбаса довоенного качества – что у кого – выбрасываем пасущимся за окнами коровам. Два долгих года мы потом вспоминали эти бутерброды!



Стасик Нейгауз

Дорога до Казани заняла несколько дней, поезд часто останавливался, пропуская военные эшелоны, было жарко, еда портилась, я заболела тяжелой дизентерией, чуть не умерла. Поэтому следующая картина – сразу палата изолятора в Берсуте. Пароход «Дюканов», который привез нас в Берсут, совсем не помню. Спасла меня Тамара Владимировна Иванова – женщина неумной энергии, ей удалось достать чудодейственное тогда лекарство – БАКТЕРИОФАГ – только так, торжественно, отпечаталось в памяти это слово.

В августе я уже поправилась и включилась в общественную жизнь нашего лагеря. «Население» было почти то же, что и во Внукове (плюс детсадовские и мамы с малышами), но природа – совсем другая. Высокий берег Камы, обрыв к реке, знаменитая лестница, остатки которой удалось сфотографировать в 2005 году, густые леса, полные малины и земляники. Но собирать ягоды было невозможно – налетали тучи комаров. А какие были закаты!

Громкоговорителей в этом бывшем доме отдыха (или санатории?) не было, в солнечной столовой – белые скатерти и довоенная еда, война еще не чувствовалась. Моя спасительница Тамара Владимировна, напуганная желудочными заболеваниями, строго следила за нашим санитарным состоянием, за что ребята прозвали ее «кипяченая водичка». Старшие мальчишки сражались в футбол, были две соперничающие команды. Капитаном одной стал Тимур Гайдар, другой – Стасик Нейгауз. Оба – лидеры, но антиподы: хулиганистый, открытый, веселый Тимур и романтический, сдержанный Стасик.

Мы, девчонки из младшего отряда, немедленно разделились на две партии. Музыкально одаренные Женя Скудина и Марина Френкель возглавили партию Стасика, Ванда Белецкая и я принадлежали партии Тимура. Рано утром полагалось нарвать букетик полевых цветов и поставить в столовой перед завтраком на стол кумира. В их честь сочиняли нехитрые стихи. Помню только рифму «Тимур – amour» (откуда-то по-французски!). В старших отрядах уже вовсю процветали романы. Девочки-звезды Варя Шкловская и «гордая полячка» Эва Василевская были объектами нашего пристального наблюдения, нас же, мелюзгу, никто не замечал.



Тимур с отцом Аркадием Гайдаром. Перед войной

Следующая картина – уже интернат в Чистополе. Дом крестьянина. Улица Володарского, 52, парадный вход заколочен. Входим через арку во двор, в глубине двора – стойла лошадей, от них навоз, грязь. Зимой всё это замерзло, образуя небольшие обледенелые горки, мы с них катались. Дверь – в углу дома, несколько ступеней налево вниз – кухня, красный уголок, столовая. Направо – лестница наверх.

Между первым и вторым этажами – грязная рыжая дверь в уборную типа «сортир», на стене которой много лет после войны сохранялась надпись «Дукер – дурак». На втором этаже – ребячьи спальни, на третьем жили некоторые воспитатели и обслуживающий персонал. Наша комната младших девочек – первая налево по коридору от заколоченной парадной лестницы, превращенной в склад барахла и каких-то досок (хода нам туда не было). Два окна, печка, восемь или девять кроватей, посередине стол для всего: для уроков, рукоделия, чтения. Часто по вечерам выключают электричество, тогда мы зажигаем коптилку – фитилек, опущенный в вонючее хлопковое масло. На ночь, чтобы не бегать на лестницу в уборную, нам, младшим, ставят ведро, мы называем его Яков Фёдорович – в честь нелюбимого директора интерната, грубого Хохлова. Прямо под нашей комнатой – красный уголок, там стоит рояль, на нем после отбоя играет Стасик Нейгауз. Какие-то звуки доносятся и до нас. Самая ярая поклонница Стасика Женя Скудина – будущий музыковед – ложится на пол, ставит рядом, дном вверх, маленький железный тазик и прикладывает к нему ухо, говорит, что так ей лучше слышно.



Интернат Литфонда. 1940–1950-е

Фанерная перегородка отделяет нашу комнату от комнаты наших друзей-врагов – младших мальчишек. В перегородке есть маленькая круглая дырочка размером с пятак (выпал деревянный сучок), через нее в дни самых напряженных отношений с мальчишками просовываются в обе стороны записки – идет выяснение сложных отношений. Таковы декорации, в которых протекала наша жизнь.

О распорядке жизни и ее атмосфере лучше всего рассказывает взрослый свидетель, замечательная Анна Зиновьевна Стонова – профессиональный педагог, заведующая интернатом, жена писателя-фронтовика Дмитрия Стонова. Вот отрывки из ее письма в Москву маме Лизы Григорьевой:

«...Хочу несколько слов написать о Лизе, чтобы уменьшить Ваше беспокойство о ней. У нас постоянный врач, который ежедневно делает обход и, зная Лизино горло, при малейшей розовости не пускает ее в школу, может быть, благодаря этому предотвращаются серьезные болезни. Малярией последние пять месяцев Лиза не хворала. Она выросла, цвет лица у нее хороший, она тихая, тактичная девочка, занимается она хорошо. Комната, в которой она живет, высокая, солнечная, с девочками она дружна.



Интернат Литфонда. Современная фотография

Еженедельно мы ходим в баню, и прикрепленный воспитатель моет ей голову...

У нас в интернате тепло, средняя температура 16–17 °С, а есть более теплые комнаты, немного тесновато, так как ребята в своих спальнях делают уроки, читают. Есть красный уголок, где проводятся различные культурные мероприятия – встречи с писателями-фронтовиками, лекции, концерты для ребят. Каждое воскресенье у нас кино-передвижка.

Подъем ребят в 7 часов, к 8 они в школе, завтрак в 7:30, по нынешним временам кормим неплохо, маловато жиров. На завтрак каша с маслом или картофель с маслом и чай. В 12:30 обед мясной из 2-х блюд, в 4:30 полдник: чай-шиповник с хлебом или стакан кофе или молока. В 7:15 ужин из двух блюд: суп и запеканка или блинчики и т. д. Ввели мы трудовые навыки, чтобы приучить ребят к самообслуживанию. Дети сами себе зашивают, штопают, убирают по очереди в своей комнате, моют пол. Но еще обслуживают весь интернат бригадами. Лиза сейчас в бригаде подавальщиц, работает добросовестно, спокойно, очень хорошо. Постепенно пройдет весь круг работ, будет в починочной бригаде, гладильной, на чистке картофеля, так чтобы в жизни ничего не было страшно...

...Конечно, ребяташки скучают, тоскуют, дома они были единственные и получали много внимания, но мы стараемся дать им тепло и ласку, чтобы уменьшить их тоску, относимся не по-казенному».

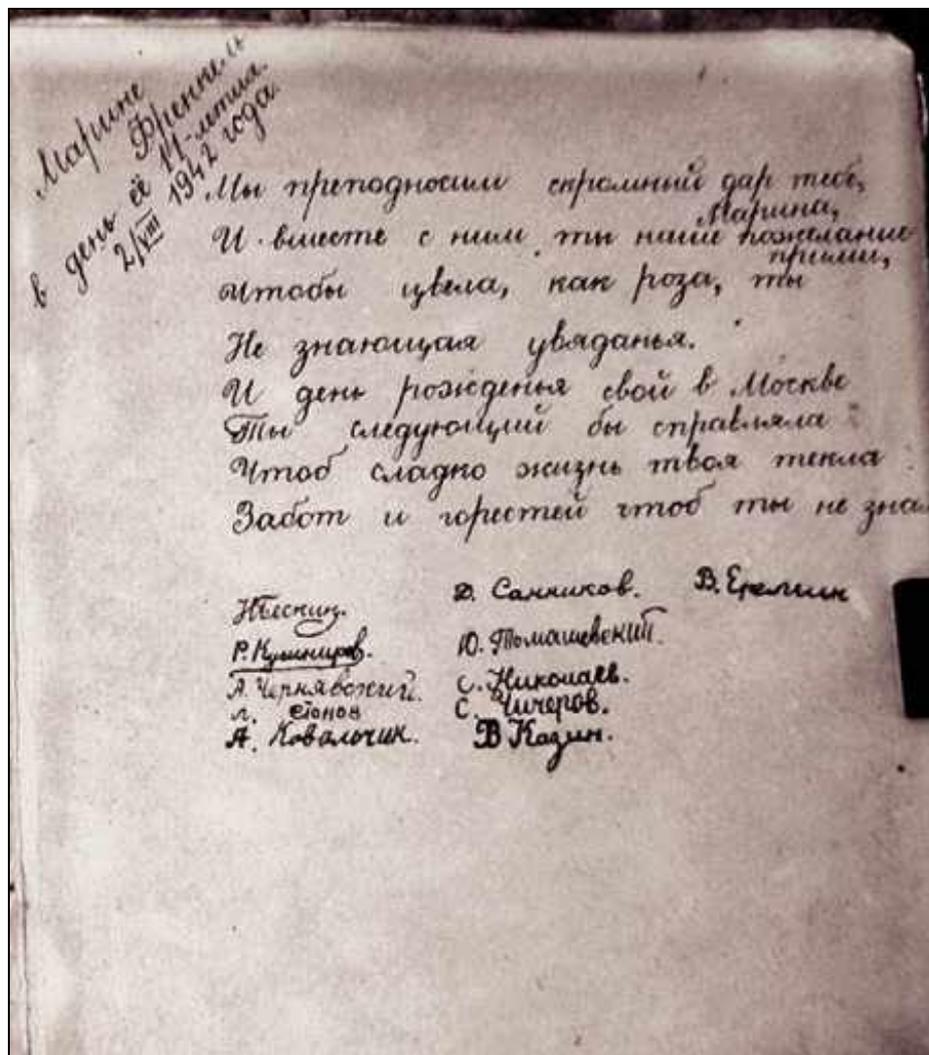
Всё было так – лучше и не скажешь! Конечно, нас – самых маленьких – не привлекали к «обслуживанию всего интерната бригадами». Но мы сами себе зашивали и штопали, убирали комнату, летом работали в колхозе – собирали горох.

Каждую неделю нас строем вели в баню – сначала по улице Володарского в сторону Камы, потом сворачивали куда-то налево. Густой пар, запах хозяйственного мыла, воспитательницы в купальниках намыливали нас всех по очереди, укладывая на скользкие лавки и обливали из шаек. А перед этим – беспощадная борьба со вшами, неизменными спутниками великих потрясений. Частый гребешок, потом голову мазали керосином, заматывали тряпкой. С тех пор запах керосина ассоциируется с войной.



Двор интерната. Современная фотография

Красный уголок внизу, в полуподвале, перед столовой. Там на стене висят плакатики, расчерченные клеточками, а клеточки раскрашены красным, желтым, зеленым. Это наши школьные отметки: красный – «отлично», желтый – «хорошо», зеленый – «посредственно» (пятерок, четверок еще не было). Каждый плакатик – это список группы и все отметки каждого ее члена. Значит, все на свете видят, как ты учишься, – и старшие ребята, и воспитатели. Как ни странно, но это очень сильно на меня повлияло, кляксы из тетрадок начали исчезать, и вскоре вся моя строчка на плакатике стала красной и такой оставалась. А в довоенном первом классе «хоры» и даже «посы» – по чистописанию – меня мало заботили.



Надпись на книге, подаренной Марине Френкель. 1942

Воспитательницы действительно отдавали нам всю душу. Первой была восемнадцатилетняя Фрида Годинер, дочь писателя, погибшего в ополчении. Сама еще почти девочка, с косами ниже пояса, милая, мягкая, добрая. Мы ее обожали, звали Фридоchка. И вдруг как гром с ясного неба – наша Фридоchка умерла. В комнате горький плач. Первая встреча со смертью, первые в жизни похороны. Потом у нас была воспитательницей Раиса Яковлевна, жена литературоведа Ивана Ивановича Чичерова и мама Сашки Чичерова, живущего в соседней комнате, ровесника и приятеля еще по детскому саду. Раиса Яковлевна была взрослая и строгая, но всё равно добрая. А у наших мальчишек воспитательницей – неумелой, неровной, вспыльчивой, но исполненной благих намерений, – была моя мама, Флора Моисеевна.

Состав группы младших мальчиков документально подтверждает дарственная надпись на книге, подаренной ими на день рождения Марине Френкель в 1942 году; прямо скажем, стихи эти дети писателей могли бы написать и получше.

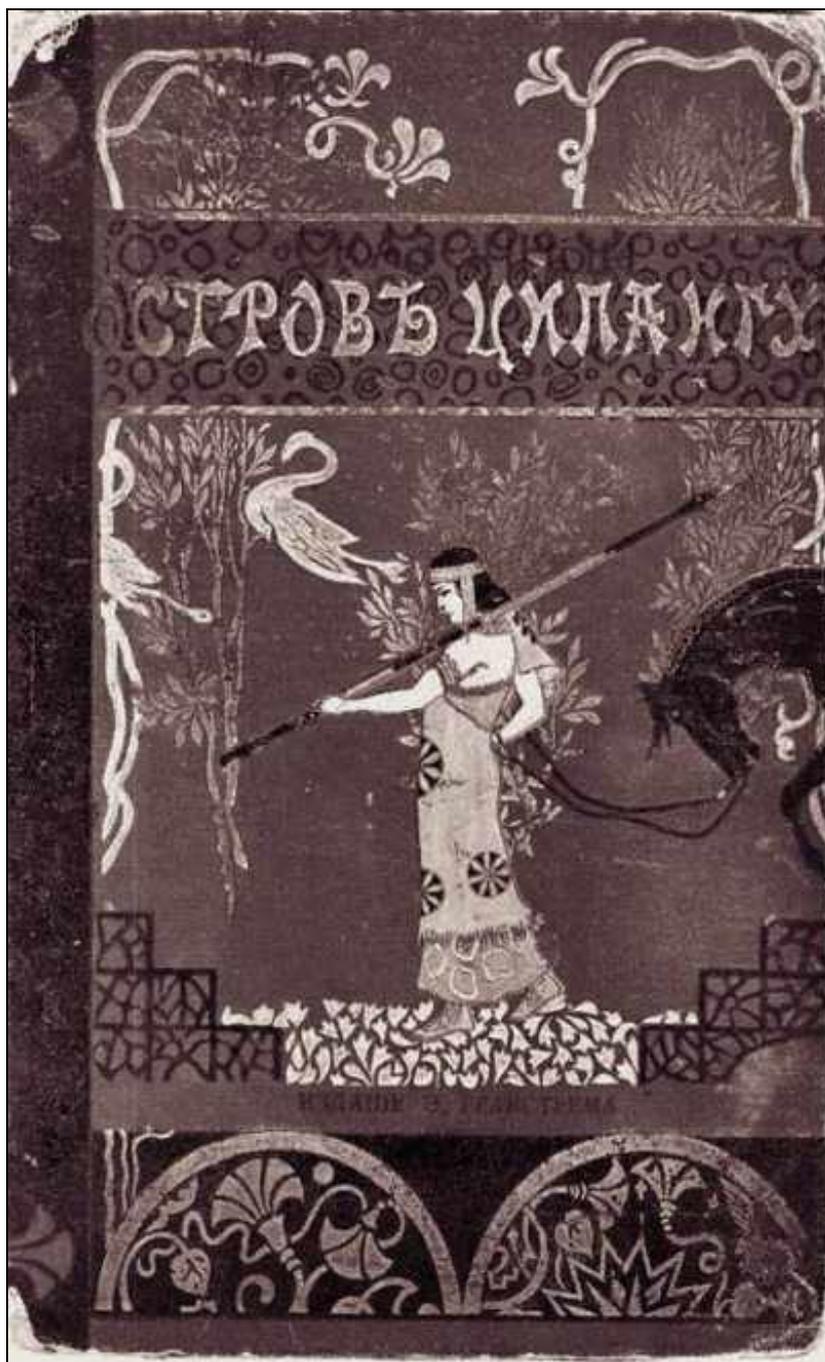
А мама, возмущенная тем, что некоторые писательские детки начали «воображать» потому, что их родители были более известны, чем другие, сочинила для их назидания следующее:

В чем тут заслуга сына или дочки,
Что папа написал блистательные строчки
И тем снискал любовь своей страны...
(Дальше не помню.)

Этим стихам предшествовало чтение басни Крылова про гусей: «...ведь наши предки Рим спасли».

Перед сном воспитательницы всегда читали нам книги, и не какие-нибудь, а самые лучшие. Не только Маршака и Чуковского и русские сказки, но и Пушкина, и Гоголя, и Андерсена. Запомнился еще жалостливый «Малыш» Доде. И сами мы читали много, даже при свете коптилки, когда выключали электричество. Много книг (и каких!) присылал мне из Москвы отец, отыскивал у букинистов. Некоторые сохранились до сих пор, перешли

теперь уже внуку. Иллюстрированные Майн Рид и Фенимор Купер, «Маленькие женщины» и «Маленькие мужчины» Луизы Олкотт, а также дореволюционный, с ятями и твердыми знаками «Сказочный остров Ципангу» с роскошными цветными картинками на мелованной бумаге.



Обложка книги «Сказочный остров Ципангу». 1900

Перед сном мы не только читали, но и выделяли на своих кроватях разные гимнастические упражнения – лежа на животе, сворачивались в кольцо, доставая ногами до головы, вставали на «березку» и т. д. Это называлось «фигурять». Наша компания «Женя-Марина-Алена-Ванда-Лариса» изобрела тарабарский язык, разделяя слово на слоги и к каждому что-то прибавляя. Так из «Маринки» получалось «Ма-рафа-ри-рифин-ка-рафа». И думали мы, дурехи, что никто нас теперь не понимает. Впрочем, был и настоящий иностранный язык. Попавшая в Чистополь неведомым путем немка, бежавшая от Гитлера, Евгения Эзеровна Ланде-Квитнер начала учить нас немецкому. Русского она практически не знала, говорила с нами только по-немецки, и поэтому вскоре мы тоже заговорили, хотя никакой грамматики не учили, да и никаких учебников не было. Учила она с нами (с голоса) классические немецкие стихи (до сих пор помню «Лорелею» Гейне, «Лесного царя» Гёте, «Перчатку» Шиллера и др.) и смешные народные песенки – про каких-то «Hanschen klein» и «Burlala». В сорок втором, в разгар войны, я

умудрилась послать по почте письмо отцу в Москву на немецком – хотела продемонстрировать свои успехи. Самое смешное, что письмо, хотя и долго шло, но дошло – с фиолетовой печатью «Просмотрено военной цензурой». К сожалению, это письмо не сохранилось, зато недавно я нашла другое, русское письмо, в котором упоминается о посылке письма на немецком.

Еще цветная картинка в памяти – канун нового 1942 года. Мы все сидим за столом в центре нашей комнаты и при свете коптилки мастерим из того малого, что было под рукой, елочные игрушки (о готовых, разумеется, речь не шла). Помню свою гордость – длинную цепь, которую мы склеили из нарезанных полосочек раскрашенной тут же разными красками оберточной бумаги.

Как безумие, всех нас охватило вязание на спицах, кто нас научил – не помню. Мы со страстью распускали всякие старые вязаные изделия и истово вязали – носки, варежки, потом и кофты, многие достигли высот. Эта наша страсть стала известна взрослым, где-то достали белые грубые шерстяные нитки, и мы вязали большие носки и отправляли в посылках на фронт с записками «На фронт, бойцу».

Другое поветрие – игра в «трёшечки»: маленьким мячиком об стенку, потом ловить, да не просто так, а «с хлопучками», «с оборотами» – сложное умение, мне давалось с трудом.

Единственное из письма Анны Зиновьевны, чего я не могу вспомнить, это «обед мясной из 2-х блюд» и кулинарные изыски типа «блинчики и др.». Конечно, А.З. была честнейшей, святой человек, наверное, так бывало, но мне вспоминается кусок сырого тяжелого черного хлеба, а на нем – маленький кусочек так называемого постного сахара, жиденький невкусный суп и что-то отвратительное на второе из мясных отходов – называлось «сбой». Помню и исключительное событие – один-единственный раз нам к какому-то празднику дали маленькое пирожное. По этому поводу нас, младших, выстроили в красном уголке и велели хором приветствовать Хохлова: «Спасибо Яков Фёдорычу за пирожное!» Конечно, мы всегда были голодные, все часто болели, попадая в изолятор; в частности, я, и до войны хилая, была долго покрыта крупными мучительными незаживающими фурункулами, следы от которых сохранились на всю жизнь. Но не это определяло нашу жизнь, а совсем другое...

Милый папа!
 29/IV
 Получила твое письмо от 30/III 42. Как ты
 живешь? Почему так долго так редко писать?
 Получила твою бандеру там где лежала
 сказка за гадка "и При толстуха" Получила оде
 жные открытки. От бабушки и дедушки
 ни слова. У нас весна. Почти весь снег стаял.
 Протаран уже сухие но бегут еще русские.
 Мы с девочками очень часто пугаемся лодок.
 Папа зачем ты когда пишешь письма оставляя
 еще одну сторону чистой. Мало вытася просто
 обидно. Совсем нет бумаги, а гладкую совсем
 достать не удается. Напиши какие мои
 и подружки старые книги. За чей.
 Или мне мои старые книги подарить
 Приятно видеть свои старые книги подарен
 ной. По немецкому языку мы сейчас
 учим сти хов Боренне которое называется
 Бурляя. Оно очень трудное и еле еле
 учу его. Дружу с Вандой Васильевой, Мена
 Скудиной, Мариной Френкель и Алексой Дю
 бинской. Ванда сказала что сама напишет
 тебе. Получил ты же немецкое письмо.
 Я недавно научилась играть в шашки.
 Уграл ли ты в нее когда походи
 Получаешь ли ты письма от
 дяди Муча
 Пиши очень часто

Письмо Ларисы Лейтес отцу. 22 апреля 1942

Невозможно забыть замечательные занятия хореографией в красном уголке с любимыми людьми – балериной Джеммой Васильевной и пианисткой, Маринкиной мамой, Елизаветой Эммануиловной Лойтер. Нам даже сшили пачки из накрахмаленной марли, и мы подолгу занимались «у станка», без халтуры, стоя во всех позициях, как настоящие маленькие балерины. И танцевали мы на праздничных вечерах не что-нибудь, а под музыку Рахманинова – танец амазонок в стиле Айседоры Дункан, который остался в памяти как «танец дохлой Маринки», потому что Марина Френкель в середине танца трагически погибала от рук невидимых врагов, а мы трагически суетились вокруг.



Марина Френкель



Елизавета Лойтер

А наши театральные постановки! В первой – «Рейнеке-лис» Гёте – я в силу малости и хилости исполняла роль маленькой обезьянки. Слова своей роли: «Очень мне хочется знать, скажите, где клад ваш хранится...» – помню до сих пор. Потом было сложное представление «Три апельсина» Карло Гоцци – с настоящими декорациями, с раскрывающимися апельсинами из подсобных материалов. Помню мелодекламации старших девочек, стихи запомнились на всю жизнь, чьи они – не знаю. – Там, за парком, на лужайке – «с выражением» декламировала самая красивая девочка Ира Ржешевская.

Там, где гладь пруда, как сталь,
Где тоскливо вьются чайки,
Разыгралась пастораль.
Я – пастух, а вы – маркиза
В дымно-сером парике,
Приходили из каприза
И исчезли вдалеке...

Я спросил вас: «Вы любили?»

«Никогда...»

«Никогда», – вы повторили,

«Никогда», – гремел закат.

«А меня б вы полюбили?»

«Никогда...»

Уж не Северянин ли? Вряд ли... Для него – слабовато. Во всяком случае, странный выбор для 1942 года и детского возраста. А вот еще – более «идейное», в исполнении Эры Росиной:

Пренебреженьем к этикету

Смущен холодный мажордом.

Король французский на паркете

Играет в шахматы с шутом.

Взгляд короля совсем не гневен,

Закон игры ему знаком:

Шах королю, шах королеве,

Снял короля король конем.

Война. Король спокойно-гневен,

Закон войны ему знаком:

Шах королю, шах королеве,

Снял короля король мечом.

Однако далее назревает революционная ситуация:

Мелькают головы и плечи,

Народ ворвался в царский сад!

Смерть королю! Народ разгневан.

Гул голосов, звон хрусталя...

Шах королю, шах королеве,

И *(торжествующе)* пешки сняли короля!

И конечно «монтажи» – комбинированные представления из патриотических стихов и песен, танцев, а в конце обязательно «пирамида», мгновенно строящаяся из старших мальчишек, самый верх которой всегда венчал «наш» – младший, тоненький и гибкий Данька Санников. Душой всего этого была, конечно, Елизавета Эммануиловна. А стихи в монтажах были в основном написаны отцами и присланы в Чистополь с фронта. На стихи Ильи Френкеля «Давай закурим» Елизавета Эммануиловна написала музыку, которая мне до сих пор кажется лучше, чем у Табачникова, а мы были гордые первые исполнители. Пели мы и такую военную песню:

Суровое время, горячее время

Пришло для отчизны родной.

Вставай-поднимайся, рабочее племя,

На подвиг и труд боевой.

И верой, и правдой достойно и смело

Отчизне послужим в бою.

Идем мы, товарищ, за правое дело,

За честь и свободу свою.

С припевом:

Тверже шаг,

Ряды держите строже!

С нами Сталин, с нами весь народ.

Будет враг навеки уничтожен!

На врага, за Родину, вперед!

Почему-то эту песню после войны забыли, а жаль... Еще мы, конечно, пели, гордясь (наш Тимур!), марш тимуровцев:

Тимуровцев много веселых,

Нас много в больших городах.

Нас много в аулах и селах,

В амурской тайге и в степях.

Пускай мы не вышли годами,
И нас не берут на войну,
Тимуровцы всеми путями
Крепят молодую страну...
У нас боевая сноровка
И сил непочатый запас.
Скорей бы нам дали винтовку,
Гранату и противогаз...
С припевом:
Команды идут, ребята поют,
Тимуровцы, шагай веселей!
За дело, друзья, лениться нельзя,
Поможем отчизне своей!



Никита и Даниил Санниковы

С этими монтажами мы выступали не только в интернате, но и перед ранеными в госпитале, расположенном в городском саду. Ходили по интернату и самодельные стихи и песни.

У реки у Лены есть приток Алдан,
А у Миши Панченко – Лена Рудерман.

Про недостижимо взрослую и красивую Варю Шкловскую старшими было сложено такое (на мотив «Крутится, вертится шар голубой»):

В доме Литфонда стоит тишина,
В доме Литфонда прескучно всегда,
И вот из палаты под номером шесть
Мне велено было блондинку привести.
Артисты играют, читают, поют,
А мне умиление минуты несут,
И сердце мое утопало в огне,
Когда ее глазки скользили по мне...

Школа

Про свой второй класс в чистопольской школе № 2 я практически ничего не помню,

кроме того, что сидела за одной партой с Наташей Леоновой. Наверное, потому, что зимой сорок первого года очень много болела. В ту школу надо было идти по улице Володарского по направлению к рынку и Каме, мимо горсовета, напротив которого на столбе висел репродуктор и всегда толпились люди – слушали горькие сводки Информбюро.



Соня Ивич в детском саду

А вот третий класс «а» – уже в школе № 1 – отпечатался четко. Надо было выйти из интернатского двора, идти налево по улице Володарского мимо красивого дома с навесом из кованых железных кружев над подъездом, свернуть направо – вот и школа, невысокая, но крепкая, с толстыми каменными стенами. Зимой в классе очень холодно, сидим в пальтишках, закутанные. В стеклянных чернильницах-непроливайках в фиолетовой жидкости сверху плавают тонкие льдинки. Тетрадей настоящих нет, мы сами сшиваем листы серой шершавой оберточной бумаги грубыми нитками и сами линуем их карандашом, как умеем (я долго их хранила после войны, эти тетради, но моя мать их выбросила при переезде в новую квартиру, о чем я до сих пор ужасно жалею). Зато на большой перемене нам дают «завтрак» – кусочек черного хлеба, и это счастье. Сажу я на одной парте с Сонькой Ивич, знакомой и близкой с детского сада. Сонька – девочка очень домашняя, и в Чистополе она тоже живет не с нами, а с любящими мамой и бабушкой, хотя и проводит в интернате много времени. Когда мы приехали в Берсут и она впервые осталась без родителей, мама прислала ей по почте открытку, начинавшуюся словами: «Наш дорогой обласканный щеночек!». Увы, эта открытка попала на глаза нам, детишкам несентиментальным и иногда жестоким, и к Соне надолго приклеилось это прозвище (не понимали мы, какую нанесли ей, нежной и ранимой, травму на годы).



Улица Чистополя

Сонька ходит в школу с таким же, как у меня, черным дерматиновым портфельчиком, которые нам вручали на выпускном утреннике в детском саду, с металлической пластинкой в форме ромбика на крышке, на которой выгравировано красивыми, с завитушками, буквами: «Ларисе (Соне) от детского сада Литфонда № 35». Сонька кудрявая, славная, забавная, с ней весело, мы сидим на передней парте и учимся лучше всех. А на задней парте сидят два аборигена: Буслаев и Сергеев, они огромные, наверное, второгодники, хулиганы и полные балбесы. Часто во время урока с их парты доносится голос: «Я в уборну пОйду-у?» с характерными приволжскими выговором и интонацией. И надо же такому случиться, что они нас «полюбили». После школы они тащились за нами, всё же на некотором расстоянии, и мрачно бубнили:

– Я Соньку люблю.

– А я Лариску люблю.

В моей жизни это было первое признание, думаю, что в Сонькиной – тоже. Почему-то это нас не радовало, и мы обзывали их дураками. Тогда они выкрикивали, окая, обидное: – «МОсква БОльша кОпейка, ЧистОпОль мал, да пЯтак».

К сожалению, это были единственные контакты с местными ребятами, мы, эвакуированные, держались в школе отдельно. Вся наша жизнь концентрировалась в интернате. И в пионеры нас принимали (о, счастье!) на торжественной линейке в красном уголке интерната, а не в школе. А как мы гордились стихотворением Щипачёва «Сыну»:

Как повяжешь галстук,
Береги его,
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного...
Сын – это же наш Витька!
Родители

На воскресенье мама брала нас с Никитой Бескиным (которого Бескины, друзья родителей, поручили ей на время эвакуации) к себе, туда, где она жила, в комнатку по адресу улица Бебеля, дом 100, совсем рядом с интернатом. Это была простая изба с русской печью (незабываем вкус фасоли, сваренной там в чугушке), вокруг небольшой садик. Помню хозяев – очень старую бабушку, которая спала на печи, мать семейства, работавшую с утра до ночи на заводе, и двоих детей. Отец, конечно, на фронте. Относились они к нам хорошо (кроме бабушки, которая ворчала), мы вместе праздновали, когда к тому бывали редкие поводы. Комнатка мамы была крошечной, но отдельной, в ней с трудом помещались кровать, маленький столик у окна и два стула,

одним боком – круглая железная печка. Проходить туда надо было через хозяйскую горницу. Все мамины вещи хранились в большом чемодане под кроватью.

В октябре 1941 года, когда положение на фронте было очень тяжелым, многие покинули Чистополь. Заразилась этим и моя мать, и в первые дни ноября, когда было уже очень холодно, мы погрузились на один из последних пароходов и поплыли в Казань. Помню на пароходе семью Кирпотиных с моей ровесницей Наташей, они впоследствии оказались в Ташкенте. В Казани мы несколько дней ночевали на столах в Доме печати. Там застало нас 7 ноября и знаменитая речь Сталина на параде на Красной площади, с непреклонной уверенностью в победе. Эта речь оказала на мою впечатлительную мать столь сильное воздействие, что она тут же решила вернуться в Чистополь, и мы поплыли обратно на самом последнем пароходе. К счастью, Кама еще не совсем замерзла, Анна Зиновьевна вернула матери работу в интернате, а ее комнатку на улице Бебеля еще не успели занять.

В заветном чемодане под кроватью у матери хранился «неприкосновенный запас», несколько белых полотняных мешочков «на черный день»: немного муки, немного манной крупы, риса и сахара. Эти мешочки вернулись нетронутыми в Москву, значит, черный день так и не наступил, наверное, благодаря тому, что мать подкармливала нас с Никитой, распродавая и меняя на рынке свои шикарные одежды, сшитые для нее в Москве знаменитой портнихой Ниной Матвеевной Гупало (впоследствии известной как мать Алексея Аджубея). За изысканное крепдешинное платье давали фунт сливочного масла – фунт был ярко-желтый и имел форму дыни. И круглая белая рассыпчатая рыночная картошка с этим маслом, которой мать кормила нас в своей комнатенке иногда по выходным, вспоминается как великое счастье.



Рынок в Чистополе

Было плохо с одеждой, дети быстро росли, купить ничего невозможно, да и не на что. Помню, как однажды жарким летом мы с Маринкой зачем-то полезли через забор в городской сад, и я порвала казенные сатиновые шаровары (мы ходили в майках и шароварах) о прутья решетки. При возвращении в интернат я попала в таком неприличном виде на глаза злобещей Зинаиде Николаевне Пастернак (маленькая, плечи квадратные, похожая на комод, иссиня-черные короткие волосы, поджатые злые губы), она истово заведовала хозяйством. Как же мне от нее досталось за порчу «казенного имущества»! Всё же однажды мать раздобыла ситец в мелкий розовый цветочек, и наша хозяйка кое-как сшила мне немудреное платьице с оборочкой. Реакция моя была странной: я отчаянно рыдала и не хотела его надевать, не хотела выделяться новым платьем на фоне остальных девочек.



Александр Лейтес. 1942

В одну из зим в Чистополь из Москвы приезжал ненадолго отец. Он поселился в гостинице напротив горсовета (в комнатке матери физически не было места). Хорошо помню изрядный мешочек с белыми сухарями, который он привез с собой. Всю ночь я мечтала об этих сухарях (все годы в Чистополе мы не видели белого хлеба), но утром, когда я опять пришла к отцу в гостиницу, оказалось, что ночью их сгрызли голодные мыши. К сожалению, никак не могу вспомнить дату приезда отца. Логично предположить, что он выехал из Москвы вместе с другими невоеннообязанными (у него был порок сердца) писателями в страшной середине октября 1941 года и через несколько дней вернулся обратно, но тогда бы мать не тронулась в ноябре в Казань и дальше, потому что отец был с самого начала твердо уверен в победе и не позволил бы ей отправиться одной со слабеньким ребенком в никуда, в безумное непродуманное путешествие. Скорее всего, он приезжал навещать нас зимой сорок второго года. Тогда он возглавлял Военную комиссию Союза писателей.

Отец был совершенно книжным человеком, абсолютно не приспособленным к быту. Трудно представить себе его не только забивающим гвоздь или жарящим яичницу, но и просто наливающим чай. Когда мать уехала в Чистополь, он остался в военной Москве наедине с бытом, с необходимостью отоваривать продовольственные карточки. Первый же его визит в нашу булочную на углу Гоголевского бульвара и Кропоткинской закончился плачевно: он стал расспрашивать очередь, что надо делать, как поступать с карточкой, и вскоре был отведен в ближайшее отделение милиции как «немецкий шпион». Люди не могли себе представить, что в августе 1941 года в Москве возможен советский человек, не знающий, как получить хлеб по карточке. К счастью, из милиции позвонили в Союз писателей, и недоразумение разъяснилось.

В начале мая 1943 года за нами приехал отец Никиты, Осип Мартынович Бескин, с оформленными пропусками в Москву. Мама несколько дней запасалась на рынке продуктами, помню соломенную корзинку с сотней яиц, банки с топленым маслом. Мы

погрузились на теплоход «Иосиф Сталин», который потряс меня роскошью интерьеров и ломтиками забытого белого хлеба на завтрак, и 10 мая приплыли домой. Началась другая жизнь. Но дружба с «интернатскими» продолжалась много лет...

7 октября 1943 года в Москве на Полянке драматург Александр Гладков, который тоже жил в Чистополе, случайно встретил Пастернака. Прощаясь, Пастернак вдруг сказал ему: «В Чистополе мы все-таки жили хорошо. Я сужу об этом уже хотя бы по тому, что мне всегда приятно вас видеть». Это очень точно сказано.

Я знаю, что интернатские дети по-разному вспоминают эти два года. Кому-то было очень плохо в силу субъективных причин. Но не ошибусь, если скажу, что большинство может повторить слова Пастернака: «В Чистополе мы все-таки жили хорошо, хотя бы потому, что нам всегда очень приятно встречать друг друга». Да, мы почти голодали, много болели, зимой очень мерзли. А летом было слишком жарко, работать в колхозе было трудно. И главное – постоянным грузом висело сознание того, что идет война, что гибнут люди – даже у нас, самых младших в интернате.

Но мои главные воспоминания не о трудностях, а о том, как нам читали замечательные книги, о наших занятиях балетом, немецким языком, о театральные постановках, литературных монтажах, выступлениях в госпитале. И об отношениях между людьми – о взаимопомощи, о солидарности. И я никогда не устану повторять, что два военных года в Чистополе были самыми наполненными, самыми осмысленными и важными во всей моей жизни, что оказалась длинной...

Наталия Плигина-Камионская Из детства времен войны

Наталия Александровна Плигина-Камионская родилась в 1933 году. Окончила Московский архитектурный институт. Работала в проектных организациях, затем в комбинате декоративно-оформительского искусства Союза художников РСФСР. Член Союза архитекторов России. С 1941 по 1943 год находилась в Чистополе, жила в детском интернате.



Наташа Плигина. 1946, осень

Отец – художник Плигин (Плиген, Пилигин) Александр Павлович – учился в школе рисования и живописи Е.Н. Званцевой под руководством Л. Бакста и М. Добужинского в Петербурге, затем в Петербургской рисовальной школе Общества поощрения художеств, работал в декоративной мастерской Л. Бакста в Петербурге.

Участник и организатор выставок «Мир искусства» и «Бубновый валет», где выставлялся вместе с такими знаменитостями, как Добужинский, Бенуа, Кандинский, Фальк, Шагал, Пикассо, Матисс. Заведовал художественным отделом «Нового журнала для всех». Работал художником-декоратором в различных театрах: Петербургском драматическом (бывшем Комиссаржевской), в театре Незлобина в Москве и др. Участвовал в дягилевских постановках. Работал совместно с Бенуа, Бакстом, Добужинским, Рерихом, Сапуновым, Коровиным.

Работы А.П. Плигина хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Ярославском художественном музее.



Наталия Оскаровна Камионская и Александр Павлович Плигин. 1923

Мать, Камионская Наталия Оскаровна, – переводчица художественной литературы с английского и французского языков. В ее переводах вышли книги Г. Филдинга, Т. Драйзера, Д. Конроя, Ж. Кассу и многие другие. Переводческую работу совмещала с сотрудничеством в журнале «Интернациональная литература» и «Советская литература на иностранных языках».

Как объявили войну, не помню. В том году мы рано переехали на дачу. Помню, как на территории дач жильцы рыли траншеи, – видимо, это делалось на случай возможного приближения немцев. Но многие думали, что война ненадолго, что скоро немцев погонят обратно, и родители решили, что переживут это время за городом. Помню, что папа стал вставлять двойные рамы на даче. У папы был револьвер (не знаю, откуда), и он его спрятал в одной из комнат. Через несколько лет после войны я нашла этот револьвер, он был совсем ржавый, и я, никому не сказав, выбросила его в уборную на нашем участке. (В милицию нести побоялась.)

Но возвращаюсь к военному времени. Всё же мы решили вернуться в Москву.

Мы жили в одном из переулков между Трубной улицей и Сретенкой, дом стоял высоко на так называемом Сретенском холме, и из окон шестого этажа был виден Кремль и висящие в небе аэростаты. То и дело по радио объявляли воздушную тревогу, и мы прятались в бомбоубежище, оно находилось в подвале нашего дома. Маленькие дети плакали, в подвале было душно и страшно.

Папа утешал меня, как мог. По вечерам он брал меня на колени, я прижималась к нему, гладила его мягкие каштановые волосы, осторожно перебирала родинки на шее... Вскоре начались разговоры об эвакуации, родители сказали, что меня отправят в Чистополь – в интернат, вместе с другими детьми из писательских семей. Мама в это время работала в Союзе писателей, и поэтому я оказалась в числе детей, эвакуируемых в Чистополь. Среди других вещей мама положила в чемодан пачку открыток с обратным московским адресом и кусочек туалетного мыла, запах которого до сих пор ассоциируется у меня с чувством сиротства. И другой запах: у меня был шарфик мамы, который я всё время нюхала и прижимала к лицу.



Наташа с отцом. Чистополь, 1942

Я ехала в вагоне с детьми, и этим же поездом в Чистополь ехали родители мамы, мои дедушка и бабушка. А папа и мама еще какое-то время оставались в Москве.

Из Казани мы доплыли до поселка Берсут недалеко от Чистополя. Здесь был летний лагерь, в котором мы прожили до осени. Всё время меня не покидала тоска. Я всегда была «зажатой», стеснительной девочкой, а тут еще прибавилось заикание, я потеряла дар свободной речи, и это меня очень мучило и заставляло сторониться других детей. Но бывали и светлые моменты. Когда мы отмечали мой день рождения, и я преодолела свою замкнутость, веселилась вместе со всеми, особенно, когда на столе появилось мороженое – по тем временам редчайшее лакомство.

Осенью нас привезли в Чистополь и поселили в интернате. Интернат внутри производил впечатление трюма корабля с лестницами-трапами, так что мы как бы после Камы – поплыли дальше...

Я была в младшей группе и жила в комнате с несколькими девочками: Алёнкой Закс, Ларисой Лейтес, Наташей Рыленковой (ее беззлобно звали Рыло), Ларой Суравич. Была еще Леночка Райс, и, чтобы не погрешить против правды, надо сказать, что многие дети ее дразнили и не упускали случая обидеть, потому что она была немка. А меня звали Камкой – от фамилии Камионская.

С Ларочкой Суравич я очень подружилась, и дружба эта продолжается до сих пор. Тетя Лары Мария Абрамовна с мужем, сыном Ашиком и своей матерью снимала комнату в Чистополе. Ее муж Яков Юльевич Ривис (это псевдоним, настоящая фамилия Баскин) был известным еврейским писателем. А родители Лары, польские коммунисты, эмигрировали до войны в СССР и вскоре были арестованы. Отца расстреляли, а мать выпустили после войны, и они с Ларой вернулись в Польшу. Когда родителей арестовали, Лару взяла на воспитание ее тетя, родная сестра мамы, Мария Абрамовна.

С Ларочкой мы спали в одной кровати возле печки, так было теплее. Мы поверяли друг другу тайны: обе мы были влюблены в двух мальчиков, имен которых я уже не помню. Одно из наших детских развлечений: во дворе интерната был сарай с сеном и полатами. Мы забирались на полаты и прыгали в сено. И так бегали по кругу бесконечное число раз: на полаты и – вниз.



Наташа Плигина. Чистополь. 12 марта 1943

Помню, как мы перебирали гречу, она была насыпана на ткани, разостланной на полу в большой комнате, а мы, дети, сидели вокруг. Если мне не изменяет память, это было занятие, которым руководила Зинаида Николаевна Пастернак.

В этой же комнате нам показывали фильм «Свинарка и пастух». Там на стене был экран или, может быть, заменявшая его большая простыня. Еще нас учили вязать варежки и носки. Особенно трудно было освоить вязание пятки. Но нам помогали воспитательницы, и мы вязали, гордясь тем, что вяжем для фронта.

В Чистополе я пошла в школу в 1 – й класс.

В классе висела стенгазета, где были нарисованы: самолет – и список отличников (я была в их числе); ниже – поезд и список тех, кто учился на хорошо, и еще ниже – лошадь с телегой – те, кто учился плохо.

Я мучительно заикалась, мне было трудно отвечать уроки. Но на новогоднем вечере станцевала танец с шалью под музыку песенки «Здравствуй, гостья зима...» Вернее, я подпрыгивала и разводила руками с шалью под музыку.

Получилось так, что маме пришлось быть в эвакуации в Казани, а папа приехал в Чистополь. Мама была прикомандирована как переводчица к семье французского писателя-антифашиста Жана Ришара Блока. Ж.Р. Блок и его жена Маргарит покинули Францию, оккупированную гитлеровцами, и нашли убежище в СССР.

Приехав в Москву, Жан Ришар стал активно выступать по радио, вещающему на Францию, эти выступления слушали тысячи французов, черпая в них силы для борьбы с фашистами. У Блока были и личные счеты с оккупантами: одна из его дочерей – Франс – была участницей Сопротивления. Она и ее муж были казнены немцами.

Мама помогала Блоку готовить тексты для выступлений по радио и переводила на русский его статьи для газет. Он публиковался в наших газетах – «Правде», «Комсомольской правде», «Красной звезде».

Когда часть Союза писателей была эвакуирована в Казань, Блоки и мама тоже оказались в этом городе. Маме пришлось разрываться между Москвой, куда она ездила

по делам Союза, Казанью и Чистополем, где она бывала редко и очень страдала от разлуки с родными людьми. Меня мама любила больше всего на свете, я была поздним и единственным ребенком, часто болела, и она, не щадя себя, посвятила мне всю свою жизнь.

Папа снял комнату в Чистополе на улице Льва Толстого, в доме 36 (сейчас этого дома уже нет, на его месте построен новый).

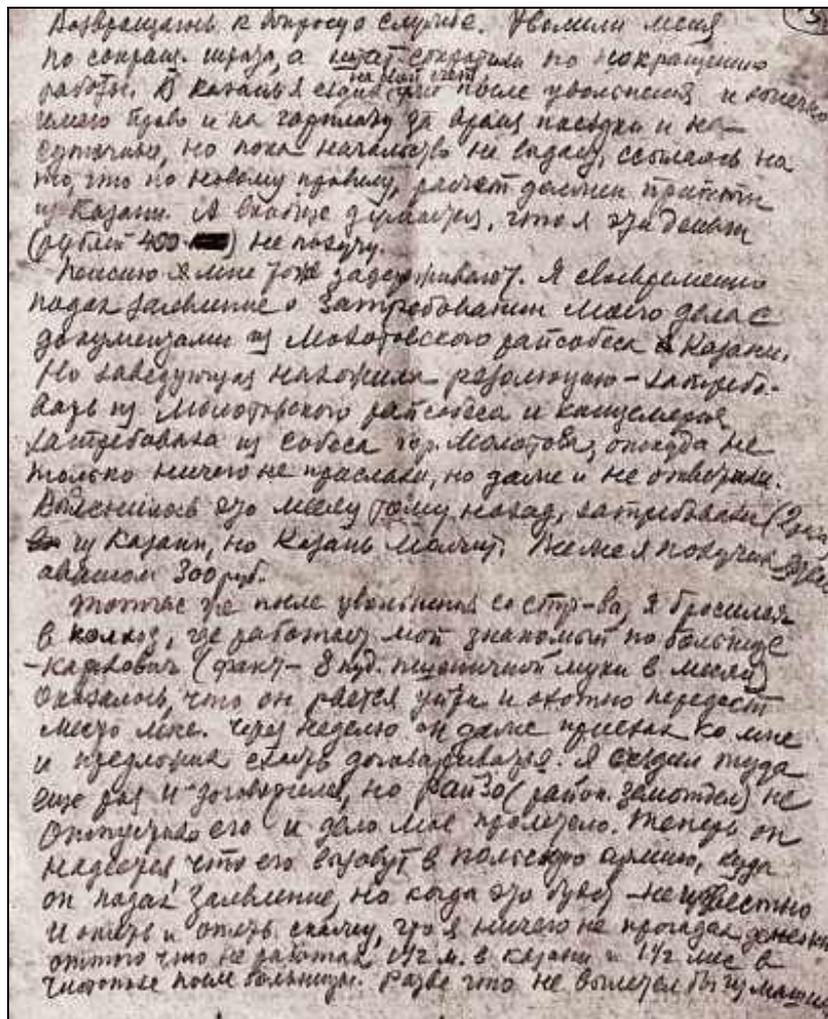
Чистопольский период оказался ужасным в жизни папы. Мало того, что он вынужден был жить порознь с мамой, он еще оказался в профессиональной изоляции – не востребовавший как художник, в отрыве от привычной профессиональной среды. В Москве он близко дружил с Александром Осьмеркиным, был хорошо знаком с Лансере, Фальком, Машковым, Кончаловским, с семьей архитектора Шехтеля. Среди писателей и членов их семей, оказавшихся в Чистополе, у него почти не было знакомых. Исключение составляла семья искусствоведа Александра Германовича Шора и его жены, детской поэтессы Маргариты Ильиничны Ивенсен.

Бывая у них, он имел возможность говорить на близкие ему темы. (Девочки Шоров – Агда и Гедда – находились, как и я, в интернате.)



Александр Плигин. 1912

Папа всегда был очень нервным, уязвимым человеком, а трудности жизни в Чистополе резко усугубили его состояние. Одной из самых больших бед было отсутствие работы – не только по профессии, но и любой, которая могла бы поддержать его существование. Одно время он устроился на стройку и что-то зарабатывал, но это длилось недолго. Когда была эта работа, он выделял из своих скудных средств какие-то суммы, которые передавал для меня дедушке и бабушке. Он меня очень любил и страдал не только от своей нищеты, но и оттого, что не может мне помочь.



Страницы письма Александра Плигина жене. 1943

При переезде из Казани в Чистополь его выбросило из кузова грузовика, он сломал ногу, лежал в больнице, ходил на костылях, а потом с палкой. И надо еще добавить, что с дедушкой и бабушкой у него сложились трудные отношения. О том, как тяжело ему пришлось в эту пору, свидетельствуют его письма. Вот несколько отрывков из письма маме:

«...Я ездил на три дня в Берсут для погрузки дров. Туда ехали (10 человек) на барже, а обратно пришлось идти до пристани 8 км пешком, да городом 3 км. Едва дошел. Да и сама погрузка – очень тяжелая работа, поленья длиной метр, а толщиной до аршина и весом 3–4 пуда и больше. Таскали на носилках, по 2 чел. по мосткам на баржу. Натаскали всего 80 кубометров, из которых на мою долю досталось кубометров 6–7, так как работал я не так продуктивно, как другие...

...Возвращаюсь к вопросу о службе. Уволили меня по сокращению штатов, а штаты сократили по сокращению работы...

...Тотчас же после увольнения я бросился в колхоз, где работал мой знакомый по больнице...»

Но там у папы тоже не получилось устроиться на работу. Он голодал. «...Должен сказать, что за всё пребывание в Чистополе я не купил ни грамма масла... и ни одного яйца».

Не о моем ли папе идет речь в стихотворении Е. Евтушенко «Мед»:

В том страшном, в сорок первом, в Чистополе,
Где голодало всё и мерзло,

На снег базарный бочку выставили Двадцативедерную! – меда!..

Дальше говорится о художнике, который обменял свои ботинки на мед:

...Художник старый на ботинках
Одной рукой шнурки разматывал,
Другой – протягивал бутылку.
Глядел, как мед тягуче цедится,

Глядел согбенно и безропотно
И с медом – с этой вечной ценностью —
По снегу шел в носках заштопанных».

Говоря об этом времени, я не могу не сказать о своей страшной вине перед папой. Она меня мучает постоянно. Совсем незадолго до своей смерти (может быть, это было накануне) он пришел ко мне в интернат: вижу, как он стоит передо мной, высокий, худой, плохо одетый, с палкой... и я постеснялась его, сказала, чтобы он ко мне больше не приходил. Боже мой, как я могла ему такое сказать... Это была наша последняя встреча. 16 апреля 1943 года он покончил с собой. Нет мне прощения в жизни, я была уже не маленькая девочка, мне было девять лет. А я не защитила его, не утешила, оттолкнула на смерть.

Мама мучилась всю жизнь, что не была в то время в Чистополе. Будь она тогда с нами, несчастья бы не случилось.

Папа похоронен на городском кладбище в Чистополе. Ему было шестьдесят два года. Помоги, Господи, ему там!

Марианна Ковальская-Френкель «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...»

Когда я приезжаю в Москву (а живу я сейчас на юге Израиля в городе Беэр-Шева), то всегда стараюсь побывать на Плющихе, где прошло мое детство и откуда я уехала в эвакуацию. Вхожу в темноватый двор-колодец, где чаще всего мы, дети, гуляли, играли в прятки, убегали от хулигана Юрки...



Марианна Ильинична Ковальская-Френкель. 2000-е

Квартира наша на третьем этаже принадлежала моему дедушке Льву Яковлевичу Френкелю. Он был директором завода «Каучук», который построил этот дом.

Примечательно, что дедушка выбрал одну из худших квартир, где никогда не бывало солнца. Вероятно, что тогда это было в порядке вещей, как и решение хозяев квартиры поселить в ней друзей моего отца – дядю Васю с женой тетей Симой. Мы прожили с ними до начала войны, на которой дядя Вася погиб, а Сима эвакуировалась с заводом

«Каучук» в Свердловск и осталась там навсегда с филиалом завода.

В эту квартиру деда и привел в 1930 году его сын Илья, молодой поэт, свою жену – пианистку Елизавету Лойтер. В эту квартиру летом 1931 года Елизавета Эммануиловна Лойтер, моя мама, привезла новорожденную дочку – меня. Здесь, в двух комнатах, где значительное место занимал казенный рояль «Бехштейн», мы (мама, я и папа, в то время уже довольно известный поэт Илья Львович Френкель) и прожили до начала войны.

Мама работала в Московской государственной филармонии – выступала в концертах как солистка, сотрудничала с замечательным чтецом Владимиром Николаевичем Яхонтовым. После войны стала одним из ведущих лекторов-музыковедов. В первые дни войны папа ушел корреспондентом фронтовой газеты «Во славу родины», а в начале июля 1941 года мы с мамой уехали с детьми писателей в эвакуацию.

Жизнь в Чистополе неразрывно связана для меня с памятью о маме, пианистке Елизавете Эммануиловне Лойтер. В интернате она на протяжении 1941 – начала 1942 г. работала воспитательницей группы старших девочек, среди которых были Наташа Чалая (будущая Наталья Крымова), Гедда Шор, Мура Луговская и многие другие. Маму очень любили, ласково называли Елэмчик. Дружба с воспитанницами продолжалась и после возвращения интерната в Москву.



Выступление Елизаветы Лойтер на одном из военных кораблей Северного флота

Невзирая на очень нелегкие бытовые условия – почти регулярные перебои подачи электричества, холод в помещениях, – мама не забывала свою профессию пианистки. Она не раз выступала в чистопольском культурном центре – Доме учителя. В воспоминаниях членов писательской колонии не раз встречаются более или менее подробные рассказы об этих концертах. Так, например, в дневниках драматурга А. Гладкова в записи от 22 декабря 1941 года читаем: «От него [Б.Л. Пастернака] я собираюсь в Дом учителя на концерт пианистки Лойтер... Пастернак идет со мной. На концерте в скудно освещенном маленькой керосиновой лампой зале все сидят в шубах и шапках... Холодище адский. Лойтер играет Баха, Бетховена, Листа, Чайковского. Пастернак слушает удивительно. Вместе со всеми аплодирует, потом идет за кулисы и целует руку пианистке...»



Елизавета Эммануиловна Лойтер

Мама занималась и организацией нашей интернатской самодеятельности. В памяти многих остались поставленные ею выступления, почти небольшие спектакли, по стихам моего папы поэта Ильи Френкеля, приславшего маме с фронта поэму «Комсомольский саперный» и песню «Давай закурим!» Музыка к этой песне, написанную мамой, мои друзья, бывшие в интернате, до сих пор помнят и считают наилучшей из всех, написанных на эти стихи.

Через много лет в вышедшем в конце 80-х годов сборнике песен военных лет я узнала подробности истории о том, как появилась самая популярная музыка к «Давай закурим». Автор музыки, композитор Модест Табачников в конце 1941– начале 1942 года находился в той же прифронтовой станице Каменской, где была в то время редакция газеты И. Френкеля, но знакомы они тогда еще не были. Кто-то из друзей принес композитору стихотворение «Давай закурим», а также стихи В. Дыховичного «Одессит-Мишка». «В тот же вечер, – рассказывал Табачников, – я обе эти песни в один присест, как говорится, и сочинил...» На другой день композитор показал их заведующему отделом пропаганды и агитации фронта, который обе песни забраковал: «Никому эти песни твои не нужны». Тем не менее Табачников рискнул и без разрешения «сверху» передал их друзьям из фронтового ансамбля, который начал исполнять их перед бойцами, принимавшими обе песни на ура.

Позднее, посетив Москву, Табачников показал «Давай закурим» Клавдии Шульженко. Песня ей понравилась, и она включила ее в свою театрализованную программу «Города-герои», с которой выступала на Ленинградском и других фронтах.

...Вместе с профессиональной балериной Джеммой Васильевной Баркгаузен мама ставила с нами различные танцы, среди которых наибольшим успехом пользовался революционный этюд на музыку Рахманинова, где я солировала в ночной рубашке с алой лентой на голове. В памяти ребят он остался как «танец дохлой Маринки».



Кинотеатр в Чистополе, где проходили собрания и вечера с участием писателей, музыкальные выступления пианистки Елизаветы Лойтер и скрипачки Елены Лунц

Со своей самодеятельностью мы посещали госпиталь. Раненые очень радовались нашим концертам.

Мы жили на втором этаже бывшего Дома крестьянина, а вечерами часто спускались вниз, где стоял инструмент, рояль или пианино, не помню, и слушали игру Стасика Нейгауза. Еще из интеллектуальных занятий запомнились уроки немецкого: до сих пор остались в памяти строки из «Лорелеи» Гейне.

Мы все, девочки десяти-одиннадцати лет, научились вязать на спицах. В основном вязали носки: ведь зимой стояли очень сильные морозы! Клубки шерсти служили нам также мячиками – они прекрасно отскакивали от деревянных стен. Наряду с глупыми стишками и песенками, которые тайком от взрослых мы пели вместе с ровесниками-мальчишками, мы с не меньшим интересом слушали нашего вундеркинда Никиту Бескина.

Конечно, трудности военного времени нас не миновали. Хотя мне казалось, что кормили нас сравнительно прилично, тем не менее мы не раз подбирали на улице сырые картофелины и с удовольствием их в таком сыром виде и ели.



Программа литературно-музыкального вечера в Чистополе

Вспоминается забавный эпизод, как, гуляя по городу, мы, группа девочек, увидели нескольких мужчин в незнакомой военной форме. Мы тут же решили, что это шпионы, и стали следить за ними. Не помню, как долго мы проявляли бдительность, но вскоре узнали от взрослых, что это – поляки в польской военной форме.

Мы ходили в городскую школу, где учились вместе с местными ребятами. Не помню, какие у нас были взаимоотношения, но осталась в памяти фраза, с которой эти ребята обращались к учительнице, когда им надо было выйти во время урока: «Я в уборную схожу-у?»

Я очень много и серьезно болела в Чистополе, часто лежала в изоляторе. Но несмотря на это и на постоянное беспокойство за папу, время пребывания в интернате осталось в памяти как очень светлое и даже радостное. Думаю, это было главным образом связано с тем, что мы были тесно спаянным коллективом, а наши воспитатели хорошо понимали нас.



Илья Френкель в начале войны



Елизавета Эммануиловна Лойтер и Илья Львович Френкель

В начале 1942 года мама уехала из Чистополя в Москву, а затем постоянно выезжала с бригадами артистов на фронт. Получив вести о моем тяжелом заболевании, с которым в интернате не могли справиться, мама вернулась в Чистополь, чтобы увезти меня с собой. Эпопея возвращения в Москву была довольно тяжелой. Из Чистополя в Казань мы летели в самый разгар морозов на открытом самолете У-2. В Казани пришлось ночевать у совсем незнакомых людей. Каждое утро мама со мной, совсем больной, тащилась пешком в аэропорт, но улететь не удавалось. Кончилось тем, что мы поехали поездом. Мама была, конечно, отчаянно смелой: ведь у меня не было пропуска, необходимого, чтобы въехать в Москву. На наше счастье, соседом по купе у нас был какой-то высокий военный чин, который подключился к решению этой проблемы. По его предложению, меня при приближении к Москве спрятали на багажной полке за чемоданами, перед тем как в вагоне проверяли пропуска. Таким образом, в конце 1942 года я оказалась в Москве.

Более простые и сердечные отношения, существовавшие между людьми во время войны, сказались в том, что по возвращении интерната в Москву я довольно долго прожила в семье литератора Эгарта (мама была на фронте) и спала в одной кровати с его дочерью Фридой. Мама почти не была знакома с ее родителями, но Фрида была в Чистополе ее воспитанницей, и этого оказалось достаточным, чтобы меня приютить. На протяжении долгих лет, прошедших после войны, даже прожив уже почти два десятка лет в Израиле, у меня сохранились прежние теплые чувства к городку на Каме и к моим дорогим друзьям по интернату.

Виталий Хесин Воспоминания в письмах

Я родился в 1935 году в Ленинграде в знаменитом Доме писателей.

В 1941 году был эвакуирован с детским садом Литфонда в «Берсут», а затем в Чистополь. О своей жизни в «недетском» возрасте писать не хочу. Она интересна только мне и моим близким. Больше никому. Если ограничиться двумя фразами: 11 лет после окончания Нефтяного института (ныне «Академия») работал на заводах под Волгоградом, потом 22 года – в Москве, в Институте Научной Фотографии. В марте 1991-го года эмигрировал в США.

Моя мать, Хесина Ася Савельевна, была со мной в эвакуации. В Чистополе работала кассиром, отвечала за все деньги, присылаемые эвакуированным писателям.

Отец, Хесин Григорий Борисович, был директором Всесоюзного управления по охране авторских прав (ВУОАП, ныне ВААП). Параллельно с 1942 по 1946 год был директором Литфонда. Репрессирован с 1950 по 1956.

Пользовался популярностью и уважением среди писателей и композиторов.

Письмо первое

Елене Борисовне Левиной

Пишу письмо, о котором мы говорили по телефону. Думаю, что мои весьма скудные воспоминания об эвакуации в Берсут и Чистополь, учитывая мой тогдашний возраст, вряд ли могут представлять интерес, но поступай так, как сочтешь нужным.

Мне было шесть лет и два месяца, когда началась война, и восемь с половиной, когда пароход «Габдулла Тукай» с большими приключениями доставил нас из Чистополя в Москву.

А уезжали поездом 6 июля 1941 года вместе со всеми писательскими детьми. Родители снабдили нас с Тamarой (старшей сестрой. – Н.Г.) целым чемоданом продуктов, но в дороге его содержимое полностью реквизировали, чтобы поровну разделить на всех детей. Помню, как я переживал, даже плакал, так как там было много вкусных вещей.

А еще помню, какой был переполох, когда обнаружили, что пропал девятилетний Валечка Никулин, а он, маленький и худенький, забрался на самую верхнюю полку и там заснул.

Из пребывания в Берсуте в памяти осталась только многопролетная почти вертикальная лестница, спускающаяся к берегу Камы, теннисные мячики, которые я с

азартом забрасывал на покатую крышу и ждал, когда они ко мне вернутся... и Тимур Гайдар, несомненно, обладавший чертами лидера и воспринимаемый нами как герой знаменитой повести его отца.

В Чистополе детский сад первоначально располагался в здании пожарной каланчи, а потом нас объединили с интернатом и выделили несколько комнат большого дома по улице Володарского.



Виталий Хесин. 1939

Я – шестилетка – попал в среднюю группу, в которой воспитательницей была Ирина Семёновна Ойслендер, жена поэта-фронтовика Александра Ойслендера. А в старшей оказались дети 1933–1934 годов рождения. Воспитательницей там была властная, крикливая, но очень внимательная к детям Клара Георгиевна Доберер.

Из своей группы помню Ёлу Ивич, Витю Ойслендера, Шурика Парнаха, Игоря Аврущенко. Алёна Закс, которая тоже была в детском саду, может дополнить этот список.

Самым, как сейчас бы сказали, «проблемным ребенком» был Юзик Гройспинер, приемный сын арестованного в декабре 1938 года журналиста Михаила Кольцова. Жена Кольцова, немка по национальности, дала испанскому мальчику свою фамилию, и под ней он и был в детском саду. Мне он запомнился тем, что во время прогулок учил меня ругаться матом, предлагая громко на всю улицу выкрикивать слова, значения которых я не понимал.

Когда в начале 80-х годов меня в Москве разыскала уже совсем старенькая Клара Георгиевна (оказалось, что мы живем по-соседству в районе Речного вокзала), она рассказала, что ей по возвращении из Чистополя выпала тяжкая миссия отвезить Юзика в детский дом в Голицыно. Он всю дорогу плакал и повторял: «Где моя мамочка? Где моя мамочка?» А мамочка тоже была арестована и скорее всего погибла.

Из детей старшей группы помню Свету Иллеш – дочь видного венгерского писателя-антифашиста Бела Иллеша, Женю Шифферса, в будущем известного ленинградского

театрального режиссера, способного рисовальщика Эдика Тарпана (умер в пятнадцатилетнем возрасте от менингита), Илюшу Москвина, Фиму Котока.

С Фимой я дружу уже шестьдесят девять лет. Он – доктор филологических наук, в течение десяти лет преподавал в Тель-авивском университете. Живет в Израиле. В этой группе тоже был «трудный мальчик» – Додик Курелла. В памяти остался один трагический случай, виновником которого, кажется, был именно Додик. Воспитательница (не Клара Георгиевна, другая, старше ее по возрасту) решила перевести стрелки часов, висевших под самым потолком, поставила стул на стол и взобралась на эту верхотуру, а Додик слегка подвинул пирамиду, в результате чего воспитательница упала и сломала руку.



Тамара и Виталий Хесины. 1939

Разумеется, у Тамары, которой было двенадцать лет, когда началась война, воспоминаний больше, и они более четкие и достоверные. Она, в частности, хорошо помнит, как несколько интернатовских девочек пришли к поэту Николаю Асееву и начали ему выговаривать, что он плохо обращается со своим папой. У старика действительно был жалкий вид, когда он с судками приходил в интернат за обедом, и, возможно, от него и узнали, что сын и жена сына к нему плохо относятся. Все тогда были тимуровцами, старались поступать только по совести и требовали наказывать тех, кто с их точки зрения вел себя «не по-коммунистически».

Тамаре не хотелось, чтобы поэт, хорошо знавший нашего папу, узнал ее, и она взяла у подружки Иры Ржешевской пальто и шапку, считая, что таким образом выдаст себя за нее. Николай Николаевич, конечно, ее сразу вычислил, но на его возглас: «Как, и ты, Тамара Хесина, здесь?» – ответила убежденно и гордо: «Я никакая не Тамара, я – Ира Ржешевская!» Изменилось ли его отношение к отцу после их визита, она не помнит.

А с Ирой Ржешевской произошел такой случай. Кормили в интернате неважно. На обед обычно давали жиденький суп, а на второе – котлету, чаще всего картофельную. И вот Ира решила не есть котлету за обедом, а положив ее на ломтик черного хлеба, отнести в комнату и там, когда еще чуть-чуть проголодается, в тишине насладиться лакомством. Поднимаясь по лестнице, бережно несла драгоценность на ладони, предвкушая предстоящую трапезу, когда сбегавший вниз мальчишка случайно толкнул ее, и лакомство, описав дугу, шлепнулось на грязно-мокрый пол рядом с уборной, двери которой выходили как раз на лестничную площадку. С Ирой случилась истерика. Она рыдала так, как будто потеряла близкого человека, и вся комната ее утешала.

И свою истерику Тамара запомнила на всю жизнь. Перед Новым годом в интернате обычно устраивался карнавал. Девочки и мальчики облачались в разные костюмы,

делали маски, красили лица краской. Все уже спустились в подземное помещение, где обычно устраивалось торжество, а она замешкалась и спускалась в одиночестве. И вдруг видит: навстречу ей идет... покойник. Во всем белом, с колпаком, надвинутым по самую шею (прорези для глаз и рта, как у куклуксклановцев), и с горящей свечой в руке. Она так испугалась, стала дико кричать, что испугался и покойник. Он сдернул колпак, схватил ее за руку и потащил в комнату со словами: «Тамара, Тамара не бойся... Да это же я – Тимур». Это действительно был всё тот же Тимур Гайдар, придумавший себе костюм привидения.

Тамара хорошо помнит похороны несчастной Фридошки Годинер. Когда гроб опускали в могилу, одна из веревок лопнула, гроб перевернулся и тело выпало. Вадим Билль-Белоцерковский, не раздумывая, прыгнул в яму и сделал всё, как положено. Я знаю, что родная сестра трагически погибшей девушки, Стэра, которую я тоже хорошо помню и по детскому саду, и по пионерскому лагерю, в 80-е годы была тесно связана с известным еврейским общественным деятелем Михаилом Членовым. При желании через него можно ее разыскать.

А еще Тамара вспоминает, что их комнату под номером шесть, которую в шутку называли «палатой № б», считали элитной, и мальчики дружили в основном с ними. Когда мама Димы Шведова праздновала дома день рождения сына, она пригласила девочек из интерната. На столе стояли закуски, которых они не видели с довоенных дней. Восторг был неопиcуемый.

Очень коротко о родителях.

Папа был назначен директором Литфонда весной сорок второго, то есть к организационным мероприятиям, связанным с эвакуацией, он отношения не имел. Помню шуточное четверостишие Светлова:

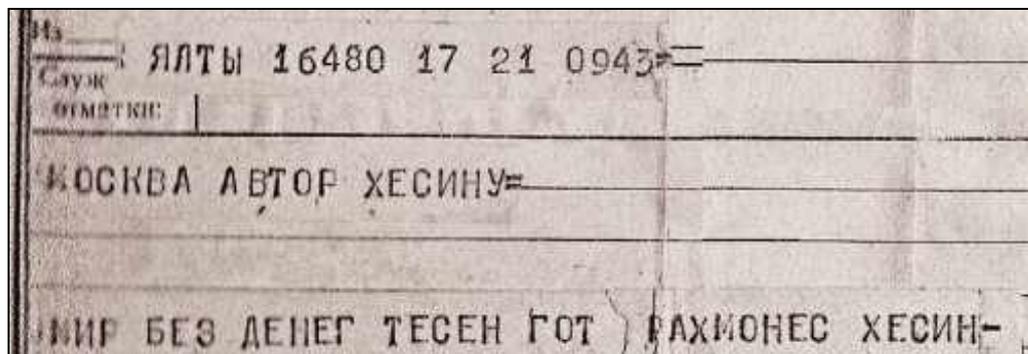
После жуткого кошмара,
Именуемого Хмара,
Показалось всем, что Хесин
Чрезвычайно интересен.

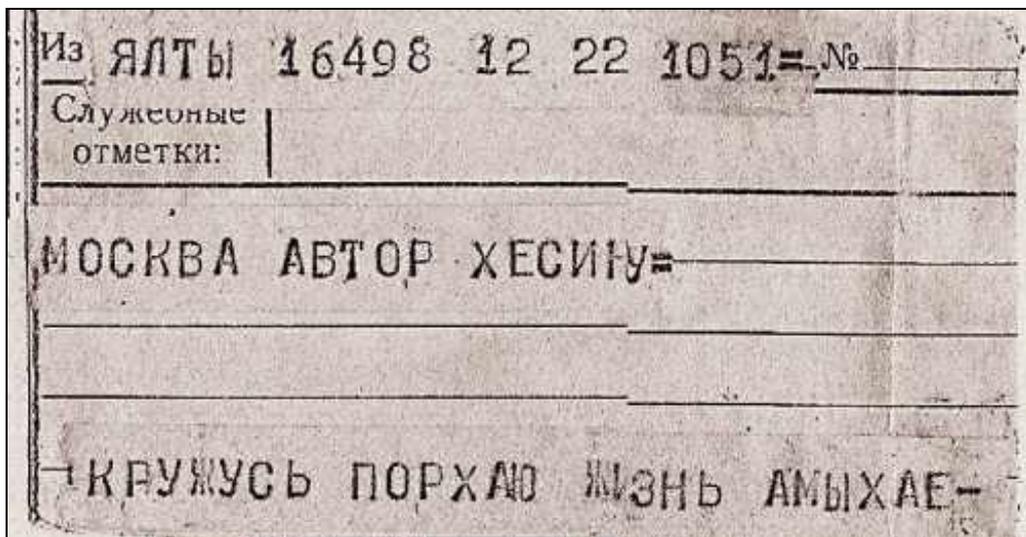
Еще Светлов посылал отцу смешные телеграммы. Например:
МИР БЕЗ ДЕНЕГ ТЕСЕН ГОТ РАХМОНЕС ХЕСИН [17]

На почте телеграмму не приняли, усматривая в ней тайный шифр. Тогда Светлов привел двух знакомых и показал на одного – это Гот, на другого – Рахмонес, а на себя – Хесин. Вот тексты еще некоторых сохранившихся телеграмм:

КРУЖУСЬ ПОРХАЮ ЖИЗНЬ АМЫХАЕ
СИЖУ НАД МОРЕМ ФИНСТЕР УН ОРИМ
У ВОЛНЫ ГРУСТИТ ЕВРЕЙ ДЕНЕГ НЕТ АЗОХЕН ВЕЙ

Папа совмещал должность директора Литфонда с прежней – директора ВУОАП. Всю войну он находился в Москве (в книге Н. Громовой «Дальний Чистополь на Каме» ошибочно указано, что он жил в Чистополе), изредка наезжая в «городок на Каме».





Телеграммы М.А. Светлова Г.Б. Хесину

В ночь с 25 на 26 сентября 1950 года он был арестован и осужден «тройкой» по статье 58 (п.п. 10, 11) на 8 лет лагерей. Одним из пунктов обвинения было то, что он, пользуясь своим положением, распространял абонементы в ГОСЕТ [18], который после убийства Михоэлса (папа его прекрасно знал) очень слабо посещался.

Вернулся и был полностью реабилитирован сразу после XX съезда партии, в марте 1956. Работал в ВУОАПе заместителем директора. Тяжело и подолгу болел. Умер 19 сентября 1964 года.

Мама в Чистополе выполняла обязанности кассира. Она получала в банке деньги и вручала их писателям или их семьям. Ходила без всякой охраны с чемоданом, доверху наполненным ассигнациями! Потом всю жизнь с удивлением вспоминала, что ее, абсолютно беззащитную, ни разу не ограбили.

В июне сорок третьего уехала в Москву с первой партией «возвращенцев», а когда, месяц спустя, ехала обратно в Чистополь, везла с собой огромную сумму денег (писательские гонорары), и ей пришлось сшить специальный широкий пояс, чтобы держать их всегда при себе. Да и другие принадлежности туалета были приспособлены для этой цели. Деньги она довезла в целостности и сохранности.

Леночка, хочу рассказать тебе о том, что прямого отношения к эвакуации не имеет, но для меня это памятное событие, связанное с Наташей Дзюбинской, которую ты помнишь по Чистополю, а с ее младшей сестрой Алёной вы с Тamarой были в одной группе. С Наташей я учился в одной школе, в знаменитой 110-й, где директором был выдающийся педагог и исключительно порядочный человек Иван Кузьмич Новиков. Только Наташа училась в 30-е годы, когда было совместное обучение, а я – в 40-е, когда школа стала мужской.



Григорий Борисович Хесин перед освобождением из лагеря. 1955

В конце ноября 57-го года я приехал в Москву из тогда еще Сталинграда, куда был распределен после окончания института, и навестил школьную учительницу Лидию Германовну Янсон, которая в течение пяти последних школьных лет была нашим классным руководителем и преподавала немецкий язык. Жила она в маленьком деревянном доме в одном дворе со школой. Было ей 74 года, но тогда она всего год, как вышла на пенсию, а работала она в школе с 1912 года, когда это была Флёровская гимназия (по имени основателя и попечителя частной мужской гимназии), в которой учились Тимофеев-Ресовский (Зубр), Игорь Ильинский, Игорь Моисеев, а позже, уже в советские годы, Андрей Дмитриевич Сахаров, историк Натан Эйдельман, писатель и журналист Арк, Ваксберг и многие другие знаменитые люди. Лидия Германовна не дожидая двух месяцев до столетия. Прах ее покоится в зале № 32 Ваганьковского колумбария.

Но я возвращаюсь в 57-й.

Зайдя в комнату (Лидия Германовна жила в маленькой комнатке большой коммунальной квартиры, и ее соседкой этажом ниже была Мария Густавовна Флёрова, семье которой некогда принадлежал весь дом), увидел на столе разложенную газету, явно не свежую. «Что это у вас за газета такая?» – поинтересовался я. «Ой, Витенька, это необычная газета. Это “Пионерская правда” за декабрь 1937 года. Ученики 7 “Б” класса нашей школы на ее страницах мечтают, что будет через двадцать лет, какой прекрасной станет страна и кем будут они, сегодняшние школьники».

Наташа Дзюбинская мечтала стать актрисой, называла роли, которые она будет играть, Светлана Гурвич (дочь Николая Бухарина), не помню кем, но стала историком, мальчик по фамилии Огуренков хотел стать тренером по боксу, и, кажется, он им и стал,

других имен не помню. Ребята договорились через двадцать лет прийти в школу и поведать друг другу, насколько их мечты осуществились. Повторяю, это был ноябрь 57-го года. До истечения двадцатилетнего срока оставался месяц.

Я схватил газету и помчался в редакцию «Комсомольской правды». Меня приняла известный педагог Е. Шацкая, чьи статьи на темы воспитания часто появлялись на страницах «Комсомолки». Прочитав весь материал, вернула газету и предложила мне подключиться к розыску мальчиков и девочек из тридцать седьмого года, однако я должен был уезжать через два дня и ничем помочь не смог.

Но их нашли. Не всех, разумеется, но многих. И собрали в школе. Лидия Германовна описала мне эту встречу в письме. А в февральском номере «Комсомольской правды» за 1958 год появилась большая – в целый газетный лист – статья под названием «ОНИ ПРИШЛИ!» К сожалению, у меня она не сохранилась.

Письмо второе

Наталье Александровне Громовой

На днях я разговаривал по телефону с Леной Левиной, и она мне передала Вашу просьбу немножко рассказать о себе. Но сначала в дополнение к тому, что я писал, мне хочется вспомнить прекрасных людей, которым мы обязаны тем, что в течение всей эвакуации, живя в коллективе, без родителей, были окружены любовью и заботой. Назову только три имени, хотя я помню всех, включая добрейших нянечек, одна из которых по моей просьбе (?) учила меня... вязать крючком.

Фаина Петровна Коган (для меня Фаня Петровна) – заведующая детским садом. Всё свое обожженное бедами сердце (на фронте погиб сын, младшая сестра – инвалид) она отдавала нам, несмышленишкам, не понимавшим, что означает страшное слово «война». Я видел себя во главе большого войска, «на лихом коне», с саблей наголо, кричавшим распоряжения «первому маршалу». Фаня Петровна умерла от рака в 1951 году, а до этого каждый год приходила ко мне на день рождения.

Ольга Никандровна Красноцветова – музыкальный работник. Ее дочь Ирочка была в старшей группе детского сада, а сын Коля – в интернате, с нами. Ольга Никандровна готовила меня, восьмилетку, к школе, занимаясь со мной индивидуально. Учеником я был не очень способным, но она терпеливо объясняла правописание слов, которые я упорно писал, как слышалось.

Каждое музыкальное занятие заканчивалось пением «Интернационала». Мы вставали, руки по швам, и выпевали непонятные слова. Строчку «С Интернационалом воспрянет род людской» я пел так: «Сын Терна Ционала воспьянет». «Сын» вопросов не вызывал, а кто такой Терна Ционал стеснялся спросить. А еще помню, как переживал за юного барабанщика, который «песню допеть до конца не успел». Воображал, как он шагает со своим барабаном по широкой парковой аллее, а за каждым деревом скрывается враг. Сестрой-хозяйкой работала Зинаида Николаевна Пастернак. Не знаю, какой «сестрой» она была для своего персонала, но «хозяйкой» была превосходной, умеющей так организовать работу, что даже требовательной Фане Петровне придраться было не к чему. И кулинаркой она была отменной.



Виталий Хесин с родителями. 1946

Я родился в апреле 1935 года в Ленинграде, по адресу: Канал Грибоедова, дом 9. Это знаменитый Дом писателей, фасад которого, обращенный к каналу, украшен сегодня многочисленными мемориальными досками. В доме этом длинные, плохо освещенные коридоры, и сестра, возвращаясь из школы, звонила в крайнюю квартиру дяде Жене (Евгению Шварцу) и просила проводить ее до дверей нашей квартиры в пристройке на четвертом этаже. Соседями были Козаковы, с которыми мои родители дружили. Я был моложе Миши на полгода, но гулять в Летний сад или расположенный неподалеку Михайловский садик нас водили парой или моя мама, или их домашняя работница Катя, ставшая фактически членом семьи. Когда Миша снялся в фильме Михаила Ромма и позже сыграл Гамлета у Охлопкова, мама с гордостью вспоминала, как когда-то сажала его на горшок.

Козаковы Зоя Александровна и Михаил Эммануилович были изумительными людьми. Они прошли через всё мое детство, и я часто их вспоминаю. Папу перевели в Москву и назначили директором ВУОАП в 1938 году. Приезжая из Ленинграда, Михаил Эммануилович останавливался у нас. Он был тяжелым диабетиком и ежедневно делал себе уколы инсулина (умер от диабетической комы в 1954 году), и я помню, как говорил маме: «У дяди Миши сахарная болезнь, а у меня будет конфетная». Я был «хроническим сладкоежкой». Хорошо помню, как в 1949 году папа и Михаил Эммануилович шепотом, чтобы я не слышал, обсуждали возможность вызволения с Лубянки Зои Александровны, которая была арестована как «повторница». Первый арест приходится на конец 30-х годов. А Зоя Александровна, когда меня как сына «врага народа» не приняли в институт, ходила к ректору «похлопотать». Результат, естественно, был нулевым, но я никогда об этом не забуду. И маму навещала в психиатрической клинике им. Кащенко.



Дом писателей на Набережной канала Грибоедова в Ленинграде

Мама через месяц после папиного ареста, в октябре 1950-го пыталась покончить с собой. Она написала прощальное письмо, в котором наказывала сестре (ей был двадцать один год, мне – пятнадцать) вырастить меня хорошим человеком, наполнила ванну водой, села в нее и перерезала бритвой запястье. Сестра, вернувшаяся домой минут через пятнадцать, услышала слабый стон и, войдя в ванную, увидела маму, сидящую в кроваво-красной воде. Сестра стала дико кричать, прибежали соседи, вызвали скорую. Маму спасли, но прямо из института Склифосовского перевезли в «Кащенко», где она провела полных два года. Кисть левой руки осталась «мертвой» до конца ее дней.

Еще один маленький эпизод примерно того же периода. Со мной во дворе заговорила девочка-соседка, и другая потянула ее за рукав: «Как ты можешь разговаривать с сыном врага народа?» А у самой этой «правильной» девочки мама была арестована в тридцать седьмом году, и папа, правоверный коммунист, отрекся от жены.

С Мишей Козаковым я после 1946 года не общался. У нас разные характеры, и судьбы разные. Бывая на его выступлениях, никогда к нему не подходил. Учился я в элитной 110-й школе, закончил ее в 1952 году. В параллельном классе учились два мальчика, имена которых пользуются сегодня широкой известностью. Это Шура Ширвиндт, художественный руководитель Театра Сатиры, и бывший ракетчик, а ныне американский политолог Серёжа Хрущёв. Серёжа, появившийся у нас в девятом классе, когда его папу перевели с Украины в Москву, учился прекрасно, окончил школу с золотой медалью, а Шурины школьные успехи были весьма скромными. Шура дружил с Володей Косолаповым, и я хорошо помню шуточные эпиграммы в стенгазете, смысл которых «где Шура, там и Вова и наоборот». А Серёжу на переменках обычно видели рядом с Гундоровым (имя не помню) – сыном генерала, возглавлявшего Славянский антифашистский комитет.

Интересно, что память моя сохранила фамилии почти всех учеников их класса «А». А вот помнят ли они наших «бэшек», сомневаюсь. Большой дружбы между классами не было, хотя учителя, за исключением преподавательниц иностранного языка (у нас – немецкий, у них – английский), были общие. И какие учителя!

Весной 1948 года мы силами литературного кружка, который вела учительница русского языка и литературы Елена Николаевна Дергачёва (позже она взяла фамилию мужа – Домбек), ставили отрывок из «Молодой гвардии», только-только опубликованного и очень популярного романа А. Фадеева. На женские роли девочек из соседней женской школы приглашать не разрешили (на девочек в стенах мужской школы

смотрели, как на инопланетянок) и их исполняли мальчики. Я играл Ульяну Громову. Сестра дала мне свой девчачий костюмчик: закрытая блузка, жакет, юбка, туфли на низком каблук и платочек на голову.

Дело в том, что нас до седьмого класса в обязательном порядке стригли наголо. Даже челочку иметь не разрешалось. Нарушителя тотчас же отправляли в парикмахерскую. Шура Ширвиндт тоже участвовал в спектакле, но исполнял эпизодическую роль (кажется, Володи Осьмухина).

На репетициях никаких проблем не возникало. То, что мальчики говорили о себе «я сказала», «я видела» воспринималось без улыбок. Но, когда при полном зале открылся занавес и зрители увидели нас, актеров, поднялся такой хохот – и в зале, и на сцене, – что играть было невозможно. Я не произнес ни одной реплики, ибо меня душил смех, то же было с Геной Р., исполнявшим роль Любки Шевцовой, и Юликом К, игравшим бабушку Олега Кошевого.



Родители Виталия Хесина с Леонидом Утёсовым. 1963

Директор школы Иван Кузьмич Новиков, сидевший в первом ряду, с ужасом взирал на это «действие», и сегодня я его хорошо понимаю. Ведь это был сорок восьмой год, началась новая кампания шельмований и массовых арестов, и наше поведение можно было расценить как «идеологическую диверсию». Сценка называлась «Молодогвардейцы слушают речь вождя»: импровизированная вечеринка, самодельный радиоприемник и прильнувшие к нему, чтобы не пропустить ни одного слова, юноши и «девушки». Елене Николаевне (она исполняла роль мамы Олега Кошевого) после этого случая пришлось уйти из школы. А она была прекрасной учительницей и, что немаловажно в мужской школе, красивой женщиной. Все мальчики были в нее чуть-чуть влюблены.

Девять лет назад, увидев Елену Николаевну на телеэкране (класс Шуры в программе «Одноклассники» отмечал 50-летие окончания школы и пригласил своего классного руководителя в пятом-шестом классах), я из Америки разыскал ее. Написал несколько писем, часто говорил с ней по телефону. Она плакала, понимая, что увидеться нам скорее всего не суждено.

В мае 2010-го, когда ей было уже за девяносто, она умерла. Ушел последний Учитель нашего поколения – учеников военных и первых послевоенных лет, многие из которых уже покинули этот мир. Сейчас изредка звоню ее мужу Аркадию, тоже бывшему ученику нашей школы.

Письмо третье
Наталье Александровне Громовой

Дорожу фотографией от августа 1948 года: «Заседание совета лагеря». Там в числе «пионерских командиров» – Евгений Шифферс, талантливый театральный режиссер-новатор, публицист, философ, последователь и знаток учения Павла Флоренского. С Женей я был в детском саду до войны, во время войны и после, в пионерском лагере. К сожалению, до нового века он не дожил. Там же, слева от меня, девочка, в которую я был влюблен.

...А со светловскими телеграммами связано одно воспоминание. Где-то в середине восьмидесятых я зашел на почту около метро «Аэропорт» и увидел стоявшего у окошка выдачи корреспонденции Эдика Радзинского.

Не знаю, что меня толкнуло, но я рискнул назвать ему свою фамилию. Почему-то надеялся, что он воскликнет: «О! Помню, помню, конечно! Ну, как ты?..» Или что-то в этом роде.

В сорок восьмом в Малаховке наши кровати стояли рядом, и вечером, когда ложились спать, Эдик (он перешел в шестой класс), который тогда уже много читал, рассказывал интересные истории из прочитанных книг, а мы, затаив дыхание, слушали и на следующий день не могли дождаться вечера, чтобы услышать их продолжение.

Так вот, сорок лет спустя, он меня не вспомнил, а вспомнил эти самые телеграммы и моего папу, которому они были адресованы. Осадок остался неприятный. Я дал себе слово ни к кому «из детства» больше не подходить и, когда вскоре после этого увидел идущего мне навстречу Валю Никулина, опустил глаза...

Письмо четвертое

Наталье Александровне Громовой

Отправляю Вам фотографию, о которой писал в предыдущем письме. Накануне мне удалось ее увеличить и слегка «осветить».

Женя Шифферс – мальчик с белой повязкой на голове. Девочка, в которую я тогда был (безответно) влюблен – Надя Винокур, младшая дочь литературоведа и критика Григория Винокура, известного в 1930-е – начале 1940-х. Он умер вскоре после войны, кажется, в 1947 году. Ее старшая сестра Таня тоже имела самое непосредственное отношение к литературному миру.

Надя после окончания областного педагогического института работала в Пушкинском музее на Волхонке и в конце 1980-х эмигрировала с семьей в США. Я вскоре после приезда читал в «Новом русском слове» ее очерки о путешествиях по разным странам. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна.

Еще на этой фотографии Ирочка Шторм, дочь писателя Георгия Шторма, и Диночка Сито, папу которой от участи других еврейских писателей спасла ранняя смерть. Он умер в год окончания войны, ему не было и сорока лет. Есть там и Ярик Рудный, сын писателя Владимира Рудного.



Заседание совета лагеря. 1948, август. Слева направо: сидят – Ира Шторм, Ира Евгенова, Э.Д. Збарская (начальник лагеря), Семён Кроник (ст. вожатый), Дина Сито, Элла Яновская, Витя Хесин, Игорь Тихонов (делает доклад), Надя Винокур; стоят: Женя Шифферс, Саша Мусатов, Тамара Смелянская, Ярик Рудный

В центре – старший пионервожатый, фронтовик, получивший на войне тяжелое ранение, Семён Львович Кроник. Тогда он еще учился в юридическом институте, а позже стал известным московским адвокатом по «автомобильным делам». Умер в начале 1970-х.

Я помню имена всех мальчиков и девочек, запечатленных на этой старой фотографии, и где-то на самом доньшке воспоминаний хранятся голоса двух девочек с этого снимка, которые звонили мне и после ареста папы, но я избегал любых контактов, понимая «особость» моего положения, хотя мысль о том, что это для них небезопасно, вряд ли меня посещала.

Сегодня тем, кто еще жив, больше семидесяти лет. Представить себе их стариками никак не могу.

Эра Росина-Друцэ Чистое поле нашего детства

Эра Самуиловна Росина родилась в 1929 году в Москве. Ее мать, Роза Сергеевна Росина, до войны работала инженером-текстильщиком на ткацкой фабрике.

Ее отец – поэт-переводчик Самуил Яковлевич Росин – был сотрудником в системе профсоюзов, работал директором международного детского дома.



Эра Росина-Друзэ с мужем драматургом Ионом Друзэ. 1990-е

В первые месяцы войны отец ушел в ополчение в «писательской роте» под Вязьмой. Туда с посылками от союза писателей отправились жены ополченцев, в том числе Роза Сергеевна. Отец и мать Эры Росиной вместе погибли в окружении под Вязьмой.

Наша семья жила в самом центре Москвы, напротив Моссовета, в очень интересном, можно даже сказать, историческом доме. До революции это была гостиница «Дрезден», одна из самых популярных в Москве. Существовала легенда, что Чехов увез актрису Ольгу Книппер, ставшую впоследствии Книппер-Чеховой. После революции здание гостиницы передали профсоюзам, облицевали под новые дома, которые стали строить на улице Горького, чтобы все они смотрелись единым комплексом.

Наш дом был старый, добротный, построенный с европейским размахом. Высокие потолки, огромные окна, такие же огромные богемные зеркала, широченные коридоры. Коридорная система позволила быстро заселить дом. Общая кухня, бойлерная, где постоянно бывал кипяточек – великий спаситель довоенной России. Потом, когда стало критически не хватать жилплощади, кухню отдали под жилье уборщицы, кипятильню отдали другой уборщице, лишив тем самым жильцов самых насущных потребностей.

Моему папе, поэту Самуилу Яковлевичу Росину, дали здесь комнату, так как он был сотрудником в системе профсоюзов, работал директором Международного детского дома. Комната наша – на втором этаже, большая, двадцати четырех метров. Огромные, во всю стену, окна выходили во двор. На первом этаже, под нами, были номера ресторана «Арагви», и часто по ночам разгоряченные грузинским вином посетители выходили на улицу, пели и плясали под нашими окнами до самого утра.

Между большими окнами – огромное, от потолка до самого пола, зеркало, но мама однажды, убираясь в комнате и передвигая мебель, нечаянно его разбила. Все сочли это плохим предвестником, что в конце концов и подтвердилось.

Жили мы дружно. Я училась в школе, расположенной неподалеку, папа работал, мама была инженером-текстильщиком на ткацкой фабрике. Иногда ей выпадало работать в ночную смену. Дикий шум вязальных машин, вечная беготня от одной прядильщицы до другой, чтобы посмотреть, идет или не идет нить – уставала нещадно. Однажды, когда уходила работать в ночную смену, так спешила, что впопыхах забыла надеть юбку. Папа на всё это посмотрел и сказал: хватит. Он ее снял с работы. Жили мы трудно, вечно денег не хватало, папа работал изо всех сил, стараясь обеспечить семью. Мама была младше папы на семнадцать лет, еще молодая, красивая женщина, а папе было хорошо за сорок. Одна из главных наших проблем состояла в том, что папе, известному уже поэту, работать было негде. Двумя этажами выше, в том же доме, жила папина поклонница, и днем, когда она уходила на работу, оставляла папе ключи, с тем чтобы

он, пока она работала, мог позаниматься.

Папа меня безоглядно любил. По вечерам, когда он выходил в город, всегда брал меня с собой, я была как бы его хвостиком. Добрейшей души человек, его все знали, все любили. Знакомые музыканты доставали нам контрамарки, и мы постоянно посещали оперный театр Станиславского. Бывали на выставках, ходили по многочисленным книжным магазинам, которых было тогда полно в центре Москвы.

Постоянно собирались вокруг нас композиторы, писатели, художники. Я с самых малых лет как-то вплеталась в тот круг, впитывала в себя всё, как губка. Слушала, как они разговаривают меж собой, о чем спорят, как мыслят. Многое, конечно, не понимала, но дружеская атмосфера той среды меня завораживала, походы с папой по Москве были для меня праздником. Я не помню имена людей, которые нас тогда окружали, но помню их лица. Это были светлые, значительные, замечательные лица.



Самуил Яковлевич Росин

Училась я в 137-й школе, расположенной в Леонтьевском переулке, как раз напротив немецкого посольства, на котором висел фашистский флаг со свастикой. Туда входили и выходили какие-то суровые, по военному собранные, сухопарые люди с опущенными глазами, не замечавшие ничего вокруг себя. И от этого флага, и от сотрудников самого учреждения исходила какая-то постоянная, не осознаваемая нашими детскими душами тревога. В школе нам твердили, что самая большая опасность, нависшая над миром, – это фашизм, черная свастика. По дороге в школу и обратно домой я мучила свою бедную маму вопросами: как же так, самая большая опасность мира у нас под боком, напротив школы, а мы все делаем вид, что этого не замечаем? Бедная женщина оглядывалась, не слышит ли кто мои вопросы, и быстро переводила разговор на другие темы.

И вот в один теплый июньский день непоправимое таки случилось. Грянула война. Эта великая, всенародная беда застала нас в пионерском лагере Союза писателей во Внукове. Срочно, буквально на следующий день, нас вывезли в город. Той же ночью, сразу после нашего возвращения, объявили воздушную тревогу. Мы спустились в огромные винные подвалы ресторана «Арагви», расположенного по соседству. Переждав несколько часов, мы тихо разбрелись по домам. Назавтра почти всё взрослое мужское население записалось в ополчение. Это были в основном пожилые люди, сейчас это видно даже по фотографиям, которые выставляют в дни, посвященные памяти павших на полях сражений. Отец мой, Самуил Росин, записался в ополчение в первый же день. Там, на призывном пункте формирующегося ополчения, было много

пожилых писателей, которые, как говорится, винтовку в руках даже никогда не держали.

Еще через день был сформирован целый писательский поезд для эвакуации. Нас привезли на вокзал, всё было организовано очень хорошо. Мы попрощались со своими близкими, я попала в купе с женой Алексея Арбузова, у нее был на руках только что родившийся ребенок. Поскольку всё было забито, мест не хватало, меня устроили на третьей полке, предназначенной для багажа под крышей вагона.

По прибытии в Казань нас недолго там продержали и направили в дом отдыха профсоюзов в Берсут. Это был большой деревянный трехэтажный сруб, красиво стоявший над обрывом на берегу Камы. Рядом с главным домом стоял отдельный павильон, в этом павильоне была сцена, а на сцене – прекрасный рояль. Многие жены писателей были хорошо образованы. Была замечательная пианистка Лойтер, она нам играла «Лунную сонату», утешавшую наши встревоженные души. Еще мне запомнилась жена Ардова, очень красивая женщина, известная актриса, она была там с двумя сыновьями. Она выступала перед нами со своими монологами, играла отрывки из «Бесприданницы», приобщала нас к культуре. При ней был еще и сын от первого брака – Алёша Баталов, ставший впоследствии знаменитым актером. И еще была там очень яркая женщина, Тамара Владимировна, жена Всеволода Иванова. Она была, по слухам, из зажиточного купеческого рода, женщина крупная, большая, выше своего мужа на целую голову, очень властная, очень строгая и совершенно не умеющая общаться с детьми.

Эта женщина была нашей руководительницей, и нам так доставалось. Она разговаривала с нами командирским тоном, всё всегда было не так, всё всегда было не в порядке, хотя придраться совершенно было не к чему. Потом она выходила на свежий воздух и начинала занятия со своим сыном Комой, будущим ученым, академиком. В те времена он был полненький, мать заставляла его, подняв высоко правую руку читать какие-то исторические монологи. Мальчик уставал, она требовала поднять руку выше, еще выше. Но так ничего из этих репетиций не получилось, во всяком случае Кома не выходил на сцену со своей декламацией.

Там, в Берсуте, собрались все, кого отправил Союз писателей в эвакуацию, это был, как я теперь понимаю, большой распределительный пункт. Следом за нами приехали множество писателей и писательниц, со своими семьями, с родителями, там был и сын Алексея Толстого, Никита Толстой, со своей женой, дочерью знаменитого Лозинского. Было много маленьких детей, и нас, десятилетних подростков, заставляли выгуливать малышей, пока матери занимались хозяйством. Это оказалось мучительное задание, потому что малыши нас не слушались, вырывались, орали, но мы терпеливо с ними гуляли, успокаивали, как могли, чтобы их мамы успели кое-как справиться со своими делами.



Роза Сергеевна Росина

Потом настало время разъездов. Очень большая колония отправилась в Ташкент, кто-то уехал еще в какие-то места. Была там Маргарита Алигер со своими дочками, сначала с одной, от композитора Макарова, который впоследствии погиб на фронте; при ней же была ее мать, очень приятная, общительная женщина. Она всех нас как-то по-доброму, по-матерински собирала вокруг себя, обнадеживала, успокаивала. Мы пробыли в Берсуте лето, ближе к осени нас отправили в Чистополь.

Первые месяцы в Чистополе оставалась и моя мама, Роза Сергеевна. Когда жизнь в интернате более-менее наладилась, и мама сочла, что я вне опасности, она, устроив наших родственников на квартиры, стала собираться в Москву. Я пошла ее провожать. На пристани мы с ней долго прощались, потом она спустилась по мостику, ушла в глубь парохода, и больше я ее никогда не видела. Кто бы мог подумать, что это была моя последняя встреча с моей дорогой мамой.

Пароход всё не отплывал. На пристани собралось полно народу. Смотрели с замиранием сердца, как мать прощалась с сыном.

К пристани была пришвартована платформа, полная призывников. Один из них, молодой парень, выделялся, будучи на голову выше всех остальных. Его мать, крохотная, сухонькая женщина в белом платочке, кидалась к нему с распростертыми руками, она была ему по пояс. Обнимала и истошно, не по-человечески, по-звериному как-то выла. Ее оттаскивали, она минуту-другую стояла в стороне, как бы приходила в себя, но, глядя на свое ненароком, не ко времени выросшее сокровище, которое ни один окоп не укроет от пули, она опять кидалась к нему и опять начинала выть, а ее бедный сын, совсем еще мальчишка, смотрел смущенно по сторонам... Она его обнимала, обнимала и не могла с ним расстаться ни в какую. Эта сцена запечатлелась в моей душе на всю жизнь, и сегодня, спустя более полувека, она стоит, как живая, предо мной.

Но вот, наконец, мать оттащили, призывников погрузили, и пароход отплывает, тает в дымке, и сердечко мое ноет, ноет... С тяжелыми предчувствиями вернулась я в интернат.

Зима в сорок первом была ранняя и крутая, холодная. С осени резко похолодало.

Писатели-ополченцы – почти все пожилые люди (молодые ушли по призыву) мерзли на восточном фронте под Вязьмой. Они ушли в ополчение защищать столицу еще в августе, когда было тепло, а теперь, раздетые, голодные, страдали невероятно. Ни теплого обмундирования, ни питания, ни оружия. Вернувшись в Москву, моя мама пошла в военную комиссию Союза писателей, и они быстро собрали большие посылки для ополченцев. Собирали в основном шапки, рукавицы, шарфы и еду, потому что с едой там было очень плохо.

Проблема заключалась в том, как доставить эти вещи на фронт, под Вязьму. Там шли бои, вражеские самолеты бомбили день и ночь. И тогда моя мама вызвалась сама везти эти посылки на фронт. Она, бедная, подозревала, что может и не вернуться. Она так и сказала одной своей приятельнице, которая ехала на фронт медсестрой: ты-то вот вернешься, а я нет. Маме присущ был дар ясновидения, она многие события заранее предсказывала. Этот дар в какой-то малой степени передался и мне, и надо признать, что это нелегкая ноша.

Мои бедные родители погибли вместе, в одно мгновение. Мне долго не говорили, что я осталась круглой сиротой, но по тому, что родители больше не отвечали на мои письма, а также по тому, что вокруг меня образовался какой-то круг молчания, часто переходивший в особо теплые отношения ко мне всех окружающих, особенно воспитательниц, я начала догадываться, что произошло что-то страшное в моей жизни. Они меня оберегали, старались вложить мне в руки какую-нибудь профессию, не хотели меня отдавать в детский дом. Я часто шла по улице одна и плакала. Спустя годы маршал Жуков писал, что без ополчения, без вяземских фронтов нам не удалось бы отстоять Москву. Это величайшая трагедия Второй мировой войны, но она дала передышку, выиграла время, чтобы собрать силы для контрнаступления. Кто бы мог подумать, что две деревушки, стоящие почти что рядом, Бородино и Вязьма, ценой невероятных жертв дважды спасли Россию.

Надо сказать, что печаль и горе в те годы бывали почти на каждом шагу. В трехэтажном доме, где нас разместили, нижние этажи занимали мальчики, а верхний – девочки. И там же, на третьем этаже, поселили жен немецких писателей-антифашистов. Многие из них были с детьми, даже, помнится, с грудничками. Они были молчаливы и очень растеряны.

Жили эти женщины как-то замкнуто, внутри своей среды, но там вдруг произошла большая драма. У одной из них умер ребенок. Я помню, как эта бедная женщина мучилась, чтобы не дать воли своему горю, потому что неподалеку шла кровопролитная война, развязанная ее сородичами. А у нее было свое великое горе. Мы ей очень сочувствовали. И вдруг она исчезла. Мы все заволновались, ходили ее искать, но не нашли. Только под утро она вернулась. Говорили, она всю ночь ходила по пустому городу, чтобы тихо, где-то на окраинах, на задворках выплакать, выстонать свое великое горе. Она была очень сильным человеком. Потом их всех куда-то увезли в другие места, кроме дочери Иоганнеса Бехера, которая оставалась с нами.

Воспитательницами у нас были жены писателей. Время было суровое, они учили нас быть самостоятельными, чтобы в случае чего мы сами умели себя обслуживать. Труднее всего давалось нам, городским девочкам, мыть полы в больших комнатах. Жена Чичерова, писателя, который был на фронте, следила за нашими трудами, указывая пальцем, командирским голосом требовала:

– Девочки, до плин-ту-сов, до плин-ту-сов!

И мы, десятилетние, лазили под кроватями и действительно до плинтусов мыли свои полы. Она же следила за нашими занятиями, проверяла наши домашние задания. Учили нас всяким хозяйским навыкам, мы что-то вязали, что-то шили: давали нам каждой такие хорошие кусочки ткани. У нас была старшая подруга, по-моему ее звали Таней, добрейшей души человек и очень хорошая художница. Чтобы как-то обжить, обукрасить наши комнаты, она каждому из нас нарисовала по поросенку из знаменитых «Трех поросят». Дали нам бархатные разноцветные кусочки, ленточки, и мы с таким удовольствием занимались аппликацией! Каждая старалась как можно ярче украсить своего поросенка. Потом из какой-то ткани сделали рамочки, повесили каждая своего поросенка у своей кровати, и стало как-то светлее, веселее в наших комнатах. Моего

поросенка звали Нуф-Нуф. Он поднимал одну ножку и танцевал. Ложась спать, я прощалась с ним на ночь. Это было мое утешение. Я его помню до сих пор. Неподалеку от моей кровати стояла кровать Тамары Хесиной, Томочки, ставшей впоследствии не то что подругой, а сестрой по духу на всю жизнь.

Очень часто по вечерам отключали электричество. А зимние ночи длинные-предлинные. У нас в углу на полочке была лампадка. Мы ее зажигали, забирались на свои кровати и долго пели трогательные, задушевные, душещипательные песенки и романсы. До сих пор помню романс про Татьяну, которую пел в предвоенные годы популярнейший Пётр Лещенко:

Где же, где,
Скажи, Татьяна,
Моя любовь
И наши прежние мечты?!

Мы должны были кормить сами себя, и ближе к весне нам выделили свое поле. Сажали картошку, капусту, морковь. Потом день за днем ходили пропалывать, ухаживать за своими посадками. Поднимали нас затемно, в четыре утра, и мы шли, полусонные, четыре с лишним километра к своему полю. Поработав, возвращались, завтракали, шли в школу, делали уроки, и опять в поле. У нас была замечательная вожатая, по-моему, ее звали Майя Корабельникова, веселый, задушевный человек, и, когда она собирала нас на общественные работы, мы шли с удовольствием, никто не отлынивал, хотя работа была для нас, городских девочек, непривычной и очень тяжелой. Помню, как мы ходили пропалывать огромное, как нам казалось, бескрайнее поле проса. Мы выстроились в одну шеренгу и, не поднимая головы, вырывали сорняки на своем пути. Уже и день был на закате, начало темнеть, а полю и сорнякам этим ни конца, ни края не было. Мы всё шли и шли, не разгибая спины, и думала я тогда, кому это пришло в голову назвать наш город Чистополь, то есть чистое поле? Где оно, то чистое поле, когда этим треклятым сорнякам нет конца? Как мы завершили ту работу и как вернулись домой, я уже не помню – мы плыли в каком-то тумане, но свое поле выпололи.



Окраина Чистополя

Осенью мы поступали в распоряжение управляющего нашим хозяйством, а ведал нашим хозяйством товарищ Хохлов, бывший моряк, человек по-военному строгий, который никогда не улыбался и никогда не бывал доволен нашими стараниями. Самым мучительным было приготовление бочек под засолку. Бочки – огромные, в три раза больше нас. Их валили на бок, мы залезали в эти деревянные казематы и драили, песочили, мыли, потом оказывалось, что оставался еще запах с прошлого года, и надо было начинать сначала. Когда бочки были готовы, их наполняли капустой, огурцами – всем, что мы вырастили на своих огородах, чтобы хватило на всю зиму.

По утрам ходили в школу. Надо сказать, что школа наша была одноэтажным добротным каменным строением. Учились ли с нами городские дети, я не помню, кажется, учились там только мы, интернатские. У нас были старшие группы, средние, младшие. Помню хорошо Таню Шервинскую. Она потом вышла замуж за Кому Иванова, ставшего великим ученым.

Культурным, социальным и даже бытовым центром писательского поселка в Чистополе был, конечно, наш интернат. Народу было полно с утра до вечера. Пастернак нас посещал каждодневно. Кроме жены, Зинаиды Николаевны, в интернате обитал еще и Стасик, сын, вернее, пасынок Пастернака. Это был замкнутый в себе парень, который шел, почти не поднимая глаз, не замечая ничего вокруг. Он был сыном великого музыканта-пианиста, и его, похоже, тоже готовили к великому музыкальному будущему. Спустя годы я читала много воспоминаний о Чистополе и о его жителях времен войны. Оказывается, все те годы у Стасика была любимая девушка в Москве, он с ней переписывался, любил ее бесконечно, потому его ничего вокруг и не интересовало. После войны они поженились.

В Чистополе неподалеку от интерната высилось громадное здание Второго часового завода. После войны почти всё взрослое население Союза носило на руках часы Второго часового завода, но в те годы сомневаюсь, что там производили часы. Какие-то ученые, похожие на Королева, мелькали изредка. Конечно, главной достопримечательностью Чистополя оставалась улица Володарского, главная улица, которая вела от Камы в центр города. Сам город был детищем этой славной реки. Река питала город кислородом, энергией, самой жизнью. Для нас это была река-праздник. Временами, устав от замкнутого, душного пространства интерната, мы спешили по центральной улице к реке, чтобы набраться воздуха и оптимизма.



Дом на улице Володарского в Чистополе, где жил Б. Пастернак

Очень часто, когда я шла по улице Володарского, навстречу мне попадался Пастернак. Это было отдельное явление, понять которое мне было очень сложно, потому что я была еще ребенком; но интуитивно я понимала масштаб этого человека, этой личности. Он всегда шел медленным, размеренным шагом, смотрел вверх голов, углубленный в самого себя. Это был воистину небожитель, хотя нередко у него в руках были самые что ни на есть обычные вещи. Помню, однажды он шел и нес под мышками очень хорошо подшитые валенки. Стояла суровая, но спокойная, сухая зима, он нес обувь для своего пасынка. Было удивительно смотреть, как этот красивый, высокий человек идет, смотрит в небеса и несет валенки под мышками.

Обычно, подойдя к нашему интернату, он своим знаменитым, зычным, можно даже сказать, трубным голосом, восклицал:

– Ста-а-сик! Ста-а-а-сик!

Стасик выходил, они общались. Потом выходила и Зинаида Николаевна, потом

Пастернак шел на кухню, жена его подкармливала. Питание у нас было хорошее, но скудное, мы никогда не наедались. Мяса нам никогда не давали, ели мы одни потрошки. Зато у нас была замечательная повариха. Она была венгерка, тоже из числа антифашистов, и очень вкусно делала сладости. Она варила сахар, потом подкрашивала его какими-то специями и разрезала квадратиками. Были и голубые, и розовые, и желтенькие, и зеленые, и беленькие. Нам давали по одному квадратiku к чаю. Это было наслаждение и бесконечные загадки, кому что досталось и что бы это могло означать.



Борис Пастернак с сыном Леонидом. Чистополь, 1942

После ужина устраивали замечательные вечера. Большой зал столовой делился на две половины. В глубине – собственно столовая, а первая его часть – как бы гостиная с роялем. Так как публика была очень культурная, то к вечеру, когда сотрудники освобождались от роли воспитательниц, кухарок, уборщиц, появлялась необходимость культурного общения и общения вообще с людьми своего круга.

Бывали очень славные музыкальные концерты, а то и вечера мелодекламации, старинного вида искусства, который теперь почти исчез. Часто приходил Борис Пастернак и читал переводы Шекспира, над которыми он тогда работал. Скромный зал сидел не шелохнувшись, магия звучного слога была неотразима.

Длинные зимние вечера при лампаде мучили несказанно. Охрипнув от романсов, мы очень заскучали по красивому, округлому, сочному слову. Все наши книги для чтения, домашние библиотечки остались далеко, в довоенной жизни. Нам, однако, сильно повезло с воспитательницей. После Чичеровой, срочно уехавшей из Чистополя, нашей воспитательницей стала Марья Михайловна, актриса Ленинградского БДТ. Ее чудом вывез из блокадного Ленинграда близкий родственник, моряк, писатель, кажется Марьямов. Она была абсолютно одинока, и ее устроили к нам работать

воспитательницей. Любила она театр без памяти, я оказалась для нее самой подходящей кандидатурой, чтобы излить всё то, что она любила, о чем мечтала. Она мне рассказывала о тайнах сценического искусства, о великом актере Николае Фёдоровиче Монахове, которого она обожествляла.



Городской театр, где впервые было поставлено «Нашествие» Л. Леонова

Между прочим, она стала мне давать уроки искусства мелодекламации. Время поджимало, репертуар был куцей, и когда Марья Михайловна сочла, что ее ученица уже как бы готова для публичных выступлений, меня стали очень нарядно одевать для сцены. Подходило всё, что только можно было найти. Какие-то юбочки, бархатные жилетки, шарфики, и я выходила на нашу маленькую сцену. Стасик Нейгауз аккомпанировал на рояле, и я неслась как птица со своей знаменитой шахматной балладой:

...Ночь. Оплывают в замке свечи,
Король уж спит... Но вдруг набат!
Мелькают головы и плечи,
Народ берет дворцовый сад.
– Смерть королю! Народ разгневан,
Гул голосов, звон хрусталя,
Шах королю, шах королеве,
И пешки сняли короля.

Если по правде, мы не совсем понимали, что несем, но зал слушал не шелохнувшись. Бедная Марья Михайловна очень старалась, она хотела из меня хоть что-то вылепить на скорую руку, потому что такое было время. Вылепить не успела, но заразила, обогатила на всю жизнь любовью к театру, великому искусству сцены.

Марья Михайловна была к тому же очень тонким человеком, она буквально читала наши души. Особенно меня она почему-то полюбила и делилась со мной всеми своими тайнами, как со взрослым человеком.

– Завтра пойдем за книгой, – прошептала она мне однажды.

По интернату разошлась весть, что на окраине Чистополя живет доктор, у которого есть книги, и мы решили целой делегацией пойти попросить, на время конечно, книгу для чтения. Нас было четверо – три ученицы интерната во главе с Марьей Михайловной. Она постучалась, нам открыли. Вышел хозяин дома. Мы поклонились и попросили книгу Чехова на самое короткое время. Доктор был пожилым и усталым. Подумав, вернулся в дом и молча вынес нам, на вытянутых руках, как величайшую драгоценность, как святыню, томик Чехова. Так же обоими руками Марья Михайловна приняла от него книгу, и мы попрощались с этим добрым доктором. Боже, какой это был праздник! В руки, конечно, книгу никому не давали. По вечерам Марья Михайловна читала нам рассказы

Чехова, а мы, сгрудившись вокруг, слушали не дыша.

Наш интернат был детищем Литературного фонда, по тем временам довольно богатой организации, так как семь процентов от всех публикаций советских писателей перечислялись в Литературный фонд. Нам присылались из Москвы ежемесячно какие-то деньги, которыми оплачивались расходы по содержанию интерната, все поставки, электричество, отопление, – другими словами, вся наша жизнь. Но вот однажды Марья Михайловна сообщила мне по секрету, что нам не успели перечислить деньги и город грозит отключить нас от обеспечения. В долг во время войны никто не хотел давать.



Анна Зиновьевна Стонова

И вот тогда Анна Зиновьевна Стонова, жена известного писателя, будучи хозяйкой нашего интерната, решила пойти к Леониду Леонову, получившему как раз перед тем Сталинскую премию за пьесу «Нашествие». Анна Зиновьевна была педагогом, как говорится, от Бога. Все бывшие ученики 170-й школы Москвы, а среди них много выдающихся деятелей культуры, поют ей гимны до сих пор. Женщина она была статная, красивая. Перед тем как пойти к Леоновым, она надела очень красивое пальто с чернобуркой, красивую, какую я больше нигде не видала, шляпу, и медленно, полная достоинства, пошла за деньгами.

От нее мы научились, как надо идти, когда идешь к кому-либо что-либо просить. Достоинство – это высшее мерило человека. Она шла не как просительница к богачу. Она шла на равных, от имени детей, родители которых воевали, многие уже погибли на фронтах, она шла просить в долг определенную сумму, пока Литфонд не пришлет. Леонова мы не застали дома, он был в отъезде, а жена вошла в наше положение, одолжила нужную сумму. Сразу после получения денег из Литфонда долг был

незамедлительно возвращен, и шествие нашей Анны Зиновьевны повторилось: то же пальто, черно-бурая лиса, изумительная шляпа и достоинство равного с равными.

Помню еще одно событие, которое потрясло весь город. Ребята нашли снаряд, оставшийся с Первой мировой войны, снаряд взорвался. Все погибли, и среди них пасынок Василия Гроссмана. Хоронил их весь город, шесть гробов несли по улицам Чистополя, это было страшное, незабываемое зрелище.

После мучительно трудной зимы сорок третьего года, в самом начале весны, к нам в школу, прямо в класс, пришел участник Сталинградской битвы. Это был совершенно особый человек. Он физически был с нами, но весь его облик и глаза, они все еще оставались там, на поле брани. Ему было еще очень-очень мало лет, но его лицо, его глаза были намного старше его самого. Всё, что произошло там, на поле боя, навсегда запечатлелось в его обличье. Он нам рассказывал, как детям: ничего страшного, война есть война; он понимал, что детям надо рассказывать позитивные вещи. Он говорил, мы слушали, а страшный грохот войны докатывался и сотрясал наши души. Я не помню ни имени, ни звания, ни рода войск, в которых он служил, но сама Сталинградская битва, эта великая, кровавая эпопея, вместе с ним навсегда вошла в мою жизнь.

Сталинград был переломом в ходе войны, и в начале лета наш интернат вернулся в Москву. К счастью, у меня была там мамина родня. Прежде всего, дядя Юра, мамин брат, самый близкий мне человек после родителей. Как военнообязанного, его направляли в самые опасные места, но на самом деле он был специалистом по лесоводству. Его обучил этому мой дед, у него было лесничество под Черниговом, обширные леса, которые он обслуживал. После войны дядя Юра довольно долго служил начальником отдела в министерстве лесной промышленности.

Дядя Юра был поразительный, самоотверженный семьянин. После войны, как известно, никаких пенсий не существовало, а у него на руках оставались престарелые родители, старшая незамужняя сестра, я и еще одна племянница от погибшей сестры в Ленинграде. Он был очень хорош собой, я помню, как на него женщины засматривались, ухаживали за ним, но он мне однажды сказал: я не могу, не имею права жениться, не хочу устраивать конфликты между моей семьей и моей женой.

Когда вернулась из эвакуации и третья сестра, которой было негде жить, дядя Юра отдал ей с мужем свою комнату. Дед умер в эвакуации, у бабушки осталась четырнадцатиметровая комната. Бабушка долго болела, она все время мерзла и ходила в пальто, но она сама себя обслуживала, обстирывала, не подпускала никого, чтобы ей помогали. Мы жили в комнате с бабушкой – я и Марья Сергеевна (которую мы называли просто – Маня), старшая сестра моей мамы, ставшая моей опекуной.

По натуре Маня была крайне человеколюбивым существом. Рядом с Неглинкой, где мы жили, располагалось министерство морского флота, там работала вахтером ее подруга Феня. Жить Фене было негде, и Марья Сергеевна взяла ее к нам. Спали мы кто на чем. Мне выделили горбатый железный сундук, на который стелили старые одеяла. Спать на нем было мучительно, потому что сундук был короткий и покатым, во время сна я постоянно валилась то к стене, то на пол, и ногам места не хватало. Феню устраивали на большом дубовом столе, который на ночь раздвигали посреди комнаты.

У дяди Юры была подруга, Мария Александровна Кулешова. Она была очень хорошим хирургом, но нигде не могла устроиться на работу из-за своего дворянского происхождения. До войны в одну из своих поездок на Дальний Восток дядя Юра включил ее в свою делегацию, как бы узаконив ее положение. Она устроилась потом хирургом в Архангельске, они долго дружили, потом, уже ближе к концу жизни, поженились.

Так как родители мои погибли на фронте и комната наша оказалась как бы бесхозной, райжилотдел решил ее прибрать себе. Они поселили туда ленинградского скульптора Шервуда с внучкой. Поскольку я осталась сиротой и жить мне было негде, я пошла в Союз писателей. Надо сказать, что в те годы в Союзе писателей была очень сильная Военная комиссия, это был союз военного братства, горой стоявшего на защите инвалидов, вдов, сирот писателей. У них служили лучшие юристы. Выслушали меня, оформили документы. Судиться в те годы с райжилотделом было совсем непросто, но мне дали прекрасного адвоката, и первое же заседание суда постановило освободить

комнату и вернуть ее мне.

Так как с жильем тогда было очень трудно, выселить Шервуда оказалось некуда, и мы поделили комнату занавеской пополам, благо там были два огромных окна. Какое-то время мы проживали вместе: на одной половине – я с Марьей Сергеевной, на другой – Шервуд с внучкой. Спустя какое-то время ему выделили комнату в соседнем доме, и мой отчий кров наконец был мне возвращен.

Я осталась одна, но со мной были мамины вещи, папины книги и его стихи. С помощью вернувшихся с фронта писателей я стала собирать однотомник папиных стихов, который впоследствии вышел в издательстве «Советский писатель». Вернувшись из Чистополя, Анна Зиновьевна Стонова, наша наставница и спасительница, собрала коллектив, посвятивший все свои силы увековечиванию памяти павших на полях сражений. Вершиной их стараний стал большой красный том под названием «Строка, оборванная пулей», посвященный писателям, погибшим на поле боя. И еще имена, выведенные золотыми буквами, на мраморной доске в фойе Центрального дома литераторов. Долгое время раз в год, восьмого мая, накануне Дня Победы, мы приходили с цветами к этой доске, потому что могил у ополченцев не осталось. Их общей могилой стали бескрайние вяземские леса Подмосковья, усеянные останками наших близких.

Вечная им память.

Елена Закс Иных уж нет, а те далече...

Член правозащитного центра «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие». В прошлом – научный сотрудник НИИПМ и собственный корреспондент журнала «Декоративное искусство». Мать – переводчица Елена Михайловна Закс.



Елена Владимировна Закс. 2000-е

Когда война началась мне было шесть лет, а когда она кончилась— десять. Я жила с мамой и бабушкой в доме завода Войтовича на Заставе Ильича. В Чистополе прожила я около года, а оттуда мама увезла меня к бабушке. Бабушка заведовала на заводе здравпунктом. Училась она на врача в Швейцарии, российский золотой рубль в начале XX века стоял так высоко, что девочка из черты оседлости сумела выучиться на гроши, оставшиеся после отца цадика. Во время войны бабушку мобилизовали и отправили на Урал нести санитарную службу на участке железной дороги от Челябинска до Свердловска. Благодаря ее командирскому пайку я прожила страшные военные годы скромно, но не голодая.



Елена Михайловна Закс, преподаватель ВИИЯКа, со студентами. 1946

Мама в конце войны начала преподавать в ВИИЯКе [19] , защитила диссертацию а Институте мировой литературы, переводила с немецкого. Жизнь постепенно налаживалась. Студентов своих обожала. Но к пятидесятому году кафедру ее зарубежной литературы разогнали в ходе борьбы с низкопоклонством перед Западом. Мама вступила в Союз писателей, в секцию переводчиков. Переводила немецких классиков и современных немецких авторов. Последние ее работы – переводы знаменитой монографии Альфреда Эйнштейна «Моцарт. Личность. Творчество» и письма Роберта Шумана.



С мамой. 1938, август

Школу я кончила в 1951 году, в самый разгар антисемитской компании по борьбе с космополитизмом. Из отвращения к происходящему пошла учиться в технический вопреки своей природе гуманитария. Думала, что в строгом мире расчетов и цифр нет места этой пакости. «Закс, – говорил мне куратор нашего курса, – я в жизни своей не встречал человека с таким отвращением к технике». В пылу борьбы с низкопоклонством уволили из ВИИЯКа блестящего преподавателя Анну Мироновну Шаевич. Сосланная в библиотеку иностранной литературы, она научила меня английскому, что дало мне возможность все свои тридцать лет на государевой службе проработать в одной из лабораторий НИИ пластмасс в бюро информации, делая обзоры по специальности. Мне повезло: наша химическая промышленность очень сильно отставала от мировой, а начальники мои писали диссертации, сперва кандидатские, потом докторские... Кроме того, пользуясь тем, что не надо было ходить каждый день на службу, я более четверти века пробыла специальным корреспондентом журнала «ДИ СССР» («Декоративное искусство СССР»), что позволило перевидать массу интересных художников и объездить множество замечательных мест от Армении и Грузии до Красноярска, Иркутска и даже Улан-Удэ и Кяхты. А в новые времена, когда хлынули в Москву беженцы со всех концов СССР, я стала сотрудничать с основанным в 1990 году «Комитетом Гражданского Содействия» и «Мемориалом». Там и работаю до сих пор. Перед моими

глазами прошла и проходит до сих пор армия несчастных изгнанников из Баку, Чечни и Абхазии, из Узбекистана и Туркмении, из Афганистана и стран Африки. География меняется, судьбы их – нет.

Отца своего, Владимира Владимировича Егорьева, я не знала. Они с мамой расстались до моего рождения. Был он дипломатом, сотрудником М.М. Литвинова. Погиб от пеллагры и сердечной недостаточности в 1943 году в одном из поселков Устьвымлага. Отец его был царским генералом, а двоюродный дед отца командовал крейсером «Авророй» и был убит во время боя при Цусиме. Сродственниками с той стороны я познакомилась уже после смерти отца.

Возраст катится к восьмидесяти, и, оглядываясь на прожитые годы, в минуты, когда от нынешнего безобразия подкатывает к горлу комок тошноты, вспоминаю, как много успело случиться в этой жизни хорошего: мне подарили собаку, кончилась война, подход Сталин, вернулись из лагерей друзья и их родители.

Мне довелось провести в Чистополе около года. Я приехала туда из Москвы с детским садом Литфонда летом 1941 года. К сожалению, с тех пор прошло уже более шестидесяти лет, и потому воспоминания мои, наверное, получатся не очень четкими и достоверными. Однако постараюсь выжать из старой своей головы всё возможное. Первое воспоминание – Берсут, дом отдыха на другой стороне Камы. Длинная ветхая деревянная лестница ведет вверх. Склон берега зарос малиной. Густые кусты малины усыпаны спелыми ягодами. Они выше меня ростом. Я жадно срываю и ем сочную крупную малину. Других детей кругом не видно, только листья колышутся в голубом небе. И мне становится страшно: а вдруг там рядом не дети, а медведь. Мне сказали, что они здесь водятся. Последствия набега на малину самые печальные, до сих пор помню вкус бактериофага.



Алёна Закс

Не могу вспомнить, как выглядел наш дом в городе. Какие-то лестницы. Большая комната. Мальчик из старшей группы – длинный Алёша Сурков учит меня рисовать осеннюю землю, коричневую, в ярко-синих лужах. Еще среди старших имеется Тимур Гайдар. И поскольку все мы читали, вернее нам читали, «Тимура и его команду», мы, малышня, бегаем за ним стайкой с криками «Тимур, Тимур». Почему-то я при этом держу

в руках привезенную из дома игрушку – собаку-сумку Джека и пытаюсь ткнуть им в Тимура. Джек (он жив и по сей день) плюшевый и коричневый. Такой же коричневый, как брюки Тимура из коричневого рубчатого бархата. Еще на нем желтая майка. В писательском лагере лупить маленьких не принято. И Тимур спасается от нас, перемахнув через забор. А во дворе кто-то из мальчиков Хохловых, сыновей директора нашего дома, скачет верхом на лошади без седла. Я почему-то знаю, что скоро старшие мальчики уйдут на фронт.



Алёна Закс и Надя Павлова. На даче, 1937

Через одиннадцать лет в студенческом доме отдыха встречаю Тимура. Он уже лейтенант флота. По вечерам приходит с товарищем Юрой, курсантом Военного института иностранных языков, в нашу комнату ухаживать за великовозрастными, по моим понятиям, девушками, студентками финансового института. (Им двадцать, мне и моей подруге семнадцать.) Я напоминаю Тимуру про Чистополь. Он хватает меня за руки, ставит между колен, зажимает мне уши ладонями и допевает до конца куплет какой-то достаточно скабрёзной песенки, которой развлекал до моего прихода публику.

А еще через полвека после того достопамятного сорок первого года в ЦДЛ организуют встречу тех, кто был в Чистополе в эвакуации в детском саду и в лагере. Мы собираемся в ЦДЛ, кругом масса народу, мелькают давно забытые лица. Прошедшие пятьдесят лет

женщин не украсили, мужчин – еще меньше. Правда, бывают неожиданные исключения. Навстречу мне идет по залу Тимур Гайдар в парадном морском мундире при кортике.

– Ой, Тимур, а отчего это у тебя такие шикарные погоны?

– А от того, что я вице-адмирал.

...Еще в Москве перед отъездом в Чистополь к нам присоединилась девочка Мадлен Гальперн из Франции. Ее отец – летчик Артур Гальперн – погиб в Испании. Мадлен с бабушкой бежали от немцев из Франции. Мадлен не говорит по-русски. Она испугана, плачет вечерами, и взрослые говорят, что она боится, что Гитлер придет и сюда. Дети жестоки, как всегда, и отчего-то дразнят ее хором: «Мадлен Артуровна Гальперн». Зимой для маленькой девочки из Франции наступает самое тяжелое время: она еще не научилась говорить по-настоящему по-русски, но, кажется, подзабыла и французский. Самый красивый и любимый мальчик в моей группе и во всем детском саду – Женя Шифферс – невысокий, светловолосый, с очень темными бархатными глазами, в длиннейших темных ресницах. У него маленький, твердо очерченный рот и ровные голубоватые зубы. Жене полагается всё самое лучшее в нашей жизни: место в спальне, в столовой, на прогулке, лучшая посуда во время еды и т. д. Мне это кажется несправедливым, и в день своего дежурства в столовой я кладу Женьке старую гнутую вилку и выщербленную тарелку. Дети перестают со мной разговаривать. От обиды во время прогулки я подхожу к Шифферсу и сую ему за шиворот горсть снега, он меня отталкивает. Гуляем мы на местном стадионе, где стоит высокая многоступенчатая деревянная трибуна, как мне теперь кажется, под ней располагался курятник. Поскольку стычка наша происходит на самой верхней ступени, я лечу вниз на спине, пересчитывая хребтом ряды, ступеньки. Если кто помнит детство, у человека при этом как бы отшибает дыхание. Лежу на снегу, хриплю, пытаюсь захватить ртом воздух. Вижу темнеющее на глазах небо, ранние звезды и слегка светящиеся тонкие прозрачные облака и думаю, что сейчас умру, задохнувшись.



На даче. Алёна Закс – за рулем велосипеда, 1937

Следующая наша стычка случается уже после войны в пионерском лагере. Мы обедаем. Я вечно всё оставляю на тарелке, а мальчишки всегда голодны. Мне предлагают отдать суп Шифферсу. В ответ я набрала полную ложку супа и плеснула в Женину сторону. Суп угодил в несколько тарелок. Ребята снова со мной не разговаривают. Иду из столовой в жутком напряжении. А вдруг он меня за это поколотит, а мне уже двенадцать лет, и я в седьмом классе.

Прошло много лет. Женя окончил военное училище, стал офицером. Участвовал в подавлении венгерского восстания. Не уверена, был ли он ранен, но знаю, что сумел после этого демобилизоваться. Очень успешно работал в кино и в театре, публика аплодировала, начальство прижимало. В 1967 году, когда Москва еще жила процессом над писателями Синявским и Даниэлем, в театре «Современник» на площади Маяковского идет в его постановке пьеса «Народовольцы». Ситуация в стране быстро менялась к худшему. Ему пришлось расстаться с театром. Он обратился к вере. Написал несколько книг религиозно-философского содержания. Сидел дома и воспитывал дочь. Жена работала. Жил в полной аскезе. Мы встретились случайно в мастерской скульптора Эрнста Неизвестного и бросились друг другу на шею так, будто ничего лучше, чем пара полудрак в детстве, быть не может. К сожалению, порыв этот длился недолго. И больше я с Женей не встречалась.

Жизнь наша в детском саду была организована таким образом, что в мертвый час в нашей спальне обязательно дежурил кто-то из родителей. Родители были разные: строгие, при которых приходилось лежать тихо, умеренные – можно было переговариваться,

а еще были среди взрослых люди беспомощные – «тряпки». В их дежурства в спальне творилось бог знает что. Хуже всего бывало в те дни, когда дежурить приходил отец Лёни Пастернака – Борис Леонидович. Дети совсем его не слушались, орали, визжали,

прыгали на кроватях и бросались подушками. Я это запомнила потому, что всегда сильно страдала в тех случаях, когда кого-то травили за беспомощность и неприспособленность к жизни. А Борис Леонидович – это было нечто такое высокое, большое, с длинным лицом и крупными кистями рук. Но, впрочем, последнее, возможно, навеяно разными его фотографиями.

Моя мама в свои дежурства развлекала нас рассказами о раскопках в Египте. Наверное, пересказывала книгу Керама «Боги, гробницы, ученые». Дети просили ее: «Алёнушкина мама, расскажите нам про Египию».

Помню холод прикамской зимы, скользкие в буграх улицы, что спускались к Каме. Помню еще какие-то весенние вечера, ощущение огромных далей за рекой и несколько слабых огней где-то у горизонта на том берегу. Кожей помню ощущение каких-то пустых, бескрайних и очень печальных пространств. А немец рвался к Волге. Враг наступал, фашисты истребляли евреев. И в воздухе зависал ужас надвигающегося несчастья.

О событиях в стране и на фронте рассказывали мне наши мальчишки. Гулять мы ходим парами. Я обычно стояла вместе с Вовочкой Смирновым – худеньким мальчиком с большими светлыми глазами. Вовочка чудовищно образован и знает массу всяких удивительных вещей. Меня он просвещает по части парусных кораблей. Пока гуляем, рассказывает, а в доме рисует. Прошло более полувека, я до сих пор помню слова: «ял», «шлюп», «бриг», «бригантина», «фрегат», «баркантина», «шхуна» и названия парусов и снастей. Еще Вовочка знает имена звезд и умеет находить их в ночном небе. Нежные существа дети дразнят его: «Жил на свете мальчик дурень, Вовочка Смирнов-Халтурин, Васю Тёркина любил, ничего не ел, не пил». К сожалению, он хрупок и часто болеет.

Повседневная жизнь как-то плохо терпит тех, кто уж очень сильно не похож на других. Володя Смирнов утонул подростком. Я хорошо помню его маму Веру Васильевну Смирнову – литературного критика, высокую коротко стриженную женщину с трагически застывшим лицом.

Зимними вечерами мы собираемся в большой, хорошо освещенной комнате. С нами занимается сама Ангелина Осиповна Степанова – жена Александра Фадеева. Она учит нас декламировать – читать стихи. Нам предлагают каждый раз вообразить себя на месте поэта, вжиться в образ, выразить свои чувства. У меня хорошая память, и Степанова меня хвалит. И я еще несколько лет подряд читаю стихи на публике. Потом переживаю нечто вроде провала и уже больше никогда не выхожу на сцену.

Наталья Суркова

История одного письма

Родилась в 1938 году, вместе с родителями – поэтом Алексеем Сурковым и матерью Софьей Кревс – была эвакуирована в Чистополь на пароходе. Музыковед, член союза композиторов.



Наталья Алексеевна Суркова с подругой возле памятного знака песне «В землянке». Деревня «Кашино» Истринского района Московской области, 2000-е

Ее брат Алексей Алексеевич Сурков, участвовал в разработке атомного оружия. Полковник, лауреат государственной премии.

Мое самое первое впечатление в жизни: кто-то тихонько трогает меня за плечо (я сижу за столом), поднимаю глаза – в раме открытого окна солнечный летний день, вернее, утро, и по ярко-зеленой траве плавными дугами пролетает рыжая белочка!..

Я думаю, что за плечо меня тронул мой дедушка Антон Петрович Кревс, потому что по-русски он так и не научился свободно говорить и ему было легче показать, чем говорить.

Это было жаркое разноцветное лето 1941 года. Мы жили на даче во Внукове, в маленьком домике с открытой верандой. Там, судя по фотографиям, меня купали в тазу а я купала целлулоидного пупса. На даче были мама, папа, Аба (Алёша, брат), дедушка, бабушка и две большие собаки – Вук и Скиф.



С папой Алексеем Сурковым. Внуково, 1939

... Война началась в воскресенье.

Отец вспоминал:

«Утром у нас во Внукове почему-то был выключен электрический ток. Радио молчало. Утро было тихое, росное, солнечное. Около двух часов дня я стоял на стремянке и прибывал к потолку электрический плафон. Снизу, с улицы, ошалелый крик деда: “Алёша! Немцы нам войну объявили!”

Этого ждали давно. Уже привыкли каждую весну настораживаться и ожидать. И всё же принесенная дедом весть свалилась, как снег на голову. Давножданное оказалось ошеломляюще неожиданным и щемящим сердце. Остановилось дыхание...



Алексей Сурков. Западный фронт, 1941

И, может быть, от растерянности появилась острая потребность в действии. Раз война, значит, в армию. Раз в армию – значит в Москву. Без слов Софья пошла собирать солдатское “приданое” – обмундирование, сохранившееся со времен финской войны. Алёшка полез за наганом, бабушка тихо всхлипывала. Только трехлетняя Наташа, повинувшись счастью своего возраста, бегала и шумела, как будто ничего не случилось.

Ехать в Москву! Но с пустыми руками ехать нельзя. Ведь завтра надо выпускать первые *военные* номера газет. И я заставил себя сесть за машинку.

Я написал в один присест два стихотворения. Одно из них было напечатано в “Правде” 23 июня и называлось “Присягаем победой”. Другим был текст “Песни смелых”. И то, и другое были выражением сердечного волнения, которое охватило миллионы людей в нашей стране. “Песня смелых” была, очевидно, первой по счету советской песней, родившейся в дни Великой Отечественной войны. Она была напечатана в “Правде” 25 июня 1941 года, перепечатана на плакатах, и на нее сразу написали музыку Виктор Белый и Сергей Прокофьев.

<...>

...Стоит сказать о ночи с 24 на 25 июня. Эту ночь я провел во Внукове. Она была ощущением того нового, что внесла именно эта война в быт народа – ощущение кровожадного, воющего, несущего смерть пространства над головой.

Как во все предыдущие ночи спалось плохо. За разговорами ночь перевалила на вторую половину. Окна были открыты настежь, сквозь узор березовых ветвей проступало темно-синее небо...

И вдруг запела сирена. К ней присоединилась другая, третья. На станции растущий вой подхватили паровозные гудки, закричали свистки Одинцовских кирпичных заводов... Воздушная тревога! Вот и до нас добралась война.

Метнулись в небо синевато-белые прожектора. Прожекторные лучи скрещивались и разбегались, вспыхивали и затухали. Всё небо казалось исполосованным белыми рубцами. Рывнула зенитная пушка. И сразу, как нарастающий гром и вдалеке, и где-то рядом, вокруг, в лесу закричали сотни орудийных глоток. Небо наполнилось золотыми яблоками разрывов. Характерно посвистывая, стали где-то совсем рядом падать осколки.

Иногда в скрещенье прожекторных лучей возникал самолет и пропадал. Иногда над лесом нарастая, пробиваясь сквозь орудийный грохот, раздавался рев мотора самолета. Зенитные пулеметы вычерчивали в небе красивые разноцветные трассы летящих пуль.

Проснулись старики, проснулись ребята. Из сараюшки выполз дед, с ним Алёша, а маленькая Наташа стала кричать:

– Я не хочу лежать! Я хочу смотреть, как они бомбят!

Пожалуй, эта ребячья реплика было самое жуткое из всей ночи первых дней войны...

... Три дня вертелся, как белка в колесе. Оказалось, что я – квартиросъемщик и дачный пайщик – беден, как церковная крыса и семью приходится оставлять почти без копейки денег.

Двадцать седьмого мы приготовились к отбытию на Западный фронт. Семьи наши собрались в редакции. Уселись. Последнее прощание. С осени 1939 года у меня это было третье расставание перед отъездом на фронт, но к этому нельзя привыкнуть.

Машины рванулись вперед. Оглянулся на повороте. В овале заднего стекла машины – сиротливая группа провожающих. Это последнее домашнее воспоминание.

Мой сын синеглазый!

В тревожные, грозные дни

Прочти эти строки

И в памяти их сохрани.

<...>

Я в трудное время

Исполню свой долг до конца.

Тебе не придется краснеть,

Вспоминая отца.

Западный фронт, 1941 Потом было два месяца неизвестности, ибо первые письма пришли только в конце августа под Вязьму уже из далекой камской эвакуации...»

Дорогу из Москвы помню фрагментарно, но ярко. Мы на каком-то большом корабле. Мама держит меня на руках и что-то безостановочно говорит сидящим за столом. А на нем – наш большой, горящий золотым блеском медный чайник. Я понимаю, что мы уходим, и пытаюсь напомнить маме о чайнике. Она меня обрывает, но уже на сходящих вспоминает о красавце-чайнике и возвращается. А ведь не хотела меня слушать...

Затем вижу тропинку на высоком берегу реки, она ведет к воротам. А справа сидят какие-то тетки, и у них что-то невиданно яркое – ягоды... видимо, это Берсут...

Комната. Рядом Катаевы и Арбузовы. Маленький Миша чем-то болен, и, когда он подходит к моей кровати, я кричу: «Мишка, уйди! Ты заразный!»

И затем – уже надолго – Чистополь.

Наш дом стоял прямо над Камой, куда выходил огород. Во дворе – какие-то серые сарайчики. «Наши» окна выходили на улицу, а одно, боковое, во двор. Мы – мама, брат Алёша, ярославский двоюродный брат Кирилл, который проводил лето у нас во Внукове и попал с нами в эвакуацию, и я – занимали две комнатки.



Софья Кревс с детьми Алёшей и Наташей и их двоюродным братом Кириллом Шпакуновым (слева). Чистополь. 1942, зима

Вход в дом был со двора. Сразу направо царила огромная, до потолка русская печь. Это была кухня. Там я видела хозяев – бабушку Наталью, в голубом платье и белом платочке, и бородатого деда Николая. А к нам был ход коридорчиком налево. В комнате (может быть, наспех) сооружена плита, труба которой уходила в потолок на внешнем углу, почти в середине комнаты. Мой хорошо рисовавший брат не замедлил использовать этот необычный дизайн и на трубе – колонне цвета загара (глины) – нарисовал римского воина из школьного учебника истории в полном вооружении: великолепном шлеме, панцире и прочем. Посмотрев на это невиданное создание, я сказала: «Это тетенька?», потому что там было что-то вроде юбочки из полосок. «Нет, это дяденька!» – ответил брат, и я это запомнила. Слева у окна, выходящего во двор, был мой кукольный уголок и полочка с посудой, которую я аккуратно мыла.

Еще было замечательное пуховое одеяло ярко-василькового цвета – это было «море», а одеяло из чего-то, похожего на шинель, хорошо изображало вытопанную зелено-коричневую траву на горах-подушках. Братья мои уже учились, букв я тогда не знала, но рисовала целые сюжеты: «Фриц с красной сумкой, в которой билеты в театр», «Кошка на сене, а девочка ушла», «Тракторы едут через деревню», «Крымские горы» (две желтые треугольные пирамиды и что-то вроде разноцветного длинного грузовика – поезд)... Отчетливо помню: сижу за столом, в альбоме нарисован домик, у забора уже зазеленела трава, а я окунаю мокрую заостренную кисточку в алую краску, и вот-вот сейчас этот цвет ляжет на белый лист...

Рядом жили дети, по имени помню мальчика Гарика и девочку с Украины, которая говорила: «Я неправильно застегнула пуговицы». Я ее поправляла, она сердилась. А отец только мысленно мог представить себе всё это...

От пешки на лугу косая тень.

Над лугом ласточки скользят легко.

Сегодня твоего рожденья день.

А ты за Камой где-то далеко.

1942

С войны приехал папа! Он высокий, в военной форме, с огромными усами! Но, говорят, я долго смотрела на отца, а потом сказала:

– А все-таки это он.

Мама всюду таскала меня с собой, а зимой возила на санках. Так что я хорошо запомнила, например, рынок, улицу, по которой медленно тянулись запряженные в низкие сани лошадки, улицу «два Толстого» (Льва Толстого), где жила наша какая-то знакомая (кинооператор Люся Тимошкина или Тимохина) и много маминых подруг, которых я вижу как наяву, но не помню имен. Мама водила меня и в детский сад, где ребята спали на разнокалиберных кроватях, одна была очень высокая; и в гости, например, к Долматовским, хотя моя ровесница Галя шалила и не желала вылезать из-под кровати. Там же, в детском саду, я видела сказочное чудо – большой зал, в нем высоченная нарядная елка! Праздник души! Какая-то женщина подводит меня к этому сверкающему волшебству и, сняв с ветки, дарит мне бумажную серебряную курочку.

Помню и большой темный зал, много людей, а на сцене – детский хор. А я-то что же? Пели всё, что я знала! Залезаю на сцену и встаю в первый ряд. Девочка справа долго косилась на меня, мне показалось, что ей очень понравился мой свитерок. И я громко сказала:

– Это моя мама связала!

Тут из последних рядов более рослых детей выпянула чья-то голова и погрозила пальцем. И мы запели!



С мамой. Внуково, 1939

Музыка!.. Она звучала из черной тарелки репродуктора и с экрана кино! Какие тогда были жизнерадостные мелодии! Как они поднимали настроение, наполняли весельем самый хмурый день!

Я узнаю этот зал, приехав в Чистополь через шестьдесят с лишним лет! И зал, и сцену. Наш дом не сохранился, но на его месте выстроен новый, добротный. Хозяева давным-давно покинули городок, но память хранит и дом, и двор, и ворота с калиткой, и тихую немощеную улицу.

В последние годы я пыталась уговорить брата написать воспоминание о Чистополе, но он был почти слеп, надеялся на операцию – она оказалась дорогостоящей, мучительной и неудачной. Но несколько эпизодов из его рассказов я помню. Так, он вспоминал о первом приезде отца с фронта на чистопольский аэродром: поле и два сарайчика, метеобудка и диспетчерская. Пока он, мальчишка-подросток, бежал из одного в другой – отморозил уши, они болели всю жизнь.

Другой эпизод из воспоминаний брата: «Мы с Лешкой (Алексеем Баталовым) попросили лодку у соседа и, переплыв Каму, набрали на острове ягод шиповника. Его заваривали всю зиму».

Раз, рассказывал брат, до ребят, играющих во дворе, донесся необычный аромат: кто-то необдуманно поставил на подоконник первого этажа пирог. Студиться...

– И больше его никто не видел! – делая страшные глаза, говорил брат.

Я была на десять лет младше Алёши. Говорят, когда меня принесли из роддома, он

хмуро посмотрел и сказал только: «Пискаля!» – но всю мою жизнь Алёша был рядом. Всегда. С детства он обладал замечательным даром постоянного радостного настроения. Там, где или когда появлялся Алёша, начинался праздник, и исчезала скука. Синеглазый, с румянцем во всю щеку, улыбочивый, спортивный, он без слов сразу очаровывал любого и любую.

В детстве он затевал со мной игры в строительство гаражей, самолетов, «бомбежку» старыми грибами, придумал подводную лодку, винт которой вращался от пламени горящей свечи. Позднее, после эвакуации, таскал с собой летом в лес на охоту, зимой показывал лыжный шаг, катал на санках-самоделках. Летом за водой он отправлялся с тачкой и пустым баком на родник. И меня катал в этой пустой тачке. А однажды на выступающих корнях «вытряс» меня из тачки я перевернулась через голову, да об землю. На мои вопли, что это он нарочно, Алёша сделал большие глаза и воскликнул: «Ты что, ничего не видела? Я же наехал на ящерицу – у нее голова была красная, хвост зеленый, лапы синие, а брюхо желтое!» Я открыла рот: вот это да!

Так и в Чистополе. Как-то мы были дома одни. Наступил вечер, было холодно и хотелось есть.

Видимо, я капризничала. Алёша взял кусок черного хлеба, чем-то его намазал, посыпал солью, разрезал на кубики и сказал: «Вот съешь, и у тебя в животе из этих кубиков сложится печка. И тебе станет тепло». Он замечательно умел топить нашу невероятную плиту с трубой посередине, ловко черными нитками пеленал голубцы и охотно на четырех спицах вывязывал пятки носков. А ведь этот спокойный мальчик, как все подростки, участвовал во всех работах, в которых были нужны их неокрепшие руки, рано научился водить грузовую машину и прекрасно разбирался в находившемся тогда везде в изобилии оружии.



Алексей Сурков с сыном Алёшей. 1945

После эвакуации он учился во внуковской школе и иногда брал меня с собой на аэродром, где в ангаре стояли разнокалиберные самолетные кресла и крутили черно-белые трофейные кинокартины с Диной Дурбин, невиданными вечерними платьями и волшебной музыкой. Идти туда и обратно надо было мимо старого кладбища, где всё прибавлялись и прибавлялись холмики с фанерной пирамидкой и красной звездой...

Там же можно было подобрать замечательные игрушки: мягкую алюминиевую проволоку и кусочки авиационного стекла – плексигласа, который не трескался от выстрела, а горел, чернея и пузырясь. Алёша учил меня стрелять из мелкашки, для чего рисовал свиную рожу в фуражке и говорил: «Целься в козырек». У нас еще была страшная немецкая каска с рожками, из которой куры пили воду.

Мы вернулись из эвакуации в сорок третьем, но война была еще близко: вокруг Москвы оставались противотанковые надолбы, «ежи», засеки, на которые пошли старые деревья дворянских аллей; поселились на даче. Молодые солдаты, занимавшие соседнюю дачу, любили слушать, как я пою, угощали блинами и катали на танке там, где сейчас во Внукове дача артиста Василия Ланового. Помню, танк идет прямо по лесу, наезжая на деревья, но при этом не чувствовалось ни малейшего толчка – тяжелая машина шла, как по маслу.

Везде были окопы – для стрельбы лежа и в полный рост. Постепенно они зарастали и сглаживались.

На даче мы с девочками играли «в эвакуацию». Смысл игры состоял в том, чтобы, набрав еды (листочков, травинок и пр.), кормить «детей» только этими запасами. Их надо было рассчитывать и экономить.

Лёша научил меня водить машину и мотоцикл (потом это пригодилось, и мы целой вереницей ездили из Внукова в Переделкино, а оттуда Митя Чуковский с Лёней Пастернаком – к нам), ходить на лыжах и кататься на коньках. Музыка мы любили оба, Алёша играл на рояле и аккордеоне.

Занятия спортом летом и зимой, безусловно, поддерживали его здоровье, подорванное в эвакуации на лесозаготовках. Недолеченный тогда плеврит дал осложнение при заболевании легких и через много лет свел его в могилу за несколько часов, я и попрощаться не успела. Теперь оба Алексея Суркова – отец и сын – лежат на Новодевичьем кладбище, и невозможно на камне выбить все их звания и награды, а их у обоих немало...



Георгий Верейский, Марк Слободской, Алексей Сурков. Западный фронт, 1941

Военная судьба отца зазвучала в судьбе сына и навсегда вошла в нашу семью. Брат после школы поступил в Военно-воздушную академию им. Жуковского и через десятилетия вышел в отставку как инженер-полковник ВВС, лауреат Государственной премии, о сложной работе которого распространяться не полагалось. Я бы предложила прочитать повесть И. Грековой «На испытаниях», чтобы изнутри узнать жизнь офицеров по гарнизонам и работу над «изделиями».

Поколение моего брата, рискуя здоровьем, держало над нашей державой ядерный щит, и тогда понятия «офицер» и «инженер» звучали уверенно и гордо. Наш двоюродный брат Кирилл Шпакунов, тот, что попал с нами в Чистополь в 1941 году, закончил МАИ, сын брата Алексей Сурков-III тоже связал свою жизнь с небом, но уже с космосом. Военный «акцент» в жизни мужской части нашей семьи научил их – и отца, и брата – всему: они умели копать, сажать, строить, готовить, стирать, убирать.

Отец и сын были очень дружны и всегда попадали в центр компании. До войны семьи писателей жили в угловом доме в Камергерском проезде, против здания телеграфа. Наша квартира соседствовала с квартирой Багрицких, Алёша дружил с Севой, моя бабушка Марья Михайловна – с Марией Брагиной, няней Севы, которую до старости все звали Маша Багрицкая. Так что и уход Севы, и смерть нашей юной воспитательницы рыженькой Фриды в Чистополе были общим горем, слезами и печалью.

Наши чистопольские знакомства с годами стали почти семейными, многие жили рядом на Тверском бульваре, рядом с Литинститутом, с детства сложившиеся знакомства родителей перешли к детям: Наталья Островая, Оля Никитина, Галя и Ванда Васильевы, Наташа Леонова, Лена Пастернак, Галя Долматовская, Андрон и маленький Никита Михалковы с воспитательницей-испанкой Хуанитой, Миша и Лена Гусевы, Лидия Ивановна и Михаил Васильевич Исаковские, Фадеевы, Андроники и многие другие составили круг моего поколения. Тогда жизнь не была современной нескончаемой гонкой, и наши чистопольские детские знакомства переходили в общение взрослых людей.



Дом в Чистополе, где жили Сурковы. Дети: Наташа, Кирилл, Алёша. Взрослые: Софья Суркова, хозяйка «бабка Наталья», мать и отец С.А. Сурковой – Мария Михайловна и Антон Петрович Кревс, между ними с бородой – хозяин «дед Николай»

Нашими соседями во Внукове были Л.П. Орлова и Г.А. Александров, И.О. Дунаевский, семья Гусевых, Леонид Утёсов, Игорь Ильинский, семья посла в США в годы войны Н.В. Новикова, композитор Ю.С. Милютин, Твардовские, Исаковские...

Я любила навещать дачу Пастернаков в Переделкине. Зинаида Николаевна рассказывала много интересного, например, о том, как БЛ. сделал ей предложение, о болезни и смерти старшего сына, подбирала мне прически. Она «в лицах» показывала, как требовала от Хохлова в Чистополе продукты для праздничного пирога детям, а тот ей отказывал. «Тогда я взяла полную чернильницу и хлопнула ее об стол!.. Но пирог детям был!»

Позднее мы с отцом и братом отдыхали в послевоенной Ялте в Доме творчества писателей, директором которого был тот же Хохлов. Он запомнился мне своей молчаливой сдержанностью, серьезностью – словом, чувствовался в нем настоящий моряк.

У Пастернаков же в Переделкине я видела Лилию Брик с длинной косой до пояса, завязанной бантом, и энергичную Лину Ивановну Прокофьеву. В музыкальном училище и институте им. Гнесиных я училась по классу фортепьяно у учениц Г.Г. Нейгауза, а самому мэтру с почтением внимала. И, конечно, мы всей компанией ездили на незабываемые концерты Стасика Нейгауза.

Лёня Пастернак женился, его жена Наташа была, как и он, физик. Мы с моим мужем композитором Вячеславом Артёмовым как-то очень весело дружили с Лёней и Наташей. Иногда Лёня восклицал: «Ребята, мне опять пришло предложение уехать в Америку – дарят ранчо! А что, может, махнем?» Этот жизнерадостный высокоинтеллектуальный человек вносил уют в дачный дом, в отсутствие моего брата замечательно играл на

фортепиано.

Внезапная смерть Лёни меня поразила и до сего дня кажется странной. И, конечно, весь московский Чистополь был в Большом зале консерватории, когда навсегда провожали легендарного музыканта Станислава Нейгауза. Мы прощались с ним и с его неповторимым даром. Мой брат был его ровесником. Лейтенант, майор, полковник, Алёша всегда глубоко чувствовал искусство, непритворно, глубоко, заинтересованно мог сличать, допустим, разные переводы Бёрнса, имел огромную библиотеку и немного, но настоящих произведений живописи.

Ужасно так поверхностно и кратко писать о его человеческой судьбе в прошедшем времени. С Чистополя военная форма – сначала отца, позднее брата – привычное и родное. Вешалка в квартире на Пушкинской площади – шинели, куртки на белом курчавом меху, погоны, фуражки. Как хорошо! Значит, полон дом молодых военных людей – хороших, веселых, увлеченных, объединенных каким-то товариществом возраста и профессии. Они уникальные специалисты своего времени, они необходимы, нужны своей державе, они полны надежд и планов, любви и романов. Одно усиливает другое до вдохновения. Значит, будут музыка, танцы, разговоры до утра, стихи...

Конечно, приходили и штатские – в первую очередь веселый, улыбчивый Толя Дукор, закадычный чистопольский друг. Он стал пианистом и работал, как и я, в Гостелерадио, так что мы постоянно встречались в студиях на записи...

...Есть довоенная фотография, где я сижу у патефона, рядом кукла Стёпка-растрёпка. Говорят, я изводила весь дом, требуя, чтобы много раз проигрывали одну и ту же пластинку с песней, пока папа не догадался, что я ее учу наизусть. И перед отправлением отца на фронт родители пошли и на гибкой пластиночке записали «звуковое письмо» – я пою популярную тогда песню «Андрюша». Пение постоянно прерывается вопросом: «А это сто?», потому что там постоянно мигали разноцветные огоньки. Мамин голос: «Пой, Татушка, пой»... Я заводила «Андрюшу» и опять останавливалась, желая знать: «А это сто?»

Песня – живой жанр, всегда нужный и в радости, и в горе. Пела за работой бабушка – портниха, пытался научить меня петь по-латышски песенку о петушке дед. Песни на слова отца пела редко, но вот об одной из них нельзя не упомянуть, потому что история ее появления связана именно с Чистополем.

Вот как об этом вспоминает отец:

«Песня “Бьется в тесной печурке огонь”, если я не ошибаюсь, была первой лирической песней, рожденной из пламени этой войны, безоговорочно принятой и сердцем воюющего солдата, и сердцем тех, которые его ждали с войны.

Тебе - солнышко мое!

Безжалостной и тёмной чернотой
 На холмах слова - как снег,
 И вновь мне в землянке пережить
 Про гильотину, пулю и плечо.

О тебе мне читали книги
 В белосветном полке под Москвой.
 Я хочу, чтобы слышала ты
 Как тобою мой голос твоя.

Пусть сейчас далеко, далеко.
 Метам и малам пурга и снег.
 До тебя мне дойти не легко
 А до смерти четыре шага.

Той, пережить, вьюге и вью,
 Займись самым простым делом.
 Мне в окопах землянке твоей
 Об этой неведомой любви.

ф. Софья

24/11 1941г.

г.р. Кашин, под Москвой.

Посвящение Софье Кревс на сборнике «Фронтальная тетрадь»

Возникло стихотворение, из которого родилась эта песня, случайно. Оно не собиралось быть песней. И даже не претендовало стать печатаемым стихотворением. Это были шестнадцать “домашних” строк из письма жене. Письмо было написано в конце ноября, после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью, после тяжелого боя, пробиваться из окружения со штабом одного из гвардейских полков.

Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из эвакуации композитор Константин Листов, не пришел в нашу фронтовую редакцию и не стал просить “что-нибудь, на что можно написать песню”. “Чего-нибудь” не оказалось. И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи абсолютно уверенным в том, что хотя я свою товарищескую совесть и очистил, но песня из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов побегал глазами по строчкам. Промычал что-то неопределенное и ушел. Ушел, и всё забылось.

Но через неделю композитор вновь появился у нас в редакции, попросил у фотографа Савина гитару и под гитару спел новую песню “В землянке”.

Все свободные от работы “в номер”, затаив дыхание, прослушали песню. Всем показалось, что песня “вышла”. Листов ушел. А вечером Миша Савин после ужина попросил у меня текст и, аккомпанируя себе на гитаре, спел новую песню. И сразу стало видно, что песня “пойдет”, если обыкновенный потребитель музыки запомнил мелодию с первого исполнения.

Песня действительно “пошла”. По всем фронтам – от Севастополя до Ленинграда и Полярного. Некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки “до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага” – упаднические,

разоружающие. Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее дальше от окопа. Но портить песню уже было поздно, она “пошла”. А как известно, “из песни слова не выкинешь”.

О том, что с песней мудрят дознались воюющие люди. В моем беспорядочном армейском архиве есть письмо, подписанное шестью гвардейскими танкистами. Сказав несколько добрых слов по адресу песни и ее авторов, танкисты пишут, что слышали, будто кому-то не нравится строчка “до смерти четыре шага”.

“Напишите вы для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских миль, а нам оставьте так, как есть, – мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти”.

Еще во время войны Ольга Берггольц рассказала мне один случай. Пришла она в Ленинграде на крейсер “Киров”. В кают-компании собрались офицеры крейсера и слушали радиопередачу; когда по радио была исполнена “В землянке” с “улучшенным” вариантом текста, раздались возгласы пневного протеста, и люди, выключив репродукторы, демонстративно спели песню в ее подлинном тексте».

Такой оказалась судьба маленького военного треугольничка, посланного в заснеженный Чистополь...

Неповторимым своеобразным отцовским почерком на обложке книжечки стихов, выпущенных в августе 1941 года, написаны слова, обращенные к матери: «Тебе, солнышко мое!» с посвящением: «Я храню эту книжечку очень бережно, ведь ей нет цены».



Помню, как мама обводила карандашом мою растопыренную ладошку (и это было очень щекотно), чтобы послать письмо «на войну». Вот об этом теперь можно прочитать в стихах 1941 года:

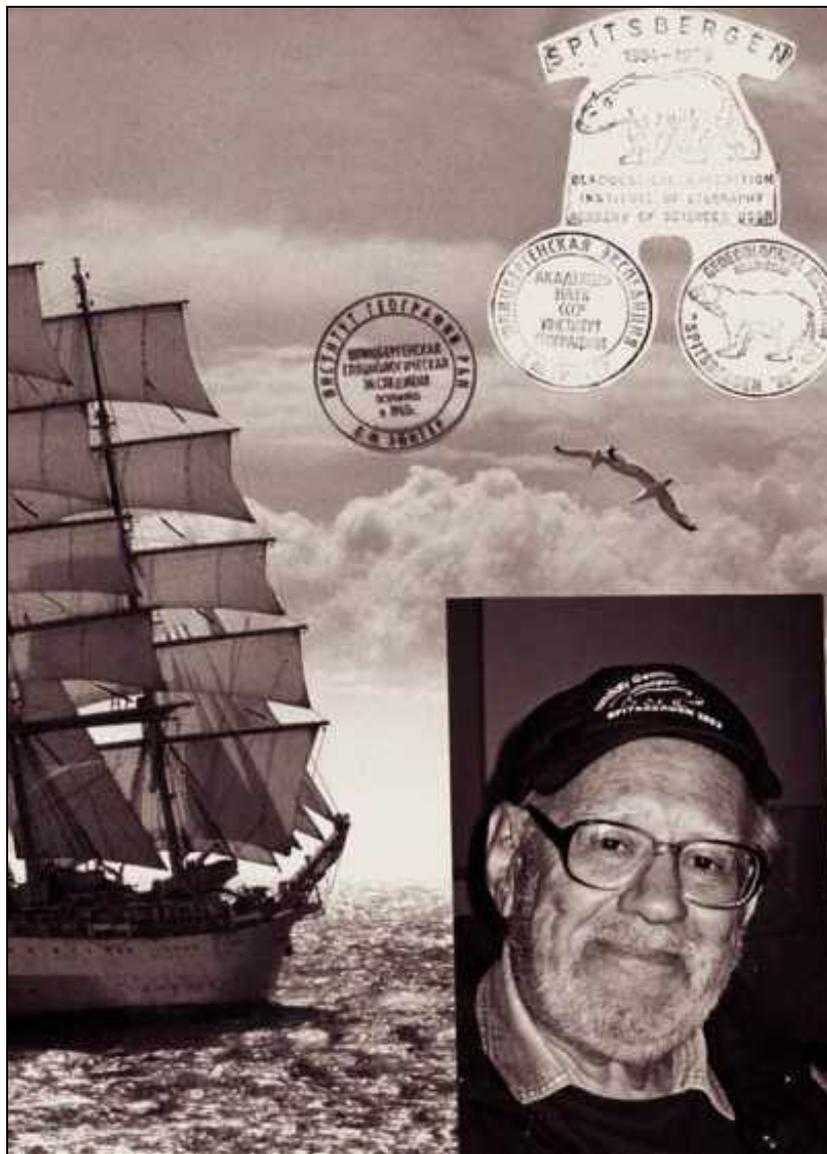
Стали в августе ночи темны,
Осень в стекла стучит дождем.

Дочка шепчет: – Мама, дойдем до войны

И его домой приведем.
– Что ты, ласточка! Слышишь, как плачет дождь!
Заплутала в дожде луна.
Разве ты его в дальних лесах найдешь?
Ночь сегодня темным-темна.
Спи, забудься, касатка! Дыши легко.
Перепутала ночь пути.
Ты совсем еще крошка. Война далеко.
И тебе до нее не дойти.
Мы в письме нарисуем ручку твою,
А письмо отдадим стрижу.
Хочешь, доченька, песню тебе спою?
Хочешь, сказочку расскажу?
Глухо капли дождя по стеклу стучат.
Притаился ребенок, смолк...
– На добычу поджарых своих волчат
Вывел тощий немецкий волк.
Волк ползет по просторам твоей земли.
Хочет крови твоей добыть,
Чтобы воины наши домой пришли,
Надо злого волка убить.
Твой отец с победой вернется домой,
Приласкает дочку свою.
Ты уснула, пушистый зайчонок мой,
Баю-баюшки, баю-баю!..
Западный фронт, 1941

Евгений Зингер Компас судьбы

Я родился в Москве 27 июля 1926 года. Незнакомые любознательные люди, услышав мою фамилию, почему-то часто задавали мне смешной вопрос: «Какое отношение вы имеете к знаменитой американской фирме, производящей швейные машины, а также холодильники, морозильники, телевизоры, видеоманитофоны, стиральные и сушильные машины и многое чего другое?» Вполне ответственно отвечал: ни-ка-кого! А заодно всегда добавлял, что не являются моими родственниками и такие известные в мире люди, как хоккейный вратарь сборной СССР и «Спартака», польско-американский писатель-лауреат Нобелевской премии, председатель Германской социал-демократической партии в конце XIX века...



Евгений Максимович Зингер, руководитель Шпицбергенской экспедиции. 1990-е

Из всех моих родственников по линии отца в живых, увы, остался только я один. Все остальные погибли на фронтах Великой Отечественной войны или умерли естественной смертью. Судьбе было угодно, чтобы у меня родились не сыновья, а две дочери – Елена и Мария, которые, в свою очередь, подарили мне двух внучек – Дину и Софью. Сильное чувство досады по отношению к себе самому я особенно сильно ощутил после того, когда внучки попросили меня рассказать о своих предках, о которых я практически ничего не знал, да и спросить уже не у кого...

Я с удовольствием каждый день отправляюсь на работу в Институт географии. Мне постоянно хочется делать что-то полезное не только для себя, но и для людей, и я искренне благодарен руководителям Института географии РАН и родного отдела гляциологии за то, что они не торопятся поскорее отправить меня на пенсию...

Тем, что стал я полярником, прежде всего, обязан своему самому близкому другу и товарищу, своему дорогому и любимому отцу Максиму Эммануиловичу Зингеру – неутомимому полярному путешественнику, художнику и исследователю, одному из старейших советских журналистов и писателей-очеркистов, целиком посвятивших себя Крайнему Северу. По рекомендации известных советских литераторов Алексея Силевича Новикова-Прибоя и Лидии Николаевны Сейфуллиной 1 июня 1934 года отца приняли в Союз советских писателей. Его членский билет № 513 был подписан председателем правления Союза советских писателей Максимом Горьким и секретарем правления Александром Щербаковым, вскоре ставшим известным партийным деятелем страны. К тому времени у отца вышли в свет уже двенадцать книг.

Не побоюсь сказать, что судьба полярника была уготована мне почти с самых пеленок. В этом «виновата» не только одна генетика, сыгравшая важную роль. Нельзя пройти мимо того, что в предвоенные годы в нашей маленькой двухкомнатной квартире,

имевшей всего двадцать три квадратных метра, я мог видеть многих знаменитых полярников нашей страны. Среди них были летчики И.В. Доронин, С.А. Леваневский, Б.Г. Чухновский, М.И. Козлов и А.Н. Грацианский, академик О.Ю. Шмидт, доктора географических наук Н.И. Евгенов, Я.Я. Гаккель и Г.А. Ушаков, ледовые капитаны М.Я. Сорокин, П.Г. Миловзоров, Н.М. Николаев и А.П. Бочек... Я был необычайно рад, что сам Иван Васильевич Доронин взял меня с собой на Красную площадь 1 мая 1936 года. Можете себе представить, с каким волнением я, десятилетний мальчишка, стоял рядом с одним из самых первых Героев Советского Союза на трибуне около Мавзолея Ленина и смотрел первомайский парад и демонстрацию трудящихся!

Полярники шли в наш дом, предвкушая провести приятный вечер у гостеприимного хозяина, встретиться и поговорить в непринужденной домашней обстановке с коллегами о недавно пережитых событиях, поделиться новостями о своих ближайших планах, ну, и насладиться приготовленными отцом отменными настойками и закусками. В такие дни наша скромная квартира превращалась в своеобразный клуб знаменитых полярных капитанов, которых знала вся страна. Этим людей отличали безмерная отвага и благородство, несгибаемая воля, скромность и веселый жизнерадостный характер! Наряду с бесспорным влиянием отца общение с его именитыми друзьями-полярниками во многом предопределило мой дальнейший жизненный путь...

Я уже упомянул, что был свидетелем многих разнообразных и крайне интересных событий. Поэтому считаю себя счастливым человеком. В жизни мне повезло встречаться не только с одними знаменитыми полярниками. Я знал Бориса Пастернака, Константина Симонова, Лидию Сейфуллину, Сергея Городецкого, Василия Гроссмана, Бориса Горбатова, Владимира Билль-Белоцерковского, Расула Гамзатова, Юлия Ганфа, Алексея Баталова, Михаила Калатозова... За полвека с лишним работы в Академии наук Советского Союза и Российской Федерации мне довелось общаться со многими крупнейшими учеными нашей страны, а также встречаться с видными зарубежными учеными.

Начиная с 1944 года, мне выпало счастье увидеть и познать многие районы Арктики – от Чукотки на востоке до Шпицбергена на западе. Вместе с тем должен признаться, что порою случалось, что я грешил путешествиями в края, весьма далекие от северных широт. Иногда чисто служебная необходимость, а порою простая человеческая любознательность вынуждали меня отправляться в экспедиции в такие достаточно южные районы, как пустынное столовое плато Устюрт или предгорья хребта Джунгарский Алатау, в донецкие и астраханские степи или заснеженные западносибирские болота Васюганья, в обжигающие пески Средней Азии или заоблачные ледники высокогорного Памира... И хотя все эти необычайно увлекательные путешествия представляли для меня, как географа, огромный профессиональный интерес, они не смогли отклонить намагниченную с раннего детства стрелку моего жизненного пути-компас. Она, несмотря ни на что, снова и снова неумолимо поворачивала свое острие на Север, указывая мой настоящий путь! Настоящие полярники знают, почему, однажды побывав в высоких широтах матушки Земли, ты стремишься туда снова и снова. Объясняется такое явление очень просто: едва эти люди попадают впервые в Арктику или Антарктику, как в них так же вселяется неизлечимая полярная бацилла, которая остается в них уже на всю дальнейшую жизнь.

25-я образцовая

В 1934 году родители проводили меня с большим букетом цветов в первый класс школы № 25. Находилась она в Старопименовском переулке, совсем близко от улицы Горького (Тверской) и площади Маяковского (Триумфальной). В то далекое время школа почему-то называлась образцовой. В ней, правда, училось немало детей, внуков и просто родственников руководителей большевистской партии и советского государства, а также видных деятелей культуры. Может быть, поэтому кое-кто считал ее правительственной? Всё же большинство «простых» учеников проживало недалеко от школы. Рядом с «кремлевскими» и прочими отпрысками мы, «простые», не ощущали себя какими-то второсортными ребятами. Вскоре моя школа лишилась слова «образцовая» и стала называться нормальной московской средней школой № 175.

Конечно, сейчас, по прошествии более семидесяти лет, я не в состоянии вспомнить

имена всех моих учителей и соучеников. Но всё же кое о ком постараюсь хотя бы кратко рассказать.

Моим классным руководителем с первого по седьмой класс была пожилая, благообразная и старомодная учительница Екатерина Антоновна Семенович. Эта на редкость спокойная, выдержанная и совсем не строгая женщина обычно входила в наш вечно шумный, первый по успеваемости и последний по дисциплине большой класс в одинаковой черной, до пола юбке, в темной строгой блузке с белым кружевным воротничком. Ее седые волосы были гладко зачесаны назад, а ее лицо постоянно выражало благожелательность. Интересно, что еще до Октябрьской революции Семенович учительствовала в женской гимназии, здание которой теперь занимала как раз наша средняя школа. Екатерина Антоновна обучала нас правилам родного русского языка, требуя соблюдать все указания, содержащиеся в учебнике Бархударова. Классная руководительница настойчиво боролась за чистоту русского языка, всячески старалась искоренить из нашей разговорной речи всё, что противоречило ее старым гимназическим правилам.

Во время моей учебы в первом-седьмом классах (1934–1941 годы) в школе преподавали учителя, как сейчас сказали бы, высшей категории. Среди них были даже авторы нескольких прекрасных учебников, хрестоматий и пособий. Помимо «кремлевских» детей в школе училось довольно много детей и внуков видных военачальников, известных деятелей Коминтерна, культуры и искусства.

На год и класс старше меня училась очень хорошая и очень скромная девочка, которую звали Светланой Сталиной. Классом старше был Лёва Булганин – сын тогдашнего председателя Моссовета. Этот паренек часто приезжал на уроки, сидя за рулем новенького автомобиля. Увидев сына хозяина города, московские милиционеры немедленно брали под козырек.



VII класс школы № 175 г. Москвы. 1941.

На снимке слева направо: сидят – Кривицкая, Наджаров, Еремеев, Яминский, Е.А. Семенович, Толстов, Шелике, Эдельштейн, Анонченко, Андреева, Фиглина, Ребарбор, Энтчи, Кочеткова, Корнблюм, Лози; стоят – Резников, Щедрина, Брискина, Раппопорт, Алексеев, Зеленцов, Жалейко (сзади), Зингер, Тарханов, Садовский, Беляцкая, Юрьева, Гродзенская, Андреева, Варицкая, Ечеистов, Резников, Подтягина и Нерославская

Светлану привозили из Кремля на шикарной американской машине «кадиллак». Дочь вождя всегда сопровождал могучего вида личный телохранитель в форме НКВД. На его

гимнастерке красовался совсем недавно полученный им красивый орден «Знак почета». В народе этот орден шутливо прозвали «Веселые ребята», так как на нем были изображены две фигуры – рабочего с молотом и колхозницы с серпом. Во время урока охранник сидел в коридоре рядом с дверью Светланиного класса.

Обычно я приезжал в школу на троллейбусе. Садился на остановке «Большая Грузинская улица» около гостиницы «Якорь», а выходил на остановке «Глазная больница». Однажды я обратил внимание, что Светлана стала ездить из Кремля не на «кадиллаке», а на троллейбусе. Бывало, что мы иногда вместе шагали вместе по улице Горького и Старопименовскому переулку до дверей нашей школы, причем прямо за нами шел Светланин телохранитель! Всё знающие ученики старших классов поговаривали, что столь резкая смена транспорта у дочери вождя была вызвана ее разговором с отцом. Эта довольно простая и демократичная девочка будто бы сказала своему грозному отцу, что она чувствует себя не совсем ловко из-за того, что большинство учеников приходит в школу пешком или же приезжает на общественном транспорте. Реакция на сообщение дочери последовала мгновенно:

– Ну, что же... С завтрашнего дня будешь как все ходить в школу пешком или ездить на троллейбусе.

Недавно я прочитал в одной газете, что отец запрещал Светлане даже пользоваться духами, мотивируя это тем, что ее школьные подруги были лишены подобной дорогой роскоши...

Старший брат Светланы Василий Джугашвили (первоначально носивший именно эту фамилию) покинул школу, если не ошибаюсь, после седьмого класса и поступил в только что созданную первую Военно-воздушную спецшколу. Хорошо помню, как он приходил в школу в красивой летной форме, чтобы встретиться с учеником 9 или 10 класса Серго Берия, сыном тогдашнего наркома НКВД.

Будучи учеником первых классов, Вася частенько нарушал дисциплину, не слушал учительницу, иногда сбегал с уроков в кино, устраивал потасовки с одноклассниками и к тому же не блистал успехами в учении. В то время было принято вызывать родителей нерадивых учеников для разговора о поведении и учебе их чад. Если же и это не помогало, то дело иногда заканчивалось исключением из нашей престижной школы и переводом в обычную «рядовую» школу. Через много-много лет отец моего друга-одноклассника Валерия Зеленцова Михаил Павлович, кстати, старейший работник 25-й образцовой и 175-й школы, поведал мне удивительную историю, связанную с сыном Сталина. Не берусь утверждать, что так было на самом деле, но всё же перескажу то, что услышал.

Однажды классная учительница Ольга Фёдоровна Леонова, не зная, что шалун Вася Джугашвили – сын самого вождя, попросила явиться в школу для беседы его маму. И в ответ услышала весьма дерзкие слова ученика:

- Она в школу не сможет прийти.
- Это почему же? – удивилась учительница.
- Потому что ее нет.
- А где же она?
- Умерла...

Возникла неловкая пауза, но Леонова быстро взяла себя в руки и строгим голосом сказала:

- Тогда передай своему отцу, что я его вызываю в школу по поводу твоего поведения и учебы.
- Он не сможет прийти, – решительно заявил Вася.
- Что, разве и он умер?
- Нет, он не умер, но всё равно он не придет в школу.

Услышав столь дерзкий ответ, учительница быстрым движением схватила со стола школьный дневник Васи и написала крупными буквами: «Тов. Джугашвили! Прошу срочно явиться в школу для серьезного разговора о Вашем сыне»...



Охотный ряд. Москва, сер. 1930-х

После этого инцидента прошло несколько дней. Вдруг неожиданно в учительской комнате школы появился нарочный из Кремля. Он привез записку: «Ув. тов. Леонова! Я не имею свободного времени, чтобы посетить школу. В ближайшие дни я пришлю за Вами машину, и тогда мы поговорим о моем сыне в Кремле». Ниже стояла размашистая подпись: «И. Сталин». Увидев ее, несчастная классная руководительница тут же лишилась чувств и упала на пол учительской комнаты...

В страшном 1937 году муж директора 175-й школы Нины Иосафовны Грозы был репрессирован, и мы после этого печального события больше ее не видели. Новым директором назначили только что избранную депутатом Верховного Совета СССР первого созыва... Ольгу Фёдоровну Леонову. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!

На два класса моложе меня училась еще одна Светлана – дочь второго человека Страны Советов В.М. Молотова. Эту девочку привозили также на солидной правительственной машине, которая останавливалась недалеко от школьного двора. Иногда, идя в школу по Старопименовскому переулку, я видел забавную процессию, состоявшую из нескольких персон. Впереди вместе со своей именитой мамой – видным советским деятелем Полиной Семёновной Жемчужиной – шагала Светлана, а прямо за ними важно шли несколько человек, среди которых выделялся личный охранник.

Немного старше или немного младше меня учились в нашей школе сын секретаря Итальянской компартии Эрколи (Тольятти), симпатичные внуки Максима Горького – Марфа и Дарья Пешковы (между прочим, Марфа впоследствии вышла замуж за Серго Берия, который был старше ее на два года).

Среди моих одноклассников «правительственных» детей не оказалось. Зато был долговязый худой паренек с редким именем Пров – сын выдающегося народного артиста СССР Прова Михайловича Садовского. Звали мы его Пырсадовский, потому что он в первом классе на обложке своего дневника написал «Пыр Садовский». Пров продолжил династию прославленных русских артистов Садовских в Малом театре. Прожил недолгую жизнь, успев получить звание заслуженного артиста РСФСР. Вместе с ним в Малом же театре долгие годы работала моя другая одноклассница Элла Далматова. На самом деле ее настоящие имя и фамилия были Электра Федоренко. Кажется, она также имела почетное звание заслуженной артистки РСФСР. Увы, ее, как и очень многих других моих одноклассников, уже давно нет в живых.

Моим хорошим другом в классе был Эрик (Кирилл) Толстов, сын одного из лучших дикторов Всесоюзного радио – Наталии Александровны Толстовой. Его дед по

материнской линии преподавал в нашей школе и был автором прекрасной «Хрестоматии по литературе». Эрик, будучи неуклюжим, толстеньким и крупным мальчиком, словно оправдывал свою фамилию. Одноклассники придумали ему прозвище Бегемот. После окончания первого выпуска журналистского факультета Московского института международных отношений Кирилл стал заметной фигурой в московском журналистском обществе. Ему довелось работать главным редактором популярной столичной газеты «Вечерняя Москва», а затем – заместителем главного редактора всесоюзной газеты «Труд». Как водилось тогда, он был членом Московского комитета КПСС и ВЦСПС. Увы, его жизнь оказалась очень короткой. Во время одной из служебных командировок от газеты «Труд» в Сибирь Кирилл скоропостижно скончался от инфаркта, едва достигнув сорока лет.

Вспоминаю другого нашего толстяка – Володю Тарханова. Когда мы подтрунивали над ним, он обычно отвечал: «Лучше быть толстым и здоровым, чем худым и больным». Его отец был каким-то крупным начальником в системе НКВД. Во время войны Володя окончил военное училище и служил в армии. Лет через пять демобилизовался по состоянию здоровья и переквалифицировался в юриста. Он, как и Толстов, умер сравнительно рано.

Моими одноклассницами были Инна Плеханова и Карина Урицкая – внучки видных российских революционеров. В четвертом и пятом классах с нами учился сын знаменитого американского негритянского певца-коммуниста Поля Робсона – Пол, которого все звали в школе почему-то по-немецки Пауль. Во время гражданской войны в Испании его отец отправился в американский добровольческий батальон имени Линкольна, воевавший против Франко на стороне республиканцев. Своего сына Робсон отправил в Москву, чтобы тот выучил язык, которым разговаривал Ленин (прямо как у Маяковского: «...да будь я и негром преклонных годов...»). Пол с матерью жил на улице Горького в гостинице «Люкс», в то время служившей общежитием Коминтерна. Сюда селили главным образом политэмигрантов и членов их семей. Позже эту гостиницу переименовали сначала в «Центральную», а затем она стала частью соседнего большого отеля «Астория».

В «Люксе» жили еще двое моих одноклассников. Одну звали Вальтраут Шелике. Она была дочерью видного немецкого коммуниста – депутата Рейхстага. Он вместе с семьей бежал от Гитлера в Советский Союз, где работал редактором московского издательства «Интернациональная литература». После войны вернулся уже в Германскую Демократическую Республику, где возглавил партийное издательство СЕПГ «Диц». Заслуги старого немецкого коммуниста были отмечены присвоением ему звания Героя Социалистического Труда. Второго одноклассника звали Иваном Копецким. Он был сыном чешского коммуниста. Интересно, что через много лет после войны ему довелось быть послом Чехословацкой Социалистической Республики в Советском Союзе.



Большой театр. Москва, сер. 1930-х

Вальтраут Шелике все мы звали просто Травкой – по имени героини довоенной детской популярной книжки «Приключения Травки». Наша Травка, в отличие от своих родителей и двух братьев, не вернулась после войны в Германию, а осталась жить на своей второй родине. Более того, она стала деятельным членом КПСС.

В 1960-х годах я случайно прочел в газете «Известия» большой очерк, в котором между прочим рассказывалось и о доценте Киргизского государственного педагогического института из областного города Ош, кандидате исторических наук Вальтраут Шелике. Через девять лет после публикации этого очерка, в 1969 году, я совершал по дорогам и бездорожью длинную, но очень увлекательную автомобильную поездку на крытой экспедиционной машине ГАЗ-66 из Москвы к месту предстоящих гляциологических работ на ледниках Восточного Памира. Наш путь как раз проходил через город Ош. Тут-то я и вспомнил ту давнюю газетную статью. Заехал в местный пединститут и узнал там домашний адрес доцента Шелике. Минут через десять мы с шофером экспедиции Володей Масалковым уже переступили порог ее скромной квартиры на втором этаже «хрущёбы».

Минуло около тридцати лет со дня последней нашей встречи, когда мы учились в одном классе. Однако это обстоятельство не помешало нам сразу узнать друг друга. У Травки было три взрослых сына. Интересная деталь в биографии немки Шелике: она дважды выходила замуж, причем оба раза за... еврея. Возможно, что таким «вызывающим» поступком советская коммунистка-немка «отомстила» немецким фашистам за холокост!

Хочется вспомнить добрым словом еще Володю Резникова, которому мы дали кличку Банзай, и, что весьма забавно, он всегда без обиды откликался на нее, словно это было его настоящее имя. А связано прозвище было с тем, что Володя вырос в Японии, в семье ответственных работников советского посольства. Родители и окружение привили мальчишке такие строгие манеры поведения, какие казались нам более уместны в каком-нибудь Кембридже, но только не в нашем классе. Банзая отличала от многих мальчиков прямая осанка и особенно голова, гладко причесанная на удивительно ровный пробор, что могло указывать только на чувство собственного достоинства и высокомерие. Всё это давало повод ребятам нашего «зловредного» класса всячески напоминать Володе о его японском «происхождении»...

Был у нас еще один Володя по фамилии Яминский. Он выделялся среди учеников класса не только тем, что за все годы получал по всем предметам только отличные отметки, включая физкультуру и поведение. Это был неразговорчивый и очень серьезный худощавый мальчик высокого роста. Он всегда первым тянул руку, когда учителя задавали нам какой-нибудь вопрос. За этим Володей закрепилась кличка

Святой. Еще стоит вспомнить другого отличника – Юру Фреймана. Он выделялся среди одноклассников блестящими знаниями по всем математическим дисциплинам. Поэтому мы и звали его «кот ученый». Хочется вспомнить крепыша Борю Силкина. Из-за своей фамилии и физической силы он получил кличку Сила. Мы жили рядом и часто вместе шагали по улице Горького из школы к себе домой. Не могу сейчас объяснить, почему меня в классе звали Зига...

В моей школьной биографии был, к сожалению, один неприятный случай. Не помню, то ли в шестом, то ли в седьмом классе раз в неделю к нам в класс приходила девочка из десятого класса и проводила короткую политинформацию, которая заключалась в том, что старшеклассница пересказывала разные события в мире и стране. Надо сказать, что большинство моих одноклассников были детьми интеллигентных родителей, которые выписывали домой центральные газеты и журналы, в силу чего ребята сами отлично знали, что творится в мире. Поэтому примитивные рассказы этой девочки нам прилично поднадоели, и однажды мы сорвали ее скучную политинформацию. Результат для меня, Эрика Толстова и других ребят оказался весьма печальным – нас вызвали в кабинет директора школы О.Ф. Леоновой и затем быстренько исключили из славных рядов советской пионерии. Правда, ненадолго – вскоре всех нас восстановили. Если быть до конца честными, надо признаться, что многие из нас носили красные галстуки не на шее, а в кармане. Однако перед школой надевали их, как положено. Мы почему-то стеснялись ходить с галстуками на улице. Конечно, это было очень глупо и нечестно, точно так же, как в дальнем темном углу двора, тайно от учителей и родителей, дымить папиросками...

Перед самым началом войны я окончил седьмой класс. Незадолго перед сдачей экзаменов я переболел скарлатиной, причем в тяжелой форме и с кучей разных осложнений. Любвеобильные две старших сестры отца пытались уговорить его, чтобы он, в связи с пошатнувшимся после серьезной болезни здоровьем сына, взял бы в поликлинике соответствующую медицинскую справку об освобождении меня от экзаменов. Однако принципиальный отец категорически отказался от этого предложения и заставил меня сдавать все экзамены, которых в тот зловещий 1941 год было целых одиннадцать. На три больше, чем в предыдущем году. Я справился с ними на «хорошо» и «отлично» и был переведен в восьмой класс...

Казалось, что всё шло хорошо: я перешел в восьмой класс, впереди открывались летние каникулы, и с ними веселая беззаботная жизнь в пионерском лагере. А после, 1 сентября, возвращение в родную школу для продолжения учебы. Однако началась война, и моя жизнь круто изменилась. Попасть в свою школу мне довелось только через десять лет... На торжественную встречу ее бывших учеников...

Война. Эвакуация

В июне 1941 года родители проводили меня в пионерский лагерь Литфонда, который находился в подмосковном поселке Внуково. Днем 22 июня наш юный рыжеволосый горнист Лёдик Леонидов протрубил срочное построение лагеря. Все ребята быстро собрались на общей линейке. Начальник пионерлагеря Борис Михайлович Мазин сообщил, что немецкие фашисты подло напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. Через некоторое время руководство Союза писателей СССР и Литфонда решили срочно эвакуировать в Татарию наш лагерь вместе с детским садом. 6 июля во дворе бывшего дома Герцена на Тверском бульваре, где помещался Литфонд СССР, собрались десятки детей в сопровождении своих родителей. Каждый ребенок имел при себе минимальный запас одежды и еды на дорогу.

У перрона Казанского вокзала стоял необычно длинный железнодорожный состав. Руководство Литфонда с огромным трудом смогло «выбить» в Моссовете только два вагона для детского садика и пионерлагеря, а также сопровождавших детей взрослых. Всего набралось человек двести. Всем мест в вагонах не хватало. Младшие ребяташки лежали по двое на полке. С детьми до трех лет ехали их мамы. Дошкольников присоединили к детсаду, а школьников сопровождали два пионервожатых и несколько общественниц.

В Москве уже были подготовлены десятки бомбоубежищ, ввели затемнения – ждали скорого вражеского налета. А на вокзале в Казани мы увидели ярко освещенные окна. В

столице Татарии нас в тот же день пересадили на пассажирский пароход. После недолгого плавания по Волге он вошел в Камское устье и продолжил свой путь вверх по красавице реке Каме.

На пятый день нашего железнодорожно-речного путешествия мы наконец высадились на небольшой деревянной пристани Берсут, расположенной на правом обрывистом берегу реки. Когда поднялись по очень длинной широкой и крутой лестнице на невысокую гору, то сразу же оказались в чудесном лесу. Среди деревьев стояли небольшие симпатичные голубые корпуса Дома отдыха профсоюзов Татарской республики. У входа на его территорию над воротами выделялась надпись: «Добро пожаловать!» Всех приехавших быстро разместили по разным комнатам. На складе Дома отдыха сохранились довоенные запасы продовольствия, среди которых были даже такие деликатесы, как икра. С первых дней пребывания в Берсуте мы стали нормально питаться в столовой.

Каждое утро перед завтраком все «лагерники» выходили на общую линейку, после которой с большим удовольствием занимались физзарядкой. Проводил ее молодой крепкий мастер спорта Константин Иванович Лебедев.



Пионерлагерь Литфонда. Внуково, 1940. Старший отряд. Слева направо: первый ряд – Гарик Фининберг, Володя Волосов, Вова Шифферс, Алёша Веприцкий, Изольда Вигдорова; второй ряд – Лена Левина, Лина Розенфельд, Таня Беленькая, Гедда Шор, Лиля Васильева, пионервожатый Миша Сточик, Майя Добрынина, Надя Павлова; третий ряд – Лида Пел ьсон, Люда Боброва, Фрида Эгарт, Коля Васильев; четвертый ряд – Ира Ржешевская, физкультурник дядя Женя, Люда Рихтер, Шура Субботин, Никита Санников, Саша Холоденко, Витя Бобович, Лёша Гаврилов, Лёдик Леонидов

За год до этого работал физруком в пионерлагере Литфонда в Коктебеле, где отдыхал и я. Большинство наших ребят тогда успешно сдали нормы на значок БГТО – «Будь готов к труду и обороне». Я был особенно горд, что получил значок «отличник БГТО»! Почему-то наш физрук просил называть его Константином Леонидовичем. Через месяц он ушел на фронт вместе с начальником лагеря Борисом Михайловичем Мазиным. После завтрака обычно мы занимались уборкой помещений и территории, а также дежурили на кухне. В лесу, кишашем фантастическим количеством комаров и мошкары, дети любили собирать землянику и чернику.

В доме отдыха имелись свои лодки, и некоторые мальчики и девочки любили кататься по широкой и многоводной Каме. Часто компанию мне составлял будущий народный артист СССР Алексей Баталов. Его мама Нина Ольшевская – актриса Театра Красной

Армии и жена писателя Виктора Ардова – жила в одной комнате с младшим сыном Михаилом, впоследствии ставшим видным священником. Немного позже в лагерь приехали две девочки. Одну из них звали Эва. По-русски она говорила с приятным легким акцентом. Вместе со своей мамой, известной польской писательницей-коммунисткой Вандой Василевской, она бежала перед самой войной из Польши от немецких фашистов. В симпатичную Эву я влюбился с первого взгляда, и романтическая дружба тринадцатилетней девочки и пятнадцатилетнего мальчика продолжалась до момента спешного отъезда Эвы осенью 1941 года из Берсута в Среднюю Азию, подальше от немцев, рвавшихся к Волге.

Перед отъездом в эвакуацию из Москвы наших родителей предупредили, чтобы их дети взяли с собой только самую необходимую летнюю одежду и обувь. Война, мол, скоро закончится победой СССР, и все ребята, таким образом, успеют вернуться домой до зимних холодов. Однако время шло, наступила осень, фашисты приблизились к самой столице. Стало ясно, что война затягивается и конца ей не видно. Ученикам же необходимо было продолжить учебу в средней школе, которой не было в маленьком поселке Берсута. Да и Дом отдыха работал только летом, так как не имел отопления. Поэтому Союз писателей СССР решил перебазировать в сентябре наш пионерлагерь в неизвестный ранее большинству ребят город Чистополь, расположенный недалеко от Берсута на склоне противоположного левого коренного берега Камы (ныне Куйбышевского водохранилища). Название этого в недавнем прошлом совсем небольшого, застроенного главным образом деревянными домами купеческого города навсегда вошло в историю советской литературы периода Великой Отечественной войны. Но об этом чуть позже...

Совершенно очевидно, что особое место в жизни Чистополя занимала солидная писательская колония, которая насчитывала более 150 человек. Здесь же находился и филиал правления Союза советских писателей, председателем которого являлся первое время известный советский драматург Константин Тренёв, а затем – Константин Федин. По словам поэтессы Маргариты Алигер, Чистополь стал «военным пристанищем советской литературы». В суровые годы войны здесь также нашли приют артисты и музыканты.

После переезда пионерлагеря из Берсута в Чистополь всех ребят разместили в Доме крестьянина на улице Володарского (позднее переименованной в улицу Ленина). До революции в нем находилось городское общественное управление. Это был добротный каменный дом, имевший два с половиной этажа. В полуподвальной части здания находилась столовая, кухня и большой зал со старинным, расстроенным от времени роялем. Ежедневно мы получали трехразовое горячее питание, которое постепенно становилось всё хуже и хуже и было совершенно недостаточно для детского организма.

Очень быстро перед руководством интерната встал важный вопрос о нашем питании предстоящей зимой. Было решено послать поздней осенью на месяц ребят старшего и среднего возраста в колхоз «Малый Толкиш», расположенный недалеко от Чистополя. Каждый день бригадиры давали нам определенное задание. То мы выкапывали из непролазной грязи картофель, лук, капусту и морковь, то вырывали сорняки, то нас гоняли на другие не очень приятные, для большинства городских ребят изнурительные работы. В один из первых таких крестьянских дней меня отрядили в помощь престарелому колхозному конюху, и стал я ездить с ним вместе на телеге. Через два дня освоился с непривычным трудом – научился самостоятельно запрягать лошадку и лихо управлять ею. Работа пришлась по душе, более того, мне даже доверили ездить одному. Возил мешки с зерном и мукой, овощи, сено. Однажды на крутом спуске моя телега, сильно нагруженная сеном, на вершине которого я чинно восседал, держа вожжи, опрокинулась. Хорошо, что эта невеселая история закончилась благополучно.

В колхозе жили преимущественно татары. Большинство взрослых мужчин было призвано в армию. Остались лишь негодные по здоровью, да старики, инвалиды, женщины и дети. Иногда мы устраивали набеги на бахчу и таскали оттуда арбузы. Порою случались стычки с местными ребятами. Часть оставшихся в колхозе людей была враждебно настроена против советской власти и даже нас. Некоторые крестьяне не боялись говорить, что ждут скорого прихода немцев...

После окончания сельхозработ мы возвратились в интернат. Но не одни. На двух телегах ехали мешки с разными овощами и мукой, заработанные нелегким детским трудом. Именно это продовольствие помогло пережить нам очень суровую и невероятно холодную зиму 1941–1942 года. Тогда трескучие морозы часто переваливали отметку 50 °С. Мы радовались, что в это ужасное время очень редко случался сильный ветер. Хорошо помню, как в такие морозные дни над всеми печными трубами низких чисто-польских домов вились вертикально вверх белые дымки.

Однажды в интернате появился новичок, который при знакомстве с нами представился Муром. Однако вскоре мы уже знали, что его настоящее имя Георгий, что жил он вместе с мамой Мариной Цветаевой в маленьком городе Елабуге, расположенном немного выше по течению Камы. Знаменитая русская поэтесса несколько раз наведывалась в Чистополь, пытаясь получить разрешение остановиться именно здесь, в писательской колонии. Однако всегда получала отказ.

В конце октября или начале ноября в Чистополе появился сын покойного поэта Эдуарда Багрицкого – Всеволод. Из-за высокой близорукости способный девятнадцатилетний поэт был снят с воинского учета. До закрытия «Литературной газеты» он числился ее штатным сотрудником. 6 декабря Сева написал заявление в политуправление РККА с просьбой направить его во фронтовую печать. В этот же день Всеволод Багрицкий написал стихи:

Я живу назойливо, упрямо,
Я хочу ровесников пережить.
Мне бы только снова встретиться
С мамой,
О судьбе своей поговорить.
Всё здесь знакомо и незнакомо.
Как близкого человека труп.
Сани, рыжий озноб соломы,
Лошади, бабы и дым из труб...
Здесь на базаре часто бываешь
И очень доволен, время убив.
Медленно ходишь и забываешь
О бомбах, ненависти и любви.
Вечером побредешь к соседу,
Деревья в тумане, и звезд не счесть...
Вряд ли на фронте так ждут победы,
С таким вождельем, как здесь.
Нет ответа на телеграммы,
Я в чужих заплутался краях.
Где ты, мама, тихая мама,
Добрая мама моя?

Мать поэта в это время была в одном из сталинских лагерей...

Перед Новым годом Всеволода призвали в армию. Он вернулся из Чистополя в Москву, где пробыл несколько дней, а уже в феврале 1942 года погиб на Волховском участке фронта. Осталась лишь толстая тетрадка, которая была при нем до самой гибели. Она хранилась у вдовы академика Сахарова Елены Георгиевны Боннэр, бывшей невесты юного поэта. Елена Георгиевна рассказывала, что осколок пробил полевую сумку, эту тетрадь и Севин позвончик.

Смерть была мгновенной. На место Багрицкого прислали Мусу Джалиля, вскоре оказавшегося в плену и погибшего в фашистском лагере. Всеволода похоронили в лесу у деревни Мясной Бор. На Новодевичьем кладбище в Москве, там, где похоронен Эдуард Багрицкий, по просьбе его жены, мамы Севы, вернувшейся из лагеря, просто положили камень с надписью «Поэт-комсомолец»...

От недоедания и малокровия много интернатских детей страдали от диатеза. У некоторых ребят на голове под волосами возникала корка, а на ногах страшные пюйнички, которые всё время ужасно чесались и кровоточили. В поликлинике эти ранки постоянно мазали зеленкой и забинтовывали. Эту болезнь местные врачи называли

непонятным словом импитига (или импитиги). У нас по этому поводу даже сочинили песню с множеством куплетов, где припевом было как раз это странное слово. В отличие от других ребят, вынужденных лежать с высокой температурой, я перенес болезнь на ногах. Между прочим, шрамы на моих ногах – своего рода печать, поставленная импитигой навсегда, как память о тех днях эвакуации...

На втором этаже в комнатах, называемых почему-то палатами, жили все воспитанники интерната. В каждой такой палате стояло четыре-шесть и более железных кроватей с деревянными настилами и соломенными тюфяками. Директор Яков Фёдорович Хохлов с семьей, воспитатели и другие служащие интерната занимали верхний этаж. Во дворе от прежних времен сохранилась пустовавшая тогда конюшня.

Первоначально наше временное убежище называлось почему-то детским домом, хотя большинство из нас к тому дню имели живых родителей. Через некоторое время детдом переименовали в интернат Литфонда СССР.

Мы очень быстро освоили бывший Дом крестьянина. В палату, имевшую номер 6, поселили меня. Все мы помнили чеховскую «Палату № 6». Поэтому номер, доставшейся нам комнаты, всегда вызывал улыбку. В одной комнате со мной первоначально жили Стас Нейгауз, Тимур Гайдар, Марк Исаков и Слава Бобунов. Недалеко от нас «прописались» Миша Гроссман, Цезарь Голодный, Вадим Билль-Белоцерковский, Никита Санников, два Юрия – Корабельников и Колычев (ставший со временем артистом МХАТа), Шура Оськин (сын директора Литфонда), Реджинальд Бывалов, юный барабанщик Толя Дукор, Лёша Сурков (сын известного поэта Алексея Суркова), Миша Панченко, Дима Шведов...

В интернате жила дочь поэта Ильи Сельвинского Татьяна, которую все звали просто Таткой. Приемная дочь поэта Циля была нашей пионервожатой, хотя родилась раньше многих из нас всего года на два-три. Хорошо помню Варю – дочь писателя Виктора Шкловского (с которой я после войны учился одновременно в МГУ на разных факультетах), Нелю Дайреджиеву, Ариадну и Марианну Качаловых, Наташу Дзюбинскую, Лену Левину (будущую мою однокурсницу на геофаке МГУ), Лену и Таню Рудерман (дочек автора популярной «Тачанки») и многих других девочек... Моя память сохранила имена детей немецких писателей-антифашистов – Марианну Бехер, Конрада Вольфа и Грегора Куреллу.



Женя Зингер, Стасик Нейгауз, Серёжа Перцов. Лагерь детей писателей. Коктебель. 1940, август

Я подружился со Станиславом Нейгаузом еще за год до эвакуации в пионерлагере Литфонда СССР, находившемся на южном берегу Крыма в поселке Коктебель. Стас был высоким, худощавым и симпатичным парнем. Пышная шевелюра постоянно спадала на его лоб, из-за чего он вынужден был часто резким движением руки забрасывать вверх мешавшие ему длинные волосы. Он почти не вынимал изо рта «козьи ножки» – самодельные папироски, набитые махоркой, отчего кончики его длинных музыкальных пальцев правой руки сделались коричневыми. Говорят, что природа отдыхает на детях талантливых родителей. Но к Стасу это не относилось. Его отец – Генрих Густавович Нейгауз – был выдающимся советским пианистом, профессором Московской консерватории. Так что отцовские гены в полной мере передались сыну.

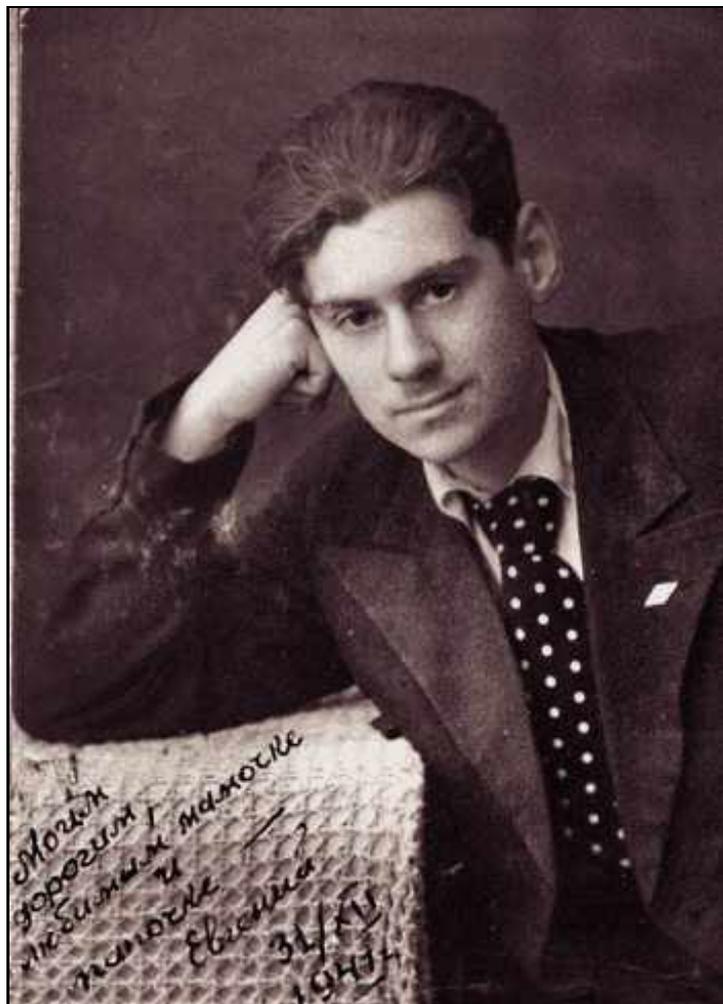
Стас прекрасно играл на рояле, но, к сожалению, в эвакуации не мог продолжать учение в музыкальной школе из-за отсутствия таковой в Чистополе. На помощь юному дарованию пришла жена писателя Ильи Френкеля пианистка Елизавета Эммануиловна Лойтер. Мы часто видели, как она давала уроки Стасу. Чтобы не потерять музыкальную форму, он ежедневно играл на разбитом старом рояле, оказавшемся в Доме крестьянина. Случалось, в редкие вечера мне и другим ребятам старшей группы удавалось с трудом уговорить Станислава побаловать нас исполнением самых разных песен и даже таких далеких от классического репертуара, как «Мурка», «Гоп со смыком», «Колокольчики, бубенчики звенят», «Раз в поезде сидел один военный...» Обладая

потрясающим музыкальным слухом, Стас Нейгауз мог тут же воспроизвести любую мелодию, исполненную нашими дурными голосами или примитивным свистом. Но Стас, конечно же, получал истинное наслаждение только тогда, когда играл Шопена, Листа, Бетховена, Скрябина, Чайковского...

Станислав Генрихович Нейгауз скоропостижно скончался на пятьдесят третьем году жизни 25 января 1980 года. Он умер в один год с Владимиром Высоцким и Джо Дассеном... Я потерял одного из самых близких и дорогих мне друзей...

Вместе с Тимуром Гайдаром, Марком Исаковым, Конрадом Вольфом, Стасом Нейгаузом и Вадимом Белоцерковским я входил в интернатскую футбольную команду. В то время мы играли по так называемой системе «дубль вз». Я играл в нападении правым полусредним. Мои товарищи всегда доверяли мне бить пенальти. Из десяти одиннадцатиметровых ударов я поражал ворота девять раз! Мы ухитрились побеждать даже сыгранную местную юношескую команду «Спартак». Кстати, большинство интернатских игроков были страстными фанатами московского «Спартака». Ворота нашей команды до своего отъезда в Красную армию поздней осенью 1941 года надежно защищал длинноногий Кони Вольф. После войны он окончил в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии, переехал в Берлин и стал кинорежиссером. О своей военной эпопее Конрад Вольф снял фильм «Мне было девятнадцать». Последние годы своей жизни он занимал высокий пост президента Академии искусств Германской

Демократической Республики. Умер Кони в 1982 году от неизлечимого рака...
Мать Стаса Нейгауза – Зинаида Николаевна – была женой Бориса Пастернака. Она занимала в литфондовском детском саду ответственную хозяйственную должность. Непризнанный советской властью великий русский писатель оказался в Чистополе после того, как на многократные просьбы отправить его на фронт всегда получал отказ. Вместе с женой и маленьким сыном Лёней жил он в плохо протапливаемой комнате в каменном двухэтажном доме № 7 5 по улице Володарского.



Надпись на фотографии: «Моим дорогим, любимым мамочке и папочке – Евгений.

Во двор этого дома мы со Стасом иногда приходили, чтобы немного помочь семье писателя – пилили и кололи дрова. В это время я мог видеть работающего за столом Пастернака. То он переводил «Гамлета», «Ромео и Джульетту» и «Антония и Клеопатру», то был занят работой над пьесой и стихами. Воспоминания о городе на Каме Борис Леонидович сохранил до конца своих дней. «Чистополь мне очень нравится. Милый захолустный городок на Каме... У меня простые и страшно симпатичные хозяева и очень хорошая комната в хорошей части города... На столе и окнах у меня цветы в горшках, как везде в Чистополе... Я всегда любил нашу глушь, мелкие города и сельские местности больше столиц, и мил моему сердцу Чистополь, и зимы в нем, и жители, и дома, как я их увидел зимой 1941 года...» – писал чистопольским детям Пастернак после возвращения в Москву.

Директором нашего интерната был Яков Фёдорович Хохлов, весьма представительный, но вместе с тем очень суровый и злой человек. До начала Великой Отечественной войны он руководил в Коктебеле Домом творчества писателей и «примкнувшим» к нему нашим пионерлагерем. Мы знали, что после Октябрьской революции Хохлов служил на черноморском крейсере. Я, Стас и другие наши ребята помнили Якова Фёдоровича, когда отдыхали в коктебельском пионерском лагере в прошлом году. Все мы побаивались нашего директора. Зинаида Николаевна Пастернак как-то сказала, что ему больше подошла бы должность директора конюшни, а не интерната для детей писателей. В начале 1942 года несколько подростков отважились написать в Москву А.А. Фадееву большое коллективное письмо (я в этом деле не участвовал). Ребята жаловались на Хохлова за его бесчеловечное отношение и эксплуатацию детей тринадцати-шестнадцати лет на непосильной работе – выгрузке бревен из Камы, за нецензурную ругань и применение физической силы. В этом письме сообщалось, что за опоздание на линейку и плохую отметку в школе директор интерната лишал детей еды, что при недостаточном питании они постоянно голодали. Мне кажется, реакции на это письмо не последовало. В интернате жили и оба сына директора – старший Витя и младший Боря. Они были неразлучны и ходили, как правило, всегда вместе. Может быть, поэтому все мы называли их одним объединенным именем Витьбо.

В интернатской столовой часто вывешивались различные объявления. Были и такие: «Все эвакуированные приглашаются на разгрузку баржи с дровами для детдома и семей писателей. Срок разгрузки 24 часа». Только благодаря этому интернат и семьи писателей были обеспечены на зиму необходимым топливом. Очевидцы вспоминали, как первыми активно включились в эту работу «длиннолицый Пастернак в черном комбинезоне и коренастый крепыш поэт Павел Шубин».

В интернате имела своя небольшая комсомольская организация. Возглавлял ее шестнадцатилетний Грегор Курелла. В интернате все мы называли его Гришей. В 1942 году он ушел на фронт. В Красной армии его боевые заслуги были отмечены многими орденами и медалями. После войны Курелла остался навсегда жить и работать в Советском Союзе.

Как-то зимой группа старших ребят во главе с Вовой Галкиным и Марком Исаковым сочинила веселую песенку, посвященную Чистополю. Музыку к ней быстро подобрал Стас. Издевательское содержание этой песенки не понравилось воспитателям интерната. Дословный текст я не помню, но всё же попытаюсь, пусть с большими ошибками, весьма приблизительно восстановить хотя бы небольшую часть той давней песни, из-за которой ее сочинителей и исполнителей не приняли с первого раза в ряды комсомольской организации интерната.

Эх, Москва, Москва, Москва!
 Сколько ты нам горя принесла!
 В эшелоны нас грузили
 И в Берсут нас отвозили,
 Ах, зачем нас мама родила!!!
 Чистополь – противный городишко:
 Негде разгуляться нам, мальчишкам,

Нет кафе, нет ресторанов,
Вальс танцуют под баяны,
Ах, зачем нас мама родила!
Есть в городе Литфонда интернат,
Много разных в нем живет ребят,
Есть там Тимка, есть там Шурка,
Мишка Гроссман – тоже урка,
И живет еще пожарник Жоня Зингер...

Тимка – это Тимур Гайдар, а Шурка – Александр Оськин. Почему Миша Гроссман назван сочинителями уркой – совершенно не помню и не могу догадаться! Меня же в интернате с легкой руки нашего неугомонного балагура Цезаря Голодного часто называли не Женей, а почему-то Жоней или просто Жо. Когда этот весельчак встречал меня в интернате, то очень громко произносил придуманные им самим издевательские словосочетания: «Дядя Жо пошел купаться» или «Дядя Жо панцирь одел»! В отличие от голубоглазого блондина Миши Гроссмана у меня были каштановые волосы. По этой причине еще год назад в пионерлагере в Коктебеле я получил шутливое прозвище «пожарник».

На старших ребят произвел сильное впечатление ужасающий контраст между жизнью в Москве и Чистополе. В то время здесь еще не было асфальтированных улиц. С Казанью город на Каме связывала тогда лишь воздушная линия, которую нерегулярно обслуживали маленькие самолеты «У-2», рассчитанные на одно-го-двух пассажиров. После одного полета на таком «кукурузнике» Пастернак как-то сказал: «Летишь, как на конце телеграфного столба». Когда замерзала Кама, действовал надежный зимник. Высоких кирпичных домов в городе насчитывалось сравнительно немного. Как раз в них разместились помимо часового завода три военных госпиталя для тяжело раненных бойцов.

В Чистополе недалеко от военкомата находилась неприметная тюрьма, построенная еще в 1857 году. Среди ее узников после Великой Отечественной войны оказались видные диссиденты – писатель Анатолий Марченко, умерший здесь в 1977 году, сподвижник академика Сахарова Сергей Ковалев, один из основателей Московской Хельсинской группы А. Щаранский, С. Григорьянц, В. Сендеров, М. Казачков и другие правозащитники Советского Союза. Содержались в этой тюрьме и разные националисты, среди которых был и Роман Шухевич. В годы войны этот предатель возглавлял контрразведку Степана Бандеры. Кстати проходимцу Шухевичу украинский президент Виктор Ющенко присвоил посмертно звание Героя Украины...

Из Гомеля в Чистополь была эвакуирована галантерейная фабрика. Приехавшая из Москвы осенью 1941 года моя мать снимала угол в одной из многочисленных изб города. К слову, покойный муж хозяйки этого дома в начале 30-х годов прошлого столетия был капитаном речного колесного парохода на одной из великих сибирских рек. Самое интересное оказалось, что мой отец, будучи корреспондентом газеты «Известия», плавал тогда как раз на пароходе, капитаном которого был муж маминой хозяйки. Вот как бывает в жизни!

Мама устроилась работать на галантерейную фабрику простой работницей. Сначала в костяном цехе делала на станке незатейливые пуговицы из коровьих костей. Через некоторое время маме как грамотной и деловой женщине дали более ответственную должность управляющей делами фабрики. Помню, на этой фабрике работал мастером один человек, каким-то образом сумевший удрать из Таллина прямо из-под носа немцев. Времени, чтобы взять с собой теплую одежду и другие необходимые вещи, у него не было. Однако он успел прихватить один совсем небольшой фибровый чемоданчик. В нем лежала огромная масса всевозможных иголок для шитья и швейных машин. Эти иголочки помогли предприимчивому прибалтийцу недурно существовать в Чистополе...



С родителями. Проводы в Арктику. Ярославский вокзал в Москве. 17 июня 1944

Чтобы облегчить мамину и свою жизнь, летом 1942 года во время школьных каникул я три месяца работал на галантерейной фабрике и по выданной рабочей продовольственной карточке стал получать 800 граммов хлеба в день. Сначала был учеником слесаря в механическом цехе, но очень быстро получил второй разряд. Моя работа не требовала особого навыка и ума – я изготовлял примитивные гвозди из бухты толстого провода, а также чинил постоянно рвавшиеся старые кожаные шкивы трансмиссии...

Все воспитанники интерната учились в обычной русской средней школе. Среди учителей было много высокообразованных преподавателей, эвакуированных в Чистополь из Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Так, литературу и русский язык в моем классе блестяще преподавала критик и литературовед Берта Яковлевна Брайнина. Поэтому слушать наших учителей на уроках доставляло всем ученикам одно удовольствие. К тому же все они относились к нам, как к своим детям. Из пятюрок мы не вылезали, диктанты писали почти без ошибок. В девятый класс я перешел легко, без всяких троек. К сожалению, в школе не было преподавателей иностранных языков, и поэтому мои занятия по английскому языку закончились еще в Москве в седьмом классе...

В 1982 году мне удалось прочитать в книге «Воспоминания о Константине Федине» интересную статью Б.Я. Брайниной. В частности, она свидетельствует, что «...в маленьком Чистополе на Каме жизнь была трудная, тревожная, голодная и холодная. Особенно страдали дети, непрерывно болевшие от недоедания, а зимой и от пронизывающей стужи чистопольских жестоких ветров. Кто жил в Чистополе, помнит эти удары ветра, воющего в непрерывной непроглядной снежной пурге...»

Из интернатских ребят на производстве трудились только я и Миша Гроссман, который еще прошедшей осенью умело водил трактор в колхозе «Малый Толкиш». Теперь же в городе Чистополе Миша устроился на работу шофера и водил грузовик. В начале августа нам обоим из военкомата пришли повестки об обязательном прохождении всеобща – всеобщего военного обучения. Других ребят интерната 1926 года рождения, не занятых на производстве, проходить военное обучение почему-то не

позвали.

Из юных новобранцев в военкомате был создан взвод из тридцати человек. Каждое воскресенье мы являлись рано утром в небольшой пыльный двор городского военкомата, расположенного на той же улице, где и наш интернат. До официального призыва в армию мне и Мише оставалось еще больше года. В первый «рабочий» день допризывникам объявили, что они будут проходить ускоренную военную подготовку. Военный руководитель, недавно вернувшийся после ранения с фронта, толково учил нас военному ремеслу: быстро разбирать и собирать знаменитую, хотя и старую мосинскую винтовку, знать назубок дисциплинарный устав Красной армии, метко стрелять по мишеням, умело метать учебные гранаты, ползать в дорожной грязи попластунски, петь боевые походные песни... Когда мы, отбивая шаг, шагали строем по главной улице города и во всё горло орали «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет» или «Ленинград мы не сдадим – красную столицу, через море полетим защищать границу», наши сердца наполнялись какой-то особенной радостью. Мы чувствовали себя так, словно были уже сейчас настоящими воинами.

В воскресенье 13 сентября 1942 года кто-то из проходивших обучение ребят обнаружил в одном из закоулков двора военкомата очень старый заржавевший 76-миллиметровый бронебойный снаряд. Все мы думали, что эта находка представляет собой наглядное учебное пособие (не мог же, в самом деле, находиться во дворе военкомата боевой снаряд!). Один любопытный парень предложил его разобрать. На самом деле все «бойцы» были еще самые обычные мальчишки, которые серьезно не понимали возможных последствий этой очень опасной затеи. В середине двора собралось человек двадцать допризывников – больше половины учебного взвода. Сначала кто-то предложил отвинтить головку чтобы посмотреть внутреннее содержание снаряда. Однако силы рук оказалось недостаточно. Тогда один из особо «догадливых» ребят схватил кусок кирпича и начал им бить по головке, пытаясь сдвинуть ее с места. Должен сказать, что мой отец поучал меня еще задолго до этого эпизода никогда не пытаться разбирать найденные на улице патроны. Хорошо помня отцовское наставление и понимая риск дальнейшего «изучения» снаряда, я попытался объяснить моим товарищам опасность продолжения их «экспериментов».

– Если ты боишься, можешь не смотреть и вообще уйти, – грубо ответил мне главный «испытатель».

Рассудительный Миша Гроссман решил успокоить всех:

– Раз этот снаряд нашли в военкомате, значит он учебный.

Примерно метрах в пятнадцати-двадцати от места «испытаний», на самом краю двора, стоял простой одноместный дощатый туалет. Именно в это время мне понадобилось посетить сие неказистое сооружение. Едва я только успел открыть дверь, как прямо за моей спиной раздался оглушительный взрыв, и воздушной волной едва не сорвало дверь и крышу туалета. До сих пор удивляюсь, что осколки просвистели над головой, а я остался совершенно невредимым. Сильно оглушенный громким взрывом, я некоторое время почти ничего не слышал. Когда же сообразил, в чем дело, немедленно бросился к ребятам. Взрыв снаряда поднял с сухой земли такую страшную пыль, что вокруг не стало ничего видно. Пройдя несколько метров, моя нога что-то задела. Я даже не сразу понял, что это была чья-то оторванная часть тела. Во дворе слышались душераздирающие стоны и крики о помощи.

«Где Миша? Что с ним? Жив ли?» – первое, о чем я подумал, и бросился его искать. Он полусидел, неловко опираясь окровавленными руками о землю. Рядом с ним лежали тяжело раненные ребята. На Мишу было страшно смотреть – его ноги, прежде обутые в кирзовые сапоги, являли собой кровавое месиво, осколки снаряда сильно ранили обе руки, грудь, живот. Миша находился в сильнейшем шоке и не узнавал меня, лишь тихо просил воды и звал маму. Помочь ему и другим товарищам я ничем не мог. У меня не было даже обычного брючного ремня, чтобы сделать элементарную перетяжку. Да и что перетягивать, когда всё тело было изуродовано? Только минут через пять появились, наконец, взрослые люди с носилками. Вдвоем мы понесли одного из раненых ребят в ближайший госпиталь. Осколками снаряда живот парня был полностью разворочен. Мы накрыли его красным полотнищем, которое висело на доме военкомата. Пока несли

несчастливого, он успел только с трудом шепотом сказать, что приехал сюда с мамой в эвакуацию из небольшого городка Лодейное Поле под Питером и что его отец, генерал-майор, сейчас находится на фронте. В госпиталь мы принесли носилки с телом умершего по дороге товарища. Увидевший эту печальную картину один тяжело раненый боец на костылях и с забинтованной головой развел руки и тихо произнес:

– Конечно, на фронте у нас бывало часто так, что от человека вообще ничего не оставалось. Но чтобы здесь, в таком далеком тылу... ведь совсем еще мальчишка...

Узнав о беде с Мишей, быстро сообщили его маме Ольге Михайловне, и она поспешила в госпиталь. Мишу оперировала хирург Лидия Ивановна Исаковская – жена известного поэта Михаила Исаковского.

– Уведите отсюда поскорее Ольгу Михайловну, – попросила она, – ее сын умер только что на операционном столе. Бедный мальчик, как он кричал от боли! Его брюшина была разворочена осколками снаряда... Уже умерло шесть юношей, а ведь есть еще несколько тяжело раненных...

Как потом рассказывали оставшиеся в живых ребята, главный зачинщик «испытаний», вокруг которого тесно стояли все любопытные, поднял снаряд над головой и со всего размаха бросил его под ноги...

Услышав взрыв, кто-то из интернатских ребят поспешил во двор военкомата. Там ему сказали, что один рыжий парень погиб. После этого сообщения по интернату быстро распространился слух, что погиб «наш пожарник Женька Зингер, а Мишка Гроссман остался жив».

Часа через два после трагедии я вернулся наконец в интернат. Увидев меня во дворе, одна из наших воспитательниц закричала:

– Смотрите, а «пожарник» с того света живой явился! Кто это выдумал, что Зингер погиб! Да разве такой, как он, может погибнуть?

Только что я пережил ужасную трагедию, видел погибших и умиравших товарищей, моя одежда была в крови. Услышав такие совершенно не заслуженные мною обидные слова воспитательницы, я не удержался и обозвал ее очень нехорошими грубыми словами, о чем позже сожалел. Оскорбленная дама пожаловалась директору Хохлову, и он тут же исключил меня из интерната. Я вынужден был переселиться в крохотную комнатку простого деревенского домика, где снимала угол моя мама.

Хоронить погибших ребят пришлось очень много жителей Чистополя и эвакуированных. Гробы везли в грузовиках, борта которых были опущены. Я сопровождал тело Миши Гроссмана. Многие женщины громко рыдали.

Весть о взрыве снаряда, повлекшем за собой гибель и ранения допризывников в тыловом городе, быстро донеслась до Казани и Москвы. На месте погибло шесть человек, многие были тяжело ранены осколками. Взрыв снаряда практически вывел из строя взвод будущих бойцов Красной армии! Один «информированный» местный житель утверждал, что этот самый злополучный снаряд времен Гражданской войны будто бы специально подбросил во двор военкомата какой-то поп – ярый антисоветчик. Через несколько дней в Чистополь прилетели из Казани и Москвы назойливые следователи. Они с усердием допрашивали свидетелей взрыва несколько раз, в том числе и меня, требуя ответить только на один, но крайне важный вопрос:

– Вы должны подтвердить, что ваш военрук разрешил призывникам взять этот снаряд, так как он был учебный!

Действительно, я слышал, что один из раненых парней будто бы так прямо и сказал следователю. Если это сообщение соответствовало истине, то в военное время нашему военруку грозил бы трибунал и вполне возможный расстрел. Я не видел военрука в это время во дворе и не мог знать, что он говорил или не говорил вообще, видел или не видел на самом деле снаряд. Поэтому честно отвечал следователям, что не знаю. Однако они продолжали утверждать, что военрук не только видел этот снаряд в руках призывников, но даже сказал им, что он учебный и его можно разобрать...



С отцом Максом Эммануиловичем Зингером. 1940, декабрь

Вскоре после взрыва со Сталинградского фронта прилетел в Чистополь Василий Семёнович Гроссман. Командующий армией генерал Чуйков, узнав о гибели пасынка видного писателя-фронтовика, предоставил ему на два дня свой самолет «У-2». Василий Семёнович пригласил меня в дом, где жила его жена, и попросил рассказать подробно о произошедшей трагедии и гибели Миши.

У писателя было серое лицо, ввалившиеся глаза. Он слушал меня внимательно, часто медленно покачивал головой.

– Какая нелепая смерть. Мы с Ольгой Михайловной были уверены, что спасаем от смерти нашего Мишу, отправив его сюда из Москвы, а он ее нашел здесь, в далеком тылу, – произнес мужественный фронтовик.

– Куришь? – вдруг последовал, казалось бы, не к месту вопрос.

– Немного балуюсь с ребятами махоркой, – смутившись, ответил я. – Ведь достать здесь табачок практически невозможно. Иногда стреляем бычки у гуляющих по городу летных офицеров.

Василий Семёнович взял свой походный вещевого мешок, достал из него самую настоящую фабричную пачку табака, а также две плитки шоколада и передал их мне, сопроводив словами:

– Хорошо запомни, дружок, что курение – очень вредная привычка, постарайся избавиться от нее и призывай к этому своих курящих друзей.



Перед вылетом в Москву. Подпись на фотографии: «Дорогому отцу от неудачно снятого Женьки Чистопольского. 13/V-43 г.»

...В конце 1942 года мой отец получил краткий отпуск и приехал в Чистополь с Северного флота. После крутого разговора фронтовика с директором Хохловым меня моментально вернули в интернат. Я стал просить отца, чтобы он помог мне попасть в военно-морское училище. Действительно, в начале апреля 1943 года пришло неожиданное письмо из отдела кадров Гидрографического управления Народного комиссариата военно-морского флота СССР. В нем сообщалось, что для поступления в Военно-морское училище я должен иметь законченное среднее образование, что в апреле решится вопрос об организации при училищах подготовительных курсов и тогда я смогу там получить среднее образование, после чего буду распределен в училище. Затем в Чистопольский горвоенкомат поступил запрос, согласно которому меня должны были направить в Москву для зачисления кандидатом в курсанты военно-морского училища, эвакуированного в начале войны из Выборга.

Как раз в этом училище впервые осенью 1943 года должно было открыться подготовительное отделение, то есть десятый класс.

Из Чистополя в Казань мне удалось полететь на рейсовом самолете «У-2». Пока я стоял и раздумывал на поле казанского аэродрома, каким образом следовать дальше в Москву, недалеко совершил посадку транспортный самолет «дуглас», покрашенный в защитный темно-зеленый цвет. Вскоре замерли шумливые пропеллеры, открылась дверца салона, и на землю опустили небольшую железную лесенку. По ней несколько человек в полувоенной форме спустились на землю. Я тут же подошел к ним и спросил, куда они летят дальше.



С отцом. 1944, март

– А ты кто такой? – вместо ответа последовал резкий вопрос.

Я показал им официальное предписание, в котором было написано, что мне следует явиться в военно-морское училище в Москве. Один из вышедших из самолета важных людей хитро подмигнул мне, дружелюбно хлопнул по плечу и неожиданно произнес удивительные слова:

– Давай-ка, парень, быстро лезь в самолет и замри! Мы летим как раз в Москву.

Я в одну секунду забрался в салон и замер у одного из иллюминаторов. Думал только о том, чтобы меня не засекли и не прогнали члены экипажа. Но всё обошлось, и через минут сорок наш самолет был уже в воздухе. Теперь меня сверлила другая опасливая мысль: «А вдруг самолет изменит свой курс, и тогда вместо Москвы я окажусь совсем в другом месте?» Вскоре ко мне подошел один из летчиков.

– Я ведь видел, как ты сел в Казани в наш самолет без разрешения. Мы сядем на военном аэродроме, где тебя ждут большие неприятности, – сердито сказал этот человек, оказавшийся бортмехаником.

Я вынул из кармана официальные бумаги и стал объяснять, с какой целью сел в самолет, но летчик вдруг резко перебил меня:

– Да ладно! Не выкидывать же, в самом деле, тебя сейчас из самолета! Скажи-ка лучше мне, будущий моряк, есть ли у тебя водка?

На мое счастье, отец дал мне в дорогу на всякий пожарный случай две чекушки водки. Они мгновенно перекочевали в карманы кожанки шустрого вымогателя. Зато с этого момента я уже мог совершенно спокойно продолжать полет до столицы. Более того, бортмеханик обещал вывести меня в город за черту небольшого строго охраняемого военного аэродрома, принадлежавшего какому-то номерному авиационному заводу в Филях. Действительно, с помощью бортмеханика самолета я без всяких помех преодолел все посты охраны аэродрома и вскоре уже ехал в трамвае. Так благополучно я достиг своего родного московского дома № 56 на Большой Грузинской улице. Это было больше похоже на сказку!

В том же доме жил и мой друг детства Ванюшка Кириллов. Его отец работал дворником в нашем большом дворе. В первые дни войны дядя Федя ушел на фронт и вскоре погиб. Сам Ваня был на год старше меня и имел отсрочку от призыва, так как

работал слесарем на военном заводе. По поводу неожиданной встречи мы устроили невиданное по меркам военного времени застолье. Дело в том, что, когда мой отец возвращался с фронта домой, он специально оставлял в шкафу продукты, полученные в качестве сухого пайка во время краткого пребывания в Москве. Эти продукты предназначались для мамы и меня, когда мы вернемся домой из эвакуации. За неделю с помощью своего закадычного друга Ивана я все их прикончил!

Прежде чем поступить кандидатом в курсанты училища, мне необходимо было пройти медицинскую комиссию в районной поликлинике. Со всеми врачами проблем не было. Споткнулся я, когда немолодая женщина-офтальмолог осмотрела мои глаза.

Очков я не носил, но близорукость была большая. После осмотра врач сказала:

– По глазам вы не можете быть зачислены в училище, так как у вас близорукость выше положенной нормы. Но я пойду вам навстречу и напишу «годен». А знаете почему? Потому, что мой сын – курсант военно-морского училища!

Скоро я собрал все необходимые документы и отправился на Волоколамское шоссе. Там, недалеко от развязки с Ленинградским шоссе, располагалось Военно-морское хозяйственное училище, переехавшее после начала войны из Выборга в Москву. Готовило оно флотских интендантов. До войны в зданиях училища находился текстильный (или пищевой) институт. Вахтенный офицер привел меня к начальнику училища капитану второго ранга Кацадзе. За глаза все курсанты обычно называли его просто «Кацо». Он ознакомился с моими документами и затем вызвал к себе какого-то офицера.

– Этот товарищ – допризывник, – сообщил ему «Кацо». – Осенью перед началом занятий он должен быть зачислен кандидатом в курсанты на подготовительное отделение, а пока оформите его в комендантскую роту, о чем подготовьте соответствующий приказ по училищу.



В военно-морском училище. 1943, июнь

19 мая 1943 года я оказался самым первым кандидатом в курсанты, так как прибыл в расположение училища раньше других. Через неделю были приняты в училище еще пять кандидатов. Меня вместе с Серёжей Егоровым и Юрой Тарасовым поселили в кубрике (комнате) № 2. Вскоре нас набралась так много, что была создана рота, командиром которой назначили начальника кадровой команды училища мичмана Карлашова. Он недавно вернулся из фронтового госпиталя после ранения. Первоначально все кандидаты занимались грязной работой – дежурили по кубрикам, чистили гальюны и другие, более приятные помещения. Больше всего нам не нравился приказ рыть глубокие ямы во дворе, а затем их же засыпать. По этому поводу мы выразили нашему командиру свое неудовольствие:

– Товарищ мичман! Вы можете объяснить необходимость копания и последующего засыпания этих никому ненужных ям?

Наш славный командир рассмеялся и ответил, для чего заставляет это делать:

– Моя задача, молодые люди, состоит в том, чтобы приучить вас с первых дней пребывания в нашем училище к железной дисциплине и беспрекословному выполнению приказов своих командиров. Я хочу сделать из вас крепких мужиков, настоящих морских офицеров. Теперь вы, надеюсь, поняли, для чего я придумал эти упражнения с лопатой?

Пятого июня мичман Карлашов выдал мне на линейке новое задание:

– С завтрашнего дня будешь возить ежедневно в училище всю корреспонденцию. Почта находится недалеко от Белорусского вокзала. Завтра утром выдам тебе пачку увольнительных, их тебе хватит на целый месяц! Благодаря им сможешь беспрепятственно выходить из училища в город и возвращаться назад. Понял?

– Так точно, товарищ мичман! – отчеканил я.

Каждый день после завтрака я отправлялся с «толстой сумкой на плече» на почту, где забирал много газет, журналов и писем. Особое удовлетворение от такой работы я испытывал тогда, когда по дороге иногда удавалось забежать в свою квартиру, находившуюся в том же районе. Так продолжалось практически до самого начала занятий.

По училищу был издан приказ об обязательном прохождении специальной военной медкомиссии во главе с полковником медицинской службы. На этот раз мой номер не прошел: после проверки зрения я был отчислен из кандидатов в курсанты. Предстояло срочно покинуть училище.

– Жаль с тобой расставаться, – сказал мне на прощание мичман Карлашов. – Ты толковый, дисциплинированный человек, у тебя уживчивый характер и веселый нрав. Короче, из тебя мог бы выйти вполне нормальный морской офицер!

– Я мечтал о морской карьере. Что же мне теперь делать?

– Уверен, что ты выберешь правильный путь, – заметил мичман. – Вечером я дам тебе тридцать увольнительных, и ты тогда сможешь беспрепятственно приезжать к нам целый месяц и обедать вместе с остальными новобранцами из моей роты.

Будучи по натуре благородным человеком, мичман понимал, что пока я не устроюсь куда-то на работу, мне придется очень туго. Теперь же, имея в кармане такой неожиданный, а главное, ценный подарок, я получил возможность приезжать в училище каждый день и хорошенько обедать. Прибыв в точно установленное время к обеду, я становился на разводе роты самым последним, а затем вместе с остальными кандидатами в курсанты бодрым шагом направлялся в столовую «принять» положенную им пищу. На еду отводилось до обидного мало времени. Поэтому следовало буквально глотать первое блюдо, иначе вместо второго блюда можно было услышать грозную команду «Встать». В отличие от многих ребят, которые еще не привыкли быстро съесть весь обед, я довольно легко освоил скоростной метод уничтожения первого и второго блюд, киселя или компота.



С друзьями. Проводы в Арктику. 17 июня 1944

Но очень быстро месяц, а с ним увольнительные в училище и такая удобная и бесплатная еда, увы, закончились... До моего призыва в Красную армию оставалось еще целых два месяца...

Леонид Стонов Чистополь в моей жизни

Мой папа, писатель Дмитрий Миронович Стонов, любил повторять, что его можно заставить замолчать, но нельзя заставить писать что-то против воли. Дед, Меир Влодавский, был купцом первой гильдии, арендатором имений. Еще до окончания коммерческого училища отец работал на ткацкой фабрике в Лодзи, встретил революцию на Валдае, где арестовал пристава, стал большевиком. В Полтаве редактировал губернскую газету, познакомился с Владимиром Короленко, перед которым преклонялся всю жизнь. Был в рабочей оппозиции Шляпникова, а вскоре вышел из партии и переехал в Москву, очень рано поняв трагедию России. Папу мало печатали, он никогда не был писателем-функционером и приспособленцем. Ему очень повезло: в 1928 году на курорте в Новом Афоне он встретил Анну Зиновьевну Идлин, 24-летнюю учительницу биологии из Харькова, которая стала его женой, тонко чувствовала литературу и оберегала его для творчества.



Леонид Дмитриевич Стонов. 2001

Мамин отец, Зиновий Семёнович Идлин, работал в типографии сначала в Полтаве, а потом – в Москве. Мать Роза Лазаревна, урожденная Хайкина, была кротким и очень добрым человеком; отец всю жизнь помогал людям, и при этом отличался удивительной скромностью.

Мои родители в тридцатых годах очень много путешествовали, о поездках на лошадях по Алтаю и по европейскому Северу России папа выпустил две книги. Они хорошо знали жизнь и много сделали для того, чтобы я правильно понимал современные реалии.

Как сложилась наша жизнь после Чистополя?

Папа вернулся с войны летом 1944 года тяжело контуженным. Работал в Совинформбюро и в Литературном институте, написал несколько повестей и рассказов о войне. Мама вернулась к преподаванию биологии в школе. В январе 1944 года нам привезли из освобожденного Харькова мою двоюродную сестру – четырехлетнюю Алёну, маму которой – Беллу Зиновьевну Идлин – расстреляли немцы. Девочка чудом уцелела и была удочерена моими родителями, она умерла в Израиле от лейкемии в 1995 году.



Дмитрий Миронович и Анна Зиновьевна Стоновы и Леонид Стонов с женой Натальей. Кон. 1950-х

В ночь с 12 на 13 марта 1949 года отец был арестован и после полугодового следствия на Лубянке особым совещанием был приговорен к десяти годам лагерей за антисоветскую агитацию и пропаганду. По свидетельству его товарищей-заклученных он вел себя очень мужественно. Моя мама ездила в 1951 году к папе в лагерь в Красноярском крае. 20 августа 1954 года папа был полностью реабилитирован и освобожден. Он написал серию рассказов о лагерях («Прошедшей ночью»), которые мы долго прятали и издали только после его смерти от инфаркта в 1962 году.

Мама продолжала свою общественную работу, будучи более сорока лет председателем Совета жен писателей-фронтовиков. Я не видел в жизни других таких людей, нацеленных исключительно на помощь обездоленным и нуждающимся. Мама умерла в возрасте 97 лет от рака. Надеюсь, о маме – общественнице и учителе – напишут другие люди.

Я в 1949 году по совету мамы поступил, а в 1954-м окончил биолого-почвенный факультет МГУ. Мы скрывали все пять лет то, что папа в это время был репрессирован. Учился я без всякого интереса, но потом увлекся защитой растений, стал заведующим лабораторией гербицидов, защитил кандидатскую диссертацию, которую оценили как докторскую, написал много статей и несколько книг. Моя жена Наташа по образованию – детский врач, кандидат наук в области генетики. Сын Саша – тоже врач, анестезиолог. У нас сейчас трое внуков.



Белла Идлин-Волосевич с подругой. 1920-е

В 1979 году мы приняли решение эмигрировать, но в течение более одиннадцати лет нас не выпускали под предлогом того, что мы были осведомлены о каких-то секретах. Мы долго боролись за право уехать, нас власти обвиняли в тунеядстве, завели уголовное дело, всячески препятствовали поискам работы, отобрали мои ученые степени. Совместно с другими отказниками мы организовали общественный совет по мониторингу работы ОВИРа, юридический семинар по проблемам эмиграции, а также первое в истории советско-американское бюро по правам человека и соблюдению законности. В первой половине жизни я занимался защитой растений, а во второй – защитой людей. 7 декабря 1990 года мы прибыли в Чикаго, где живем и работаем с тех пор. За эти годы я организовал несколько бюро по правам человека в разных странах бывшего СССР и являюсь их международным директором в правозащитной американской организации Union of Councils.

Получилась длинная биография. Если коротко – родился, учился, женился, работал, имел детей и внуков... И БЫЛ В ЧИСТОПОЛЕ, что многое определило в дальнейшем мироощущении и поведении. Я благодарен всем, кто помогал нам в Чистополе. Принявшись за эти записки, я был удивлен, что смог воскресить в себе дух и настроение долгих месяцев чистопольской эвакуации, хотя помню только обрывки конкретных событий и впечатлений.



Анна Стонова с сестрой Беллой Идлин-Волосевич. 1940, лето

Я панически боялся, что немцы возьмут и разрушат Москву, мне в Чистополе всё время снился один и тот же сон: немцы шагают по Москве, и мы оказываемся в их руках. Я знал, что немцы поголовно истребляют евреев, и всё время думал о нашей доле. Я и сейчас не совсем избавился от того страха... Как-то, когда немцев уже отогнали от Москвы, – наверное, летом 1942 года – какой-то самолет на большой высоте облетел Чистополь – ходили слухи, что это был немецкий разведчик. В это же время немцы начали рваться к Волге. Помню фрагменты взволнованных обсуждений взрослыми судьбы нашего интерната – куда и как бежать в случае приближения немцев, особенно зимой (ведь в Чистополе не было железной дороги, навигация на Каме начиналась поздней весной и заканчивалась ранней осенью, зимой выбраться дальше – в направлении Башкирии – можно было только на телеге, а зимы в ту пору были суровыми – неделями держались двадцати-тридцатиградусные морозы – и очень снежными). Говорили, что на заборах появлялись антимосковские призывы, эвакуированные всего боялись, хотя драк с участием взрослых я не помню; а вот драки наших старших ребят с местными помню – видел и слышал. Поэтому мы обычно ходили группами, часто даже в школу в сопровождении взрослых. Если температура воздуха понижалась до минус двадцати шести, школы закрывались. Мы не любили школу, поэтому радовались этим дням. Но от интерната не было видно пожарной каланчи и флага, поднимаемого в случае таких морозов, поэтому кто-нибудь забирался на возвышение в противоположном от интерната направлении и оттуда махал ребятам, куда идти – домой или в школу. Несколько раз, когда морозы казались сильными, но флага не было, мы «белили» щеки мелом и возвращались в интернат, встречая сочувствие взрослых. Правда, вскоре нас разоблачили...



Анна Зиновьевна и Дмитрий Миронович

Отрывочно помню прощание сначала во дворе Литфонда на Тверском бульваре, а потом на Казанском вокзале Москвы в полдень 6 июля 1941 года, большую взволнованную толпу остающихся и среди них моего папу (мама была приглашена Литфондом на работу заведующей интернатом и ехала с нами). Несколько плацкартных вагонов были заполнены детьми и сопровождавшими взрослыми, ехали по тем временам довольно комфортабельно, но долго, суток трое-пятеро, иногда там, где была одноколейка, пропуская на запад встречные составы с войсками и техникой. Помню мрачные лица солдат, отправлявшихся на верную смерть...

В Казани переехали с вокзала на пристань и через несколько часов плавания пароходом по Каме оказались в Берсуте, заняв огромное здание Дома отдыха Татарского совнаркома. Говорили, что подвалы были полны продуктами, поэтому мы беды не знали. Берсут запомнился мачтовым, янтарного цвета сосновым лесом, подступавшим к самому дому отдыха, и большими куртинами разнообразных ягодников. Помню ночами доносившиеся с пристани рыдания – это женщины провожали мобилизованных мужчин на войну. Больше в жизни никогда не слышал такого массового людского воя.

Осенью 1941 года интернат переехал в Чистополь. От пристани мы поднялись вверх к собору, дальше шли высоким берегом Камы через город и, миновав центральную площадь, оказались на улице Володарского в Доме крестьянина (кирпичный купеческий крепкий особняк), где прожили до осени 1943 года. Поскольку дом был заселен детьми, по-прежнему приезжавшие в город крестьяне ютились где-то неподалеку, а лошади с телегами располагались в деревянных крытых отсеках большого двора. Мы часто занимались тем, что собирали колоски пшеницы из телег и подбирали их с земли, вымолачивали зерно, помещали в мешочки, это была тогдашняя «валюта» для разного рода внутреннего обмена (на сахар рафинад, например), да и пшеничная каша из этого зерна была вкусной и очень сытной. Еще помню, что мы издевались над эвакуированным из Польши человеком – Прилуцким, которого мы дразнили Пилсудским, он работал завхозом в интернате. Был очень аккуратно одет, сапоги всегда начищены. Это нас, ребят, раздражало, и мы на пороге его маленького сарая несколько раз вырывали небольшую ямку, обмазывали ее внутри глиной, заливали водой, накрывая сверху ветками и землей. Подходя к входу и открывая ключом сарай, Прилуцкий ногой обязательно попадал в грязную воду... Жестокие мальчишки... Из других воспоминаний о постыдном.



Леонид Стонов. 1945–1946

В нашей комнате на стене висел шкафчик, где наша воспитательница Флора Моисеевна Лейтес хранила продукты из полученных ребятами посылок, выдавая их порциями. Две передние дверки шкафчика имели просвет, и мы, всегда голодные, ночью с помощью длинного ножа доставали через эту щель и съедали кусочки пирога, принадлежавшего кому-то из ребят. Дело кончилось скандалом. Еще мы обучились тому, как «закусить» лишнюю порцию второго во время обеда. Тарелка с едой незаметно со стола переключивалась на колени под скатерть. Нас, маленьких, обслуживали подавальщицы из старших девочек, и мы кричали, что второго не получали.

Почему-то этот простой способ оказался очень живучим. Особенно мы любили одну не очень наблюдательную официантку, которая бегала по столовой и почти пела: «Подождите, подождите, вас много – я одна...»

Не помню, из-за чего мы дрались, но часто вечером после отбоя вдруг начинались подушечные бои, когда подушки летели на головы друг друга, иногда было даже больно, часто наволочки рвались, и вата из подушек оказывалась на полу. На шум спешили воспитатели, так что эти бои были непродолжительными.

Весной 1942 года интернат получил землю для общественного огорода, туда ходили мимо тюрьмы, мимо здания эвакуированного из Москвы Второго часового завода и кладбища. Среди эвакуированных была агроном, кажется, жена писателя Гордона, которая, прослышав о рекордных (скорее всего пропагандистских) довоенных урожаях в Татарии, засеяла огромное поле просом. Эта культура обычно плохо противостоит сорнякам и нуждается в многократной ручной прополке. Поэтому все лето 1942 года мы провели на прополке, ползая на коленях по полю. Жара и пыль донимали. Урожай, видимо, был приличный, ибо всю последующую осень и зиму мы каждый день имели

пшенный суп – почему-то он не надоедал. В следующем году мы посадили в основном картофель, получили хороший урожай, и осенью был устроен обед, когда можно было есть вареную картошку сколько захочешь. Много мешков было привезено в Москву и сдано в Дом творчества писателей в Голицыно, где поселились ребята, чьи родители еще не возвратились с фронта в Москву



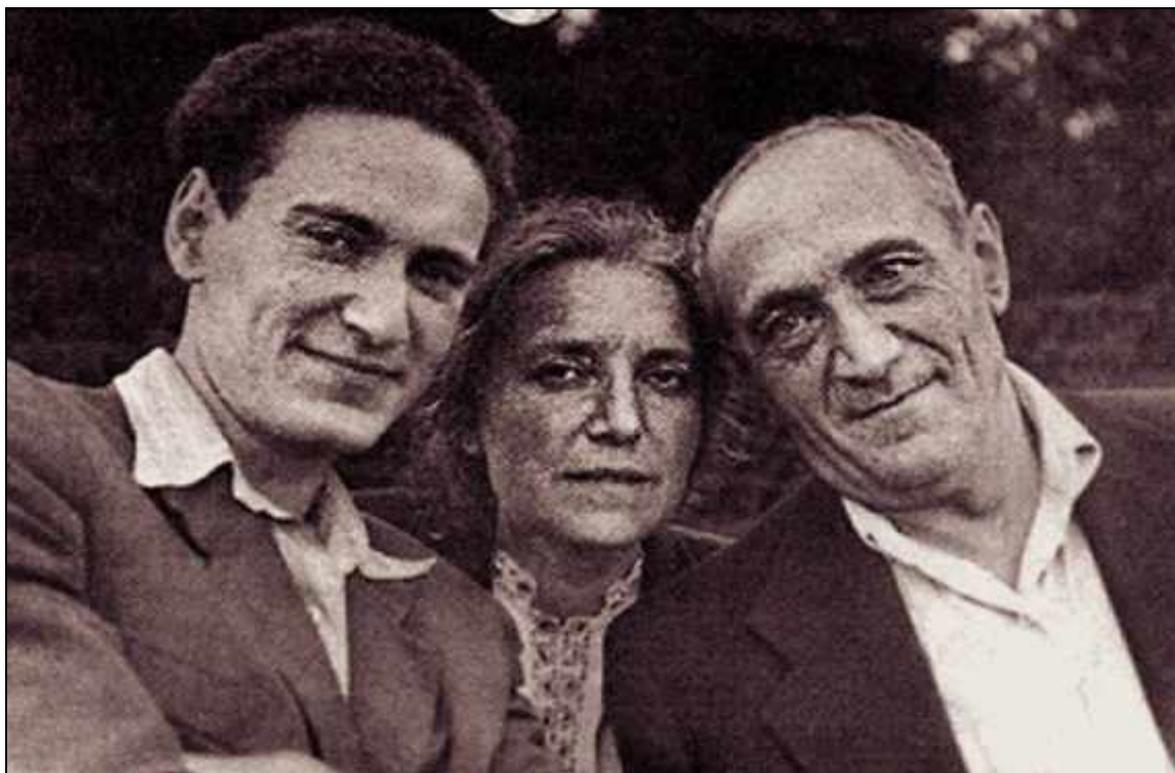
Запуски кораблика. Слева – Ира Казина, крайний справа – Лёня. Короп (около Чернигова), 1938, лето

Хорошо помню путь в Москву из Чистополя на старом пароходе (кажется «Абдул Тукаев»), где стены и каюты были отделаны красным деревом, в залах поражали огромные зеркала и хрустальные люстры. Но пароход скрипел и свистел, как старый астматик, мы носились по палубе, а когда увидели шпиль Химкинского речного вокзала, стали кричать «Ура!» до тех пор, пока не пришвартовались, – наверное, более часа. Огромная радость охватила всех!

В сентябре 1990 года вместе с Ирвином Котляром, известным юристом из Канады, я навещал в чистопольской тюрьме последнего советского политического заключенного Михаила Казачкова. С нами из Казани в Чистополь ездили министр внутренних дел Татарии и начальник управления тюрем и лагерей. На противоположном берегу для нас специально задержали паром, и мы въехали в город со стороны пристани, как это было и в сорок первом. Меня очень взволновала эта поездка и особенно посещение тюрьмы, мимо которой мы часто ходили на огород.

С Мишей Казачковым мы беседовали в кабинете начальника тюрьмы, где открыто работал магнитофон. Мы привезли в подарок Мише книгу сидевшего ранее в этой тюрьме Анатолия Щаранского (на английском языке), которую нам вначале не разрешили передать. Но начальник стал интересоваться, что написал недавно освобожденный из этой тюрьмы Щаранский о нем и о режиме. Мы сказали: «Миша вам переведет, если отдадите ему книгу». Фрукты и овощи, которые мы привезли Мише, были тщательно просмотрены надзирателем. После свидания с Мишей нас провели по камерам и по цеху плетения рыболовных сетей, мы беседовали с несколькими заключенными, приговоренными к смертной казни с заменой ее на пятнадцати– или двадцатипятилетний срок. Все говорили, что не были виноваты в инкриминируемых им преступлениях, только один парень гордился тем, что убил председателя колхоза. Мы заранее сказали, что хотим посетить медицинскую комнату тюрьмы, но она была закрыта, врач ушел на... обед. В сорок первом – сорок третьем годах снаружи мне эта

тюрьма казалась гораздо страшнее, чем внутри в девяностом – может быть, потому, что был расцвет перестройки... После тюрьмы нас повезли на обед, причем ресторан оказался прямо напротив Дома крестьянина (при нас напротив интерната были какие-то одноэтажные дома, теперь тут был целый квартал двух-трехэтажных жилых домов). Я не мог отлучаться надолго, так как Ирвин не знал русского языка и нельзя было оставить его одного с эмвэдэшниками. Но когда я поведал всей компании, что жил напротив этого места почти пятьдесят лет назад, то был отпущен на десять минут, а начальник тюрем и лагерей Татарии тут же буквально сбегал в книжный магазин и подарил мне замечательную книгу «Чистопольские страницы» – статьи и воспоминания эвакуированных писателей о жизни писательской колонии и интерната во время войны в Чистополе. Двор Дома крестьянина, как это обычно бывает, когда попадаешь туда, где не был с детства, показался мне маленьким и убогим. Внутри дома я зайти не успел. После обеда мы заторопились на паромную переправу – вечером надо было вылетать из Казани в Москву. С тех пор я мечтаю еще раз – но уже неспешно – посетить Чистополь.

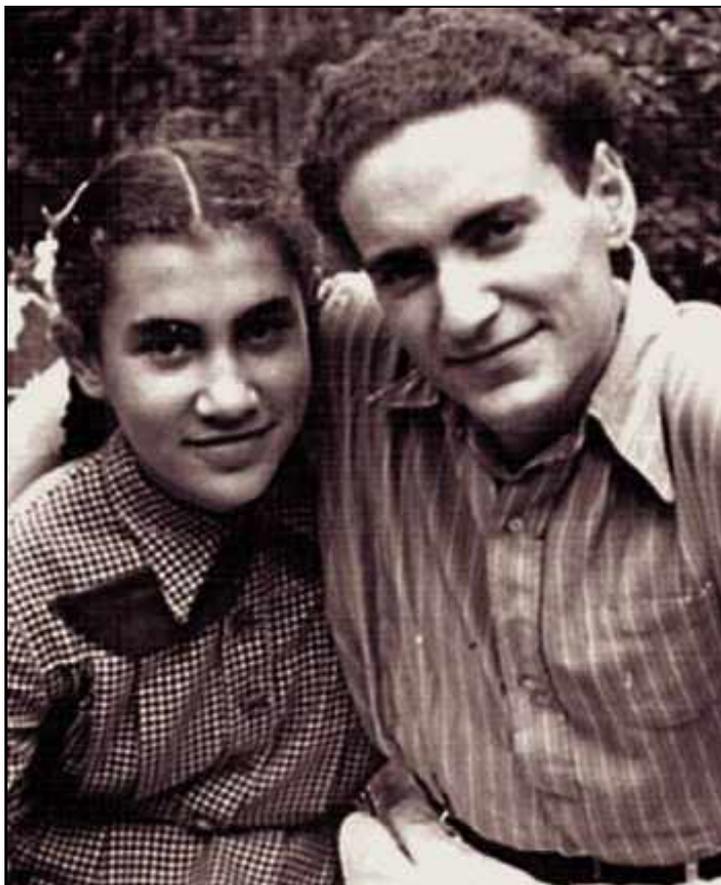


С родителями, после возвращения отца из лагеря

Возвращаясь обратно к пристани, мы проехали улицей, где, помню, жили Леонид Леонов, Константин Тренёв и Константин Федин (когда папа осенью сорок первого – перед уходом на фронт – приезжал на неделю в Чистополь, мы посещали Леонова и Федина). Интересно, кто рассказал Евгению Евтушенко, автору замечательного стихотворения «Мед», историю о том, как богатый Леонов, запасаясь продуктами на холодную зиму, купил на местном базаре бочонок меда, оставив без этого драгоценного продукта стоявших за ним в очереди людей с пустыми стаканчиками в руках? Я помню Бориса Пастернака и его дом на косогоре, над Камой, его рассказ, как он заготавливал дрова, вылавливая в ледяной воде бревна, отбившиеся от сплава. Помню, мы смотрели, как наши старшие ребята (вижу почему-то только Тимура Гайдара) заготавливали лед для погребов, выпиливая огромные брусы из замерзшей Камы и перевозя их на телеге в интернат. Некоторые воспоминания похожи на кадры кинохроники: колонна заключенных под охраной солдат в белых полушубках идет в городскую баню, наши походы туда же, игру Стасика Нейгауза на рояле в столовой вечером, приехавшего с фронта на побывку Анатолия Софронова. Тогда еще худой, молодой и не обремененный ксенофобией и подлыми поступками, он поет только что сочиненную им песню «Ростов-город, Ростов-Дон», аккомпанируя себе на аккордеоне. Помню Илью Сельвинского, рассказывающего о прифронтовой Москве. Мы завидовали

детям писателей, приехавших с фронта и привозивших в подарок немецкие ордена-кресты – предел наших тогдашних трофейных мечтаний. Помню немецких детей писателей-политэмигрантов – Конрада Вольфа и Гришу Куреллу (с которым я впоследствии учился на биофаке МГУ), а также Эву, дочь писательницы Ванды Василевской.

Помню трагические события – похороны насмерть простудившейся в ближайшем колхозе юной Фриды Годинер, самоубийство жены поэта Григория Санникова, взрыв снаряда на учебном полигоне и гибель пасынка Василия Гроссмана Миши. Почему-то я запомнил всё, что было в Чистополе только в чернобелом контрастном варианте, ни одно событие и место не видятся цветными.



Леонид Стонов с двоюродной сестрой Алёной, дочерью Беллы Идлин-Волосевич

Старшие ребята рассказывали, что, проходя как-то мимо городского музея, заметили около мусорного ящика и привели в интернат худого оборванного старика. Это был Николай Петрович Сычѳв, крупнейший искусствовед и художник, высланный из Ленинграда в 1935 году и потерявший семью. Николай Петрович был зачислен в штат интерната, ему выдали ватный костюм и прикрепили к нашей столовой. Раз в неделю в течение примерно года он читал нам блестящие лекции по русскому изобразительному искусству. Когда мы уезжали из Чистополя, он подарил маме на память нарисованный тушью блестящий небольшой офорт «У Камы», который и сейчас висит у нас дома. В 1947 году, когда Николаю Петровичу после хлопот Игоря Грабаря разрешили жить в Рязани, он консультировал первую реставрацию Московского Кремля, но не имел права даже переночевать в Москве... После смерти Сталина и реабилитации Николай Петрович несколько раз заходил к нам домой на Лаврушинский.



Анна Зиновьевна Стонова (посередине) с сыном Леонидом и его женой Натальей. США

Наши воспитатели и медицинская сестра Ирина Николаевна (мы называли ее Ирник) старались создать в интернате возвышенную духовную атмосферу любви, заботы, уважения и надежды. Хорошо помню воспитателя нашей группы удивительно эрудированую Флору Моисеевну Лейтес, привившую нам любовь к истории и литературе. Моя мама на всю оставшуюся жизнь подружилась с Елизаветой Эммануиловной Лойтер, которая впоследствии выступала вместе с великим чтецом Владимиром Яхонтовым и придумала новый музыковедческий жанр – лекции о музыке перед концертами с исполнением иллюстративных фрагментов. Она устраивала музыкальные вечера в столовой интерната, исполняя пьесы Чайковского, Рахманинова, Бетховена. Она написала замечательную музыку на стихотворение своего мужа поэта Ильи Френкеля «Давай закурим!», но почему-то в Москве зазвучала и укоренилась очень похожая музыка композитора Табачникова. Видимо, под влиянием Елизаветы Эммануиловны мама зимой 1941 года решила учить меня музыке. Меня прослушивала эвакуированная преподавательница Гнесинского училища. Это было в кинотеатре в районе центральной площади Чистополя, я что-то жалобно пел в пустом и холодном зале, кажется «Сурка» Бетховена («И мой сурок со мною...»). Преподавательница предположила у меня абсолютный слух и рекомендовала учиться игре на скрипке, но скрипки не было, да и особой охоты учиться тогда музыке тоже не было.

Мама рассказывала мне, что в конце августа 1941 года, когда Елизавете Эммануиловне нужно было срочно поехать из Чистополя в Казань и она стояла в бесконечной очереди в кассу на пристани, чтобы купить билет, к ней подошла совершенно растерянная женщина – это была Марина Цветаева – и попросила Лойтер купить ей билет до Елабуги. Она сказала: «Я искала интеллигентное лицо, я совершенно не могу быть в этой толпе».

Я помню директора интерната Якова Фёдоровича Хохлова, грубого сановного человека, до войны бывшего директором Дома творчества писателей в Ялте, и его двух рослых сыновей. Мне всегда хотелось спросить его, почему он не на фронте... На кухне тяжело работала Зинаида Николаевна Пастернак, часто приходила к нам милая Анна Марковна Ивич и другие мамы, чьи дети жили в интернате (или в интернатском детском саду). Все старались не падать духом и не показывать отчаяния или настроения безнадежности, поддерживая друг друга. Особенной выдержкой и оптимизмом отличались наши воспитатели, не оставляя нас ни на минуту наедине со своими мыслями, придумывая разные занятия, включая театральные постановки (помню «Три апельсина»). В интернате также всегда отмечали советские праздники, а 7 Ноября заслушивали доклад об «успехах советского строя». Собирались в столовой, даже выбирали президиум, при этом говорилось: «От партийного комитета – товарищ Бляхина». Поэтому при начале любого заседания или собрания кто-то из ребят под

общий смех всегда выкрикивал: «А от партийного комитета товарища Бляхину» – ита направлялась в президиум даже при этом выкрике.

Конечно же, детское восприятие действительности отличалось от взрослого, порой оно было более обостренным. Но в общем, наверное, мы легче переносили психологические тяготы того времени потому, что все время жили на людях. Жили надеждой на скорое возвращение в Москву, но даже после Сталинградской битвы понимали, что до победы еще очень далеко.

Мне кажется, что воспоминания о чистопольских днях и чистопольский опыт помогли мне впоследствии легче перенести те испытания, которые выпали на долю нашей семьи после войны (я имею в виду послевоенную кампанию борьбы с космополитизмом, арест моего отца, разгром Еврейского антифашистского комитета и т. д.).

Гедда Шор ВОЙНА, Семья, эвакуация

Отец, Александр Германович Шор, родился 4/17 мая 1876 года в Ростове-на-Дону. Двоюродный брат отца – известный пианист и издатель музыкальной литературы, общественный деятель Давид Шор в двадцатых годах эмигрировал в Палестину. Братья матери нашего отца – доктор С.Я. Эйнгорн, основатель и директор Санкт-Петербургского института ортопедии по методу Цандера, лечил вдовствующую императрицу Марию Федоровну; А.Я. Чернов (Эйнгорн), певец, артист Мариинского театра.



Гедда Шор. Чистополь, 1942

В 1904 году мой отец окончил Московскую консерваторию по классу К.Н. Игумнова. В том же году он основал частную консерваторию, ставившую целью охват музыкальной культурой широкого круга одаренных людей. Консерватория стала, по сути, университетом культуры, известным как «Курсы музыки, оперы, драмы и хореографии А.Г. Шора». Со временем открылись классы живописи, скульптуры и музыкальной киноиллюстрации. Отец собрал блестящую плеяду преподавателей, среди них музыканты Г.А. Крейн, А.Я. Данцигер, Л.Г. Плотникова, Е.В. Гвоздков, солисты Большого театра и оркестра С.А. Кусевицкого, проф. О.К. Петрашевская; класс истории музыки: Д.С. Шор, Л.Л. Сабанеев; балетмейстер М. Мордкин; художник И. Машков; недолгое время – А. Голубкина; актеры Е. Вахтангов, А. Таиров, М. Чехов, А. Сумбатов-Южин, И. Певцов, А. Нелидов, В. Пудовкин, Л. Кулешов.



Александр Германович Шор и Маргарита Ильинична Ивенсен-Шор. 1931

В благотворительных камерных концертах, даваемых силами педагогического и студенческого составов этих курсов, принимали участие Ф. Шаляпин, Л. Собинов, М. Блюменталь-Тамарина, И. Москвин, Е. Гельцер, Н. Тэффи. Во время Первой мировой войны средства от концертов шли в госпитали, в пользу раненых, инвалидов и их семей, в детские приюты.

За двадцать лет своего существования курсы не получали никаких дотаций, при этом многие студенты освобождались от платы за обучение. В 1924 году курсы прекратили свое существование. Помещения, которые арендовал отец, были превращены в коммунальные квартиры.

Яркая, полная энергии общественно-полезная жизнь отца перешла в новую фазу, столь не похожую на прежние годы. Это привело к тому, что как я уже писала, отец тяжело заболел. Он пережил клиническую смерть, стал инвалидом. Но продолжал работать, давая частные уроки музыки у себя дома, иногда после целой ночи сердечных приступов и ставших уже привычными ночных приездов скорой помощи...

Мама – Маргарита Ильинична Шор-Ивенсен урожденная Симонович. Ее отец, наш дед, Илья Симонович, был из купеческой семьи. Мать нашего дедушки, мамина бабушка, урожденная Гиршман, была родной сестрой Владимира Гиршмана, фабриканта и мецената, собирателя произведений русской живописи и прикладного искусства. Моя мама доводилась ему внучатой племянницей. Владимир Гиршман увековечен известным портретом Валентина Серова. В 1900-х годах Илья Симонович женился на Луизе Ивановне Паулин, нашей бабушке, латышке, рижанке, дочери столяра-краснодеревщика Яна (Ивана) Паулина и Екатерины Вайде. Корни семьи были крестьянские.

В последние десять лет жизни мама страстно увлеклась своей генеалогией по материнской линии. Работа над архивами привела ее к Петровским временам, к сподвижнику Петра – генералу Адаму Адамовичу Вайде, ее пращуру. Мама вела активную переписку с Рижским архивом, с ЦГАДА [20], где ее разыскания внушали уважение сотрудникам. Ее называли «наш Шлиман» и с интересом и вниманием относились к ее попутным находкам или замечаниям по поводу тех или иных исторических событий и лиц.



Агда и Гедда. Сер. 1930-х

Возвращаюсь к маминым юным годам. С детства она рисовала, с юных лет писала стихи, а в 1922 году начала всерьез заниматься живописью у Ильи Машкова, преподававшего на курсах А.Г. Шора. В середине 1920-х годов Маргарита Симонович стала женой А.Г. Шора. После рождения дочерей ей пришлось оставить регулярные занятия живописью. Но она продолжала писать стихи.

Самыми любимыми поэтами мамы в то время были Блок и Пастернак, потом Цветаева. Любимые писатели – Кнут Гамсун, Марсель Пруст, Иван Бунин. Мы с сестрой были уже взрослыми, когда мама призналась как-то, что более всего она боялась, что мы можем вырасти равнодушными к поэзии: «Как же тогда мы будем понимать друг друга?..» Возможно, именно это опасение направило ее творчество к поэзии детской, в которой она успешно реализовалась.

В 30-х годах мама начала печататься. Она писала лирические стихи и песни для детей.

Много работала для детского радиовещания, стала автором нескольких детских радиопередач. Тогда еще не было телевидения, так что радио занимало большое место в нашей жизни. Стихи и песни из маминых передач дети знали наизусть, распевали их всюду. Отдельные ее лирические стихи печатались и переиздавались в хрестоматиях.

В 1934 году мама вступила в Союз писателей, взяв псевдоним Маргарита Ивенсен, и с этим именем вошла в детскую литературу. В послевоенные годы занималась переводами, много работала с композиторами А. Александровым, А. Пахмутовой, Е. Тиличеевой, Г. Фридом, М. Раухвергером.



Детские поэты во дворе Дома Герцена на Тверском бульваре. 1932–1933. Стоит – Зинаида Александрова, сидят Нина Саконская с сыном Александром Соколовским, Маргарита Ивенсен с дочерью

Мало кто знал, что она писала не только детские стихи. Незадолго до конца, очень больная, она уничтожила свои архивы. После ее смерти, разбирая уцелевшие рукописи, мы не обнаружили большей части ее стихов.

«Поэтом нашего детства» назвал маму Давид Самойлов, подготавливая к печати небольшую подборку ее «взрослых» стихов, которую он, увы, не успел осуществить.

Вспоминая маму, он писал (привожу с сокращением): «Маргарита Ильинична никогда не читала своих "взрослых" стихов. "Взрослые" ее стихи я узнал совсем недавно, после ее смерти... Стихи эти талантливые, живые. Маргарита Ильинична никогда не требовала от жизни материальных благ или громкой славы. Она больше всего ценила дружбу и любовь, поэзию и красоту. Прочитав эти стихи, невольно сожалеешь, что их осталось так мало и что Маргарита Ивенсен навсегда останется в нашей памяти как автор детских стихов...»

Через семнадцать лет после маминого ухода мы с сестрой возобновили попытки напечатать ее взрослые стихи. Всё, что нам удалось разыскать, написанное в разное время и, в иных случаях, восстановленное по памяти, моя сестра послала Иосифу Бродскому – он был последней маминой любовью в современной поэзии. В ответном письме Агде Иосиф Александрович пишет: «Среди стихов Вашей покойной матушки есть несколько стихотворений совершенно замечательных...» И далее: «Трудно предположить, что человек с таким качеством стиха действительно мог уничтожить свои произведения...» Он советовал поискать мамины стихи вне дома.

«...Поверьте мне, именно уважение к автору "Вступления", к человеку, написавшему
...ты в комнату войдешь – меня не будет.

Я буду в том, что комната пуста... —

диктует мне уже Вами прочитанное». Увы, ничего более найти не удалось.

Весной сорок второго года, после первой эвакуационной зимы в интернате Литфонда, мы, старшие дети, большой компанией ходили на чистопольское кладбище слушать соловьев. Не думала я, что через семь месяцев на этом кладбище похороню отца... Многим эвакуация спасла жизнь, но многих она и погубила. Когда началась война, нашему отцу было шестьдесят пять лет, он был тяжело болен. Эвакуация, со всеми ее мытарствами, холодом и голодом принесла нам похоронку.



Александр Шор. Кон. 1930-х

Когда, окоченевшие душой и телом, мы с мамой и сестрой вернулись с похорон, Елизавета Эммануиловна Лойтер подвела нас к роялю: «Буду играть вам то, что любил играть сам Александр Германович». И долго-долго играла. Так, после смерти, отец заговорил с нами голосом Моцарта, Шопена, Рахманинова.

Когда мне было пять лет, а сестре Аде семь, отец тяжело заболел. Он перенес клиническую смерть. Ему, музыканту, врачи запретили играть. Но как только мы с ним оставались дома одни, он бросался к роялю и часами играл. А я, маленькая сообщница, переворачивала ему страницы. И вот через десять лет, в холодном заснеженном Чистополе, с распухшим от слез лицом, я снова ощущала себя пятилетней и до изумления явственно видела папу.

Через полгода, в июне, наша осиротевшая семья вместе со всеми возвращалась домой в Москву, увозя с собой горсть чистопольской земли с папиной могилы.

Воскрешая в памяти далекие годы эвакуации, хочу прежде всего вспомнить тех, кто навсегда остался в чистопольской земле, и тех, кто из Чистополя ушел на войну и не вернулся. Если кого-то забыла – кого мало знала, – прошу у них прощения. Но есть люди и ситуации, память о которых живет со мной, нисколько не потускнев за давностью времен. Здесь не удержаться в рамках хроники. Да и не надо, я думаю.

В скорбном списке были и дети. Были и самоубийства. От взрыва снаряда на уроке

военного дела погибли школьники. В их числе пятнадцатилетний Миша Губер-Гроссман из нашего интерната.

Не помню имени молодой актрисы, похоронившей в Чистополе младенца. Она была из группы жен немецких писателей-антифашистов.

Умер ребенок у дочери Веры Инбер, Жанны. В переполненном зале Дома учителя была встреча с прилетевшей из Ленинграда Инбер и приехавшим с фронта Ильей Сельвинским. Инбер читала (кажется, еще не оконченный) «Пулковский меридиан»:

...Я потеряла внука на войне.

О, нет, он был не воин,

Он должен был начать ходить к весне...

Ее оборвал душераздирающий вопль из зала: «Мама, не надо!» Помню, как на темной лестнице, освещенной дрожащей коптилкой, кричала, проклиная Хохлова, директора интерната, не давшего ей сульфидин, женщина, у которой умирал ребенок. Она была из эвакуированных, но не из литфондовских. В распоряжении Якова Фёдоровича Хохлова были медикаменты, которые он не имел права выдавать на сторону...

Умерла восемнадцатилетняя Фрида Годинер. Увы, диагноз был поставлен после смерти. Брат и отец Фриды писатель Годинер, были на фронте. Мать и сестренка – в Чистополе. На Фридиных похоронах был весь интернат, от мала до велика. Помню, как рыдала на кладбище подруга Фриды, Наташа Дзюбинская, не ведая, что очень скоро погибнет сама. Наташа уехала в Москву поступать в театральный институт. Не поступила и ушла на фронт. В Чистополе жила ее семья. Отец, писатель Дзюбинский, был на фронте. Долго воевать Наташе не пришлось.

Часто приходил в интернат из воинской части молоденький летчик Валя. Ходил на танцы, влюблялся по очереди во всех девочек – сам чуть старше. На сеансе в чистопольском кинотеатре, где всегда было много хулиганства, у Вали срезали револьвер. По закону военного времени его судил трибунал, и он был отправлен в штрафную роту.



Кладбище в Чистополе. Рисунок Агды Шор

Юра Арго сопровождал в эвакуацию детей из подмосковного пионерского лагеря Литфонда, где был вожатым (многие студенты во время каникул подрабатывали таким образом). Мы с Юрой дружили, точнее, он меня опекал: наши отцы были старыми знакомыми, а Юра – на целых четыре года старше меня. Юру не брали в армию из-за плохого зрения, но он не хотел с этим мириться и в конце концов добился своего. Юра погиб, не дожив до двадцати лет. Он писал мне в Чистополь с фронта. Сохранились две его открытки. Вот несколько строк из них:

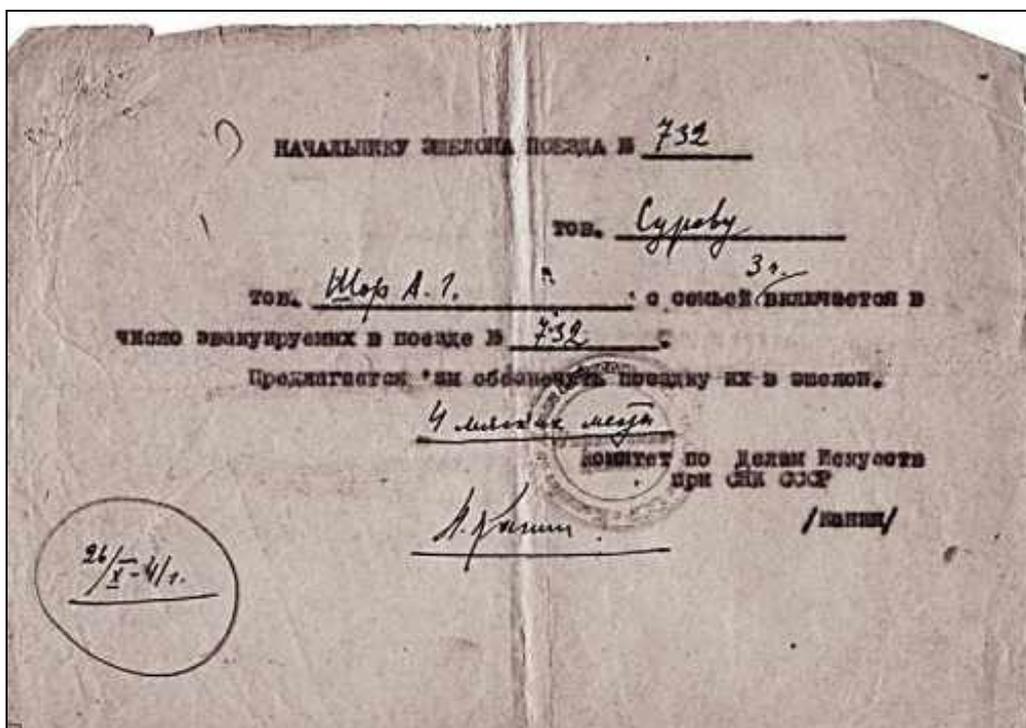
«17. XI 41 г. «Как мало прожито, как много пережито!..» Ровно месяц и два дня, как был объявлен набор в добровольный коммунистический батальон. И многие студенты

пошли в него. Из ГИТИСа, где, если ты помнишь, я учился, нас пошло десять человек мальчиков и одна девушка. За эти дни я уже успел побывать в окопах, померзнуть в караулах и т. д.»

«31.01.42 г... Сегодня или завтра я отправляюсь на северо-запад, говорят, под Калинин. Что-то ждет меня там?»

Слава богу, что он не знал этого. Юра подорвался на mine. Он умер на операционном столе, без обеих ног.

Настоящее имя Юры – Евгений (Юра – домашнее имя). В Москве, в Государственном институте театрального искусства на мемориальной доске есть и его имя. Евгений Абрамович Арго.



Справка о включении семьи Шор в эшелон эвакуируемых

Жили в интернате три брата: Юник, Радик и маленький Марк, с неправдоподобными ресницами. Отец братьев, писатель Арон Кушникович, был на фронте, мать с детьми в Чистополе. Уже перед самым возвращением в Москву Юника призвали в армию. Родные получили от него одно-единственное письмо... Мало кто из призывников той поры (1924–1925 годов рождения) остались в живых. Помню, как перед отъездом Юник сказал: «Не знаю, как я буду убивать людей...» – «Но ведь они фашисты!» – захлебнулась я. – «Не все же немцы фашисты, – ответил Юник, глядя на меня сверху вниз. – Есть и антифашисты, есть и запуганные, и запутавшиеся, и просто военнообязанные».

Сегодня это понимают все, но тогда... О, это не детская мысль. Юник был чуть старше меня, а мне шел семнадцатый год. В нем была удивительная для юного возраста нравственная зрелость. Через много лет мы с его матерью случайно встретились на улице. Она посмотрела на меня взрослою: «Помнишь его?» – и разрыдалась.

Я вспоминала Юника в послевоенные годы, когда пленные немцы сажали на улицах деревья, укладывали асфальт, а прохожие москвичи с беззлобным любопытством заговаривали с ними. Меня это поражало! Но, коль скоро я в этом призналась и как бы продолжая разговор с Юником, не могу не вспомнить Гришу (Грегора), сына немецкого писателя-антифашиста Альфреда Куреллы, и его мать Маргариту Вильгельмовну. Гриша жил в интернате и, как все мы, по несколько раз в день слушал сводки Совинформбюро. Мы, дети, обсуждали только что услышанное: «Немцы взяли... немцы вошли...» Гриша громко, но внешне совершенно спокойно, поправляя: «Не немцы, а фашисты». Он поправлял всегда, и всегда спокойно... Его мать Маргарита Вильгельмовна была замечательным врачом. Многих тяжелобольных вернула она к жизни, многим раненым возвратила трудоспособность. Ее воля, терпение и бескорыстие вызывали восхищение. Коллеги в госпитале высоко ценили ее. Но раненые, которых она спасала, смотрели на

нее с недоверием и неприязнью. Еще бы – немка, говорящая по-русски с сильным немецким акцентом! Это было ей очень тяжело, но она относилась к этому с пониманием.

Ходил по Чистополю молодой человек с оленьими глазами, больной туберкулезом. Ленинградец. Танцор. Самый неустроенный из всех, так как совсем одинокий, не принадлежащий ни к одной группе эвакуированных. У него было так мало вещей, что зимой он обматывался газетами. Никто из сверхобеспеченных писателей, благоденствующих в Чистополе, не поделился с ним одеждой... Он остался в памяти как символ обреченности.

В интернате дети жили сравнительно благополучно. Мы не знали бытовых тягот эвакуации. Крыша не протекала, комнаты отапливались. Да и кормили нас по тем временам неплохо, пусть не досыта. Бывало, что мы обменивали на продукты свои носильные вещи (главным образом то, из чего выростали). Конечно, по-глупому, по-детски: выменивали не на то, что полезно, а на то, чего хочется... Нас нещадно обманывали, и очень скоро менять стало нечего и ходить стало не в чем...



Справка Гедде Шор о том, что она – ученица 7 класса Чистопольской школы

Помню жалкую очередь на рынке за медом. Она состояла из женщин, держащих в руках чашечки, стаканчики, плошечки... Продававшая мед краснолицая «пчелка», не скрывая презрения, примеривалась к очередной посуде: «Еще бы с наперстком пришла!» Но ее раздражение было полностью компенсировано избавившим ее от ювелирной работы известным писателем: он купил у нее всю бочку.

В книге Н.В. Чертовой «Город Чистополь на Каме» есть место, где Надежда Васильевна пишет, как, идя утром на радио, встретила по дороге Николая Асеева, «несшего с рынка две луковки»... Ну, нет! Асеев носил с рынка не «луковки», а гусей. Мы, голодные (хоть и не голодающие) детишки, частенько это наблюдали, гуляя по рынку, как по музею. И как же потешались мы над контрастом – асеевской покупательной способностью и его отрешенно-мечтательным взором, устремленным в небо! Дети любят давать прозвища, я тогда прозвала Асеева – Гусеевым.

Таким Гусеевым он был и с Цветаевой, в ее последний рывок к жизни – приезд в Чистополь. С Цветаевой, адресовавшей ему свое предсмертное письмо: МОЛЕНИЕ О СЫНЕ. Теперь это письмо опубликовано, а тогда слух о нем передавался из уст в уста – вместе с рассказом очевидцев о базарной реакции жены Асеева на эту мольбу...

В Москве нет улицы Цветаевой. Нет улицы Пастернака. Но есть в Москве улица Асеева. Мне показалось знаменательным, что половину этой улицы занимает рынок.

Мои родители, бабушка и сестра были эвакуированы в башкирское село

Воскресенское, где находилась художественная школа, в которой училась сестра. Летом 1942 года папино здоровье резко ухудшилось. Он почувствовал, что не перенесет еще одну зиму и настоял на переезде в Чистополь. Он хотел перед смертью увидеть меня, свою младшую дочь. Обо всем этом я узнала уже при встрече. В конце октября они собрались в дорогу. Понимая, что от меня, пятнадцатилетней, ничего не зависит и не желая меня волновать, они не сообщили о своем намерении. Вот что пишет об этом Агда:

«...Холодный осенний дождь сопровождал нас трое суток пути до Уфы. Папа и бабушка ехали на телегах, мы с мамой большую часть пути шли рядом с подводами, по колёно увязая в жидком разъезженном черноземе. В Уфе на пароход попасть было невозможно, билетные кассы атаковала толпа. У нас было нечто вроде подорожной – пропуск, выданный милицией, с указанием пути следования. С этим пропуском мама пробилась к начальнику речной пристани в Уфе. В серой, грязной толпе голодных, измученных, отчаявшихся людей вдруг появилась красавица в синем кителе речника. Удивительные бывают встречи! Она, эта красавица, училась когда-то у папы в его консерватории, была пианисткой. Она успокоила, обласкала нас и предоставила двухместную каюту. На четверых это было шикарно, и вообще всё это было чудом.

Пароход «Жан Жорес» отчалил. Медленно проходили мимо нас поросшие осенним лесом предгорья Урала. В сером мокром воздухе раскрывались красоты берегов Белой. Мы разбрелись по палубе. Я принялась искать папу. После мыка и грязи дороги, непрекращающегося дождя, холода усталости – каким удивительным контрастом была чистота и ковровая дорожка в коридоре второго класса. Двери салона были плотно закрыты, но оттуда доносились потрясающие душу звуки траурного марша Шопена. Я осторожно приоткрыла дверь – щелку. Отец сидел у рояля, не видел меня, лицо его было строгим, печальным. Он играл, а я всё стояла, давясь от слез, не смея войти и нарушить этот реквием по себе...»

Итак, семья моя приехала в Чистополь в конце октября 1942 года. Из окна второго этажа я увидела Агду, стоящую во дворе Дома крестьянина. Она вспоминает, как я выбежала к ней, смеясь и плача, как мы обнялись и первое, что я сказала ей: в Елабуге, рядом с Чистополем, покончила с собой Марина Цветаева. Это было сказано в первую минуту встречи, и Агда подумала, что это случилось только что, а не год назад, как это было в действительности.



Агда Шор. Чистополь, 1942

Первые три ночи все они провели в Доме крестьянина, в огромном зале, общем для мужчин и женщин. Между койками были узкие проходы, никто не раздевался, ночью под потолком синие лампочки тускло, потусторонне освещали зал. На третий день папа слег в больницу. Бабушка осталась сидеть на своей койке в Доме крестьянина, а мы с мамой и Агдой пошли искать жилье. Но поиски были тщетны. Кто-то указал нам на пустующее административное здание, одну из комнат которого – огромный зал – занимала жена писателя Н. Мама и Агда пошли туда вдвоем. Мама знала Н. по Москве.

Агда так вспоминает об этом, на мой взгляд, примечательном эпизоде:

«...Мы спросили жену Н., не знает ли она о какой-нибудь пустующей комнате в доме. “Все комнаты заперты и не вправе же я впустить вас туда”, – сказала она. И тут же предложила нам двоим ночевать у нее на полу в коридорчике, пока мы не найдем себе жилье. По тем временам это была царская милость. К счастью, разместившись в торце пустого коридорчика, мы физически не стесняли ее. В тот первый вечер мы сидели за столом, пили кипяток. Начались разговоры, рассказы. Собственно, мы были слушателями, точнее – желанной аудиторией. Нам ведь еще ничего не было известно о чисто-польской жизни... Мы с мамой сидели в своих сырых обносках, глаза слипались от тепла и усталости. В комнате над столом висел настоящий уютный абажур. Хозяйка была экстравагантной женщиной, высокого роста, с крупными чертами лица, жесты ее были аффектированы и театральны. Она стремительно двигалась в ярком свете лампы, демонстрируя свои туалеты, а по стенам прыгали страшные тени. Мы как будто смотрели извне на освещенную витрину, отделенные от нее толстым стеклом иных жизненных измерений.

Хозяйка показывала нам свои туалеты. Сумочку она прижимала к бедру, отставляя ногу в тонком чулке.

“А вот эта шляпка – «Я у мужа дурочка...»” На лице изображалась наивность.

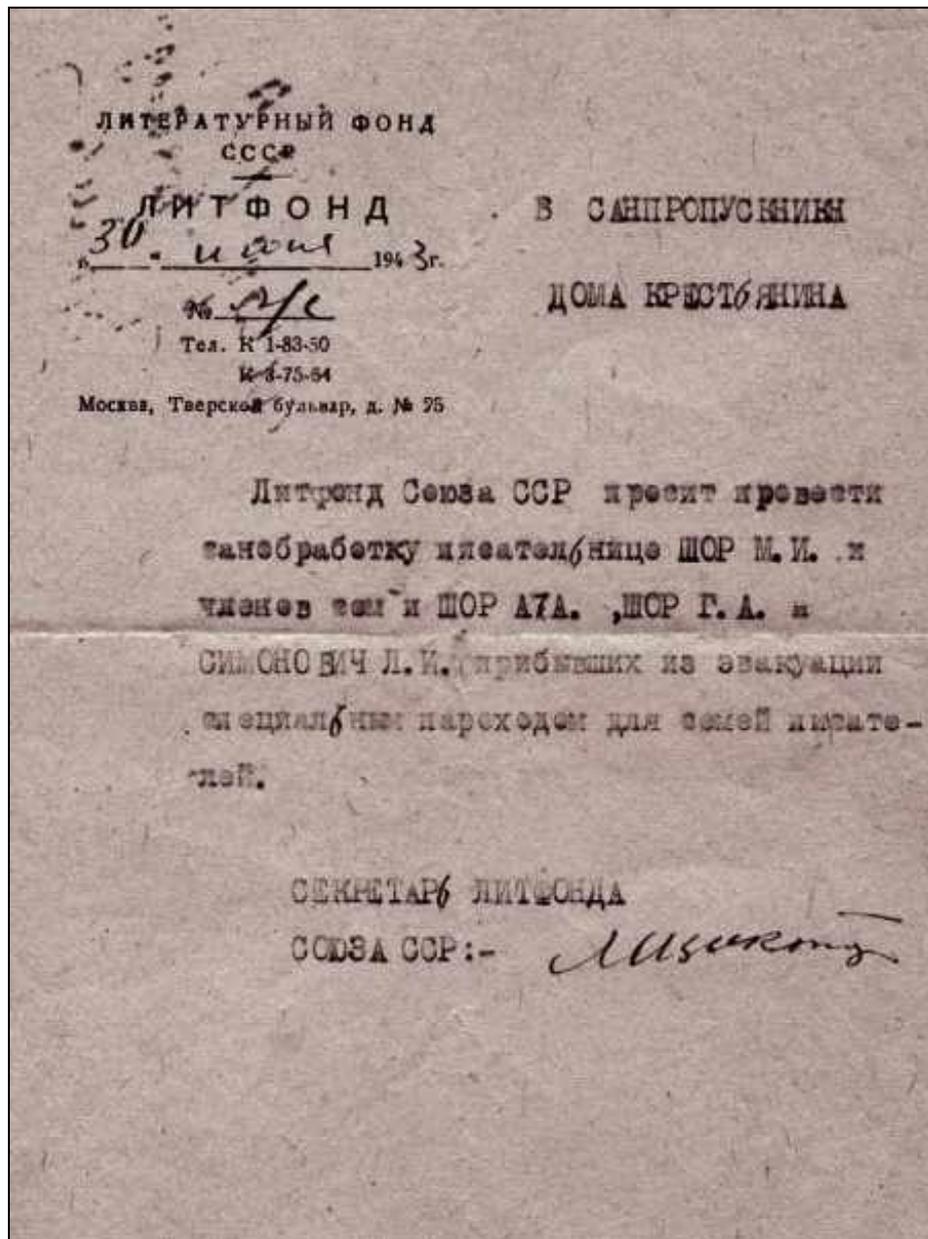
“А вот эта шляпка – «Я люблю только своего мужа и больше никого не желаю знать...»” На лице изображалась недоступность.

Я хорошо помню эту сцену и текстуально привожу произнесенные хозяйкой фразы, хотя прошло более пятидесяти лет. Тогда мы редко видели заграничные вещи, и на мамин вопрос, откуда такая роскошь, последовал невозмутимый ответ: сын Марины Цветаевой продавал за бесценок парижские вещи матери после ее гибели.

И она, жена Н., слава богу, успела кое-что купить, кого-то опередить...

О боже! Значит, мы видели сейчас вещи, принадлежавшие Цветаевой, стихи которой, маленькую книжечку “Версты”, мама взяла с собой в эвакуацию, вместе с Пастернаком и Блоком.

Голос хозяйки вывел нас из оцепенения: “Да, мне просто повезло...”



Направление в санпропускник Чистополя

Отупение от усталости погасило первый порыв – уйти, не слышать, не видеть! За окном была ночь, ноябрь, мокрый снег. Вокзала, где можно было переночевать, хоть сидя, в городе не было, из Дома крестьянина нас выписали, позволили остаться только бабушке, папа лежал в больнице, Гедда в интернате. Уйти было некуда. Тысячи раз говорилось, как сложен, необъясним подчас человек и как может он сочетать в себе доброе и злое. Жена Н. приютила нас в наши первые бездомные дни, но с каким грубодушием, холодом к трагедии демонстрировала она свои приобретения! Я решилась написать об этом, так как это проливает свет на атмосферу в среде писательских жен (конечно, не всех!), перед которыми в трагические дни после самоубийства Марины Цветаевой ее сын развязал мешок с ее вещами. И как вещи эти

были расхвачены за бесценок алчущими дамами, боящимися упустить “счастливый случай”»...



Маргарита Шор-Ивенсен. Радиокомитет. 1941, зима

Проблему жилья моей семьи разрешило жилищное бюро. Мы получили маленькую комнату в полуподвале жэковского дома № 134 на улице Льва Толстого. Это была редкая удача: комната без хозяев! Повезло и с работой. Совершенно неожиданно мама устроилась диктором чистопольского радио, где главным редактором была Надежда Васильевна Чертова. Они с мамой, совершенно разные по биографии и мировоззрению, как ни странно, удивительно легко сработались.

Полгода Чистополь говорил маминым голосом, красоту и благородство тембра которого отмечали все.

Мы очень полюбили радиостудию. Крутая лестница вела на второй этаж, в большую комнату, затянутую золотисто-коричневой тканью, а пол устлан толстым ковром. Там было настолько уютно и красиво, что нам, с детства ходившим с мамой на радиостудию в Москве, казалось, что за шторой родной город.

На студии помимо передач о текущих событиях вечерами устраивались концерты силами эвакуированных актеров, писателей и музыкантов. Писатели, приезжавшие к своим семьям с фронта и вскоре вновь уезжавшие на фронт, успевали выступить на чистопольском радио. Постоянным сотрудником студии был веселый и неунывающий Михаил Шамбадал, читавший свои остроумные репортажи в стихах. Организация вечерних концертов была для радиоредакции подлинной радостью. Талантливые люди, оторванные тяжким бытом эвакуации от своего дела, ото всего, что питает ум и душу, обретали здесь возможность творчества. Чистопольцы с огромным интересом ожидали этих концертов, благодарили при встрече на улицах – в маленьком городке все друг друга знали. Помню актеров Кайранскую и Авдеева, певицу Смирнову-Вишневскую, скрипачку Лунц, пианистку Лойтер и многих других. Борис Пастернак, переводивший в Чистополе Шекспира, читал на радио свои блистательные переводы.

Как-то я пришла к маме на радио и застала там ужасный переполох: осталось четверть часа до уже объявленной накануне встречи с Твардовским (приехавшим на короткое время к семье с фронта), а его всё еще нет! Мама, не дав мне войти, велела немедленно бежать к нему домой, а если встречу по дороге... «А как я его узнаю?» – «Узнаешь сразу

– великан с детским лицом, в военной форме».

Эта мамина фраза врезалась в память. Я, наверно, поставила рекорд в беге на короткую дистанцию, когда увидела Твардовского (приметы сошлись!), идущего быстрым шагом. С трудом переведя дух, я велела (!) ему бежать на радио... Он улыбнулся и... побежал.

При самых дружеских отношениях Надежда Васильевна и мама много спорили об искусстве. За долгие годы страха люди привыкли не высказывать свои мысли вслух. Хуже того, глубокое проникновение в душу самоцензуры и лжи – как формы выживания – уродовало сознание слишком многих, совершенно подавив внутренние ориентиры. Мама этим грехом не страдала, и директивные ярлычки, вроде «формализма», были для нее пустым звуком. Запомнился спор о Дмитрие Шостаковиче. Но когда впервые по радио прозвучала его «Седьмая симфония», неожиданно потрясая Надежду Васильевну, – это было, помимо всего, доказательством маминой правоты в недавнем споре. В своих воспоминаниях Надежда Васильевна попыталась (правда, в очень обтекаемых выражениях) описать эту сцену. Она давала нам читать ее в черновике. В публикации же этот эпизод претерпел такие изменения, что вообще утратил всякий смысл: Н.В., потрясенная музыкой, судорожно прижимает к себе портфель, а мама, почему-то улыбаясь, педантично вешает плащ на гвоздь... О чем это? Вся суть осталась за кадром.

Н.В. Чертова и мама уволились с работы на радио 10 мая 1943 года, чтобы готовиться к отъезду. Но тут выяснилось, что городское начальство своевременно не позаботилось об их замене.

Тогда они вернулись на студию и уже без зарплаты продолжали работать вплоть до самых последних предотъездных дней.

И все эти дни ходили мы на кладбище. Мы не имели средств поставить отцу памятник или хотя бы ограду. Местный фотограф сфотографировал могилу со всех сторон, Агда написала этюд акварелью. Недалеко от могилы полуразрушенная часовенка – как примета. Всё здесь было неузнаваемо и не похоже на зимний ужас смерти. Всё так ярко, пышно-зелено, а впереди – Москва и жизнь без конца и без края... Мне было шестнадцать лет, Агде шел девятнадцатый, маме около сорока...

Когда Агда двадцать лет спустя приехала в Чистополь, могилы она не нашла, но по часовенке примерно определила место.

...Шел сентябрь сорок первого. Мы с Юрой Арго гуляли по Чистополю. Я получила письмо из Москвы от отца, в котором был привет Юре и вспоминался давний эпизод – из времен, когда мои родители только поженились. В те поры антикварные магазины назывались «Старина и роскошь». Мама была красавицей, отец же красотой не блистал и был намного старше мамы.



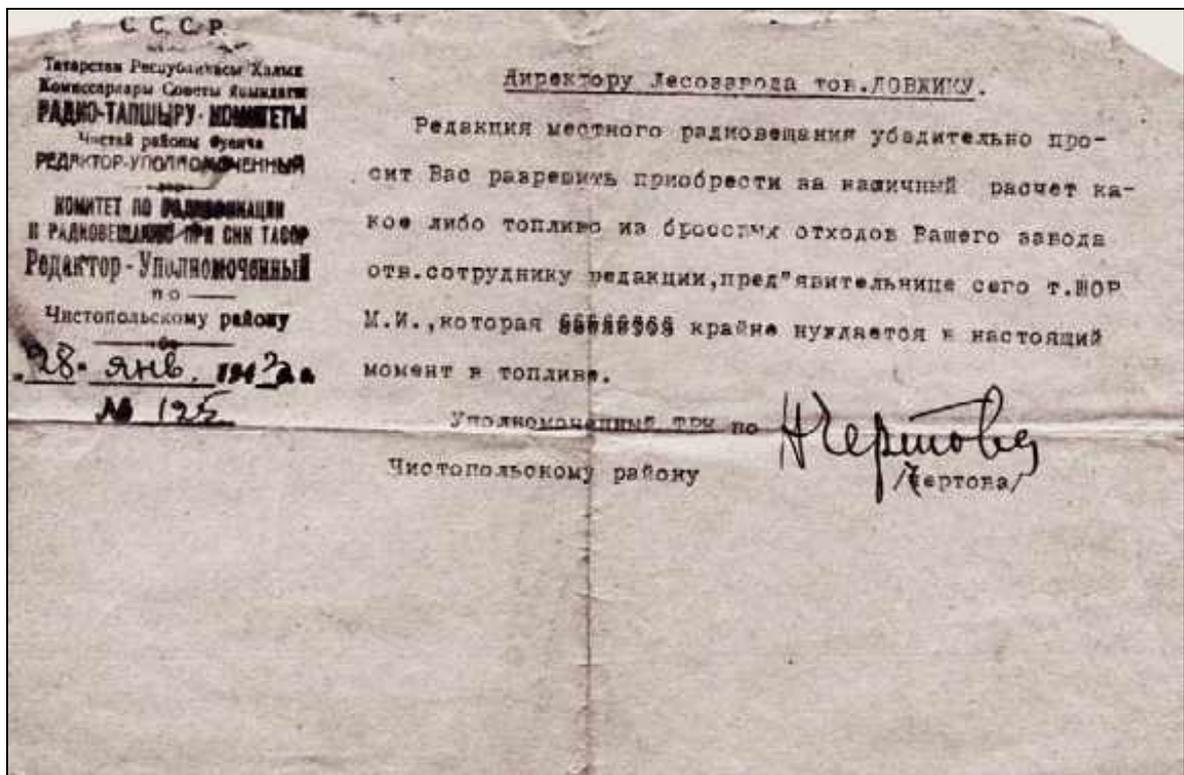
Маргарита Шор-Ивенсен ведет передачу на Чистопольском радио. Справа налево: А. Авдеев, М.Шамбадал, Н.Чертова, Маргарита Шор-Ивенсен, Н.Павленко, двое

неизвестных. 1943, зима

Встретив их на улице, Арго воскликнул: «Старина и роскошь!» Мы с Юрой дружно смеялись, подходя к интернату. И тут я увидела идущего впереди нас молодого человека, незнакомого и явно нездешнего. Трудно понять, как я, глядя ему в затылок, сразу, наповал, влюбилась. «Кто это?» – испуганно спросила Юру. «Как, разве ты не знаешь? Цветаева... Елабуга... Ее сын Мур...» Дальше я уже ничего не слышала. Мы продолжали идти вслед за Муром, расстояние между нами не сокращалось. Юрин голос возник так же неожиданно, как до этого пропал, он декламировал Цветаеву:

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут...

Следующие два дня прошли под знаком «не может быть...» Не может быть, что она умерла... Не может быть, что он такой твердокаменный... Не может быть, что я ни о чем другом не могу думать... Я так яростно, рассудку вопреки, не хотела верить в самоубийство Цветаевой, что когда в интернат вошла высокая черноволосая женщина с орлиным профилем, столь не похожая на окружающих, – боже, как я возликовала: конечно же, это Марина Цветаева! Я же знала, что она жива, что это всё чушь, сплетни, слухи! Я не хотела никого спрашивать, я была уверена... Это оказалась, Маргарита Вильгельмовна Курелла, ничем и ни в чем не похожая на Марину Цветаеву. Но не зная Цветаевой, я каким-то шестым чувством угадала ее высокую несхожесть с окружающими, по-детски перенеся это на зримые приметы. ...В Чистополе Мур прожил недолго. Добрая Анна Зиновьевна Стонова, старший педагог интерната, стараясь как можно скорей приобщить Мура к интернатской жизни, устроила своеобразные смотрины. Собрала всех старших девочек и пригласила Мура. Все чувствовали себя неловко и натянуто, общего разговора не получалось. Мур высокомерно молчал. Пытаясь спасти положение, Анна Зиновьевна сказала: «Мур, почитайте нам стихи вашей матери». – «Я их не знаю», – ледяным тоном ответил Мур, даже с каким-то вызовом. Между смертью Цветаевой и предложением, сделанным ее сыну – «почитать стихи», – прошло всего несколько дней. Стонова не совершила бы такой бестактности, если бы не была сбита с толку самим Муром: его царственное высокомерие дезориентировало в такой степени, что, казалось, перед нами сидел не осиротевший (так страшно) мальчик, а самоуверенный красавец, сын знаменитой Цветаевой, милостиво разрешающий на себя смотреть... Стонова обращалась к нему на «вы». Это было беспрецедентно: всем детям говорили «ты». Но, обращаясь к Муру, взрослые не могли избежать интонации придворного учителя, говорящего с королем-школьником: «Ваше Величество, Вы еще не приготовили уроки.»



С этой запиской М.И. Шор ходила к директору лесозавода за дровами. Мур казался совершенно взрослым. Так бывает с особенно породистыми детьми. Красота Мура была прежде всего красотой породы. Он был высок ростом, великолепно сложен. Большелобый и большеглазый, смотрел как-то чересчур прямо и беспощадно. Потом уже поняла: это был взгляд «рокового мужчины», каковым он должен был стать – кстати говоря, без всяких кавычек. Сегодня назвала бы его римлянином: много ума, надменности и силы во взгляде. Сверстники до такой степени не были ему ровней, что ощущение собственного превосходства было неизбежно. Это прошло бы с возрастом. Тогда я только невнятно чувствовала, теперь знаю: достоинство, трансформированное несчастьем, часто выглядит высокомерием. (Все эти рассуждения не имеют никакого отношения к высокомерию злокачественному – уделу низкопробных душ нуворишей, сливколизателей и снобов.)

В те страшные, военные дни осени сорок первого мы все от мала до велика слушали сводки Совинформбюро. Но никто из детей не слушал их так, как слушал их Мур. Спросили бы меня тогда, как это *так?*. – я бы не сумела ответить. *Так* слушали сводки раненые в госпитале. Потом я это увидела и сразу узнала. Узнала Мура, но не нашла слово. Сегодня это слово знаю: причастность.

Что делало его причастнее сверстников, которым, как и ему, предстоял фронт? Его зрелость, опережающая возраст? Трагедия семьи, неотступное злосчастье, взорвавшееся самоубийством матери? Он, как те раненые в госпитале, уже был ранен.

Всё это сегодняшние мысли. А тогда... Мур стоял под репродуктором в коридоре, прислонившись к стене, подавшись корпусом вперед, обе руки заведя за спину. Взгляд исподлобья, слушающий. Высокие брови, подпирающие тяжелый лоб. Стоя у противоположной стены узкого коридора напротив Мура, я смотрела на него: светлые глаза в черном ободке – как мишень, подумала я и страшно испугалась возникшего сравнения.

Мур изумлял меня выбором друзей среди сверстников: какое-то нарочитое упрощение, прямая ориентация на «спортсмедные лбы». Один-единственный раз я видела, как он смеется. Но здесь не обойтись без предыстории.

Французский язык я не знала, но дома родители часто обменивались общепринятыми французскими фразами. Так, мама, в очередной раз ставя на стол надоевшую яичницу, неизменно произносила по-французски: «C'est tout ce que je reix vous proposer», что означает: «Это всё, что я могу вам предложить».

Мальчишки в интернате – разумеется, втайне от взрослых – курили махорку. И я с ними... Однажды с дымящейся самокруткой в зубах я неожиданно столкнулась с Муром.

Он изумленно посмотрел на меня и сказал: «Вы курите, такая маленькая?» Остолбенев от смущения, я вызывающим тоном выпалила по-французски: “C’est tout ce que je reïx vous proposer”. Он рассмеялся и ответил длинной французской фразой, с вопросительной интонацией... Разумеется, я не поняла. И поспешила ретироваться. «Господи, что с тобой?» – спросила Лора, когда я влетела в нашу комнату.

Мур мог остаться в Чистополе и жить в интернате. Никто его не гнал; наоборот, те, кто добил Цветаеву в ее чистопольский приезд, могли после ее смерти без всякого ущерба для себя приобрести моральный капитал, предоставив осиротевшему ее сыну крышу и хлеб в интернате. Но даже в этом случае не обошлось без перестраховки: потребовалось разрешение из Москвы – от Хмары, директора Литфонда. Оно было получено. Но сам Мур не был уверен в том, что так лучше для него. Ему было чего бояться. Он искал защиты, метался, спрашивал совета у всех подряд. О, как не вязалась с римлянином эта беспомощность и растерянность! Как нужен был рядом старший, не равнодушный, ответственный человек! Таких взрослых советчиков не было. Он это понимал. А решение надо было принимать быстро: начинался учебный год, приближался конец навигации. Мне казалось, что его пугает близость Елабуги. Сам он этого не говорил. Трудно сказать, что перевесило, какие разумные (или казавшиеся таковыми) доводы взяли верх. Может быть, просто «орел-решка», вечные помятые судьбы.

Неудавшееся возвращение в Москву кончилось Ташкентом. Там были Ахматова, Алексей Толстой. Мур надеялся на их поддержку – так думала я и тогда, в сорок втором году, и когда писала об этом в восемьдесят четвертом. Но с тех пор было опубликовано много ранее не известных документов, в том числе письма Мура. Оказывается, Ташкент он выбрал потому, что самый близкий его друг, Митя Сеземан, находился «где-то в Средней Азии». В письме Мите из Чистополя он сообщал о смерти матери и неопределенности своего положения. Не было в этом письме ни отчаяния, ни испуга, ни растерянности... Но видит бог, это было не так!

Мур, хоть скроенный по большой мерке, был еще ребенком, и не сегодняшним нашим умом судить его тогдашнюю холодность и даже жестокость по отношению к матери. Теперь, прожив жизнь, справедливости ради хочу сказать, что мало видела хороших сыновей и очень много плохих... Вина Мура в том, что он не был исключением. Его жизнь оказалась значительно короче той взлетной полосы, того разбега к раскаянию, которое редко кому дается с ходу. И кто знает, какое место в детском его эгоизме занимало предчувствие собственной ранней смерти и какое место в безмерной любви матери к сыну, питавшей этот эгоизм, занимало предчувствие. И неважно, если об этом не говорилось вслух.

Мне довелось знать нескольких молодых и здоровых людей, которые, даже и в невоенное время, предвидели свою раннюю смерть. Казалось, для этого не было никаких оснований, но, увы, предчувствие их не обмануло.

Первой в этом трагическом списке была моя любимая подруга Лора, уехавшая из Чистополя в Ташкент через год после Мура, осенью сорок второго.

Тогда Хохлов объявил общее собрание интерната. Он сказал, что многие родители перестали платить за своих детей и что Литфонд не в состоянии кормить такую ораву бесплатно. Пусть дети сами напишут своим родителям, как обстоит дело. «Что же касается Лоры Дыкман, – громогласно объявил он, – то с ней вообще разговор короткий: ее отец не писатель...» Отец Лоры действительно не был писателем, он был сотрудником Литфонда в должности инспектора-ревизора. Ему было за пятьдесят и он был тяжелобольным человеком. Оскорбленная, гордая девочка тут же телеграфировала родителям в Ташкент, что выезжает к ним. Родители Лоры в Ташкенте голодали самым жестоким образом. Напрасно Анна Зиновьевна Стонова уговаривала Лору «переждать грозу» – Хохлов, мол, пугает, – Лора была непреклонна. Не послушала она и меня. Она уехала в Ташкент вместе с двумя интернатскими детьми, Вовой Мадарасом и Цезарем Голодным. Сопровождала их писательница Елизавета Стырская.



Лора Дыкман. Чистополь, 1942

Вот что написала мне Лора из Ташкента в Чистополь 6 февраля 1943 года:

«...Позавчера видела Мура... Он страшно изменился, похудел, сгорбился, подурнел. Нёс воду в каком-то жестяном чайнике. Живет в одном доме с Вовкой Мадарасом. Совсем один. Произвел на меня довольно сильное впечатление. Куда девался тот Мур?..»

Лора была немногословна. Но в этих коротких фразах уместилось много. Муру не было и семнадцати лет, когда покончила с собой его мать. Лора увидела его через полтора года, другим человеком. А еще через полтора, когда ему было девятнадцать, Мур – солдат Георгий Сергеевич Эфрон – погиб на войне.

Позвонила Стоновой – проверить свою память. Она сказала о Муре: «Он казался мне таким избалованным...» И я вспомнила фразу Марины Ивановны: «Мальчиков надо баловать, им, может быть, на войну придется...»

Недолго длившаяся детская влюбленность в Мура осталась в моей жизни преддверием неизменной, как собственная душа, любви к Марине Цветаевой. Сначала она была для меня ЕГО МАТЕРЬЮ, потом он стал ЕЕ СЫНОМ.

Он любил три вещи на свете:

За вечерней пенью, белых павлинов

И стертые карты Америки.

Не любил, когда плачут дети,

Не любил чая с малиной

И женской истерики...

А я была его женой.

Эти стихи Анны Ахматовой я знала наизусть. В Чистополе они показались мне провидческим портретом Мура, о чем я тут же написала Лоре в Ташкент. Она ответила,

деликатно обходя «портретность»:

«...Стихотворение Ахматовой, которое ты прислала, замечательное. Кстати, она в Ташкенте. Болела тифом. Я ее не видела, но мне рассказывали. Она совсем не умеет приспособливаться к жизни. Не умеет готовить, убирать. Свои продукты она отдает, чтобы сварили, и у нее половину крадут...»

Чистополю обязана я самой большой дружбой в моей жизни, дружбой с Лорой. Мы были ровесницами. Забегая вперед, скажу, что никому так, как ей, не подходила поговорка: «Не родись красивой, а родись счастливой».

Лора состояла из благородства, и это, наверное, главная причина ее несчастливой биографии. Она была по ту сторону тщеславия, расчетливости и карьеризма; никогда не пользовалась преимуществом, которое давала ей красота. Она была доверчива и простодушна, но вместе с тем прозорлива и проницательна; она была женственна и легкоранима, но независима и неподкупна в суждениях. К людям Лора была добра и снисходительна. Женщины не любили ее за красоту, мужчин унижало ее интеллектуальное превосходство. Равных ей было слишком мало, и они по старой, как мир, схеме – тяготели к упрощению... Но там, где зависть и уязвленное самолюбие не были главным,

Лору любили и ценили по достоинству. Ее человеческое чудо было слишком явным: сочетание качеств, как принято считать, несочетаемых, было в ней естественным и органичным. По окончании университета никто из Лориных сокурсников не был вынужден, как она, работать в больнице лаборантом и экскурсоводом в зверинце. Это было в черные времена, окончившиеся «делом врачей».

Когда на добрый десяток лет позже своих сокурсников Лора стала писать кандидатскую, выяснилось, что у нее рак. И через три года, когда ей было тридцать восемь, она умерла, оставив семидесятилетнюю мать, пережившую единственную дочь на двенадцать страшных лет.



Лора Дыкман. 1960-е

Вот уже более тридцати лет мы с сестрой ходим на Лорину могилу.

...Летом сорок второго нас послали в совхоз. Не помню, как он назывался, но отлично помню ломоту в спине. Жили мы в школе, спали на полу в пустом классе, на набитых соломой мешках. Кормили нас чем-то малосъедобным. С непривычки мы очень уставали, больше обычного хотелось есть, и засыпали, как правило, под аккомпанемент гастрономической ретроспективы...

Ушло из памяти всё деловое, осталась, как всегда, красота и никак не связанные между собой, бог весть почему запомнившиеся эпизоды. Уходящее детство, несмотря ни на что, окрашивало в яркие цвета всё бесцветное и будничное, а подлинной красоты вокруг было много. Поле подсолнечника на закате приводило меня в оцепенение. Однажды Лора в ярко-красном платье спасалась в подсолнухах от преследования стада маленьких бычков, безрогих, смешных, но неотступных. Посреди поля люцерны, на котором мы трудились, стояла гигантская бочка, наполнявшаяся дождевой водой. Она стояла на перекрестке двух дорог. Из-под нее на четыре стороны разбегались они, уходя в горизонт. И только с горизонта мог неожиданно появиться человек. Лихая бричка с бородатым агрономом (из эвакуированных) – и та, заявив о себе пыльным облачком на границе земли и неба, не слишком скоро оказывалась на перекрестке, а уж пеший путник тем паче. Всё это мы взвесили и обсудили – Лора, Вета и я.

И вот три грации, оставшиеся почему-то в поле одни, решили искупаться в бочке на перекрестке двух дорог. Над нами нависало грозное небо, с многоярусными тучами, наступающими на розовые облака. Освещение поминутно менялось, ветер волнами пробежал по люцерне, а мы, пятнадцатилетние дурехи, изнемогали от смеха – по поводу бочки, брички и собственной наготы...



Пристань в Чистополе

Не помню, сколько километров отделяло совхоз от Чистополя. Помню – много. Но мы так тосковали по интернатскому «комфорту» (всё познается в сравнении), по чистым постелям, умывальнику и столовой, что не раз после работы топали в город. Приходили, разумеется, без ног, без сил и падали на свои чистые постели, чтобы рано утром идти обратно... Это было сверхнелепо и изнурительно. Стонова умоляла нас этого не делать, но, при всей усталости, дорога в поздних сумерках и потом, в полной темноте, огромные звезды над головой – всё это было прекрасно! Ночью земля отдает тепло, дышит, в поле это особенно явственно чувствуется. И всё внове: и эта красота, и тишина, и особые ночные жутковатые звуки, и дрожащие в мареве огни приближающегося города.

Всё это кончилось для меня разом: я сильно заболела и меня на телеге отвезли в интернат. Лора, провожая, плакала, боялась, что я умру. А через два дня она появилась в изоляторе в промокшем сереньком пальтишке (шел сильный дождь), держа в руках железную кружку с медом: выменяла на красное платье... «Ешь каждое утро натошак по чайной ложке – скоро поправишься!» – сказала она, страшно довольная.

Возвращаюсь назад, к сорок первому году. Как уже говорилось, нас из Москвы не сразу эвакуировали в Чистополь. До осени мы жили в Берсоте, замечательно красивом месте на берегу Камы, в санатории с несколькими небольшими корпусами. Одновременно с нами приехали в Берсут жены писателей с маленькими детьми. Я была совершенно ошеломлена, узнав, что среди малышей – четырехлетний Лёничка Пастернак. Таскала его на руках, играла с ним и мечтала, чтобы он «достался» мне: дело в том, что нас, старших девочек, «прикрепляли» к матерям с малышами в качестве помощниц – нянек. Мечтала я о Лёничке, конечно, втайне, но мне достались братья Ардовы: маленький трогательный Боря и пятилетний большеглазый Миша. Их мать, Нина Антоновна Ольшевская, вскоре полностью завоевала мое сердце.



Гедда Шор и Лора Дыкман

Причиной моего пристрастия к Лёничке была, конечно, любовь к его отцу, Борису Пастернаку.

Мы с сестрой Агдой впитали ее, можно сказать, с молоком матери, которая бредила его стихами. Мы знали их наизусть еще в том возрасте, когда дети, как правило, знают только «Муху-Цокотуху». Между нами шла игра: кто первый продолжит начатые мамой строчки.

«Не спите днем...» – произносила мама. «Пластается в длину / Дыханье парового отопленья,» – кричали мы, стараясь заглушить друг друга. Если мама приносила в дом ландыши, сестра, торопясь меня обогнать, выпаливала: «Но ты уже предупрежден. / Вас кто-то наблюдает снизу...» А я, стараясь не дать ей продолжить: «Сырой овраг сухим дождем / Росистых ландышей унизан...» Или – когда собиралась гроза, снова стараясь опередить друг друга: «Накрапывало, но не гнулись / И травы в розовом мешке...» Помню, как умилился папа, когда я, десятилетняя, восхищенно глядя на маму,

произнесла: «Красавица моя, вся статья, / Вся суть твоя мне по сердцу...»

Мы вспоминали об этом уже в послевоенные годы, когда Борис Леонидович на своих авторских вечерах запинаясь, забыв какую-нибудь строчку, и весь зал ему подсказывал... Помню голубые зимние сумерки, я маленькая, иду с мамой по Климентовскому переулку, и вдруг она сжимает мне руку: «Смотри, Пастернак!» Он шел нам навстречу и, поравнявшись, поклонился маме. На меня нашел столбняк. Мама дергала меня за руку: «Да идем же! Что с тобой?» Но она прекрасно понимала, что со мной. Если бы на Тверском бульваре нам навстречу шел Пушкин и поклонился... живой или памятник – неважно, важно, что ОН! Так объясняется мой столбняк. Ощущение невозможности совпадения во времени и месте...

Чистопольское совпадение было для меня / чудом. Но я никогда не пыталась выйти из столбняка обожания, застенчивости, дистанции. (О, скольких мальчиков и девочек знала я потом, «запросто» ходивших к Пастернаку с бесцеремонной навязчивостью, отнимая у него время и нимало этим не смущаясь!)

Девочки в интернате посмеивались надо мной. Особенно это забавляло сестер Сельвинских, для которых Пастернак был соседом по Лаврушинскому и Переделкину (городу и даче). Вообще надо сказать (и это наблюдение возникло задолго до Чистополя, еще в литфондовских пионерских лагерях), дети писателей в подавляющем большинстве на удивление мало читали. Они оказывали литературное предпочтение собственной фамилии. Часто это доходило до полнейшего комизма...



Агда Шор. Чистополь, 1942

Окна нашей большой комнаты на втором этаже выходили во двор, из них была видна дверь кухни. Одно время там выдавали обеды на дом писателям. Иногда приходил с судками Пастернак. Девочки подзывали меня, смеясь: «Иди скорей, твой пришел!» И я застывала у окна. В тот раз кто-то закричал: «Гедда, твоему обед не дают!» Я высунулась из окна: Борис Леонидович громко извинялся за то, что забыл талоны. Перед ним так же громко извинялись за то, что не имеют права отпустить обед без талона. Обе стороны расшаркивались друг перед другом...

В одну секунду я оказалась у двери столовой, захлебываясь негодованием и неистово крича: «А если бы Пушкин забыл талоны – вы бы ему тоже не дали?!» Я была в

бешенстве и не сразу увидела реакцию Бориса Леонидовича. Он был смущен так, что лучше бы мне провалиться сквозь землю...

После долгих моих приставаний к Стоновой уговорить Пастернака прийти в интернат с чтением переводов Шекспира согласие было наконец получено, и настал этот долгожданный день.

Борис Леонидович сидел у стола, спиной к яркому дневному свету большого окна, отчего голова его оказалась в контражурном нимбе. И началось волшебство единства двух гениальных поэтов. Он декламировал своим совершенно особенным голосом, в манере, свойственной ему одному, с той органичной музыкальностью, которая далеко не всегда дается профессиональным чтецам и вовсе не дается актерам (за редким исключением). Можно по пальцам пересчитать поэтов, не убивающих собственные стихи авторским чтением, подчас просто карикатурным. Но слушать Пастернака было истинным наслаждением!



Маргарита Шор-Ивенсен

Первые десять строк вступления к «Ромео и Джульетте» я запомнила сразу, изустно, и помню до сего дня. Нас было человек тридцать, не больше. Мы сидели тесным полукругом, между столом и роялем. Борис Леонидович, изредка сверяясь с текстом, декламировал, неотрывно глядя на Таю Велембовскую (Макашину), от которой, в самом деле, нельзя оторвать глаз. И хотя она была старше Джульетты, у нее уже была маленькая дочка, – с тех пор все Джульетты казались мне недостаточно похожими на Таю...

Остановись, мгновенье!..

Мы тогда жили в большой комнате на первом этаже с окнами на улицу (позже она стала интернатской столовой; нас многократно перетасовывали из комнаты в комнату, с этажа на этаж). Моя кровать стояла у самого окна. А за окном бесновалась стихия. Особенность чистопольского климата состояла в том, что ураганная гроза могла начаться совершенно внезапно, без всякого «иду на вы». Вероятно, так было и в ту ночь. Дикий вой ветра, устрашающие раскаты грома не давали уснуть. Вдруг кто-то

громко постучал в мое окно. Я подняла занавеску и, как по заказу молния осветила два лица: Пастернака и Марии Петровых. «Сейчас открою!» – крикнула я, вскакивая с постели в одной рубашке, и босиком бросилась к дверям...

Увы, дальше – полный провал памяти. Осталась только эта моментальная фотография на фоне грозы, снятая самим Громовержцем.

...В июне сорок третьего на пароходе «Михаил Шолохов» мы возвращались в Москву.

Пока был виден он, город на Каме, мы не уходили с палубы. Еще раз прощались с отцом, прослеживая полными слез глазами его последний путь, – вверх от собора, вверх, туда, где густая зеленая крона касается неба...

Долго, около двух недель, длилась речная дорога домой.

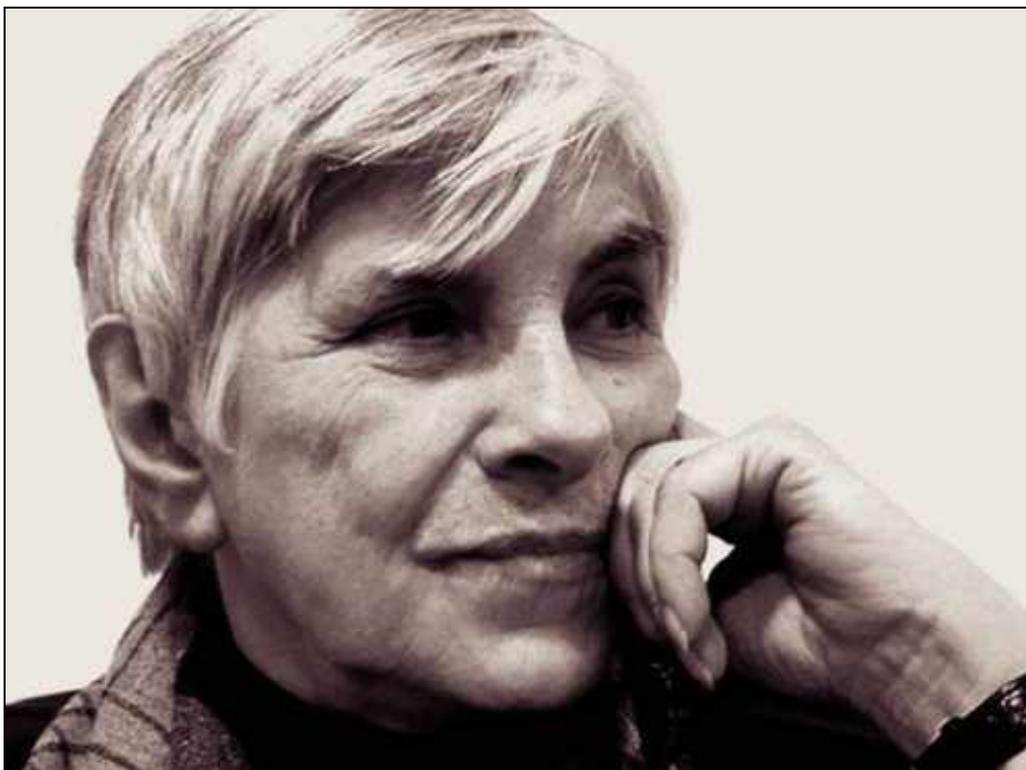
Проходясь по палубе, я наткнулась на Лёничку Пастернака. Родителей вблизи не было. Усадивши его к себе на колени, я стала рисовать ему зверей. Лёничка требовал еще и еще. Тут я услышала голос Бориса Леонидовича, искавшего сына. Как ящерица, спасаясь бегством, жертвует своим хвостом, так и я не задумываясь пожертвовала блокнотом, оставив его в руках у мальчика. Через несколько минут меня разыскали девочки: «Иди скорей, тебя Пастернак спрашивает!» – «Меня?» – «Он спрашивает, кто рисовал зверей, и говорит, что...»

Живя в Чистополе, я не однажды изумлялась способности Бориса Леонидовича расточать похвалы несоразмерно поводу. Пыталась и не могла понять природу этого столь не нравившегося мне свойства... И, конечно же, я никак не могла заставить себя предстать перед Борисом Леонидовичем в качестве автора рисунков...

Кончился Чистополь, кончилось детство, начиналась Москва, начиналась совсем другая жизнь.

Людмила Голубкина **Бескрайность мира и жизни**

Людмила Владимировна Голубкина родилась 13 декабря 1933 года. В 1941 году с матерью оказалась в эвакуации в Сталинабаде и Ташкенте.



Людмила Владимировна Голубкина. 2000-е

Дочь поэта Владимира Луговского и Ирины Голубкиной. Мать окончила филологический факультет МГУ и всю жизнь водила экскурсии по Москве. В эвакуации

работала в Ташкентской библиотеке. Отец во время войны попал в эвакуацию в Ташкент, откуда ездил на киностудию в Алма-Ату работать с Эйзенштейном над фильмом «Иван Грозный».

После войны Людмила Голубкина закончила сценарный факультет ВГИКа (мастерская Е.И. Габриловича и И.В. Вайсфельда). Долгое время работала на киностудии «Мосфильм» редактором творческого объединения детских фильмов и главным редактором второго творческого объединения, затем заместителем главного редактора сценарно-редакционной коллегии киностудии им. Горького, главным редактором-директором Центральной сценарной студии и директором высших курсов сценаристов и режиссеров.

Старшая сестра Людмилы, Мария (Муха) Седова, дочь Луговского от брака с Тамарой Эдгаровной Груберт, была во время войны в Чистополе, в интернате Литфонда.

Какое же место в то время в моей жизни занимал отец? Да почти никакое. Он появлялся довольно часто, слишком большой для нашей скуднометровой комнаты, всегда как-то по-особенному, даже щеголевато, одетый. Как будто из другого мира. Может быть, поэтому я не воспринимала его как близкого человека.

Часто я забиралась к нему на колени и затихала, иногда даже засыпала под громыханье его рокочущего баса. Всё в нем было сильно, крупно, громко. Когда он чихал, звенели тазы и корыта в ванной.

Мне очень нравилось играть с его немислимыми бровями. Я оттягивала одну бровь и смотрела, докуда она достанет. Чаще всего она доставала до самого кончика его крупного носа.



Владимир Александрович Луговской. Крым, 1939

Я любила, когда он приходил, хотя в те времена еще не знала, что он мой отец. Я звала его «дядя Володя». Уже позже я как-то домучила маму вопросом: «Кто мой папа?» – И она сказала: «Спроси у дяди Володи».

Я с нетерпением ждала его прихода, а когда он появился, обменявшись на пороге с мамой какими-то насторожившими меня репликами, я бросилась к нему и потребовала немедленного ответа.

Он посадил меня к себе на колени и сказал серьезно: «Он в этой комнате. Попробуй догадайся где».

Я ничего не поняла и решила, что это такая забавная игра. Я стала без разбору тыкать в разные углы, спрашивая: «Здесь? Здесь?», а он отрицательно качал головой. Наконец, я указала на него, не придавая этому значения, просто разыгравшись: «Здесь?» – И он сказал почти торжественно: «Да, я твой папа».

Помню, я вовсе не обрадовалась, а даже была разочарована, что игра так неожиданно кончилась. «Дядя Володя» и так был моим. А я ждала какого-то нового, незнакомого папу.

Но потом осмыслила это открытие, приноворилась к нему. И привыкла к тому, что у

меня такой папа – проходящий. У других постоянный, а у меня проходящий. Мне даже нравилось такое положение вещей, потому что он меня не воспитывал, никогда не делал замечаний. Появлялся, как праздник.

Думаю, что он нам не помогал. Мама бы не допустила этого. Она сама приняла решение и сама отвечала за него. Да отец и не рвался помогать. Тогда такое положение устраивало их обоих. У них были общие друзья. Иногда у нас собиралось целое общество. Мама рассказывала такой эпизод: их приятельница Лия Семёновна Коган, шутя, назвала папу «полковник Скалозуб», вероятно, за его громкий смех. Смеялся он замечательно, запрокидывая голову, показывая все свои ровные белые зубы. Но я почему-то за него обиделась и устроила целый скандал. Я бушевала, а все смеялись. Конечно, я не знала тогда Грибоедова, но чем-то это прозвище показалось мне обидным.

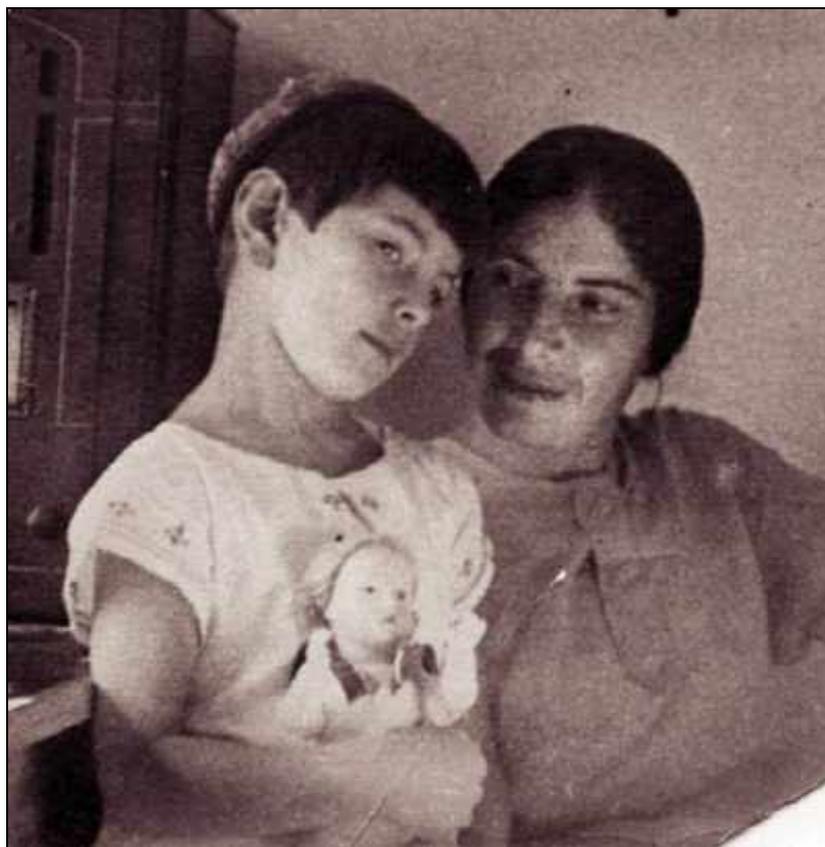
Лето 1941-го мы с мамой проводили на озере Селигер. Там была недавно созданная туристская база – палаточный городок на самом берегу, и столовая, она же клуб. На втором этаже клуба находился методический кабинет, где работала мама. Это было мое царство – с картами, развешанными по стенам, книгами и почему-то чучелами разных зверей, заспиртованными рыбами, пресмыкающимися, разными гадами. Я могла проводить там всё свободное время. Правда, его было очень мало. Ведь мне принадлежало и всё озеро – огромное, тогда очень чистое, одно из красивейших в мире, на мой взгляд, с большой лодочной пристанью, где были и байдарки, и шлюпки, и яхты. И манящие дали, и почти девственный лес с еле заметными тропинками, полный ягод, грибов и всякой живности. Ежи заходили прямо в палатки и ночами топтали по доскам деревянного пола, птицы вспархивали с каждого куста, дорожки перебежали зайцы. А раз или два в неделю причаливали катера с очередными туристами и свежей почтой. Иногда забредали крестьяне из дальних деревень и с туповатым недоумением разглядывали веселых горожан в трусах и майках, которые бездельничали и пересекали на лодках спокойные воды озера.

22 июня, в день начала войны, у мамы был выходной. Мы заранее условились провести этот день вдвоем на озере. Встали рано, взяли на базе двухместную байдарку и отправились. Гребли поначалу усердно, потом более лениво. Озеро было удивительно спокойное – расстеленная скатерть. Заря окрасила всё вокруг в розовый цвет. Помню, как срывались розоватые капли с поднятой лопасти весла и глухо шлепались о чуть взбаламученную гребком водную гладь. Тишина стояла такая, что даже эти мягкие звуки казались лишними, почти неприятными. И вокруг – никого. Никого-никого. Как будто мы были одни на всем белом свете. Я тогда еще не знала про Всемирный потоп и про Ноя. Но думаю, что подплывая к Арарату, он чувствовал себя примерно так же. Помню, мне почему-то стало даже немного страшно. И я запела мамину любимую песню – «По долинам и по взгорьям...» Мама подхватила. Хорошо, что нам никто не встретился на пути, потому что ни у меня, ни у мамы не было слуха, да и песня в тот момент могла показаться неуместной среди этого покоя и безмятежности.

Если бы знать тогда, какая тонкая грань отделяет нас от того, о чем лихо кричала песня: «Наливались знамена кумачом последних ран...» В это время немецкие самолеты уже бомбили Киев. Солнце поднималось всё выше и выше, но от воды веяло свежестью. Потом я, видимо, притомилась, и мы пристали к одному из маленьких бесчисленных островков и стали завтракать. Потом купались. Потом сидели на берегу, болтали ногами, разговаривая, не помню о чем. Потом, кажется, поспали немного. И уже далеко за полдень поплыли дальше, отдохнувшие и бодрые. Мне было хорошо и радостно. Сейчас я бы назвала это состоянием счастьем. Подозреваю, что тогда я этого слова не знала или не понимала.

И тут нам встретилась лодка, а вернее даже баркас, набитый людьми. И кто-то, перегнувшись, сложив руки рупором, крикнул: «Война!» Когда мы подплыли к базе, то увидели большую толпу людей, собравшихся около репродуктора. Меня поразили их лица – напряженные, серьезные, тревожные. Мы присоединились к ним. Я тогда еще мало понимала. Вычитанная из книжек война казалась мне занятием довольно увлекательным. А песни, которые все пели, вообще настраивали на бодрый и лихой лад: «Пролетали кони да шляхом каменистым...», «Смело мы в бой пойдем за власть

советов...» Только спустя много лет я задумалась над следующей строчкой: «И как один умрем в борьбе за это...» Ничего себе оптимизм! Но глядя на лица окружающих, особенно на маму, которая, как мне показалось, даже плакала, я тоже погрузилась. Дальше я почти ничего не помню. Знаю только, что мы еще долго жили на опустевшей турбазе. Вернулись в Москву только в начале сентября.



Мила с мамой. 1939

Перебирая мамины письма, я нашла две телеграммы. Одна была от маминой подруги Лии Коган: «Мы с Володей считаем, что вам нужно остаться на Селигере как можно дольше».

Вторая – совсем короткая: «Ухожу на фронт.

Целую тебя, дочку». Дата -26 июня.

Он не добрался до действующей армии.

По дороге их эшелон разбомбили, его тяжело контузило, и он вернулся в Москву больной, раздавленный, неузнаваемый. Об этом много писали и Симонов в своих воспоминаниях, и другие. Кто презрительно и недружелюбно, кто с жалостью, тоже полупрезрительной. Еще бы – красавец, спортсмен, мощная фигура. Певец Гражданской войны, почетный пограничник, автор знаменитой тогда «Песни о ветре». Мне кажется, что наиболее достойно об этом написал спустя много лет Евгений Евтушенко в своем вступлении к сборнику стихов и поэм отца, изданному к столетию со дня его рождения. А последнюю точку как бы поставила Наталья Громова в книге о ташкентской эвакуации «Все в чужое глядят окно».

И всё же мне хочется прибавить ко всему этому несколько слов. Я понимаю, что как дочь, любящая его и знающая не только по жизни, но и по стихам, которые я читаю всю жизнь, читаю сердцем, читаю и то, что между строк, ношу в себе, я могу быть необъективной. Но я и не хочу быть объективной. Чем старше я становлюсь, тем он мне ближе и роднее. Сейчас я, наверное, единственный человек, который любит его таким, каким он был. Мои дети и внуки довольно равнодушны к его поэзии и памяти.

Я явственно вижу его, выбравшегося из-под обломков вагона, в перепачканной землей гимнастерке, бредущего среди трупов и стонущих окровавленных раненых. Разве такую войну видел он во время своих коротких пребываний на фронтах Гражданской и участия в захвате советскими войсками Западной Украины? Там тоже было, наверное, и тяжело, и страшно. Но не было такого, чтобы с неба, синего и безмятежного, сыпались

бомбы, превращая людей в кровавое месиво. Ольга Фрейденберг писала Пастернаку в первые дни войны: «Какой ужас! Они бомбят мирных жителей. Как это возможно?!»

Тогда этому еще удивлялись.

Не знаю, наверное, если бы он благополучно добрался до места назначения и оказался среди людей, ежедневно подвергавшихся смертельной опасности, всё сложилось бы по-другому.

Как точно он написал о поэтах этого поколения, которые пытались сохранить себя и примириться с временем! Нам ли их судить? Конечно, были недостижимый Пастернак, и Мандельштам, и Ахматова. Мало кто может сравниться с ними. Были поэты более позднего поколения, которые предпочитали не печататься, жили переводами и чтением стихов в кругу друзей. Честь им и слава. Отец был не таким. Он был добр и эгоистичен, тщеславен и крайне неуверен в себе. В чем-то он был очень слаб, но временами почти величаво силен силой мыслей и чувств, проникновения в суть вещей. Громкоголосый и тихий, пафосный и лиричный.

Когда-то он написал мне стихотворение:

Милка, девочка моя,
Скоро жизнь тебя научит
Не давать себе житья
И других напрасно мучить.
Эта глупость от отца
Умной дочери досталась —
Сердце тратить без конца,
Лишь бы сердце оставалось.

Это единственное стихотворение, которое, я уверена, посвящено именно мне. Там названо мое имя, и я помню, по какому поводу оно написано. С остальными сложнее. Как-то, когда мне исполнилось пять лет, он подарил мне игрушечного медведя. Вернее, не сам подарил, его тогда не было в Москве, а поручил сделать это сестре Татьяне. И после ее смерти, когда я расшифровывала письма Татьяны Леониду Малюгину, я наткнулась на описание ее поездки по морозной Москве на край земли, как ей казалось, – на Первую Мещанскую. Я поняла это по адресу и дате -13 декабря. Имя мое в письме не называлось. К подарку было приложено стихотворение «Медведь»: «Девочке медведя подарили...». Очень долго я была уверена, что эти стихи посвящены мне, знала их наизусть и читала гостям, стоя на стуле и держа в руках медведя. Потом, уже взрослой, может быть, даже после смерти папы, я узнала, что почти такой же медведь был подарен моей сестре Маше, и она думала, что стихи посвящены ей. А еще позже выяснилось, что написаны они были в Ялте под Новый год, когда он подарил медведя девочке, дочери женщины, с которой у него тогда был роман. Это так похоже на папу!



Владимир Луговской. 1944

Когда мы с мамой вернулись с Селигера в Москву, город показался мне хмурым и неуютным. Уже ввели затемнение, и с наступлением темноты все окна занавешивались синими бумажными шторами. Почти каждую ночь Москву бомбили. В нашем доме, да и поблизости, бомбоубежища не было, и мы с мамой брали заранее приготовленный узел с подушкой, моим одеялом и еще какими-то вещами и спешили к метро «Красные ворота». Путь был неблизкий, приходили мы обычно последними, и места нам доставались где-нибудь в уголке. Мы усаживались на наш узел. Мама вздыхала: «В тесноте, да не в обиде», я клала голову ей на колени и засыпала.

Некоторым счастливым доставались раскладушки, которые стояли даже на путях. Когда давали отбой тревоги, все поднимались с мест, тянулись к выходу, вываливались на темную, холодную улицу и брели домой.

Иногда мы ночевали у маминих сестер в Столешниковом переулке. Там поблизости был подвал, служивший бомбоубежищем. Помню, как однажды, когда мы только что вернулись после отбоя и укладывались досыпать, по радио вновь прозвучало: «Граждане, воздушная тревога!» Мама опустила на стул и устало сказала: «Никуда я не пойду. Будь, что будет». Я лежала в теплой кровати, но не могла заснуть. Было страшно, но и интересно. Свет был погашен, шторы подняты, и я видела шарящие лучи прожекторов, слышала взрывы, как мне казалось, неподалеку.

У меня до сих пор хранится осколок бомбы, доставшийся мне от тети Эммы. Не знаю, где она его подобрала. Ни в их дом, ни поблизости бомбы не попадали. Этот осколок лежит в ящике моего письменного стола. Я не люблю брать его в руки, но и выбросить не могу.



Ольга Михайловна Луговская и ее дочь Татьяна. Сер. 1930-х

А потом началась паника. Немцы вплотную подошли к Москве, началась повальная эвакуация. В учреждениях жгли какие-то документы, всюду летали клочья полубгоревших бумаг. Улицы были заполнены людьми, везущими за собой санки, визгливо скрипевшие по бесснежной мостовой, толкали тележки с домашним скарбом.

14 октября уехал в эвакуацию папа с сестрой Татьяной, домработницей Полей и парализованной бабушкой Ольгой Михайловной, только что перенесшей очередной инсульт. На их эвакуации настоял Фадеев, он же прислал машину Скорой помощи, на которой Ольгу Михайловну доставили к поезду, увозившему из Москвы многих писателей.

Мама отца провожала. Не помню, была ли я на вокзале. А через пару дней, кажется, 16 октября, отправились и мы. Туристское управление, где работала мама, распустили. А эвакуация была плановой. Кто-то помог маме устроиться санитаркой в госпиталь, который отправлялся в Среднюю Азию. Мы засветло пришли (или приехали?) на вокзал и весь день ждали эшелона. Сидели на платформе, на вещах. Было холодно, временами моросил дождь. Мама прижимала меня к себе или заставляла прохаживаться, чтобы я не замерзла, и развлекала меня рассказами из всемирной истории. Помню, что мне почему-то больше всех исторических личностей понравился Александр Македонский. Может быть, благодаря звучному имени.

Эшелон в тот день так и не пришел. Ночевали мы в Столешниковом, у тети Эммы. Утром – снова на вокзал. На этот раз всё было в порядке. Нас загрузили в теплушки, и поезд тронулся. Нам достались места на верхних нарах, недалеко от окна, и я почти всю дорогу глядела на пронесившиеся мимо поля, леса, станции. Несколько раз мы попадали под бомбежку. Тогда поезд останавливался, а мы, подхватив самое необходимое или то, что попадало под руку, бежали в придорожные кусты или в чистое поле, подальше от

поезда. Порой эшелон долго стоял – ждали, когда очистят пути от разбомбленного впереди поезда. Мимо нас пронесли на носилках раненых и убитых. Было очень страшно. Потом трогались и ехали по восстановленным путям, а вдоль насыпи валялись остатки сгоревших вагонов и брошенные вещи.



Ирина Голубкина с дочерью Милой. 1940

Как мы питались, что ели – не помню. Посреди вагона стояла буржуйка, топившаяся всё время для тепла, и на ней, видимо, разогревали какую-то еду. На больших станциях все хватали чайники и кастрюли и бежали за кипятком. Обычно выстраивалась длинная очередь возбужденных людей, которые постоянно оглядывались, потому что никто не знал, когда именно отправится тот или другой эшелон.

Самое страшное воспоминание из тех дней: поезд трогается, а мамы нет. Эшелон набирает ход. Я жду – может быть, она села в другой вагон и сейчас появится. Но ее нет. Я всю ночь простояла около дверей теплушки, одна в спящем вагоне, одна в мире. Я боялась к кому-нибудь обратиться. Мы были чужими в этом эшелоне и мне казалось, что меня могут ссадить на ближайшей станции. Ужаса, который я тогда испытывала, не забуду никогда.

Утром мама догнала поезд. Уж не знаю, чего ей это стоило и как удалось. Она была измученная, осунувшаяся, грязная (может быть, ехала на паровозе?). Чайник где-то потерялся. Я с ревом кинулась к ней, а она на меня закричала. Видимо, сдали нервы.

Конечным пунктом прибытия нашего эшелона была станция Куропаткино, в трехстах километрах от Ташкента. Сколько я потом, бывая в Узбекистане, ни спрашивала у знакомых, никто о таком городе не знал и не помнил. Видимо, он сменил название, а может быть, вообще исчез с лица земли.

Облик этого городка в памяти моей не сохранился. Помню лишь жалкие домишки, грязь на узких улочках. Самым высоким зданием по-моему была школа, где мы жили в первые дни после прибытия, спали вповалку на голом полу. Потом нас с мамой определили на постой к какому-то украинскому мужику, не то ссыльному, не то переселенцу. Нам выделили отделенный занавеской угол за печкой, где помещалась только кровать.

Мужик был, видимо, зажиточный. У него было хозяйство – корова, свиньи и куры. Очень мучительно было сидеть или лежать за занавеской и чувствовать вкусный запах щей или сала, которое семейство поглощало, как мне казалось, в огромном количестве. Нас они не угощали и вообще не замечали. Только один раз, когда они что-то праздновали,

подвыпивший хозяин отодвинул занавеску и поднес маме стопку самогона, а мне кусок кровяной колбасы. Незадолго до праздника они закололи свинью. Я впервые видела, как это делается, и рыдала потом ночью в подушку. Поэтому колбасу было страшно есть, но голод преодолел брезгливость. Колбаса оказалась очень вкусной.



Ирина Соломоновна Голубкина. Кон. 1920-х

Постепенно хозяева привыкли к нам и даже, видимо, зауважали маму, потому что иногда, сквозь сон, я слышала: «Арина, выдь на минутку». Мама одевалась, выходила за занавеску, и они о чем-то тихо разговаривали. С этого же времени они стали продавать нам раз в два дня кружку парного молока. Уж не знаю, на какие деньги мы ее покупали. Вероятно, мама получала какую-то зарплату в госпитале, где работала чернорабочей.

Уже будучи взрослой я обнаружила в мамином архиве несколько телеграмм и письмо от папы из Ташкента военного времени. В телеграммах он спрашивал о здоровье, беспокоился, что она не ест. В письме жаловался на жизнь, на дороговизну, на болезнь матери и собственные недуги. Тогда это письмо меня разозлило. Я знала, что по сравнению с нами они в эвакуации жили вполне благополучно. Но когда Наталья Громова разобрала архив отца и я вместе с ней прочла написанные в те годы первые варианты поэмы, «Середины века», неровные, но искренние и горестные, а также письмо отца Фадееву и письма Татьяны Луговской к Леониду Малюгину, я поняла, как тяжело и страшно он тогда жил. Поняла и не то чтобы простила (что мне его прощать спустя столько лет), а приняла в свое сердце, обремененное собственным опытом жизни.

Но продолжу свой рассказ об эвакуации.

Госпиталь, где работала мама, отправлялся на фронт. Мама лишилась работы, и мы оказались в отчаянном положении.

И тут на помощь пришел папа. Сначала, как я понимаю, мама попросила его приютить нас

на некоторое время и, если возможно, помочь остаться в Ташкенте. Он ответил телеграммой и длинным письмом. Привожу его не полностью.

«Дорогая Ирина!

Получил твое письмо и сначала пришел в отчаяние. Приютить тебя с Милочкой я не мог, разлучить тебя с дочкой тем более. Мама находится в совершенно ужасном состоянии после третьего удара.

Она уже не владеет разумом, медленно умирает, кричит и плачет по целым часам подряд, и это страшно нам, выдавшим виды, а не только ребенку Калечить детей нельзя. Сиделка наша, верная Поля, ни на шаг не отходит от мамы. Татьяна работает с утра до вечера, и присмотреть за Милой было бы абсолютно некому...

Поэтому я предпринял большие поиски и пошел на всё, чтобы добыть для тебя работу. Но в Ташкенте без пайка жить невозможно, не говоря уж о прописке... В глуши вы были бы совсем оторваны от всего и от меня. Выход я нашел, когда обратился к отзывчивым и благородным людям – пограничникам, с которыми я связан издавна по Средней Азии. Работаю сейчас для них над Историей Пограничных войск Ср. Азии и, в особенности, Таджикистана. Они захотели сделать всё возможное. Вот предложение: Сталинабад – библиотекарем в погранвойсках. Обеспечивается КОМНАТА, 550 рб. жалования, ПАЕК, столовая, литер и билет до Сталинабада. Нужно **НЕМЕДЛЕННО ВЫСЛАТЬ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**, особенно упирая на культпросветработу, образование, службу...

Отвечай скорее. Через два часа. Целую тебя и Милу.
Твой В.»

Так мы оказались в Сталинабаде. Это было счастье. Погранотряд находился за городом. На берегу бурной, но мелководной речки стояли несколько зданий и казарма. Маму зачислили политраблотником, присвоили ей звание младшего лейтенанта. Она надела военную форму. У нас была отдельная комната, военный паек, и мы уже не голодали. Роскошества, конечно, не было. Я помню, что самой вкусной едой мне казалась своего рода тюря – черный хлеб с луком, политый хлопковым маслом. Стояло жаркое южное лето, и мы с ребятами, которых оказалось немало в отряде и в окрестных кишлаках, проводили весь день на реке. Мы трудолюбиво перегораживали ее камнями, устраивая нечто вроде запруды, чтобы плескаться в холодной воде, а потом отогревались на солнце. Было очень весело и интересно. Ко мне вернулись детство и беззаботность, казалось, навсегда утраченная.



Ташкент, 1942. Акварель Татьяны Луговской

От папы приходили короткие телеграммы: «Умерла мама буду Сталинабаде двадцатых числах целую Володя».

Бабушка Ольга Михайловна умерла 7 апреля 1942 года в возрасте шестидесяти шести лет. Похоронили ее на местном кладбище. В семидесятые годы, оказавшись в Ташкенте в командировке, я тщетно пыталась найти ее могилу. Оказалось, что даже самого кладбища нет, на его месте построили новый квартал.

В Сталинабад он так и не приехал, хотя мы его очень ждали, особенно я. Но зато в конце июля мы оказались в Ташкенте – маму послали на какие-то курсы повышения квалификации. Она взяла меня с собой, предварительно списавшись с папой, поскольку оставить меня одну не могла, а ей предстояло жить это время в казарме. Так я оказалась на улице Жуковского, 54, где жили эвакуированные писатели. Под этим номером значилось несколько домиков, находившиеся в одном общем дворе. Насколько я помню, в то время там жили Вирта, Уткин, Погодин, еще кто-то. Папа с Татьяной Александровной и домработницей Полей занимали две комнаты на первом этаже небольшого дома, а на втором этаже, в мезонине, или, как там говорили, балахане, жила Елена Сергеевна Булгакова с сыном. После ее отъезда летом 1943 года там поселилась Анна Андреевна Ахматова. Но ее я уже не застала.

Мало что сохранилось в моей памяти от поездки, о которой я так мечтала. Залитый солнцем дворик, писательские дети, с которыми я играла, папа, не знающий, как со мной общаться, ласкает меня, а я дичусь. Проще всего мне было с Полей. Я на всю жизнь сохранила к ней благодарность и теплое чувство. Я бы, наверное, даже не вспомнила, когда именно мы были в Ташкенте, если бы не найденное позже упоминание об этом в письме Елены Сергеевны Булгаковой моей тете Татьяне Александровне, находившейся в то время в Алма-Ате. «Сегодня приехала Ирина Соломоновна с Милочкой. Недели на полторы-две. Милочка сейчас сидит у меня и читает Гулливера». Письмо помечено датой 23.7.42 г.

Елену Сергеевну я запомнила. Она была очень ласкова со мной, без фальши и натянутости, которые дети всегда чувствуют. После войны мы с мамой как-то встретили ее у Никитских ворот. Она искренне обрадовалась, охала и ахала по поводу того, как я выросла, и я не шарахнулась от нее по своему обыкновению, а отвечала на вопросы об учебе и о том, что читаю. С ней всегда было легко и приятно разговаривать. Больше ее я не видела, хотя она довольно часто бывала в доме Сергея Александровича Ермолинского и его жены Татьяны Александровны. Но моя тетя не любила смешивать общения. Бывало, позвоню ей, скажу, что хотела бы зайти, а она отвечает: «В другой раз. Сегодня у нас будет Анна Андреевна». Или Каверин, или Натан Эйдельман. Впрочем, со многими знаменитостями я встречалась в ее доме на праздниках, где всегда было многолюдно, несмотря на тесную квартиру.



Елена Сергеевна Булгакова. 1946

Татьяна Александровна вернулась из Алма-Аты к концу моего пребывания в Ташкенте. Видимо, отношения у нас не очень сложились, потому что я помню, что чувствовала себя при ней неловко, а она мне не раз говорила потом, что я была довольно противной и капризной девчонкой. Могла ли я быть капризной, если всех побаивалась и чувствовала себя лишней и чужой в этом доме? Помню, что я с радостью вернулась в Сталинабад, в знакомую обстановку, в свою комнату.

Но пробыли мы там недолго. Маму перевели в город Термез. Там жизнь оказалась куда более скудной и безрадостной. Нас поселили в одной из комнат бывшего клуба или Дома офицеров. Вероятно, до войны в ней проводились занятия кружка рукоделия. Стены были увешаны вышивками и какими-то маленькими юбочками и кофточками, словно сшитыми на кукол. Комната была мало приспособлена для жилья. Зимой там было очень холодно. Мама готовила еду на керосинке, стоявшей на подоконнике. Там же мы ели – стола в комнате не было. На этом же подоконнике я готовила уроки, потому что, наконец, пошла в школу. Я должна была начать учиться в сентябре сорок первого, но война смешала все планы. В Сталинабад мы приехали к концу учебного года, да и школа там была далеко. И только в Термезе в свои уже почти полные девять лет я пошла в первый класс. Делать мне там было абсолютно нечего. Я уже читала взрослые книги, писала, считала. Но скоро обучение кончилось – я заболела. У меня обнаружили брюшной тиф и забрали в больницу, где я пролежала почти месяц. Болела я очень тяжело. Мама говорила, что был момент, когда она думала, что теряет меня. До самой выписки она все вечера проводила в этом «чумном бараке», где каждый день умирали десятки людей. Когда я думаю об этом, мне хочется встать на колени перед ее памятью...

Папа слал тревожные телеграммы, связывался с врачами и военным начальством, но не приезжал. В это трудное время объявился в Термезе мамин старый знакомый по фамилии Виноградов, бывший муж ее подруги Анны Гордеевны Кармановой. Он был интендантом и помогал маме продуктами, необходимыми мне, истощенной болезнью. Он же достал машину, чтобы привезти меня из больницы домой. Мама была ему бесконечно признательна.

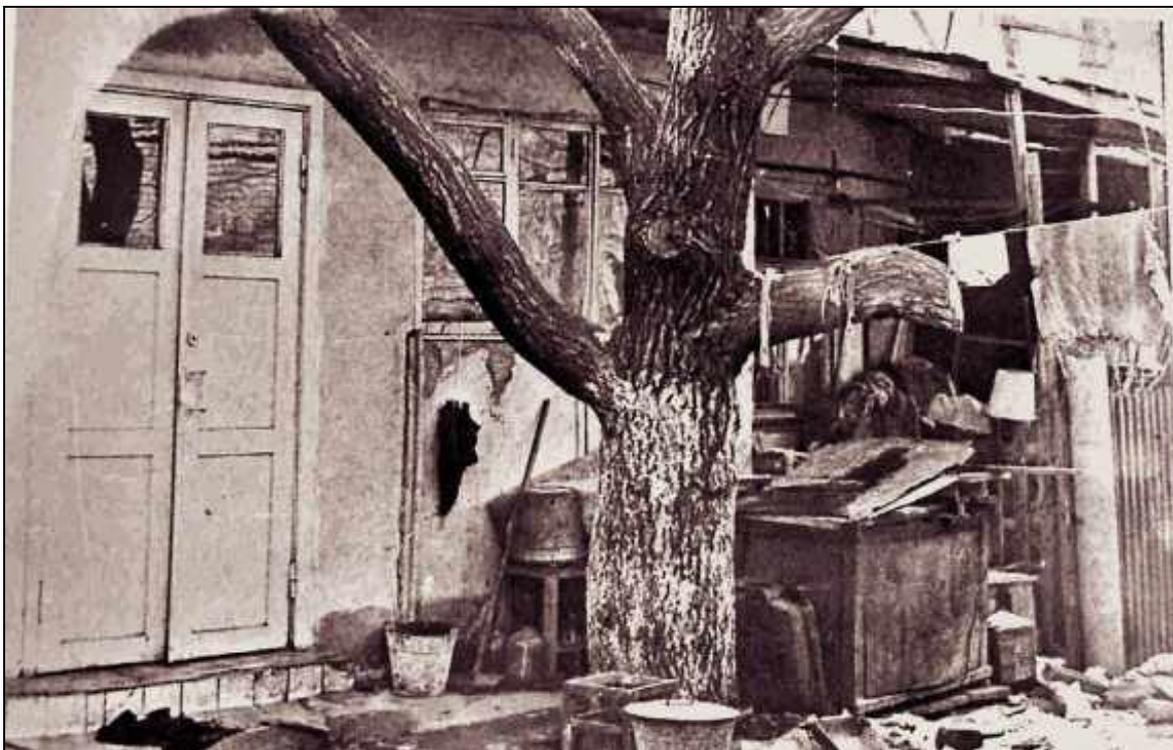


Ирина Голубкина с дочерью Милой. 1940

Самое забавное, что потом он исчез из нашей жизни и объявился только в Москве, когда мы вернулись из эвакуации, демобилизованный, какой-то растерянный, говорливый, он был мне почему-то неприятен. Может быть, потому, что пытался ухаживать за мамой, но безуспешно. Всё это закончилось очень быстро. Мама отдала ему свои форменные сапоги – на продажу. Кажется, он сам предложил свою помощь, уверяя, что сможет выгодно продать их, а мы тогда очень нуждались. Он забрал сапоги и исчез – уже навсегда.

Я после болезни от слабости не могла ходить. И всё время хотела есть. Помню ясно – мамы нет дома. Я скатываюсь с кровати и ползу к окну, цепляюсь за подоконник, поднимаюсь, открываю оконную раму и лезу руками в кастрюлю с холодным супом, вылавливаю куски мяса и жадно поглощаю их. Я отлично понимаю, что это стыдно, но ничего не могу с собой поделать. Кажется, это продолжалось не очень долго. Я отъелась, окрепла, потихоньку начала ходить.

Весной маму опять перевели. На этот раз далеко – на самую границу с Афганистаном в маленький городок Шурабад, где находилась погранкомендатура. Добирались мы туда долго.



Ташкент. Улица Жуковского

Сначала доехали до Сталинабада. Потом самолетом до города Куляба. Самолет был маленький – летчик и два пассажира, то есть я и мама. Кабина была открытая. Я пришла в какое-то невысказанное возбуждение от первого в жизни полета – всё время что-то выкрикивала, пела. Мама помалкивала. По-моему, боялась.

В Кулябе мы прожили несколько дней, ожидая оказии. Потом за нами приехали два пограничника, ведя оседланных лошадей. До Шурабада было около тридцати километров, добраться туда можно было только верхом. Один из пограничников посадил меня на лошадь. Я уселась в седло и почувствовала себя спокойно и удобно, как будто всегда ездила только так. Я сразу пустила лошадь рысью, но мама осадилась меня – дорога предстояла долгая и нелегкая. Сама она привыкла к лошадям еще на Кавказе. Тем не менее, я гарцевала и веселилась, а пограничники похваливали меня. Конечно, мама оказалась права – к концу пути я скисла, стала засыпать и валиться с седла. Маме пришлось, взяв узду моей лошади и обняв меня, поддерживать на весу.

Приехали мы в Шурабад поздно вечером, в полной темноте. Ночевать нас оставили в клубе.

Так начался последний, самый длительный и стабильный период нашей жизни в эвакуации. Где-то шла война, а у нас было спокойно и тихо. Изредка с застав приводили афганских декхан, случайно забредших через границу в поисках пропавшей овцы или коровы, а то и просто навещавших родственников. Никто из них не признавал границы, которая в наших местах пролегла по бурной, но мелководной реке Пяндж, и спокойно топтали по вспаханной полосе отчуждения. Их допрашивали и, как правило, отпускали. Мама держалась особняком, но на нее никто не обижался. Она была приветлива со всеми и всегда готова помочь. Ее уважали – культурная. Даже сам начальник комендатуры иногда заходил к ней в библиотеку – поговорить. Она допоздна там засиживалась, когда не нужно было заниматься домашним хозяйством – готовкой, стиркой и бесконечной штопкой и починкой – на мне всё горело, а купить детские вещи было невозможно.

Помню великую радость, когда из Москвы от тети Эммы пришла посылка с моими довоенными одежками, среди которых оказалось красное шерстяное платье с вышивкой, сшитое накануне нашего отъезда на Селигер и почти новое. Оно показалось мне невысказанно красивым, из другой жизни, о которой я читала в книгах. У меня сохранилась фотография – мама в гимнастерке и берете, а рядом я в этом платье и пилотке. Сейчас и платье, и я сама на этом фото кажутся мне довольно некрасивыми – странная, вытянувшаяся девочка с никаким лицом.

Конечно, платье, было мне маловато, но на это никто тогда не обращал внимания –

кое-как его надставили кусками другой ткани. Ребята мне завидовали. Женщины приходили и просили показать платье, которое я по будням не надевала, щупали материю и вздыхали – вещь!

Школа наша находилась на окраине городка – маленькое одноэтажное здание с одной классной комнатой, которая отапливалась печкой, выходящей топкой в коридор. К печке был приставлен сторож, он же истопник, дядя Коля – инвалид, по-моему, еще с Первой мировой. Учительница жила здесь же. У нее были какие-то мелкие собственные дети, которые время от времени врывались в класс. Она их выставляла из комнаты или усаживала на заднюю парту – рисовать или рассматривать картинки в букваре. Школа была четырехлетняя. Учились в две смены: первый и третий классы, второй и четвертый. Учительница давала задание одному классу и переходила к следующему ряду опрашивать. Потом наоборот. В основном дети были комендатурские, в Шурабаде русских семей среди местных почти не было. Впрочем, у нас учились и несколько таджиков. Видимо, родители хотели, чтобы они знали русский, или просто им было ближе ходить в эту школу.

Мне по-прежнему нечего было делать на уроках, и я дико скучала. Иногда учительница оставляла меня за старшую, давала какую-нибудь книгу читать вслух, а сама отлучалась ненадолго. Иногда, махнув рукой, отпускала меня пораньше. Обычно я дожидалась конца уроков, чтобы не пугать маму ранним возвращением. Бродила по поселку или просила у какого-нибудь таджика лошадь и нарезала круги вокруг школы.

Однажды во время одной из этих прогулок я напоролась на маму. Она шла по улице, на которой была почта, держала в руках листок бумаги и горько плакала, а вокруг нее толпились таджички, цокали языками, гладили по плечу, сочувственно вздыхали. Я бросилась к ней: «Что случилось?!» Она обняла меня, прижала к себе и сквозь слезы тихо сказала: «Лёльку убили». Лёлька, или Лев Селезнёв, был ее любимый племянник, единственный сын тети Эммы, в восемнадцать неполных лет ушедший добровольцем на фронт и погибший 15 марта 1944 года под Псковом. Я шла рядом с мамой, а она всё теснее прижимала меня к себе. Я втайне гордилась вниманием и сочувствием, которые оказывали нам все встречные, но больше ничего не испытывала, хотя до войны очень любила Лёльку, который был старше меня на девять лет. Дни рождения у нас были рядом: у него 12 декабря, а у меня 13, и в семье их почти всегда отмечали вместе. Но смерть как-то не умещалась у меня тогда в голове.

Кроме чтения у меня было еще одно занятие – мы ходили на конюшню проводить лошадей. У каждого из нас были там свои любимцы. Иногда нам удавалось упротить дневальных разрешить покататься верхом, и мы гордо гарцевали на плацу, конечно, без седел, но это нам не мешало, мы вполне освоились – ведь кони, как и ишаки, были обычным транспортом в тех местах. Впрочем, удавалось поехать нам только в более или менее теплую погоду, потому что в валенках и полушубках взобраться на лошадь было невозможно.

Еще мы иногда ходили в питомник для собак, но реже и менее охотно. Собаки были пограничные – овчарки, недобрые, натренированные на поимку нарушителей, посторонних к себе не подпускали. Зато мы очень любили смотреть, как их выгуливают на поводках приставленные к ним солдаты. Красивое было зрелище. Через много лет я как-то увидела в Москве на вокзале группу таких овчарок с проводниками, ожидавшимися поезда. Они сбились в кучу, дрожали, растерянно оглядывались вокруг и беспрерывно подвывали, будто плакали. А проводники курили, не обращая на них внимания. Ничего не было в этих псах от грозных и полных достоинства собак моего детства.

Расскажу еще одну историю, очень для меня горькую в те времена и оставшуюся в памяти на всю жизнь.

Как и все, наверное, дети на свете, я всегда мечтала о собаке – собственной, которая бы любила меня, заглядывала в глаза, ходила рядом, прибежала по первому зову, – охрана, друг и немножко игрушка. И вдруг однажды я встретила ее. Я проходила мимо электродвижка и увидела щенка, который пытался согреться – один бок у него уже дымился от горячего воздуха, а другой был покрыт изморозью. Был холодный весенний день, и щенок дрожал мелкой дрожью и смотрел на меня с такой безнадежной печалью,

что у меня зашло сердце.

Я взяла его на руки, отнесла домой, отогрела, накормила, и он заснул у меня на коленях, прерывисто вздыхая и поскуливая во сне. Пришла с работы мама, посмотрела на нас, умилилась, но, естественно, сказала, что жить ему у нас нельзя – соседи будут возражать, да и повернуться у нас негде. Потом согрела на керосинке воду, вымыла щенка в тазу, завернула в полотенце и разрешила оставить на одну ночь, пока никто о нем не знает. Ночью он привалился ко мне теплым боком, я обняла его и почувствовала себя абсолютно счастливой. Моя мечта сбылась.

К счастью, я училась тогда во вторую смену, поэтому утром собрала ребят, и мы выкопали в сугробе за домом, около сараев, глубокую пещеру обложили ее изнутри досками, постелили какое-то тряпье и засунули туда щенка. Он милостиво согласился признать это сооружение собственной конурой. Потом, когда снег начал таять, один из офицеров, немолодой и добрый дяденька, позвал нескольких солдат, и они построили там же, около сараев, настоящий собачий домик, утепленный и удобный.

Я назвала щенка экзотическим именем Юкон – начиталась Джека Лондона. Щенок быстро рос и превратился в юную собаку, абсолютно беспородную, очень ласковую, доверчивую, радостно кидавшуюся ко всем, приветливо помахивая пушистым хвостом. Скоро к псу все привыкли, и он стал как бы общим, но хозяйкой признавал меня одну. Провожал меня до ворот дувала, когда я шла в школу, и неизменно встречал радостным визгом на дороге, когда я возвращалась. Уж не знаю, как он распознавал время, по моему, просто взбирался на дувал и часами вглядывался в даль, ожидая моего появления.



Мила Голубкина. 1950-е

Наступило лето, и началась наша дворовая жизнь с готовкой, домино, шашками и шумными детскими играми. Однажды в тихий вечерний час появился на нашем подворье

солдат с винтовкой. Все затихли, удивленно оглядывая его: почему с оружием, в неурочное время? Юкон радостно бросился навстречу новому человеку, а тот прицелился и выстрелил ему в грудь. Я видела, как солдат прицеливался, но почему-то не могла пошевелиться от ужаса и непонимания. Видимо, что-то похожее случилось и с остальными, потому что, когда Юкон упал, обливаясь кровью, все повскакали с мест и набросились на солдата, а он спокойно ответил, что выполняет приказ коменданта, который велел ему отстреливать бродячих собак, чтобы они не занесли заразу в питомник. Он взял Юкона за задние лапы и поволок по земле, оставляя кровавый след, куда-то за территорию поселка и бросил на кучу мусора. Собака была еще жива, она умирала долго и мучительно, а я сидела возле нее и рыдала в голос от жалости и ужаса. За что убили Юкона, ласкового, милого, никому не приносившего вреда?

Откуда такая жестокость? И почему я не заступилась, не закрыла его собой?

Прибежала взволнованная мама, пыталась меня увести, но я билась у нее в руках и ни за что не хотела уходить. Я бы, наверное, провела там всю ночь, но мама привела кого-то из мужчин и меня силой унесли домой. Утром пес был еще жив, весь облепленный мухами и неподвижный, только бок слабо вздымался. Потом испустил дух. Я и несколько моих друзей были с ним рядом до конца. Мы начали копать яму, но тут пришел солдат с лопатой, быстро вырубил в спекшемся грунте углубление, завернул неподвижное тело в тряпку, бросил туда и закопал, сделав даже небольшой холмик. Мы воткнули в него палку и повесили матерчатый ошейник, который я когда-то выпросила в питомнике. Позже мы узнали, что солдат с лопатой пришел по приказу того же коменданта, которому моя тихая мама устроила настоящий скандал, забыв про субординацию и про то, что ее могут отдать под трибунал за оскорбление начальства. Но комендант стерпел и только перестал приходить в библиотеку менять книги и беседовать с мамой «в неофициальной обстановке», как он любил говорить.

Я долго не могла прийти в себя после пережитого потрясения, пропускала школу, плакала и отдалилась от всех. Мама говорила потом, что именно тогда из веселого, беззаботного ребенка я превратилась в угрюмого подростка, хотя мне еще не было одиннадцати лет.

Писем от папы мы тогда, видимо, не получали, или мама их не сохранила. Помню только, что он вернулся из эвакуации осенью сорок третьего и я ему очень завидовала и спрашивала маму, почему же он нас не взял с собой. Она отговаривалась, объясняя это военной службой. Но осенью сорок четвертого маме удалось демобилизоваться, и мы начали собираться в дальнюю дорогу. Сборы были непростые. Мама ходила по окрестным кишлакам и меняла вещи на продукты. Надо сказать, что менять-то нам особенно было нечего. Из писем родных мы знали, что в Москве голодно. Да и вообще продукты в те времена ценились дороже денег. Запасалась она, главным образом, топленным маслом, вяленным мясом и мукой. Еще помню, что шли сушеные фрукты: урюк, кишмиш, курага – всего понемногу, ведь дорога предстояла долгая, с пересадками.

Первая посадка на поезд была в Сталинабаде. В то время многие возвращались из эвакуации в родные места. Вокзал и площадь перед ним были забиты людьми и вещами. Билет нам удалось купить в воинской кассе. Но самое трудное было сесть в поезд. Нумерованных мест не было. Толпа осаждала вагоны. Те, кто были посильнее и попроворнее, занимали сидячие места, самые ловкие – верхние полки и багажные, где можно было даже лежать. Остальные усаживались в проходах на вещах. По совету кого-то сведущего мама договорилась с носильщиком, вручив ему бидончик масла, чтобы он провел нас к вагону за пять минут до объявления посадки. Он всё выполнил в точности, загрузил вещи в тамбур, оставил меня их сторожить и ушел, а мама осталась снаружи разбираться с проводницей, которая почему-то очень тщательно проверяла наши билеты. Может быть, тоже рассчитывала на подношение. Кончилось всё тем, что не то она, не то мама уронила билет, и он упал на рельсы. Мама соскочила в узкий проход между платформой и вагоном, чтобы поднять его, и в эту минуту пустили на посадку всю толпу. Люди неслись, ничего не видя перед собой, давя друг друга, мне показалось, что они бегут по маминой голове. Меня с вещами вдавили в закрытую дверь. Образовалась чудовищная давка. Кто-то кричал от боли, кто-то ругался. И над всем этим висел чей-то жалобный, почти щенячий визг. Я еще подумала – кто это так скулит?

Оказалось – я.

Хорошо, что от Сталинабада до Ташкента путь был не столь долгим. Мы кое-как перемоглись на узлах и чемоданах. В Ташкенте нам предстояла пересадка на московский поезд. Билет прокомпостировать удалось не сразу. Папа уже давно был в Москве. Знакомых в Ташкенте у нас не было. Поэтому несколько дней мы провели на вокзале. Почему-то из всего, что с нами тогда происходило, мне запомнился только один случай.

Мама куда-то отлучилась. Я сидела на вещах, укрытая толстым шерстяным платком, который мама купила на базаре в преддверии холодных московских зим. Мимо меня прошел какой-то мужик, остановился, оглянулся, спокойно снял с меня платок и так же спокойно пошел дальше. Я онемела и от страха боялась пошевелиться. Никто вокруг и не подумал вмешаться. Вернувшись вскоре мама застала меня зареванную и дрожащую от испуга. Она даже не стала корить меня, только спросила у соседней: «А вы-то почему не заступились?» Они невозмутимо ответили: «А нам-то что? Девчонка молчала. Зачем нам в чужие дела вязаться?»

Дорога до Москвы была более спокойной. Нам удалось занять верхнюю полку, и мы ухитрились даже спать на ней вдвоем – я у стенки, а мама с краю, соорудив из армейского ремня петлю, которой пристегивала себя к боковым распоркам полки. В Москву мы приехали холодным октябрьским или ноябрьским, не помню точно, днем. Осталось только ощущение промозглости и хмурости. Встречали нас тетя Эмма и дядя Серёжа, ее муж. Никаких такси или частных машин не было. Садиться в набитый до отказа автобус с нашим багажом было невозможно. Наняли носильщика с тележкой. Он загрузил ее доверху и довольно шустро покатил по Садовому кольцу, от Курского до Первой Мещанской – не ближний свет. Мы еле поспевали за ним.

Москва резко не понравилась мне. За эти годы я уже привыкла к открытым просторам, небу, сливающемуся с горизонтом, воздуху, который вдыхаешь и не замечаешь, такой он легкий и свежий. А тут на меня навалилось всё сразу: громадные дома, заслоняющие всё пространство, с шумом проносившиеся мимо машины, бьющие в нос выхлопные газы, спешащие и не обращающие на нас никакого внимания люди. Ни одного заинтересованного или просто любопытствующего взгляда, ни одной улыбки.

Наконец мы добрались до нашего дома. Носильщик вкатил тележку во двор и начал перетаскивать вещи к двери квартиры на втором этаже, которую мама, обогнав его, открыла своим ключом. Нас никто не ждал. Соседи высыпали в коридор, начались объятия, охи, ахи и даже слезы. Мы не виделись почти четыре года.

Отпустили носильщика, расплатившись с ним немалой суммой и кусочком сыра, завернутым в вощеную бумагу. Сыру он обрадовался больше всего, а тетя Эмма вздохнула и покачала головой. Такая щедрость ей показалась излишней, я думаю, что сыра они не видели с начала войны.

Оставив вещи сваленными в передней, мы попытались открыть дверь в комнату, но она оказалась забитой досками крест-накрест.

Нам объяснили, что какое-то время там жила семья из разбомбленного дома. Когда они съехали, дверь осталась открытой настежь, и домоуправ распорядился заколотить ее. Кто-то из соседней принес лом, доски отодрали, и перед нами предстала картина, которую я никогда не забуду: наша крошечная восьмиметровая комната была абсолютно не похожа на человеческое жилье. Окно забито фанерой наглухо, причем, как мы впоследствии обнаружили, стекла не были выбиты. Их просто аккуратно вынули и увезли с собой. В те годы оконное стекло было дефицитом. В тусклом свете, падавшем из коридора, мы увидели груды мусора, выжженный паркет и куски упавшей с потолка штукатурки. Из наших вещей остались только громоздкий диван с полочкой, на которой раньше стояли книги, и дубовый стол, который, вероятно, не пролез в дверь. Я зарыдала в голос и стала умолять маму уехать обратно. Впрочем, я скоро смолкла, потому что никто не обратил на меня внимания. Все стояли подавленные и растерянные. И тут мама тряхнула головой и скомандовала: «Так, заносим вещи, берем только самое необходимое. Дверь заколачиваем. Ночевать поедem к тебе, Эмма. Надеюсь, место для нас найдется – ненадолго». Это была ее особенность – тихая и порой нерешительная, она в трудную минуту мгновенно собиралась и принимала единственно правильное

решение. «Конечно, конечно! – закричали в один голос тетя Эмма и дядя Серёжа. – Мы и так собирались предложить тебе пожить у нас, пока устроишься». Все оживились, захопотали, вернули обратно выставленные доски, стали затаскивать вещи. И только я продолжала тихо всхлипывать – от усталости, пережитого и стыда за свое малодушие.

Впоследствии соседи вернули нам что-то из вещей, которые они успели припрятать до вселения временных жильцов, – книги, немного одежды, посуду и фотографии, которым мама обрадовалась больше всего.

Как мы добрались до Столешникова, сколько дней мы там прожили, я не помню. Знаю только, что через некоторое время мы переселились в нашу комнатку, которая показалась мне уже родной и уютной. Теперь я понимаю, каких усилий стоило маме это восстановление. Очень хорошо помню ощущение собственного дома. Не временного, как все эти годы, а своего, прочного, может быть, даже вечного.

Меня определили в школу в Безбожном переулке (ныне и раньше – Протопоповский). Из первой ученицы шурабадской школы я как-то быстро превратилась в одну из последних. Особенно отставала я по чистописанию, которому нас там почти не учили. Меня это не очень огорчало, но было тоскливо, и всё время хотелось обратно – к горам, свободе и свежему ветру, который нес с собой ощущение бескрайности мира и жизни.

Постепенно я стала привыкать. Спасали, как всегда, книги, которые я читала запоем и без разбору. Вспоминается забавный случай. Я решила записаться в школьную библиотеку. «Какой класс?» – спросили меня. «Третий». – «Можем предложить “Лягушку-путешественницу”». – «Читала», – робко ответила я (я всегда робела в присутственных местах). «“Что я видел” Житкова». – «Читала». – «Ну хорошо, а “Каменный цветок” Бажова»? – «Читала», – совсем скисла я. Воцарилось недовольное молчание. «Ну хорошо, иди, сама посмотри и выбери». Я радостно бросилась к полкам и через некоторое время подошла к библиотекарше с «Дон-Кихотом». «Ты что? – ахнула та. – Это же для восьмого класса». И решительно водрузила книгу на место. Больше я в эту библиотеку не ходила. Но книги всё равно находились. Откуда – уже не помню. Наверное, у маминых знакомых, родственников, может быть, мама брала для меня что-то во взрослых библиотеках. Купить новую книгу было трудно, и каждое такое приобретение было событием. До сих пор у меня стоит толстенный том Горького в сером невыразительном переплете, на очень плохой бумаге. Мы купили его где-то за городом. Храню его как память.

Папу мы это время почти не видели. Он в очередной раз женился, на Елене Леонидовне Быковой, которую все называли Майей, поскольку она родилась 14 мая. Но всё это я узнала значительно позже, а тогда я понимала, что он нами не очень интересуется. Помню только, что однажды мама позвонила ему и попросила достать ордер на пальто, так как я из всего выросла и ходить мне было не в чем. Он достал. Жили мы тихо, почти ни с кем не общались. За время войны друзья и знакомые куда-то исчезли. Да к тому же много сил и времени уходило на быт, на выживание. Стояние в очередях, где номера отмечали чернильным карандашом на запястье или на тыльной стороне ладони. Отопление не работало – топили буржуйку. Газа не было – только керосинки и примусы. Меня это, правда, касалось мало, только очереди на разогревание еды. Чаще еду даже не разогревали, а доставали кастрюльки из-под двух-трех одеял и множества газет, в которые они были закутаны.

Наступила весна, а с ней нетерпеливое ожидание победы. Каждый день начинался со сводок. Они становились всё более радостными и обнадеживающими. Затаив дыхание, я слушала названия незнакомых городов, освобожденных (а под конец и захваченных) нашими войсками. И вот, наконец, Берлин – последний рубеж.

9 мая нас разбудили соседи. Они стучали в дверь с радостными криками: «Включайте радио! Победа! Мир! Победа!»

Я не стану описывать этот день. Он уже много раз был описан – обнимающиеся люди, взлетающие вверх военные. Казалось, весь город высыпал на улицы и площади. Смутно помнится какой-то капитан, который угощал мороженым всех оказавшихся рядом детей. Мне тоже перепало. Упомяну только невероятное, ни с чем не сравнимое потрясение

одиннадцатилетней девочки, увидевшей вечером в темном небе портрет Сталина, парящий в скрещенных лучах прожекторов. Мне казалось, что я вижу Бога. Господи, как мы странно жили! Многомиллионный народ, одурманенный до невменяемости. Конечно, были люди, и теперь я знаю, что немало, которые понимали, что происходит. Но основная масса жила по законам древних племен, поклонявшихся идолам и смутно представлявших себе устройство мира. Поразительно, но в этот разряд попадали и очень неглупые люди. Или пытались попасть. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как может быть, не верили себе». Что это? Подхалимство? Конъюнктура? Заблуждение? Или искреннее ощущение величия, перед которым нужно преклоняться? А Гитлер? А Мао Цзедун? Может быть, в этом разберутся будущие историки и философы. Хотя вряд ли. Скорее всего, это будет отложено до Страшного суда.

Началась мирная жизнь, оказавшаяся совсем не такой, как мы ее себе представляли. Все понимали, что будут трудности, но никто не ждал столь жестких и в таком объеме. И дело не только в идеологии. Она меня по малолетству мало касалась. Война словно бы и не закончилась – всё то же постоянное чувство голода, те же карточки и очереди, та же буржуйка и постоянная проблема – где достать дрова. Холодно было всюду. В школе мы занимали очередь – кому сидеть на перемене у батареи, прижавшись к ней спиной.

1947 год был самым тяжелым. Голод был таким, что мама, отдававшая мне большую часть еды, выжила, как сама мне потом говорила, только благодаря тете Розе, которая работала в поликлинике при заводе «Серп и молот» и делала ей инъекции витаминов. Мама ездила на другой конец Москвы почти ежедневно.



Школьница Мила. Сер. 1950-х

Помню невероятную радость, когда бывшая ученица тети Эммы, работавшая на мясокомбинате, подарила ей килограмм костей, половину из которых она отдала нам, и мама сварила бульон, показавшийся мне таким вкусным, что, доев его, я заплакала.

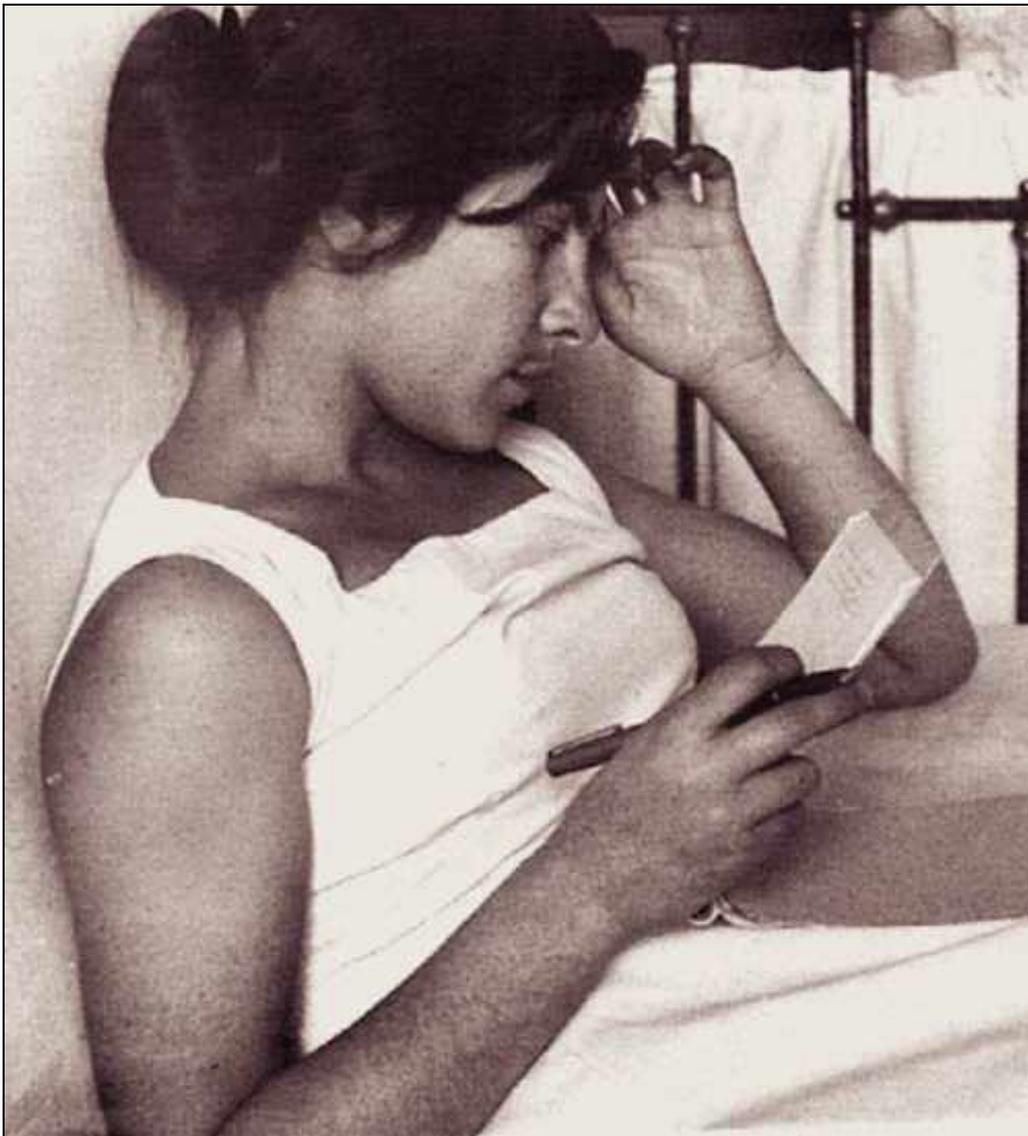
Как-то (но это было уже позже) приехала к нам из деревни в гости моя довоенная няня Зоя. В плюшевом жакете, румяная, веселая. Она привезла нам молоко и яйца. Ее муж был председателем колхоза. Я потом гостила у них, кажется, когда училась в десятом классе, на зимних каникулах, и вернулась до того растолстевшая, что мама ахнула, а соседи сбежались на меня посмотреть. Дом у Зои был богатый, обустроенный. Суп ели

три раза в день, а яичницу на четверых едоков делали из двадцати яиц на огромной сковороде.

Летом меня отправляли в пионерский лагерь – каждый раз в другой. Однажды я попала в образцовый лагерь – в Ленинских Горках. Именно оттуда я приехала завшивевшая и меня пришлось остричь наголо. Мазали мне голову керосином, покупали какое-то средство в аптеке – всё это не помогало. До сих пор помню, как я сидела, наклонив голову и закрыв глаза, над газетой, а мама чешет меня частым гребешком, и я слышу, как они сыплются горохом, звучно и смачно ударяясь о стол.

И всё же голод, холод, бедность были не главным в тогдашней нашей жизни. От первых послевоенных лет у меня осталось ощущение тревоги и подавленности. Инвалиды на тележках, заполнявшие улицы, слухи о новых арестах, передававшиеся шепотом, и общая суровость бытия, которой я не чувствовала даже в эвакуации, может быть, потому, что там всё казалось временным, объяснимым. А в Москве всему этому не видно было конца. Казалось, что мы всегда только так и будем жить...

Папа выпал из нашей жизни окончательно. Телефона у нас по-прежнему не было. К нам он не заезжал. Пути наши не пересекались. Скажу честно, меня это тогда мало занимало. Я привыкла к тому, что у нас маленькая семья, очень любила маму, и мы дружили с ней. Не просто жили дружно, а именно дружили. У меня не было от нее тайн, у нее, как мне кажется, тоже. Мы всё обсуждали – новости, события, происходившие у меня в классе и у нее на работе (она в то время опять служила в ТЭУ – Туристско-экскурсионном управлении, водила экскурсии по Москве).



Людмила Голубкина. Кон. 1950-х

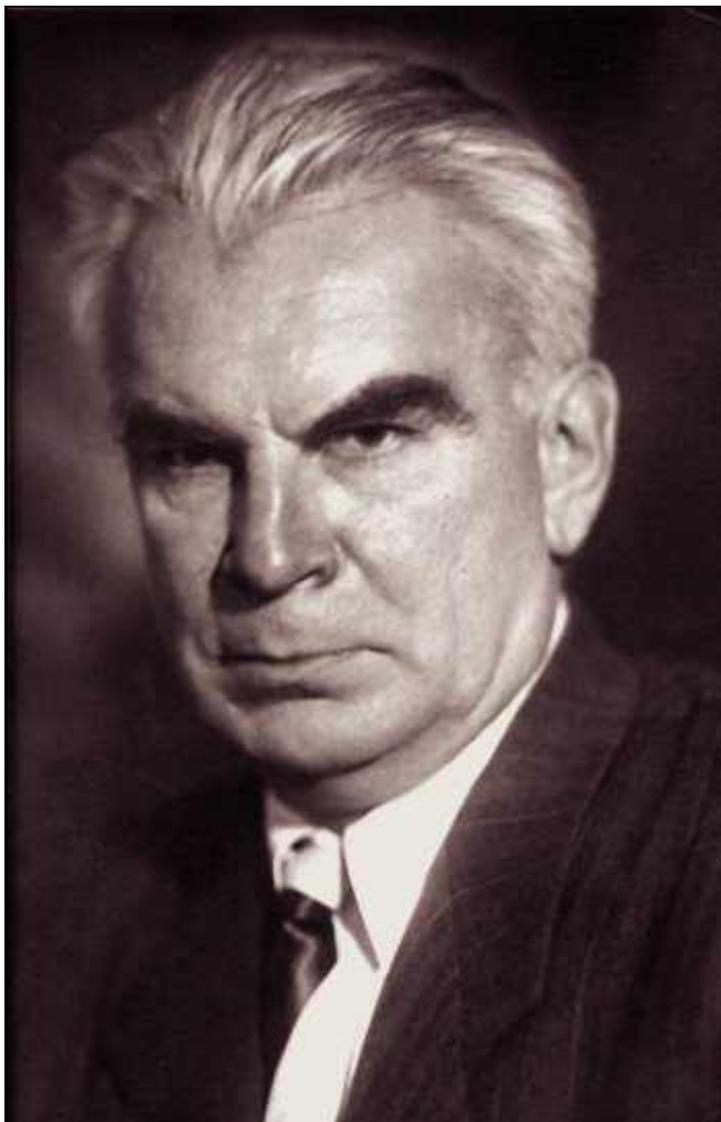
Но однажды, в октябре 1949 года, я увидела на улице большую афишу: «Советские писатели – свободному Китаю», извещавшую о вечере в зале имени Чайковского. В

числе участников был назван и поэт Луговской. Решение пришло мгновенно, я не раздумывала ни секунды. Уговорила пойти со мной свою приятельницу, сейчас даже не помню, кого именно. Мама дала деньги на билеты.

Огромный зал, ряды круто поднимаются вверх. Мы сидели высоко, на самых дешевых местах. На сцене – все выступающие: Асеев, Антокольский, Катаев, Михалков и другие. Я с трудом отыскала среди них отца, сидевшего в заднем ряду на сцене. Сердце забилось неистово. Я замерла. Подруга искоса, с интересом посматривала на меня. Начался вечер. Выступали поэты и писатели, читали свои стихи и отрывки из прозы. Наконец на трибуну поднялся отец. Своим громовым голосом он прочитал что-то про Китай, наверное, написанное специально к этому вечеру. Я потом никогда и нигде не встречала это стихотворение. По-моему, оно было невнятным, вялым и вместе с тем пафосным. Но в тот момент я об этом не думала.

Он дочитал, откашлялся и сел на свое место под довольно жидкие аплодисменты. И тут я вырвала листок из тетради и написала карандашом:

«Папа, я в зале. Если хочешь меня видеть, я буду ждать тебя после вечера возле третьей колонны у входа. Мила». Надписала его фамилию и послала в президиум. Записка медленно поплыла по залу. Я видела, как ее передают из ряда в ряд. Я видела каждое движение рук незнакомых мне людей. Кто-то вертел ее в руках, разглядывая, кто-то сразу передавал следующему. Мне показалось, что это продолжается бесконечно. Меня колотила дрожь. Подруга потом сказала мне, что я была бледна, как полотно.



Владимир Луговской. Сер. 1950-х

Наконец записка дошла до отца, и он прочитал ее, близко поднеся к глазам. Повертел в руках. Снова прочитал. Оглядел зал. И стал искать кого-то глазами в первых рядах. Несмотря на волнение, я немного удивилась – почему в первых? Потом выяснилось, что

там сидела Елена Леонидовна, его жена.

Как я досидела до окончания вечера, не помню. Мы вышли на улицу, подруга отошла подальше, я подошла к третьей колонне. Ждать пришлось довольно долго. Наконец, появился отец – большой, вальяжный, с тростью в руке, а с ним довольно крупная прелестная женщина, нарядно и необычно одетая.

Отец поцеловал меня, сказал что-то вроде: «Как ты выросла!» Дальше говорили только я и Елена Леонидовна. Она задавала вопросы, хвалила меня за что-то, пригласила к ним в гости, назначив день.

С тех пор я стала бывать у них довольно часто. С отцом особой близости не было. Он демонстрировал меня гостям, стандартно расспрашивал об успехах в школе, равнодушно относясь к моим признаниям в том, что успехи так себе. Спрашивал и про маму. Он даже несколько раз заезжал к нам домой – на минутку. Я каждый раз терялась. Уж очень он был большой, заполнял собой всю нашу убогую комнатушку. Разговаривал он больше с мамой. В общем, я была ему не очень интересна.

Зато с Еленой Леонидовной я дружила бурно и страстно. Я просто влюбилась в нее. Ей это нравилось. Своих детей у нее не было, а потребность опекать и учить жизни была. Я ей даже звонила иногда из ближайшей телефонной будки, и мы болтали просто так, если у нее находилось для этого время.

Но чем дальше, тем больше мы сближались с отцом. Я выросла и становилась для него интереснее и интереснее. Он часто вызывал меня телеграммами – «Позвони!», «Приезжай!» А незадолго до смерти написал маме записку, которой я очень горжусь: «Ирина, спасибо тебе за дочку!»

Список цитируемой литературы

- 1) *Цветаева М.* Собр. соч. В 7 т. М., 1995.
- 2) *Эфрон Г.* Дневники. В 2 т. М., 2004.
- 3) *Эфрон Г.* Письма. Калининград МО, 1995.
- 4) *Саакянц А.* Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997.
- 5) *Виноградов-Мамонт Н.* [Из дневника] // Чистопольские страницы. Казань, 1987.
- 6) *Громова Н.* Эвакуация идет... М., 2008.
- 7) *Чуковская Л.* Предсмертие // Марина Цветаева в воспоминаниях современников. М., 2002. Т. 3.
- 8) *Сикорский В.* «...Не моя златоглавая». Незабываемое о Марине Цветаевой // Марина Цветаева в воспоминаниях современников. М., 2002. Т. 3.
- 9) *Дзюб и некая О.* Город сердца моего // Марина Цветаева в воспоминаниях современников. М., 2002. Т. 3.
- 10) *Мзбров А.* Жизнь в театре. В 2 т. Т. 2. М.-Л., 1932.
- 11) «Еще меня любите за то, что я умру...» Марина Цветаева и Елена Назарбекия / Даниил Санников // Григорий Санников. Лирика. М., 2000.
- 12) «...Вечно милый мне Чистополь». Дарственные надписи и письма Б.Л. Пастернака В.Д. Авдееву // Чистопольские страницы. Казань, 1987.
- 13) *Чуковский К., Чуковская Л.* Переписка. 1912–1969. М., 2003.
- 14) *Пастернак Б.* Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак // Пастернак З. Воспоминания. М., 1993.
- 15) *Андреевский Г.* Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е гг. М., 2003.
- 16) Встречи с прошлым. Вып. 4. М., 1982.
- 17) *Бережных И.* Ташкентские мальчики // Вечерний Ташкент. 1976. 2 апреля.
- 18) *Бабаев З.* Воспоминания. М., 2000.
- 19) *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 1–2. 1938–1941. М., 1997.
- 20) *Луговская Т.* Как знаю, как помню, как умею. М., 2001.
- 21) *Берестов В.* Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. М., 1998.
- 22) *Мошковский А.* Георгий – сын Цветаевой // Октябрь. 1999. № 3.
- 23) *Багрицкий Вс.* Дневники. Письма. Стихи // Сост. Л.Г. Багрицкая и Е.Г. Боннэр. М., 1964.

Именной указатель

А

Авдеев Арсений Дмитриевич (1901–1966), театровед, житель Чистополя, сын Д.Д. Авдеева 360 *Авдеев Валерий Дмитриевич* (1908–1981), сын Д.Д. Авдеева, профессор, доктор биологических наук. Адресат писем Б.Л. Пастернака 33, 166, 403 *Авдеев Дмитрий Дмитриевич* (1879–1952), житель Чистополя, врач 405 *Аврущенко Владимир Израилевич* (1908–1941), поэт. Ушел добровольцем на фронт, попал в плен, казнен за отказ сотрудничать с немцами *Аврущенко Игорь Владимирович* (р. 1934?), сын В.И. Аврущенко, воспитанник чистопольского детсада 243 *Агда*, см. *Шор Агда Александровна*

Аджубей Алексей Иванович (1924–1993), журналист, главный редактор «Известий» 222 *Адуев Николай Альфредович* (1895–1950), русский и советский поэт, драматург, либреттист

Айги Геннадий Николаевич (1934–2006), поэт 156, 175, 186 *Александр Германович*, см. *Шор Александр Германович Александр Григорьевич*, см. *Архангельский Александр Григорьевич Александра Иосифовна*, см. *Гроссман А.И.*

Александров Григорий Васильевич (1903–1983), режиссер *Александрова Зинаида Николаевна* (1907–1983), детский поэт 348 *Александрова Татьяна Ивановна* (1929–1983), детский поэт, художник 72 *Алёша*, *Лёшка*, см. *Баталов Алексей Владимирович Алёша*, см. *Перевозников Алексей Семенович Алёша*, см. *Сурков Алексей Алексеевич*

Алигер Маргарита Иосифовна (1915–1992), поэт. Приезжала в Чистополь осенью 1941 г. и в 1942 г. 17, 31, 37, 261, 313 *Аллилуева Надежда Сергеевна* (1901–1932), жена И.В. Сталина, мать В.И. Сталина 303

Аллилуева Светлана Иосифовна (1906–2011), дочь И.В. Сталина, филолог 301–302 *Алперс Борис Владимирович* (1894–1974), театровед, преподаватель ГИТИСа.

Приезжал в Чистополь в октябре 1941 г. 37, 53 *Алперс Галина Георгиевна* (1901–1994), жена Б.В. Ал перса, преподаватель иностранных языков. Жила в Чистополе в 1941–1943 г. 37–38, 52–53 *Аля*, см. *Эфрон Ариадна Сергеевна Анна Зиновьевна*, см. *Стонова Анна Зиновьевна*

Аннинский Лев Александрович (р. 1934), литературовед, критик, писатель 185 *Антокольский Павел Григорьевич* (1896–1978), поэт. Осенью 1941 г. был в Казани 71, 400

Арбузов Алексей Николаевич (1908–1986), драматург. Жил в Чистополе осенью 1941 г. 62, 87, 92–93, 260, 285 *Арбузова Татьяна Алексеевна*, см. *Паустовская Татьяна Алексеевна* *Арго Абрам Маркович* (наст. фам. *Гольденберг*; 1897–1968) – поэт-сатирик, драматург, переводчик *Арго Юрий (Евгений Абрамович)* (1922–1942), сын А.М. Арго, пионервожатый в Берсуте и чистопольском интернате. Ушел добровольцем, погиб на фронте 10, 352, 361

Ардов Борис Викторович (1940–2004), сын В.Е. Ардова, актёр, художник 109, 113–114, 129–130, 369 *Ардов Виктор Ефимович* (1900–1976), писатель-сатирик, фронтовик. Находился с семьёй в Чистополе в сентябре – октябре 1941 г. 109, 129–130, 312 *Ардов Михаил Викторович* (р. 1937), сын В.Е. Ардова, воспитанник чистопольского детсада. Священник, литератор 109, 113, 129–130, 312, 369 *Аркадий Павлович*, см. *Розен гол ыц Аркадий Павлович Артёмов Вячеслав Петрович* (р. 1940), композитор, муж Н.А. Сурковой 292 *Архангельская Фира Абрамовна*, жена А.Г. Архангельского 198–200

Архангельский Александр Григорьевич (1889–1938), поэт-пародист 199, 200 *Асеев Николай Николаевич* (1889–1963), поэт. В Чистополе жил с семьёй

с августа 1941 г. по июнь 1943 г. 8, 21, 27, 33, 40–42, 47, 53–59, 81–82, 85, 134, 145, 163, 166, 180, 244, 354, 400 *Асеева Ксения Михайловна*, см. *Синякова Ксения Михайловна* *Асмус Валентин Фердинандович* (1894–1975), историк философии 55 *Ахматова Анна Андреевна* (1889–1966), поэт. Находилась в Чистополе осенью 1941 г. 64–65, 67–69, 73, 78, 82, 96, 156, 364, 366, 378, 386, 404

Б

Бабаев Эдуард Григорьевич (1927–1995), литературовед. Родился и жил в Ташкенте 64, 67, 69, 72–75, 404 *Багрицкий Всеволод Эдуардович* (1922–1942), поэт. Жил в Чистополе в октябре-декабре 1941 г., ушёл добровольцем, погиб на фронте 8, 10, 62, 87–93, 291, 314–316, 404

Багрицкая Лидия Густавовна (1896–1969), жена Э.Г. *Багрицкого*, мать Всеволода 90, 91
Багрицкая Маша, см. *Брагина Мария*

Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895–1934), поэт, переводчик 8, 88–89, 314, 316 *Бакст Леон Николаевич* (1866–1924), российский художник, сценограф, график 227

Балтер Павел Абрамович (1908–1941), архитектор 19–20

Бамдас Анна Марковна (1899–1984), жена А. Ивича, мать Сони Ивич, редактор.

Жила в Чистополе в 1941–1943 г. 154, 157–159, 161–168, 178–180, 182–185, 189–193, 220, 344

Баркгаузен Джемма Васильевна, балерина, вела балетный кружок в чистопольском интернате 214, 238 *Барта Зоя* (р. 1925?), дочь Шандора Барта. Работала подавальщицей в столовой чистопольского интерната. Переводчица, живёт в Венгрии 130–131 *Барта Шандор* (1897–1938), венгерский писатель-эмигрант 131 *Барта Юрий* (р. 1930?), сын Шандора Барта, воспитанник чистопольского интерната. Археолог, живёт в Венгрии 44, 130–131 *Барто Агния Львовна* (1906–1981), детский поэт 196 *Барто* (в замуж. *Щегляева*) *Татьяна Андреевна* (р. 1935), дочь Агнии Барто. Кандидат технических наук, лауреат Государственной премии 196

Баталов Алексей Владимирович (р. 1928), пасынок В.Е. Ардова, воспитанник чистопольского интерната. Народный артист СССР, режиссёр, педагог 109,

113, 116, 123, 126, 129–130, 260, 288, 299, 312 *Баталова Надежда Алексеевна* (р. 1955), дочь А. Баталова и И. Ротовой. Переводчик 109

Бать Лидия Григорьевна (1900–1980), переводчик. Жила в Ташкенте в 1941–1943 г. 66

Бахрушин Алексей Александрович (1865–1929), русский купец, меценат, создатель частного литературно-театрального музея 134 *Бахрушина* (урожд. *Носова*) *Вера Васильевна*, (1875–1942) из семьи московских текстильных фабрикантов, потомственная почётная гражданка, жена

А.А. *Бахрушина* 134 *Бебутова Елена Михайловна* (1892–1970), художник 53 *Беклемишева Вера Евгеньевна* (1881–1944), мать Ю. Крымова, писательница.

Жила в Чистополе в 1941–1943 г. 145 *Беленькая Инна Натановна* (19047-1938), сотрудник Коминтерна, тетья Т.М. Беленькой 120

Беленькая Татьяна Марковна (1928–2009), племянница писателя А. Наврозова, погибшего в ополчении, журналист. В первом браке – жена Е. Винокурова,

во втором – А. Рыбакова 112, 116–117, 120–121, 123, 127, 129 *Беленький Марк Натанович* (1891–1938), заместитель наркома пищевой промышленности СССР, 120 *Беленький Юрий Маркович* (1921–1942), студент биофака МГУ. Погиб на фронте 120

Белецкая Ванда Владимировна (р. 1931), дочь В.С. Белецкого (1904–1984), падчерица поэта С. Васильева, воспитанница чистопольского интерната. Журналист 208, 213, 291

Белецкий (псевд. *Железняк*) *Владимир Степанович* (1904–1984), писатель, искусствовед, краевед. Репрессирован в 30-е гг.

Белкина Мария Иосифовна (1912–2008), писательница, автор книги о М. Цветаевой «Скрещение судеб» 38, 41, 49, 54 *Белла*, см. *Санникова Елена Аветовна*

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник-граф и к, живописец 225–227

Берберова Нина Николаевна (1901–1993), поэт, переводчик 156 *Берггольц* (урожд. *Грустилина*) *Мария Тимофеевна*, (1884–1957), мать М. и О. Берггольц, бабушка М. Либединского 142, 144–145

Берггольц Мария Фёдоровна (1911–2003), мать М. Либединского, актриса 141–143, 145

Берггольц Ольга Фёдоровна (1910–1975), поэт 142, 145, 295 *Берестов Валентин Дмитриевич* (1928–1998), поэт, литературовед.

Был в эвакуации в Ташкенте 64, 72–74, 156, 181, 404 *Берия Лаврентий Павлович* (1899–

1953), нарком НКВД *196 Берия Серго Лаврентьевич* (1924–2000), сын Л.П. Берии, инженер *302, 305 Бескин Никита Осипович* (1931–1992), сын критика О.М. Бескина, воспитанник чистопольского интерната. Физик *139,142, 221–222, 224, 239 Бескин Осип Мартынович* (1892–1969), критик, литературовед, искусствовед *221, 224*

Бехер Иоганнес Роберт (1891–1958), немецкий поэт и общественный деятель *125, 263*

Бехер Лилли (1901–1978), немецкая писательница и журналистка. Супруга И.Р.Бехера *125*

Бехер Марианна (1925–?), дочь И. Бехера, воспитанница чистопольского интерната. Журналист, в 50-е годы уехала в ГДР *125, 317 Билль-Белоцерковский Вадим Владимирович* (р. 1927), сын драматурга В.Н. Билль-Белоцерковского, воспитанник чистопольского интерната. Журналист, живет в Германии *116, 245, 316, 318*

Билль-Белоцерковский Владимир Наумович (1885–1970), драматург. Жил в Чистополе в 1941–1943 г. *299 Благой Дмитрий Дмитриевич* (1893–1984), литературовед. Был в эвакуации в Ташкенте *76,155*

Блок Жан-Ришар (1884–1947), французский писатель, во время войны был в Казани *230*

Блок Маргерит, жена Ж.-Р. Блока. Во время войны находилась в Казани *230 Блок (в замуж. Серазен) Франс* (ум. 1943) дочь Ж.-Р. Блока *230 Блюменталь-Тамарина* (урожд. Климова) *Мария Михайловна* (1859–1938), актриса *347*

Бобунов Слава (р. 1926), племянник О.К. Кротовой, воспитанник чистопольского интерната *316*

Богатырёв Константин Петрович (1925–1976), переводчик, первый муж

С. Богатырёвой 155–156,170, 172–175,177-178

Богатырева (Бернштейн) Софья Игнатьевна (р. 1932), дочь А. Ивича. Жила в Чистополе во время войны. Филолог, писатель, живёт в США *158,165, 168–169, 171,183, 185–186,189, 220–221*

Боков Виктор Фёдорович (1914–2011), поэт. Жил в Чистополе с октября 1941 г. по март 1942 г., работал ночным сторожем в интернате *28 Болотин Самуил Борисович* (1901–1970), муж Т.С. Сикорской. Поэт, переводчик, сценарист *34*

Боннэр Елена Георгиевна (1922–2011), до войны невеста Вс. Багрицкого, жена А.Д. Сахарова. Врач, правозащитница *90–91,187, 315, 404 Борис Леонидович, Боря*, см. *Пастернак Борис Леонидович Боря*, см. *Ардов Борис Викторович Боря*, см. *Хохлов Борис Яковлевич Бочек Александр Павлович*, полярный летчик *298 Брагин Михаил Григорьевич* (1906–?), писатель-фронтовик *Брагина* (в замуж. Качалова) *Марианна (Марьяна) Михайловна* (1925–?), дочь М.Г. Брагина, воспитанница чистопольского интерната *117, 317 Брагина Мария (Маша Багрицкая)*, няня С. Багрицкого *Брагина Берта Яковлевна* (1902–1984), критик, литературовед. Жила в Чистополе в 1941–1943 г. *323 Бредель Вилли* (1901–1964), немецкий писатель-антифашист *30, 37 Бредель Елизавета Эмильевна*, жена В. Бределя *30, 37*

Бременер Макс Соломонович (1926–1983), сын С.Л. Рошаль, воспитанник чистопольского интерната. Писатель *115 Брик Лиля Юрьевна* (1891–1978), литератор, мемуаристка *156, 292 Бродельщиконы*, хозяйка дома в Елабуге, где последние дни жила Цветаева *32,36*

Бродский Иосиф Александрович (1940–1996), поэт *156–157,186-187, 349 Бродский Николай Леонтьевич* (1881–1951), историк литературы *76 Бронштейн Матвей Петрович* (1906–1938), советский физик-теоретик. Муж Л.К. Чуковской *42,73 Бруни Иван Львович* (1920–1995), сын Л.А. Бруни, художник *28 Бруни Лев Александрович* (1894–1948), художник *28 Бугаевский Владимир Александрович* (1905–1984), поэт, переводчик *144 Булгакова* (урожд. *Нюрнберг*) *Елена Сергеевна* (1893–1970), третья жена М.А. Булгакова. В эвакуации была в Ташкенте *78, 385–386 Булганин Лев Николаевич* (1925–1975), летчик, военный дипломат, сын Н.А. Булганина *301 Булганин Николай Александрович* (1895–1975), советский государственный и военный деятель

Бухарин Николай Иванович (1888–1938), советский политический деятель *200,248*

Вывалов Евгений Сергеевич (псевд. *Евгений Зюйд-Вест*; 1875–1943), писатель-морьяк

Вывалов Реджинальд Евгеньевич (р. 1926?), сын Е.С. Бывалова, воспитанник чистопольского интерната, радиолюбитель *115,129, 317*

В

Вайде Адам Адамович, Вайде Екатерина, предки М.И. Шор-Ивенсен 347 *Вайсфельд Илья Львович* (1909–2003), кинодраматург. Жил в эвакуации в Алма-Ате 373

Ваксберг Аркадий Иосифович (1927–2011), прозаик, драматург 248 *Валентина Леонтьевна*, см. *Петрова (Катаева) Валентина Леонтьевна Варя*, см. *Шкловская-Корди Варвара Викторовна*

Василевская Ванда Львовна (1905–1964), польская и русская писательница 312, 343 *Василевская два Романовна* (р. 1928), дочь В. Василевской, была в Берсуте.

Филолог, переводчик 115, 208, 312, 343 *Васильева Ванда*, см. *Белецкая Ванда Владимировна*

Васильева Галина Сергеевна (р. 1938), дочь С. Васильева, воспитанница чисто-польского детсада 291 *Васильева Е.В.*, учительница французского языка одной из ташкентских школ;

преподавала в классе, где учился Георгий Эфрон 64 *Вася*, см. *Сталин Василий Иосифович*

Вафа Скина (р. 1928?), дочь Э.-Х. Вафа, воспитанница чисто-польского интерната. Переводчица с испанского 113, 151 *Вафа Эс-Хабиб Ахмад* (1900–1936), индусский писатель-коммунист Из *Вахтангов Евгений Багратионович* (1883–1922), актёр, театральный режиссёр 347 *Велембовская* (урожд. *Макашина*) *Таусия (Тая) Михайловна*, жена литературоведа С.А. Макашина, жила в Чистополе в 1941–1943 гг. 91, 93, 371 *Венгров Моисей Павлович* (псевд. *Натан Венгров*; 1894–1964), детский поэт, писатель, литературовед *Венгров Рем Моисеевич* (1926–?), сын М.П. Венгорова, воспитанник чисто-польского интерната 117 *Вера*, см. *Синякова Вера Михайловна*

Верейский Георгий Семенович (1886–1962), советский график, художник 209

Вета, см. *Лифшиц Виолетта Михайловна*

Вигдорова Фрида Абрамовна (1915–1965), писательница 157

Вильмонт Николай Николаевич (наст. фам. *Вильям-Вильмонт*; 1901–1986), литературовед, переводчик 55 *Вильям Коля*, см. *Вильмонт Николай Николаевич*

Винер Меир (1893–1941), австрийский писатель-эмигрант, литературовед. Погиб в ополчении

Винер Юлия (р. 1935), дочь М. Винера, внучка Н.Г. Лурье, воспитанница чисто-польского детсада. Поэт, живет в Израиле 43 *Виноградов-Мамонт Николай Глебович* (1893–1967), драматург, писатель,

режиссер. В Чистополе находился с августа 1941 г. до октября 1942 г. 36, 43, 51–53, 403

Винокур Григорий Осипович (1896–1947), филолог, профессор МГУ. Жил в Чистополе в 1941 – начале 1942 гг. 255 *Винокур Надежда Григорьевна* (р. 1935), дочь Г.О. Винокура, воспитанница чисто-польского детсада. Филолог, журналист, живет в США 254–255 *Винокур Татьяна Григорьевна*, дочь Г.О. Винокура 255 *Вирта Николай Евгеньевич* (1906–1976), писатель 64, 68, 385 *Витенька*, см. *Хесин Виталий Григорьевич*

Витьбо, прозвище сыновей Я.Ф. Хохлова, см. *Хохлов Б.Я.* и *Хохлов В.Я.* 320 *Вишневецкая Софья Касьяновна* (1899–1963), художница и сценаристка, в первом браке жена Н. Адуева, во втором – Е.Я. Хазина, в третьем – Вс. Вишневецкого 54

Вишневецкий Всеволод Витальевич (1900–1951), драматург. Во время войны был в Ленинграде и на Северном флоте 54 *Владимир Александрович, Володя*, см. *Луго веко й Владимир Александрович Владимир Борисович*, см. *Шкловский Владимир Борисович Влодавский Меир Гершелевич*, отец писателя Д.М. Стонова 334 *Вовочка*, см. *Смирнов-Халтурин Владимир Иванович*

Волосов Владимир Маркович (1928–2010), сын М. Волосова, воспитанник чисто-польского интерната. Математик 115 *Волосов Марк Григорьевич* (1895–1941), писатель и переводчик. Погиб в ополчении *Волошин Максимилиан Александрович* (1877–1932), поэт 94 *Вольф Конрад* (1925–1983), сын Ф. Вольфа. Жил в Берсуте и Чистополе в июле-октябре 1941 г. Кинорежиссер 317–318, 342 *Вольф Фридрих* (1888–1953), немецкий писатель-антифашист *Воскресенская (Сельвинская) Цецилия Александровна* (1923–2006), приемная дочь И.Л. Сельвинского. Жила в Чистополе в 1941–1943 гг. Актриса и

режиссер 317, 370

Всеволод, Сева, см. Багрицкий Всеволод Эдуардович

Высоцкий Владимир Семёнович (1938–1980), поэт, бард, актер театра и кино 318

Г

Гайдар Аркадий Петрович (1904–1941), детский писатель, участник

Гражданской и Великой Отечественной войн. Погиб на фронте 149, 209, 242 Гайдар Тимур Аркадьевич (1926–1999), сын А.П. Гайдара, воспитанник чистопольского интерната в 1941–1942 г. Вице-адмирал, писатель, журналист 8,58, 96, 116,148–149,160–161,166,208–209, 218,242,245, 277–278,316,318,321,342 Гаккель Яков Яковлевич (1901–1965), советский океанограф, исследователь Арктики и Антарктики 298 Галич Александр Аркадьевич (1918–1977), поэт, бард, драматург, участник арбузовской студии 92,156 Галкин Владимир (р. 1927?), сын С. Галкина, воспитанник чистопольского интерната 320

Галкин Самуил Залманович (1897–1960), еврейский поэт, драматург. Жил в Чистополе осенью 1941 г. 83 Галыперн Мадлен (р. 1936?), девочка-еврейка, беженка из Франции, воспитанница чистопольского детсада 278 Гамзатов Расул Гамзатович (1923–2003), дагестанский поэт 299 Ганф Юлий Абрамович (1898–1973), художник-карикатурист 299 Гаузнер Жанна Владимировна (1912–1962), дочь В. Инбер, жила в Чистополе в 1941–1943 г. Писательница 38–40, 54, 57, 59, 351 Гельцер Екатерина Васильевна (1876–1962), балерина 347 Генка, см. Айги Геннадий Николаевич Георгий, см. Эфрон Георгий Сергеевич

Герасимова Анна Борисовна (р. 1940), дочь Б. Левина и В. Герасимовой, жила в Чистополе. Художница 113–114 Герасимова (урожд. Русанова) Анна Сергеевна (1875/80?–1947), мать

В.А. Герасимовой 113–114 Герасимова Валерия Анатольевна (1903–1970), вторая жена Б.М. Левина.

Писательница Гершензон Лина Давыдовна (1926?). Живет в США 151

Гехт Семён Григорьевич (1903–1963), писатель. В Чистополь приезжал осенью 1941 г. 57,145

Гиршман Владимир Осипович (1867–1936), двоюродный дядя М.И. Шор-Ивенсен, фабрикант и меценат, собиратель произведений русской живописи и прикладного искусства 347 Гладков Александр Константинович (1912–1976), драматург, мемуарист.

Жил в Чистополе в 1941–1942 г. 9, 55, 57, 62, 87–88, 92–93, 225, 237 Глебов Анатолий Глебович (1899–1964), драматург, театровед, писатель.

В Чистополе находился осенью 1941 г. 143 Говорова (урожд. Либединская) Мария Юрьевна (р. 1939) старшая дочь Л.Б. Либединской (урожд. Толстой) 27 Годинер Стэра Самуиловна, дочь писателя Ш.Д. Годионера, воспитанница чистопольского детсада 245, 351 Годинер Фрида Самуиловна (19257-1941), дочь Ш.Д. Годионера, воспитательница в чистопольском интернате, умерла в Чистополе в конце 1941 г. 211, 245, 291, 343, 351

Годинер Шмуэль Давидович (1892–1941), еврейский писатель. Погиб в ополчении 351 Голодный Михаил (1903–1949), советский поэт

Голодный Цезарь Михайлович (1927–1971), сын М. Голодного, воспитанник чистопольского интерната. Журналист, писатель 115–116,131,140, 316, 321,365 Голубкина Анна Семёновна (1864–1927), скульптор 347 Голубкина Ирина Соломоновна (1902–1974), мать дочери В.А. Луговского Людмилы, историк 373–377, 379–383, 385–391, 393–397, 399–402 Голубкина Людмила (Мила) Владимировна (р. 1933), дочь поэта В.А. Луговского, киноредактор 373, 377–378, 381–383, 386–387, 392, 399–401 Гонга Марика (наст. имя Мария Павловна; 19007-1994), киноактриса, сценаристка. Была в эвакуации в Елабуге 50 Горбатов Борис Леонтьевич (1908–1954), прозаик, журналист 299 Гордон Илья Зиновьевич (1907–1989), еврейский писатель. Жил в Чистополе с осени 1941 по 1942 г. 339 Горелик Берта Михайловна (1915-7), врач. Жила в Чистополе до октября 1941 г. 28, 30, 37, 46, 57

Горелик Иосиф Григорьевич (1907–1961), писатель, журналист, муж Б.М. Горелик 28 Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967), поэт. В эвакуации был в Ташкенте 299

Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), художник 343 *Грацианский Алексей Николаевич* (1905–1987), летчик-испытатель 298 *Грекова И.* (наст, имя *Вентцель Елена Сергеевна*) (1907–2002), математик, писатель 291

Григорьев-Каттель Григорий Аркадьевич (1905–1941), литератор, автор научно-популярных книг. Погиб в ополчении 134 *Григорьева Елизавета Григорьевна* (р. 1929), дочь ГА Григорьева-Каттеля, воспитанница чистопольского интерната. Географ-мерзлотовед 133–135, 151, 209–210 *Григорьянц Сергей Иванович* (р. 1941), правозащитник, журналист 322 *Гриша*, см. *Курелла Гриша*

Гроза Нина Иосафовна (1894–1963), директор 175-й образцовой школы г. Москвы 304 *Гройсгинер Юзик*, приемный сын М. Кольцова, из «испанских детей», воспитанник чистопольского детсада 243 *Громова Наталья Александровна* (р. 1959), писатель, историк литературы 246, 249, 254, 377, 382

Гроссман (в замуж. *Розанова*) *Александра Иосифовна* (1907–1987), жена С. Розанова, режиссёр, перед войной воспитательница в детском саду Литфонда 125 *Гроссман Василий Семёнович* (1905–1964), писатель, фронтовик. Жил в Чистополе весной и летом 1942 г. 8, 131, 271, 299, 328, 343 *Гроссман (Губер) Михаил Борисович* (1926–1942), сын Б. Губера, пасынок

В. Гроссмана. Погиб в Чистополе осенью 1942 года 8, 122, 130–131, 147–148, 316, 321, 324–328, 343, 350 *Гроссман (Губер) Ольга Михайловна*, жена В. Гроссмана 326, 328 *Груберт Тамара Эдгардовна* (1902–1996), первая жена В.А. Луговского, искусствовед 134, 373

Груберт-Луговская Мария Владимировна (1930–2004), дочь В.А. Луговского и Т.Э. Груберт, воспитанница чистопольского интерната. Археолог 134, 141, 236, 373, 379

Грюндгенс Густав (1899–1963), немецкий режиссер и актер 173–174 *Губер Борис Андреевич* (1903–1937), писатель, расстрелян в 1937 г. 131 *Гумилёв Лев Николаевич* (1912–1992), сын А. Ахматовой и Н. Гумилёва, историк, этнограф 69, 78

Гундоров, сын А.С. Гундорова, ученик 110-й московской школы, где учился В. Хесин 252 *Гундоров Александр Семёнович* (1895–1973), генерал-лейтенант инженерных войск, председатель Всеславянского антифашистского комитета *Гупало Нина Матвеевна*, портниха, мать А.И. Аджубея 222 *Гурвич Светлана Николаевна* (1924–2003), дочь Н.И. Бухарина, историк. Была арестована в 1947 г., шесть лет провела в ссылке 248

Гуревич Самуил (Муля) Давидович (1904?–1952?), редактор, муж А.С. Эфрон 17–18, 22, 70, 80–81 *Гусев Виктор Михайлович* (1909–1944), поэт, драматург 291 *Гусев Михаил Викторович* (1934–2005), сын поэта В. Гусева. Микробиолог, доктор биологических наук 291 *Гусева Елена Викторовна*, дочь В. Гусева 291

Д

Дайреджиев Борис Леонидович (1902–1955), литературный критик, в войну служил на флоте

Дайреджиева Нинель Борисовна (р. 1926), дочь Б.Л. Дайреджиева, воспитанница чистопольского интерната. Театровед, редактор 129, 317 *Далматова Элла* (наст, имя *Федоренко Электра Николаевна*, 1926–1994), актриса Малого театра 305 *Даниэль Юлий Маркович* (1925–1988), поэт, прозаик, переводчик, диссидент Обвиняемый на процессе Синявского и Даниэля в 1965 г. 157, 279 *Данцигер А.Я.*, музыкант 346

Дейч Александр Иосифович (1893–1972), переводчик, мемуарист 66 *Дергачёва* (в замуж. *Домбек*) *Елена Николаевна*, учительница литературы в школе, где учился В. Хесин 252–253 *Дерман Абрам Борисович* (1880–1952), литературовед. Жил в Чистополе в 1941–1943 гг. 40, 42 *Джемма Васильевна*, см. *Баркгаузен Джемма Васильевна Дзюбинская Елена Сергеевна* (р. 1930), дочь С.Н. Дзюбинского, воспитанница чистопольского интерната. Художник-дизайнер 135, 247 *Дзюбинская Наталья Сергеевна* (1925–1945), дочь С.Н. Дзюбинского. Окончила

в Чистополе школу и курсы медсестёр, погибла на фронте 10, 135, 247–248, 317, 351 *Дзюбинская Ольга Сергеевна* (1922–2010), старшая дочь С.Н. Дзюбинского, жила в Чистополе в 1941–1943 гг., играла в местном театре. Театральный критик

52–53, 135, 144, 403 *Дзюбинский Сергей Николаевич* (1895–1953), детский писатель 135, 351 *Диковский Сергей Владимирович* (1907–1940), писатель. Погиб на Финской войне 107

Добрер Клара Георгиевна, воспитательница в чистопольском детском саду 242–243 *Добужинский Мстислав Валерианович* (1875–1957), художник 226–227

Добычин Николай Ефимович (псевд. *Николай Алтайский*; 1904–1942), писатель, переводчик с алтайского языка. Умер в Елабуге 50–51 *Долматовская Галина Евгеньевна* (р. 1940), дочь Е.А. Долматовского, воспитанница чистопольского детсада. Режиссер 287, 291 *Долматовская* (во втором браке *Караганова*) *Софья Григорьевна* (р. 1917/18), редактор, первая жена Е. Долматовского. Была в Чистополе с его матерью 37, 287 *Долматовский Евгений Аронович* (1915–1994), поэт, фронтовик. Приезжал к семье в Чистополь в апреле-мае 1942 г. 21, 37, 55, 107, 287 *Доронин Иван Васильевич* (1903–1951), летчик 128, 298 *Дукор Анатолий Ильич* (1930–2009), сын поэта И. Дукора, воспитанник чисто-польского интерната. Пианист, педагог в музыкальной школе. Был репрессирован в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 138, 141, 152, 206, 293, 317 *Дукор Илья Семёнович*, поэт, до войны – руководитель поэтического семинара Литературного института *Дунаевский Исаак Осипович* (1900–1955), композитор 291 *Дуров Лев Константинович* (р. 1931), племянник журналистки З.В. Рихтер.

Артист театра и кино *Дыкман Париса Михайловна* (1926–1965), дочь сотрудника Литфонда, воспитанница чистопольского интерната. Физиолог 141, 149, 363, 365–369

Е

Евгенов Николай Иванович (1888–1964), океанограф, доктор географических наук 298

Егоров Сергей, товарищ по службе Е. Зингера 331

Егорьев Владимир Владимирович (1886–1943), дипломат, отец А. Закс.

Репрессирован, погиб в заключении 276 *Егорьев Владимир Николаевич* (1869–1948), отец В.В. Егорьева 276 *Егорьев Евгений Романович* (1854–1905), двоюродный дед В.В. Егорьева 276 *Езелчук Юрий Васильевич*, второй муж С.И. Богатыревой. Молекулярный биолог 157 *Елена Леонидовна* (*Майя Луговская*), см. *Быкова Елена Леонидовна* *Емельянова Ирина Ивановна* (р. 1938), дочь О. Ивинской, литературовед, мемуаристка 175–176

Ермолинский Сергей Александрович (1900–1984), сценарист, второй муж Т.А. Луговской 72, 386 *Ефимова Нина Алексеевна*, бабушка Лидии Либединской 27

Ж

Жемчужина Полина Семёновна (1897–1970), партийный и государственный деятель, мать С. Молотовой, жена В.М. Молотова 304–305 *Женя*, см. *Зингер Евгений Максимович* *Женя*, см. *Пастернак Евгений Борисович* *Женя*, см. *Шифферс Евгений Львович*

З

Загорский Михаил Борисович (1885–1951), театральный критик. Был эвакуирован в Елабугу 45–46, 48–50 *Закс Елена* (*Алёна*) *Владимировна* (р. 1934), дочь Е.М. Закс, воспитанница чистопольского детсада. Журналист, правозащитник 228, 243, 274–277, 280 *Закс Елена Михайловна* (1908–1980), филолог, переводчик с немецкого 274–276, 280

Зарина (в замуж. *Лукина*) *Татьяна Александровна* (1929–1995), племянница С.Н. Дзюбинского, воспитанница чистопольского интерната. Геолог 134–135

Званцева Елизавета Николаевна (1864–1921), художник, основатель студий рисования и живописи 226 *Зеленцов Валерий Михайлович*, одноклассник Е. Зингера 303 *Зеленцов Михаил Павлович*, учитель литературы 25-й и 175-й московских школ 303

Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970), литературный критик.

Был в эвакуации сначала в Уфе, затем в Ташкенте 20–21, 51, 65, 76–77 *Зенкевич Александра Николаевна*, жена М. Зенкевича. Находилась с сыном в Чистополе 40–41 *Зенкевич Михаил Александрович* (1886–1973), поэт, переводчик 40 *Зивельчинская* (в замуж. *Петрова*) *Мира Геннадиевна* (р. 1930?), племянница литературоведа Л.Я. Зивельчинской, воспитанница чистопольского интерната. Литературовед 133, 149 *Зивельчинский Лев* (р. 1928), племянник Л.Я. Зивельчинской, воспитанник чистопольского интерната. Инженер 149 *Зингер Евгений Максимович* (р. 1926), сын М.Э. Зингера. Из чистопольского интерната ушел в военное училище, затем служил на Северном флоте. Географ-гляциолог, почётный полярник, автор книг о Севере 8, 115, 147–148, 317, 321, 326–327, 329–330 *Зингер Елена*, дочь Е. Зингера 297

Зингер Макс Эммануилович (1899–1960), писатель и журналист, фронтовик 148, 298–299, 309, 323, 325, 328–330, 342, 345 *Зингер Мария*, дочь Е. Зингера 297

Златова Елена Викторовна (1906–1968), критик, прозаик, жена С. Щипачёва.

Воспитатель в чистопольском интернате 84, 121, 123, 140 *Зоценко Михаил Михайлович* (1895–1958), писатель 200

И

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель. Был в Чистополе

с сентября по октябрь 1941 г. Эвакуирован с семьей в Ташкент 28, 118, 260 *Иванов Вячеслав* (Кома) *Всеволодович* (р. 1929), сын Вс. Иванова. Был в Берсоте и Чистополе до октября 1941 г. Лингвист, академик РАН 119, 126, 156, 181, 260–261, 266

Иванов Михаил Всеволодович (1927–2000), пасынок Вс. Иванова. Живописец, график. Член Союза художников СССР 119, 126 *Иванова Тамара Владимировна* (1900–1995), жена Вс. Иванова. Актриса, переводчик, мемуаристка. Жила в Берсоте и Чистополе с июля по октябрь 1941 г., потом с семьей выехала в Ташкент 28, 118–119, 125–126, 207–208, 260 *Ивенсен Маргарита Ильинична*, см. *Шор-Ивенсен Маргарита Ильинична* *Ивинская Ольга Всеволодовна* (1912–1995), переводчица, возлюбленная БЛ. Пастернака 175–177 *Ивич Александр* (наст. имя *Бернштейн Игнатий Игнатьевич*; 1900–1978), детский писатель, фронтовик. Литературный критик, хранитель рукописей 153–155, 157–159, 164, 166, 168, 170, 178, 183, 185, 190–193 *Ивич Соня*, см. *Богатырёва Софья Игнатьевна* *Игорь*, см. *Росинский Игорь*

Игумнов Константин Николаевич (1873–1948), пианист 346 *Идлин Белла Зиновьевна*, сестра А.З. Стоновой. Погибла от рук немцев в Харькове 335–337, 343 *Идлин Зиновий Семёнович*, отец А.З. Стоновой 334 *Идлин Роза Лазаревна* (урожд. *Хай кина*), мать А.З. Стоновой 334 *Иллеш Бела* (1895–1974), венгерский писатель-антифашист 243

Иллеш Светлана, дочь Б. Иллеша, воспитанница чистопольского детсада 243 *Ильинский Игорь Владимирович* (1901–1987), актёр, режиссёр театра и кино 248

Ильф Александра Ильинична (р. 1935), дочь И.А. Ильфа, редактор и переводчик 104, 110

Ильф Илья Арнольдович (1897–1937), писатель 103–105, 107–111

Ильф Мария Николаевна (1904–1981), жена И.А. Ильфа, художница 104, 107, 110–111

Инбер Вера Михайловна (1890–1972), поэт, мемуаристка. Приезжала в Чистополь к дочери Ж. Гаузнер в июле 1942 г. 38, 59, 351 *Инна Рубиновна*, пианистка, преподавательница музыки в Чистополе 135 *Иоффе Нелла* (р. 1929?), дочь Ю. Иоффе, воспитанница чистопольского интерната 116, 144 *Иоффе Ю.* (1882–?), еврейский писатель-прозаик *Ирена*, см. *Оскерко (Крымова) Ирена*

Ирина Николаевна (Ирник), медицинская сестра в чистопольском интернате 115, 126, 343

Ирочка, см. *Емельянова Ирина Ивановна*

Ирочка, дочь О.Н. Красноцветовой, музыкального работника в детском саду Литфонда 249

Исаков Марк (р. 192?), воспитанник чистопольского интерната 316, 318, 320 *Исаковская Лидия Ивановна*, жена М.В. Исаковского, врач-хирург. Работала врачом в Чистополе в 1941–1943 гг. 291, 326 *Исаковский Михаил Васильевич* (1900–1973), поэт, находился в

К

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989), писатель 386 *Казачков Михаил Петрович*, правозащитник 322, 340–341 *Казина Ира*, дочь поэта В.В. Казина 340

Кайранская Людмила Львовна (1909–1990), актриса, жила в Чистополе в 1942–1943 гг. 138, 359 *Калатозов Михаил Константинович* (1903–1973), кинорежиссёр, сценарист 299

Камионская Наталья Оскаровна, см. *Плигина-Камионская Н.О.*

Кандинский Василий Васильевич (1866–1944), живописец 226 *Карлашов*, мичман, командир кадровой команды, где служил Евгений Зингер 331–332

Карманова Анна Гордеевна, подруга И.С. Голубкиной 387 *Катаев Валентин Петрович* (1897–1986), писатель 108, 125, 400 *Катаев* (наст. фам. *Петров*) *Пётр Евгеньевич* (1929–1986), сын Е.П. Петрова. Кинооператор, снявший фильм «Семнадцать мгновений весны» 104–106, 108–110, 113

Катаева Эстер Давыдовна, жена В.П. Катаева 108, 114, 125 *Кацадзе Аркадий Варфоломеевич*, начальник Военно-морского хозяйственного училища, где учился Е. Зингер 331 *Качалова Ариадна*, воспитанница чистопольского интерната 317 *Качалова Марианна*, сестра Ариадны Качаловой, воспитанница чистопольского интерната 317 *Кирилл*, см. *Шпакунов Кирилл Кириллович Иван*, друг Е. Зингера 330

Кирпотин Валерий Яковлевич (1898–1997), литературовед, критик 222 *Кирпотина Наталья Валериевна* (р. 1934), дочь В.Я. Кирпотина 222 *Клепинин Николай Андреевич* (1899–1941), историк, писатель, отчим Мити и Алексея Сеземанов 17, 19, 21, 25 *Клепинина Нина (Антонина) Николаевна* (1894–1941), жена Н.А. Клепинина, мать Д. и А. Сеземанов 17, 19, 21, 25 *Книппер-Чехова Ольга Леонардовна* (1868–1959), актриса МХАТ, жена А.П. Чехова 257

Ковалёв Сергей Адамович (р. 1930), советский диссидент, участник правозащитного движения в СССР и постсоветской России 322 *Ковальская-Френкель Марианна Ильинична* (р. 1931), дочь И.Л. Френкеля и Е.Э. Лойтер, воспитанница чистопольского интерната. Кандидат исторических наук, живет в Израиле 44, 208, 212–214, 216, 223, 235, 238 *Коган Лия Семёновна*, подруга И.С. Голубкиной 375, 377 *Коган Фанни (Фаина) Петровна*, заведующая чистопольским детским садом 9, 204, 249–250

Козаков Михаил Михайлович (1934–2011), сын М.Э. Козакова, режиссёр, актёр театра и кино 250–251 *Козаков Михаил Эммануилович* (1897–1954), прозаик и драматург 250–251 *Козакова* (урожд. *Гацкевич*) *Зоя Александровна* (1902–1973), мать М.Козакова 250–251

Козинцева (Барнет) Валентина Георгиевна (1915–2010), первая жена Б. Барнета и вторая жена Г. Козинцева. Актриса 89 *Козлов Леонид Константинович* (1933–2006), литературовед, критик 185 *Козлов Матвей Ильич*, полярный летчик 298

Колычев Осип Яковлевич (1904–1973), поэт. Жил в Чистополе с октября по декабрь 1941 г.

Колычев Юрий Осипович (р. 1928), сын О.Я. Колычева, актёр театра «Ленком» 123, 129–130, 317

Кольцов Михаил Ефимович (1898–1940), журналист, главный редактор журнала «Огонёк» 17, 103, 183, 190, 243 *Коля*, см. *Асеев Николай Николаевич*

Коля, сын О.Н. Красноцветовой, воспитанник чистопольского интерната 249 *Кома*, см. *Иванов Вячеслав Всеволодович Кони*, см. *Вольф Конрад*

Константин Павлович, см. *Ротов Константин Павлович Кончаловский Пётр Петрович* (1876–1956), художник 230 *Копельман Соломон Юльевич* (1881–1943), издатель, отец Ю. Крымова. Жил в Чистополе в 1941–1943 гг. 145 *Копецкий Иван*, одноклассник Е. Зингера, сын чешского коммуниста 306 *Корабельников Григорий Маркович* (1904–?), литературный критик, литературовед

Корабельников Юрий Григорьевич (р. 1926), сын Г.М. Корабельникова. Убежал из чистопольского интерната на фронт. Военный летчик, кандидат технических наук 317 *Корабельникова Майя Григорьевна* (р. 1925), дочь критика Г.М. Корабельникова, воспитанница чистопольского интерната. Юрист 265 *Корди Наталья Георгиевна* (1886–

1980), старшая сестра В.Г. Шкловской-Корди 96 *Королёв Сергей Павлович* (1907–1966), учёный, конструктор, основоположник практической космонавтики 266 *Кордэ, см. Родзевич Константин Болеславович*

Коровин Константин Алексеевич (1861–1939), живописец, театральный художник 227

Косачевская Евгения Давыдовна, представитель Литфонда в Чистополе в годы войны 112

Косолапое Владимир, одноклассник В. Хесина 252 *Костя, см. Богатырёв Константин Петрович Костя, см. Лебедев Константин Иванович*

Костя, Константин Леонидович, см. Лебедев Константин Иванович Котляр Ирвин, правозащитник-юрист из Канады 340–341 *Коток Белла Ефимовна* (1900–1986), тётя Ефима (Фимы) Котока. В Чистополе была с ноября 1941 по май 1943 года. Химик 144 *Коток Ефим (Фима; р. 1934)*, сын сотрудника Литфонда, воспитанник чисто-польского детсада. Филолог, профессор университета в Тель-Авиве 243 *Кочетков Александр Сергеевич* (1900–1953), поэт-переводчик 26, 61, 63 *Красноцветова Ольга Никандровна*, музыкальный работник в чистопольском детском саду 249

Кревс Мария Михайловна, мать С.А. Кревс-Сурковой, бабушка Н. и А. Сурковых 291 *Кревс Антон Петрович*, отец С.А. Кревс-Сурковой, дедушка Натальи и Алексея Сурковых 282, 291

Кревс-Суркова Софья Антоновна, жена А. Суркова, жила с детьми в Чистополе 282, 283, 285–288, 291, 294–295 *Крейн Григорий Абрамович* (1879–1955), музыкант 346 *Кретова Ольга Капитоновна* (1903–1994), писательница *Крон* (наст. фам. *Крейн*) *Александр Александрович* (1909–1983), прозаик, драматург

Крон (урожд. *Кораблёва*) *Елизавета Алексеевна*, жена А. Крона 144 *Кроник Семён Львович* (1921–1976), старший пионервожатый в Чистополе.

Известный адвокат 256 *Крымков Юрий* (наст. имя *Беклемишев Юрий Соломонович*; 1908–1941), писатель, сын В. Беклемишевой и Ю. Копельмана, эвакуированных в Чистополь. Погиб на фронте 145

Кручёных Алексей Елисеевич (1886–1968), поэт-футурист 23

Крюи Поль де (1890–1971), американский микробиолог и писатель 193

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936), поэт 53

Кукрыниксы (Куприянов, Крылов, Соколов), художники-карикатуристы 111

Кулешов Лев Владимирович (1899–1970), кинорежиссёр 347 *Кулешова Мария Александровна*, хирург 272

Курелла Альфред (1895–1975), немецкий писатель-антифашист, публицист, переводчик 353

Курелла Грегор Альфредович (Гриша; 1925), сын А. Куреллы, секретарь комсомольской организации в чистопольском интернате, участник войны. Биофизик, научный сотрудник и преподаватель МГУ 8, 96, 149, 152, 317, 320, 342, 353 *Курелла Додик*, сын А. Куреллы от другого брака, воспитанник чистопольского детсада 243

Курелла Маргарита Вильгельмовна (1896–1971), жена А. Куреллы, мать Г. Куреллы, методист по лечебной физкультуре. В Чистополе работала в госпитале 147, 353, 361

Кусевицкий Сергей Александрович (1874–1951), дирижер, контрабасист 346 *Кушников Арн (Кушникович Арон Давидович; 1890–1949)*, еврейский поэт, фронтовик 84, 352

Кушников(ич) Марк Аронович (р. 1937), сын А. Кушнирова, воспитанник чистопольского детсада. Историк кино, критик, сценарист, живёт в Германии 352

Кушников Радий Аронович (р. 1931), сын А. Кушнирова, воспитанник чистопольского интерната. Сценарист, писатель, живёт в Германии 352 *Кушников Юрий Аронович (Юник)*, старший сын А. Кушнирова. Из чистопольского интерната ушёл на фронт, вскоре погиб 8, 10, 352–353 *Кушнирова Любовь Абрамовна*, жена А. Кушнирова. Заведовала столовой чисто-польского интерната. Была репрессирована в конце 40-х годов 84, 352–353 *Кюри Ева Дениза* (1904–2007), французская и американская писательница и общественный деятель 23

Л

Лавренёв Борис Андреевич (1891–1959), писатель и драматург 65 *Ланде-Квитнер Евгения Эзеровна*, немка, эмигрировала из фашистской

Германии, преподаватель немецкого языка в чистопольском интернате 213 *Лановой Василий Семёнович* (р. 1934), актёр театра и кино 290 *Лансере Евгений Евгеньевич* (1875–1946), художник 230 *Лебедев Константин Иванович*, физкультурник, физрук лагерей Литфонда 114, 116, 312

Лебедев-Кумач Василий Иванович (1898–1949), поэт-песенник 114, 147 *Лебедева-Кумач Кира Владимировна*, жена В.И. Лебедева-Кумача 114 *Лебедева-Кумач Марина Васильевна* (р. 1928?), дочь В.И. Лебедева-Кумача, воспитанница чистопольского интерната. Филолог, журналист 114, 151 *Леваневский Сигизмунд Александрович* (1903–1937), полярный летчик 298 *Левашов Мстислав Александрович* (1912–1974), писатель, адресат писем Асеевых из Чистополя 58 *Левин Борис Михайлович* (1899–1940), писатель. Погиб на Финской войне 101, 103, 106–108, 110–111, 113, 142

Левина Елена Борисовна (р. 1928), дочь Б. Левина и Е. Розенгольц, воспитанница чистопольского интерната. Геолог 8–9, 104, 113, 115, 119, 124, 126, 131–132, 134, 142–143, 151, 242, 247, 249, 317 *Левина-Розенгольц Ева Павловна* (1898–1975), художница, жила в Чистополе с начала ноября 1941 г. до начала апреля 1942 г. 101–102, 106, 108, 126–128, 132, 143–145, 149–150 *Лейтес Александр Михайлович* (1901–1976), литературный критик, литературовед. Во время войны – председатель Военной комиссии Союза писателей. Приезжал в Чистополь к семье в 1942 г. 32, 82, 194–200, 213, 223–224, 228

Лейтес Лариса Александровна (р. 1932), дочь А.М. Лейтеса и Ф.М. Бархиной, воспитанница чистопольского интерната. Доктор химических наук 139, 194, 196, 200, 203, 206, 213, 220–221, 228 *Лейтес* (урожд. *Бархина*) *Флора Моисеевна* (1905–1984), жена А.М. Лейтеса, работала воспитательницей в чистопольском интернате 32–33, 36, 40, 81–85, 140, 163, 194, 196, 198–203, 211–212, 220–224, 228, 339, 343 *Лемешев Сергей Яковлевич* (1902–1977), оперный певец 115 *Леонидов Борис Леонидович* (1892–1958), писатель-фронтоник, драматург, сценарист

Леонидов Леонид Борисович (р. 1927), сын Б.Л. Леонидова, горнист в лагерях Литфонда, воспитанник чистопольского интерната 116–117, 206, 310 *Леонов Леонид Максимович* (1899–1994), писатель. Жил в Чистополе с октября 1941 г. до конца мая 1942 г., приезжал на несколько недель в октябре 1942 г. 67, 82, 126, 134, 151, 166, 270–271, 342 *Леонова Елена Леонидовна* (1928–1999), дочь Л. Леонова, проживала с родителями в Чистополе. Художник 126, 129, 151–152 *Леонова Наталья Леонидовна* (р. 1932), дочь Л. Леонова, проживала с родителями в Чистополе 126, 219, 291 *Леонова Ольга Фёдоровна*, класная руководительница В. Сталина 303–304, 309

Леонова (урожд. *Сабашникова*) *Татьяна Михайловна* (1903–1979), жена писателя Л. Леонова, проживала с семьей в Чистополе 126, 151, 271 *Лещенко Пётр Константинович* (1898–1954), певец 264 *Лёдин*, см. *Леонидов Леонид Борисович* *Лёня*, см. *Пастернак Леонид Борисович*

Либединская (урожд. *Толстая*) *Лидия Борисовна* (1921–2006), писательница, мемуаристка 23, 27–28, 33, 45, 142

Либединский Михаил Юрьевич (1931–2006), сын Ю.Н. Либединского, воспитанник чистопольского интерната. Радиоинженер, историк, составитель генеалогий 141–142 *Либединский Юрий Николаевич* (1898–1959), писатель 142 *Лидия Корнеевна*, см. *Чуковская Лидия Корнеевна* *Лиза*, см. *Григорьева Елизавета Григорьевна* *Липкин Семён Израилевич* (1911–2003), поэт, мемуарист 150 *Листов Константин Яковлевич* (1900–1983), композитор 294 *Литвинов Николай Владимирович* (1907–1987), актер и чтец детской редакции Всесоюзного радио 202 *Лифшиц Виолетта Михайловна* (р. 1927?), дочь М. Лифшица. Искусствовед, живёт в США 368

Лифшиц Михаил Александрович (1905–1983), философ, эстетик и литературовед *Лозинский Михаил Леонидович* (1886–1955), писатель, переводчик, во время войны жил в Елабуге 35, 53, 261 *Лойтер Елизавета Эммануиловна* (1906–1973), музыковед, пианистка, жена И.Л. Френкеля. Работала воспитательницей в чистопольском интернате в 1941–1942 г. 10, 43–44, 84, 119, 138–139, 214, 216–217, 235–240, 260, 318, 343–344, 350, 359 *Лора*, см. *Дыкман Лариса Михайловна*

Луговская (урожд. *Быкова*) *Елена (Майя) Леонидовна* (1914–1993), третья жена

В.А. Луговского. Поэт, художница *Луговская* (урожд. *Успенская*) *Ольга Михайловна* (1878–1942), мать В. и Т. Луговских 380, 384–385

Луговская Татьяна Александровна (1909–1994), сестра В.А. Луговского, художница, писательница 72, 379–380, 382–386, 404 *Луговской Владимир Александрович* (1901–1957), поэт. В эвакуации жил в Ташкенте 64, 68, 71, 373–374, 377, 379–380, 382–384, 400–402 *Луниц Елена Александровна*, жена П.Н. Шубина, скрипачка. Жила в Чистополе в 1941–1943 п.138, 359 *Лурье Ноях Гершелевич* (1886–1960), еврейский писатель. Был эвакуирован в Чистополь 43

Лурье Рита Ноевна, дочь Н. Лурье, тетя Ю. Винер, воспитательница в чистопольском интернате. Физиолог, работала в Институте мозга 141 *Любимов Николай Михайлович* (1912–1992), переводчик, мемуарист 176 *Лютце Лотта* (1906–1957), немка, микробиолог, жена Г.П. Розен гольца 127–128

Ляшко Николай Николаевич (1884–1953), писатель. Приезжал в Чистополь 114–115 *Ляшко* (в замуж. *Абрикосова*) *Татьяна Николаевна*, р. 1928), дочь писателя Н. Ляшко, воспитанница чистопольского интерната. Врач 115f 123

М

Мадарас Владимир Эмильевич (р. 1930), сын писателя Э. Мадараса, вернулся в Венгрию 365

Мадарас Эмиль (1884–1962), венгерский поэт-революционер, в 1922 г. эмигрировал в СССР, где жил до 1946 г.

Мазин Борис Михайлович, начальник пионерлагеря Литфонда во Внукове. Погиб на фронте 112, 310, 312 *Макашина Тая*, см. *Велембовская Таисия Михайловна Малюгин Леонид Антонович* (1909–1968), драматург 72, 379, 382 *Мандельштам Надежда Яковлевна* (1899–1980), жена О.Э. Мандельштама, мемуаристка; в эвакуации была в Ташкенте 72–73, 95, 155 *Мандельштам Осип Эмильевич* (1891–1938), поэт 82, 95, 140, 166, 173, 378 *Маргарит*, см. *Блок Маргерит*

Марголис Е.М., еврейский писатель; в эвакуации жил в Елабуге 51 *Марина*, см. *Лебедева-Кумач Марина Васильевна Марина*, *Марина Ивановна*, см. *Цветаева Марина Ивановна Мария Абрамовна*, см. *Ривис Мария Абрамовна Мария Николаевна*, см. *Ильф Мария Николаевна Мария Тимофеевна*, см. *Берггольц Мария Тимофеевна Мария Фёдоровна*, *Муся*, см. *Берггольц Мария Фёдоровна Маркиш Ляля* (р. 1929?), дочь П.Д. Маркиша, воспитанница чистопольского интерната. Художница, уехала в Израиль 112 *Маркиш Перец Давидович* (1895–1952), еврейский поэт и писатель *Мартынова Аня*, дочь критика А. Мартыновой, воспитанница чистопольского детского сада 179–180

Марченко Анатолий Тихонович (1938–1986), писатель, диссидент, советский политзаключённый; умер в чистопольской тюрьме 322 *Маршак Самуил Яковлевич* (1887–1964), поэт, переводчик 212 *Марья Михайловна*, см. *Чарова Марья Михайловна Марья Сергеевна*, тетя и опекунша Э. Росиной после гибели ее родителей 272–273

Машков Илья Иванович (1881–1944), художник 230, 347–348

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт 21, 82, 140, 306

Мгебров Александр Авельевич (1884–1970), актер 53, 403

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940), режиссер 53, 92, 166

Меркурьева Вера Александровна (1876–1942), поэтесса 26, 63

Миловзоров Павел Георгиевич (1876–1940), советский полярный капитан 298

Мила, см. *Голубкина Людмила Владимировна*

Милютин Юрий Сергеевич (1903–1968), композитор 292

Митя, см. *Сеземан Дмитрий Васильевич*

Михаил Эммануилович, см. *Козаков Михаил Эммануилович*

Михалков (Кончаловский) Андрон Сергеевич (р. 1937), режиссер 291

Михалков Никита Сергеевич (р. 1945), режиссер 291

Михалков Сергей Владимирович (1913–2009), писатель, поэт 400

Михоэлс Соломон Михайлович (1890–1948), актёр, режиссер 247

Миша, см. *Иванов Михаил Всеволодович* 119, 126

Миша, см. *Козаков Михаил Михайлович*
Миша, см. *Либединский Михаил Юрьевич*
Моисеев Игорь Александрович (1906–2007), хореограф, балетмейстер 248 *Молотова Светлана Вячеславовна*, дочь В.М. Молотова и П.С. Жемчужиной 304–305 *Монахов Николай Фёдорович* (1875–1936), актер 268 *Мордкин Михаил Михайлович* (1880–1944), солист балета 347 *Москвин Иван Михайлович* (1874–1946), актёр и театральный режиссёр 347 *Москвин Илья Николаевич* (р. 1934?), сын Н.Я. Москвина, воспитанник чисто-польского детского сада 243 *Москвин Николай Яковлевич* (1900–1968), писатель, в годы войны работал в Совинформбюро
Мошковский Анатолий Иванович (1925–2008), детский писатель, прозаик, поэт 76, 404
Муля, см. *Гуревич Самуил Давыдович Мур*, см. *Эфрон Георгий Сергеевич*
Мура, *Муха*, *Маша*, см. *Груберт-Луговская Мария Владимировна*

Н

Навашин Сергей Михайлович (1924–1999), пасынок К.Г. Паустовского, сын В.В. Навашиной. Жил в Чистополе до октября 1941 года. Микробиолог 145
Навашина Валерия Владимировна, вторая жена К.Г. Паустовского. Проживала в Чистополе до октября 1941 года 40–42 *Наврозов Лев* (р. 1928), сын погибшего на фронте писателя А. Наврозова и литфондовского врача Д. Наврозовой, воспитанник чистопольского интерната. Переводчик, журналист, живёт в США 119 *Надя*, см. *Баталова Надежда Алексеевна Наташа*, см. *Пастернак Наталья Анисимовна Наташа*, см. *Суркова Наталья Алексеевна*
Неизвестный Эрнст Иосифович (р. 1925), советский и американский скульптор 279 *Нейгауз Генрих Густавович* (1890–1964), пианист 292, 317 *Нейгауз Станислав Генрихович* (1927–1980), сын З.Н. Пастернак и Г. Г. Нейгауз а, пасынок Б.Л. Пастернака, воспитанник чистопольского интерната. Пианист 8, 10, 58, 116–117, 119, 122, 137–138, 160, 166–168, 208–209, 239, 266–267, 269, 292, 316–320, 342 *Нейштадт Анна Дмитриевна*, жена В. И. Нейштадт
Нейштадт Владимир Ильич (1898–1959), поэт, переводчик немецкой поэзии *Нейштадт Ирина Владимировна* (1925–?), дочь В.И. Нейштадта, воспитанница чистопольского интерната 116–117 *Нелидов Анатолий Павлович* (1878–1949), драматический актер 347 *Нива Жорж* (р. 1935), французский историк литературы, славист 176 *Никита*, см. *Бескин Никита Осипович Никита*, см. *Шкловский Никита Викторович*
Никитина Зоя Александровна (1902–1973), жена М.Э. Козакова, редактор, секретарь «Издательства писателей Ленинграда» 250–251 *Никитина Ольга*, дочь Н.В. Чертовой, воспитанница чистопольского интерната 291 *Никитина Татьяна* (р. 1928), дочь сотрудника Литфонда, воспитанница чисто-польского интерната 134–135 *Николаев Николай Михайлович* (1897–1958), выдающийся советский ледовый капитан 298
Николаев Сергей, сын медсестры Ирины Николаевны, воспитанник чистопольского интерната 115 *Никулин Валентин Юрьевич* (1933–2005), сын Ю.В. Никулина, племянник Л.В. Никулина, воспитанник чистопольского интерната. Актёр театра и кино 242, 254 *Никулин Лев Вениаминович* (1891–1967), писатель 111 *Никулин Юрий Вениаминович* (1907–1958), драматург *Нина Антоновна*, см. *Ольшевская Нина Антоновна Нина Николаевна*, см. *Клепинина Нина Николаевна*
Новиков Иван Алексеевич (1877–1959), писатель, адресат писем А. Дермана 40 *Новиков Иван Кузьмич*, директор 110-й московской школы 247, 253 *Новиков Николай Васильевич* (1903–1989), советский дипломат 292 *Новиков-Прибой Алексей Нилыч* (1877–1944), писатель 298

О

Обрадович Вадим Сергеевич (р. 1927), сын С.А. Обрадовича, воспитанник чисто-

польского интерната 149 *Обрадович Сергей Александрович* (1892–1956), поэт-переводчик 51 *Огуренков*, воспитанник чистопольского интерната 248 *Ойслендер Александр Ефимович* (1903–1963), поэт, фронтовик 242 *Ойслендер Виктор Александрович* (р. 1935?), сын А.Е. Ойслендера, воспитанник чистопольского детсада 243 *Ойслендер Ирина Семёновна*, жена А.Е. Ойслендера, воспитатель в чистопольском детском саду 242 *Олеша Юрий Карлович* (1899–1960), писатель. В эвакуации был в Самарканде 88–90, 109–110, 156 *Ольга Михайловна*, см. *Гроссман Ольга Михайловна Ольга Михайловна*, см. *Луговская Ольга Михайловна*

Ольшевская Нина Антоновна (1908–1991), жена В.Е. Ардова, актриса 109, 126, 260, 312, 369

Орёл Пелагея, домработница семьи Луговских 380, 383, 385–386 *Орлова Любовь Петровна* (1902–1975), актриса театра и кино 291 *Оскерко* (в замуж. *Крымова*) *Ирена*, жена Ю. Крымова, невестка В.Е. Беклемишевой и С.Ю. Копельмана, первое время жила Чистополе, затем ушла на фронт 145 *Осмеркин Александр Александрович* (1892–1953), художник 230 *Оснос Юрий Александрович* (1911–1978), литературный и театральный критик, литературовед. Жил в Чистополе в 1941–1943 г. 54, 57 *Остен Мария* (1908–1942) немецкая писательница-коммунистка, третья жена М.Е. Кольцова 243

Островая Наталья Сергеевна, дочь поэта С. Острового, воспитанница чистопольского детсада, где её мать Нина Георгиевна работала воспитательницей 291 *Оськин Александр*, сын директора Литфонда Д. Оськина, воспитанник чистопольского интерната 122, 317, 321 *Охлопков Николай Павлович* (1900–1967), актёр театра и кино, режиссёр 250

П

Павленко Пётр Андреевич (1899–1951), советский писатель. Приезжал в Чистополь к семье зимой 1941 г., летом 1942 и 1943 г. 128 *Панов Николай Николаевич* (псевд. *Дир Туманный*; 1903–1973), поэт, писатель-маринист 144 *Панова Татьяна Исаевна*, жена Н.Н. Панова 144 *Панферов Фёдор Иванович* (1896–1960), писатель 27

Панченко Михаил Павлович (1930-?), сын П.М. Панченко, воспитанник чистопольского интерната. Автор воспоминаний «Быль о Ч и стает» (2007) 138, 141, 219, 317

Панченко Павел Михайлович (1907–1994), поэт-переводчик *Панченко Юрий Павлович* (1929-?), сын П.М. Панченко, воспитанник чистопольского интерната 141 *Парнах Александр Валентинович* (р. 1935?), сын В.Я. Парнаха, воспитанник чистопольского детсада. Писатель, журналист 124, 243 *Парнах Валентин Яковлевич* (1891–1951), поэт, переводчик, танцор, основатель первого джаз-банды в России. Жил в Чистополе в 1941–1943 г. 39, 124, 166 *Пастернак Алёна*, см. *Пастернак Елена Владимировна Пастернак Борис Леонидович* (1890–1960), поэт, прозаик, переводчик. Жил в Чистополе в 1941–1943 г. 9–10, 18, 28, 39, 50, 53, 55, 77, 82–83, 92, 139–140, 145, 156, 166, 168–178, 181, 225, 237, 266–268, 280, 292, 299, 319–320, 322, 342, 348, 357, 359, 369–372, 378, 403 *Пастернак Евгений Борисович* (1923–2012), сын Б.Л. Пастернака, во время войны жил в Ташкенте 181 *Пастернак Елена Владимировна* (р. 1936), жена Е.Б. Пастернака, филолог 181, 291

Пастернак Зинаида Николаевна (1897–1966), вторая жена Б.Л. Пастернака, заведовала хозяйством в чистопольском детском саду 39, 58, 82–83, 114, 119, 139, 166, 173–174, 223, 229, 250, 266–267, 292, 319–320, 344, 403 *Пастернак Леонид Борисович* (1938–1976), сын Б.Л. Пастернака и З.Н. Пастернак, воспитанник чистопольского детсада 58, 139, 166, 268, 280, 290, 292, 319, 369, 372 *Пастернак Наталья Анисимовна*, жена Л.Б. Пастернака, директор музея Б.Л. Пастернака в Переделкине 292 *Паулин* (урожд. *Гиришман*) *Луиза Ивановна*, мать М.И. Шор-Ивенсен 347, 355–357, *Паулин Ян* (*Иван*), дед М.И. Шор-Ивенсен, столяр-краснодеревщик 347

Паустовская (урожд. *Евтеева*) *Татьяна Алексеевна* (1903–1978), в юности ученица студии Мейерхольда. Первая жена А.Н. Арбузова. После кончины второго мужа М.Я. Шнейдера вышла замуж за К.Г. Паустовского. Была в Чистополе 42–43, 285 *Паустовский Константин Георгиевич* (1892–1968), писатель. Был в Чистополе в августе 1941 г. 40–42

Певцов Илларион Николаевич (1879–1934), актер, театральный педагог 347
Перевозников Алексей Семёнович (1922–1941), студент МЭИ, двоюродный брат Т. Беленькой. Погиб на фронте 120–121 *Перевозников (Перов) Самуил Маркович* (1901–1941), муж И.Н. Беленькой 129 *Перекрыстова Наталия Петровна*, врач в чистопольском интернате 126 *Перцов Сережа*, товарищ *Е.Зингера* по пионерскому лагерю в Коктебеле 317 *Петрашевская О.К.*, преподаватель музыки на курсах А.Г. Шора 346–347 *Петров (Катаев) Евгений Петрович* (1903–1942), писатель. Приезжал в Чистополь в 1941 г. 103–104, 106–109, 112–113, 125 *Петрова* (урожд. *Катаева*) *Валентина Леонтьевна*, жена Е.П. Петрова, сначала была эвакуирована с детьми в Чистополь, затем в Ташкент 104, 107, 109, 113, 125 *Петровых Мария Сергеевна* (1908–1979), поэт, переводчица. Жила в Чистополе в 1941–1942 г. 10, 166, 371 *Петя*, см. *Катаев (Петров) Петр Евгеньевич*

Пешкова Дарья Максимовна (р. 1927), внучка А.М. Горького, ученица 25-й образцовой школы г. Москвы. Актриса театра им. Е. Вахтангова 305 *Пешкова Марфа Максимовна* (р. 1925), внучка А.М. Горького, ученица 25-й образцовой школы г. Москвы 305 *Плеханов Георгий Валентинович* (1856–1918), видный теоретик марксизма *Плеханова Инна*, одноклассница Е. Зингера, внучка Г.В. Плеханова 306 *Плигин Александр Павлович* (1880–1943), художник объединения «Мир искусства», умер в эвакуации в Чистополе 226–228, 230–234 *Плигина-Камионская Наталия Александровна* (р. 1933), дочь Н.О. Плигиной-Камионской и А.П. Плигина, воспитанница чистопольского интерната. Художница 226, 228–230, 232, 234 *Плигина-Камионская Наталия Оскаровна* (1901–1997), переводчица с английского и французского языков 227 *Плотникова Л.Г.*, музыкант, преподавала на курсах А.Г. Шора 346 *Плучек Валентин Николаевич* (1909–2002), создатель и руководитель (вместе с А.Н. Арбузовым) арбузовской студии; впоследствии главный режиссер Театра сатиры 88

Погодин (наст. фам. *Стукалов*) *Николай Фёдорович* (1900–1962), драматург 64, 68, 385 *Поля*, см. *Орёл Пелагея Порецкий Игнас*, см. *Рейсс Игнатий Прокофьев Сергей Сергеевич* (1891–1953), композитор 284 *Прокофьева* (урожд. *Кодина-Любера*) *Лина (Каролина) Ивановна* (1897–1989), певица, первая жена С.С. Прокофьева 292 *Пудовкин Всеволод Илларионович* (1893–1953), кинорежиссер 347

Р

Радзинский Эдвард Станиславович (р. 1936), драматург, писатель 254 *Раиса Яковлевна* см. *Чичерова Раиса Яковлевна*

Райс Елена (р. 1934), падчерица Ф. Вольфа, воспитанница чистопольского интерната. Уехала в Германию 228 *Раухвергер Михаил Рафаилович* (1901–1989), композитор 348 *Реджи*, см. *Вывалов Реджинальд Евгеньевич*

Резников Владимир, одноклассник Е. Зингера, из семьи дипломатов, работавших в Японии 308

Рейсс Игнатий (Игнас) Станиславович (наст. имя *Порецкий Натан Маркович*; 1899–1937), деятель ЧК-ОГПУ-НКВД, видный разведчик, невозвращенец. Убит спецгруппой НКВД в Швейцарии 16, 20 *Рерих Николай Константинович* (1874–1947), художник, писатель 227 *Ржановская Валентина Марковна*, жена Е.С. Юнги (Михейкина). Была в Елабуге одновременно с Цветаевой 44–46, 49–50 *Ржешевская* (в замуж. *Гладыш*) *Ирина Александровна* (р. 1929), дочь драматурга А.Г. Ржешевского, воспитанница чистопольского интерната. Филолог, сотрудник Литературного музея 126, 131, 133, 216, 244 *Ржешевский Александр Георгиевич* (1903–1967), драматург 67 *Ривис* (наст. фам. *Баскин*) *Яков Юльевич*, еврейский писатель 229 *Ривис Мария Абрамовна*, жена Я.Ю. Баскина 228–229 *Рихтер Зинаида Владимировна* (1890–1967), журналистка, путешественница, тетья Л. Рихтер и Л. Дурова 131 *Рихтер* (Дурова) *Людмила* (р. 1928), племянница З.В. Рихтер, воспитанница чистопольского интерната. Литературный редактор 131, 133 *Робсон Пол* (1898–1976), афро-американский певец-коммунист 306

Робсон Пол, мл., одноклассник Е. Зингера по 25-й образцовой школе г. Москвы, сын Поля Робсона 306 *Робсон Эсланда Гуд* (1898–1965) американский этнограф, публицист, жена П. Робсона 306

Родзевич Константин Болеславович (1895–1988), агент советской разведки, близкий друг М.И. Цветаевой и С.Я. Эфрона 20 *Роза Сергеевна*, см. *Росина Роза Сергеевна Розанов Сергей Григорьевич* (1894–1957), детский писатель 125 *Розанова Лилиана (Ляля) Сергеевна* (1931–1969), дочь С.Г. Розанова и А.И. Гроссман, воспитанница чистопольского интерната. Физиолог, журналист, литератор 125 *Розен гол ыц Аркадий Павлович* (1889–1938), брат Е. Левиной-Розенгольц. Советский государственный деятель, нарком внешней торговли. Расстрелян по делу право-троцкистского блока 127 *Розенгольц Герман Павлович* (1895–1959), учёный-микробиолог, профессор 127 *Розен гол ыц Ирина Германовна* (р. 1937), врач. Была в Чистополе проездом, двоюродная сестра Е.Б. Левиной 127–128 *Розенгольц Клара Абрамовна* (1870–1961), учительница, бабушка Е.Б. Левиной 105-106 109-110; 127–128, 132 *Ромм Михаил Ильич* (1901–1971), кинорежиссер 250 *Росин Самуил Израилевич* (1892–1941), поэт. Приезжал в Чистополь, погиб в ополчении в составе «писательской роты» 112, 257–260, 273 *Росина Роза Сергеевна* (7-1941), жена С.И. Росина, мать Эры Росиной. Погибла вместе с «писательской ротой» 112–113, 257–258, 261–262, 272 *Росина-Друцэ Эра Самуиловна* (р. 1929), дочь С.И. Росина, воспитанница чистопольского интерната 112, 133, 151, 217, 257 *Росинский Игорь*, сын О.Г. Суок, пасынок Ю. Олеси, двоюродный брат Вс. Багрицкого 88 *Ростовский Николай* (1875–1949), дядя Е. Левиной-Розенгольц, оперный певец 143 *Ротов Константин Павлович* (1902–1959), художник-граф и к 103–105, 107-111 *Ротова* (псевд. *Борисова*) *Екатерина Борисовна* (1906–1972), детская писательница, драматург 104, 107–108 *Ротова* (в первом браке *Баталова*) *Ирина Константиновна* (1928–2007), дочь К.П. Ротова, художник-ретушер 104–105, 108-109 *Рошаль Серафима Львовна* (1906), кинодраматург, сценарист *Рудерман Елена Михайловна* (1930–2009), дочь М.И. Рудермана, воспитанница чистопольского интерната. Врач 219, 317 *Рудерман Михаил Исаакович* (1905–1984), поэт-песенник

Рудерман (в замуж. *Могилевская*) *Татьяна Михайловна* (р. 1932), дочь

М.И. Рудермана, воспитанница чистопольского интерната. Геолог-нефтяник 317

Рудный Владимир Александрович (1913–1983), писатель 256 *Рудный Ярослав Владимирович*, сын В.А. Рудного 256 *Рыленков Николай Иванович* (1909–1969), поэт, фронтовик *Рыленкова Наталья Николаевна* (р. 1932), дочь Н.И. Рыленкова, воспитанница чистопольского интерната 228

С

Сабанеев Леонид Леонидович, историк музыки 347 *Савин Михаил*, фотограф 294

Садовский Пров Михайлович (1874–1947), актер и режиссер 305 *Садовский Пров Провович* (1926–1992), актер Малого театра, сын П.М. Садовского 305 *Саконская Нина Павловна* (наст. имя *Антонина Соколовская*, урожд. *Грушман*; 1896–1951), детская писательница. В эвакуации была в Елабуге вместе с сыном 29, 34, 36, 44–46, 49, 51, 55–56, 349 *Самойлов Давид Самуилович* (1920–1990), поэт 349

Санников Григорий Александрович (1899–1969), поэт. Приезжал в Чистополь с фронта в 1942 г. 51, 343, 403 *Санников Даниил Григорьевич* (р. 1931), сын Г.А. Санникова и Е.А. Санниковой, воспитанник чистопольского интерната. Физик, доктор физико-математических наук 217

Санников Никита Григорьевич (р. 1928), сын Г.А. Санникова и Е.А. Санниковой, воспитанник чистопольского интерната. Переводчик 130, 316–317 *Санникова Елена Аветовна* (наст. имя *Белла Назарбеян*; 1891–1941), жена Г.А. Санникова. Покончила с собой в Чистополе осенью 1941 г. 37–38, 51–53, 403

Сапунов Николай Николаевич (1880–1912), русский художник 53, 227 *Сахаров Андрей Дмитриевич* (1921–1989), физик, один из создателей первой советской водородной бомбы, академик АН СССР. Политический деятель, диссидент и правозащитник 181, 187, 248, 315, 322 *Сашенька*, см. *Ильф Александра Ильинична Светлов Михаил Аркадьевич* (1903–1964), поэт 147, 199, 245–246

Северянин Игорь (наст. шт *Лотарёв Игорь Васильевич*; 1887–1941), поэт-эгофутурист 82, 216 *Сеземан Алексей Васильевич* (1916–1989), сын Н.Н. Клепининой от первого брака,

был вместе с ней арестован в Болшево в 1939 г. Работал в Радиокomitee 19 *Сеземан Дмитрий Васильевич* (1922–2010), сын Н.Н. Клепиной от первого брака, был арестован в 1942 г. Переводчик, литературовед, писатель, меломан, умер в Париже 19, 21–22, 25, 60, 63, 80, 364 *Сейфуллина Лидия Николаевна* (1889–1954), писательница 298–299 *Селезнёв Лев Сергеевич* (1922–1944), двоюродный брат Л.В. Голубкиной, погиб на войне 390

Сельвинская Татьяна (Тата) Ильинична (р. 1927), дочь И.Л. Сельвинского, воспитанница чистопольского интерната. Художник 148, 317, 37 ° *Сельвинский Илья Львович* (1899–1968), поэт, драматург. Приезжал с фронта в Чистополь летом 1942 г. 137, 166, 317, 342, 351 *Семенович Екатерина Антоновна*, классная руководительница Е. Зингера 30 ° *Сендеров Валерий Анатольевич* (р. 1945), правозащитник 322 *Серазен Фредо* (ум. 1943), муж Ф. Блок (Серазен), дочери Ж.Р. Блока 23 ° *Сергей Яковлевич*, см. *Эфрон Сергей Яковлевич Серёжа*, см. *Николаев Серёжа*

Серякова Зинаида Фёдоровна, жена Н.Е. Добычина 50

Сикорская Татьяна Сергеевна (1901–1984), поэтесса, переводчица 29, 32–34, 36, 45, 49–50, 55, 76

Сикорский Вадим Витальевич (р. 1922), сын Т.С. Сикорской, поэт 29, 32, 34–35, 48–49, 56, 76, 403 *Силкин Борис*, одноклассник Е. Зингера 308

Симонов Константин Михайлович (1915–1979), поэт, писатель 195, 299, 377 *Симонович Илья*, дед М.И. Шор-Ивенсен, купец 347

Синявский Андрей Донатович (1925–1997), литературовед, писатель, литературный критик. Обвиняемый в процессе Синявского-Даниэля 1965 г. 157, 279 *Синякова Вера Михайловна* (1896–1973), сестра К.М. Асеевой, жена С.Г. Гехта 47, 56–58, 145

Синякова Ксения (Оксана) Михайловна (1892–1985), жена Н.Н. Асеева 40–41, 47, 54, 56–58, 145, 244 *Синякова* (в замуж. *Уречина*) *Мария Михайловна* (1890–1984), сестра К.М. Асеевой, художница 47, 56, 58, 145 *Синякова* (в замуж. *Пичета*) *Надежда Михайловна* (1889–1975), сестра К.М. Асеевой, пианистка 47, 56, 58, 145

Сито Дина Файвловна, дочь Ф.С. Сито, вместе с В. Хесиным входила в совет пионерского лагеря 255 *Сито Файвл Соломонович* (1909–1945), еврейский писатель, драматург *Скосырев Пётр Георгиевич* (1900–1960), писатель, переводчик 51 *Скловская-Кюри Мария* (1867–1934), польско-французский учёный-экспериментатор (физик, химик), педагог, общественный деятель 23 *Скудина Генриетта (Женя) Семёновна* (1932–1987), дочь музыкального работника детсада Литфонда, воспитанница чистопольского интерната. Музыковед, преподаватель института им. Гнесиных 208–209 *Слободской Марк (Морис) Романович* (1913–1991), драматург, автор сценариев фильмов Л. Гайдая, в т. ч. «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» 209 *Смирнов Владимир Иванович*, сын В.В. Смирновой и И.И. Халтурина, воспитанник чистопольского детсада 280–281 *Смирнова Вера Васильевна* (1898–1977), писатель, литературный критик. Жила в Чистополе в 1941–1943 г., руководила советом эвакуированных 41–42, 281 *Смирнова-Вишневецкая Валентина Николаевна*, актриса, певица 359 *Собинов Леонид Витальевич* (1872–1934), оперный певец 347 *Соколова Наталья Викторовна (Ата Типот, 1916–2002)*, писательница. Автор книги «Два года в Чистополе, 1941–1943» 38–39, 54, 57, 59, 91, 404 *Соколовский Александр Александрович* (1925–1979), сын Н.П. Саконской, детский писатель 29, 36, 56, 349 *Сорокин Михаил Яковлевич* (1910–1943), ледовый капитан 298 *Софронов Анатолий Владимирович* (1911–1990), писатель, драматург. Приезжал с фронта в Чистополь 342 *Софья*, см. *Кревс-Суркова Софья Антоновна*

Ставская Людмила Владимировна (1927–2000), дочь В.П. Ставского, воспитанница чистопольского интерната. Педагог, режиссер, актриса, профессор ВГУ им. Щукина 96, 122, 147 *Ставский Владимир Петрович* (1900–1945), писатель, в 1936–41 г. генеральный секретарь Союза писателей СССР, редактор журнала «Новый мир» (1937–1943) *Сталин* (наст. фам. *Джугашвили*) *Василий Иосифович* (1921–1962), сын И.В. Сталина, генерал-лейтенант авиации 302–303 *Сталин* (наст. фам. *Джугашвили*) *Иосиф Виссарионович* (1878–1953), советский политический, государственный, военный и партийный деятель 69, 136, 174, 185, 190, 196, 206, 218, 222, 224, 276, 302–303, 343, 348 *Сталина Светлана*, см. *Аллилуева Светлана Иосифовна Стасик, Стас*, см. *Нейгауз Станислав Генрихович*

Степанова Ангелина Осиповна (Иосифовна) (1905–2000), актриса, жена А.А. Фадеева. Жила в Чистополе с августа 1941 г. по июнь 1942 г. 10, 36, 138, 281
Стонов Александр Леонидович, сын Л.Д. Стонова 336
Стонов (наст. фам. *Влодавский*) *Дмитрий Миронович* (1898–1962), писатель, фронтовик, муж А.З. Стоновой 83, 209, 334–335, 338, 342 *Стонов Леонид Дмитриевич* (р. 1931), сын писателя Д.М. Стонова, воспитанник чистопольского интерната. Биолог, доктор биологических наук, правозащитник. Живёт в США 334–345 *Стонова Елена (Алёна) Дмитриевна* (1940–1995), племянница А.З. Стоновой, осиротевшая во время войны и усыновленная ею 335, 343 *Стонова* (урожд. *Идлин*) *Анна Зиновьевна* (1904–2001), жена писателя
Д.М. Стонова, заведующая чистопольским интернатом. Педагог 9, 83–85, 134, 140–141, 148, 165, 167, 209, 214, 222, 270–271, 273, 334–336, 338, 342–344, 362, 365–366, 368, 371 *Стонова Наталья*, жена Л. Стонова 336, 344
Струцовская, работник Литфонда, организатор эвакуации писателей 36 *Стырская Елизавета Яковлевна* (1898–1947), поэт, драматург. Жила в Чистополе 365
Сумбатов-Южин Александр Иванович (1857–1927), актёр, драматург, театральный деятель 347
Суок Лидия Густавовна (1896–1969), жена Э. Багрицкого, мать Вс. Багрицкого 8, 88–90, 315, 316
Суок Ольга Густавовна (1900–1978), жена Ю. Олеси, тетка Вс. Багрицкого. Художница 90
Суок Серафима Густавовна (1902–1982), тетка Вс. Багрицкого 89–90 *Суравич Лариса*, подруга Н. Камионской-Плигиной по чистопольскому интернату 228–229
Сурков Алексей Александрович (1899–1983), поэт, фронтовик. Несколько раз приезжал в Чистополь к семье 10, 282–284, 287–289, 290–293, 295, 317 *Сурков Алексей Алексеевич* (1928–2009), сын поэта А.А. Суркова, воспитанник чистопольского интерната. Специалист по атомному вооружению, полковник ВВС, лауреат Государственной премии 9, 135–137, 146, 152, 277, 282–284, 286, 288–292, 317
Суркова Наталья Алексеевна (р. 1938), дочь А.А. Суркова. Музыковед, композитор, журналист 146, 152, 283–284, 286, 288, 293
Сычёв Николай Петрович (1883–1964), художник, искусствовед 343

Т

Табачников Модест Ефимович (1913–1977), композитор 217, 237–238, 344 *Тагер Евгений Борисович* (1906–1984), литературовед 20 *Таиров Александр Яковлевич* (1885–1950), театральный режиссер 347 *Тамара*, см. *Хесина Тамара Григорьевна Таня*, см. *Беленькая Татьяна Марковна*
Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909–1956), литературный критик, муж М.И. Белкиной 54 *Тарасов Юрий*, товарищ Е. Зингера по морскому училищу 331 *Тарковские*, семья 114
Тарпан Эдуард, воспитанник чистопольского детсада 243 *Тарханов Владимир*, одноклассник Е. Зингера 306 *Татьяна Александровна*, *Татьяна*, см. *Луговская Татьяна Александровна Твардовский Александр Трифонович* (1910–1971), поэт. Дважды приезжал в Чистополь к семье с фронта зимой 1941 г. и весной 1943 г. 10, 292, 359 *Тверякова Мария Сергеевна* (1913–?), председатель чистопольского горисполкома в годы войны 42 *Тиличеева Елена Николаевна* (1909–1997), композитор 348 *Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович* («Зубр»; 1900–1981), биолог, генетик 248 *Тимур*, см. *Гайдар Тимур Аркадьевич*
Толстая Людмила Ильинична (1906–1982), третья жена А.Н. Толстого 67, 76 *Толстая Татьяна Владимировна* (*Ефимова*, псевд. *Вечорка*) (1892–1965), поэтесса, журналист, переводчик 27 *Толстов Александр Семенович*, отец Н.А. Толстой 305 *Толстов Кирилл (Эрик)*, сын Н.А. Толстой 305–306, 309 *Толстова Наталья Александровна*, диктор Всесоюзного радио 305 *Толстой Алексей Николаевич* (1883–1945), писатель; был в эвакуации в Ташкенте 35, 65–68, 73–76, 261, 364 *Толстой Никита Алексеевич* (1917–1994), сын А.Н. Толстого, ученый-физик 35, 261 *Тольятти Эрколи*, сын первого секретаря

итальянской компартии Пальмиро Тольятти, учился в 25-й образцовой школе г. Москвы 305 Тоом Леон Валентинович (1921–1969), поэт, переводчик; актер арбузовской студии. Жил в Чистополе 62 Тоом Лидия Петровна (1890–1976), эстонский переводчик, литературовед, мать Л.Тома 62

Тренёв Константин Андреевич (1876–1945), драматург. В Чистополе находился с осени 1941 г. по июль 1943 г. 33,, 36, 40–42, 81–82, 166, 313, 342 Тренёва (в замуж. Павленко) Наталья Константиновна (1914–1980), переводчица; дочь К.А. Тренева, жена П.А. Павленко. Была в Чистополе до июня 1943 г. 37

Туманова Зоя Александровна (р. 1927), писательница 73 Тэффи Надежда Александровна (наст. фам. Лохвицкая, в замуж. Бучинская) (1872–1952), писательница и поэтесса, мемуарист 347

У

Урицкая Карина, внучка М.С. Урицкого, ученица школы № 175, одноклассница Е. Зингера Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918), председатель Петроградской ЧК

Утёсов Леонид Осипович (1895–1982), эстрадный артист, певец и руководитель оркестра 291

Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), поэт 65, 385

Ушаков Георгий Алексеевич (1901–1963), исследователь Арктики 298

Ф

Фадеев Александр Александрович (1901–1956), писатель. Приезжал в Чистополь к семье на три недели в октябре 1941 г. 50, 120, 252, 291, 320, 380, 382 Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958), живописец 226, 230 Федин Константин Александрович (1892–1977), писатель. Жил в Чистополе с октября 1941 г. с перерывами до апреля 1943 г. 27, 40, 55, 143, 166, 178–181, 313, 323, 342 Фира (тетя Фиры), см. Архангельская Фиры Абрамовна Флора Моисеевна, Флора, см. Лейтес (Бархина) Флора Моисеевна Флоренский Павел Александрович (1882–1937), русский православный священник, богослов, философ, учёный, поэт 254 Фрадкина Елена Михайловна (1899–1983), жена Е.Я. Хазина, художница 73 Фрейденберг Ольга Михайловна (1890–1955), двоюродная сестра Б.Л. Пастернака.

Филолог-классик 378 Фрейман Юрий, одноклассник Е. Зингера 308

Френкель Илья Львович (1903–1994), поэт, фронтовик 43, 84, 139, 217, 235–237, 240, 318, 344 Френкель Лев Яковлевич, дедушка М. Френкель 235 Френкель Марина, см. Ковальская-Френкель Марианна Ильинична Фрид Григорий Самуилович (1915–2012), композитор 348 Фрида, см. Годинер Фрида Самуиловна

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891–1926), писатель-прозаик, автор романа «Чапаев», военный и политический деятель Фурманов Дмитрий (Митяйка), родственник Д.А. Фурманова 201–202

Х

Хазан (Северов) Александр (р. 1928), сын врача детсада, умершей в Чистополе; воспитанник чистопольского интерната 123, 130 Хазин Евгений Яковлевич (1893–1974), брат Н.Я. Мандельштам Халтурин Иван Игнатьевич (1902–1969), писатель 155, 181 Хесин Виталий Григорьевич (р. 1935), сын Г.Б. Хесина, воспитанник чистопольского детсада. Нефтяник, живет в США 135, 242, 244, 248 Хесин Григорий Борисович (1899–1964), директор Литфонда (с 1943 г.), начальник Всесоюзного управления по охране авторских прав. Приезжал в Чистополь. В 1950–1956 гг. репрессирован 241, 245–248, 250–256 Хесина Ася Савельевна (1900–1977), жена Т.Б. Хесина 245, 247, 250, 251, 253 Хесина Тамара Григорьевна (р. 1929), дочь Г.Б. Хесина, воспитанница чистопольского

интерната. Преподаватель, переводчик, живёт в США 133,135,151, 242–245, 247, 264
Хлебников Велимир (наст., имя *Виктор Владимирович*; 1885–1922), поэт, писатель 56
Хмара Василий Васильевич (1895–1948), писатель. Директор Литфонда до Г.Б. Хесина. В 1941 г. заместитель секретаря парторганизации ССП 58, 245 *Холоденко Александр* (р. 1926?), воспитанник чистопольского интерната 118 *Хохлов Борис Яковлевич*, сын Я.Ф. Хохлова, воспитанник чистопольского интерната. Военный 277, 320 *Хохлов Виктор Яковлевич*, сын Я.Ф. Хохлова, воспитанник чистопольского интерната. Профсоюзный деятель 277, 320 *Хохлов Яков Фёдорович*, директор чистопольского интерната 57,124,141,146,
148, 209, 214, 265, 292, 316, 319–320, 327–328, 344, 351, 365
Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971), советский государственный и политический деятель 252
Хрущёв Сергей Никитич (р. 1935), сын Н.С. Хрущева, ученый, публицист. Живёт в США 252

Ц

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), поэт. Была эвакуирована в Елабугу 8, 11, 15–28, 30–56, 58, 60, 64–65, 69–71, 74–75, 77, 79–82, 84–85, 93, 124, 140,162–163,166,170–172, 314, 344, 348, 354, 356–358, 361–366, 403–404 *Цезарь*, см. *Голодный Цезарь Михайлович Циля*, см. *Воскресенская Цецилия Александровна*
Цявловский Мстислав Александрович (1883–1947), историк литературы 76

Ч

Чалая Наталья Анатольевна (в замуж. *Крымова*; 1929–2003), воспитанница чистопольского интерната. Театральный критик 236 *Чарова Марья Михайловна*, актриса ленинградского БДТ, воспитательница девочек в чистопольском интернате 268–270 *Чернов Аркадий Яковлевич* (наст. фам. *Эйнгорн*; 1858–1904), оперный певец 346
Чертова Надежда Васильевна (1903–1989), писательница, руководитель радиовещания в Чистополе с сентября 1941 г. по май 1943 г. 354, 358–360 *Чехов Михаил Александрович* (1891–1955), русский и американский драматический актёр, театральный педагог, режиссёр, племянник А.П. Чехова 347 *Чичеров Александр Иванович* (1932–1999), сын И.И. Чичерова, воспитанник чистопольского интерната. Специалист по Индии, доктор исторических наук 211
Чичеров Иван Иванович (1902–1971), литературовед 84, 211, 263 *Чичерова Раиса Яковлевна*, жена И.И. Чичерова, воспитательница в чистопольском интернате 84,132–133,136, 211, 263, 268 *Членов Михаил Анатольевич* (р. 1940), общественный деятель, этнограф 245 *Чуйков Василий Иванович* (1900–1982), маршал Советского Союза, герой Сталинградской битвы 328
Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996), дочь К.И. Чуковского, критик, писательница. В Чистополе была с семьей летом – осенью 1941 г. 32–33, 37, 40–42, 54, 72–73, 81, 155,157, 163, 185, 403–404 *Чуковский Борис Корнеевич* (1910–1941), брат Л.К. Чуковской 73 *Чуковский Дмитрий Николаевич* (р. 1943), внук К. И.Чуковского. Режиссер-документалист 290
Чуковский Корней Иванович (1882–1969), детский поэт, литературовед, критик. Был в эвакуации в Ташкенте 41–42, 54, 73, 212, 403
Чухновский Борис Григорьевич (1898–1975), один из первых полярных летчиков 298

Ш

Шагал Марк Захарович (1887–1985), художник 226 *Шаляпин Фёдор Иванович* (1873–

1938), оперный певец 143, 347 *Шамбадал Михаил Абрамович* (псевд. *Камчадал*; 1891–1964), прозаик, поэт, переводчик. Эвакуирован в Чистополь 358 *Шацкая Э.*, педагог 248

Шварц Евгений Львович (1896–1958), драматург 250 *Шведов Дмитрий* (р. 1929), сын поэта-песенника, фронтовика Я. Шведова, воспитанник чистопольского интерната. Служил на флоте 245, 317 *Шелике Вальтраут Фрицевна* (р. 1927), дочь немецкого коммуниста, одноклассница Е. Зингера. Закончила истфак МГУ, автор многочисленных мемуаров 306–308 *Шервинская Татьяна*, одноклассница Э. Росиной 266 *Шервуд Леонид Владимирович* (1871–1954), скульптор 273 *Шехтель Фёдор Осипович* (1859–1926), архитектор 230

Шиловский Евгений Александрович (1889–1952), второй муж Е.С. Булгаковой 78 *Шиловский Сергей Евгеньевич* (1926–1976), сын Е.А. Шиловского и Е.С. Булгаковой 78 *Ширвиндт Александр Анатольевич* (р. 1934), актер театра и кино 251–252 *Шифферс Владимир Львович* (р. 1930), сын Л.В. Шифферса и Е.В. Шифферс, воспитанник чистопольского интерната. Морской офицер 123 *Шифферс Евгений Львович* (1934–1997), сын Л.В. Шифферса и Е.В. Шифферс, брат В.Л. Шифферса, воспитанник чистопольского детсада. Режиссер, сценарист, писатель, философ 243, 254, 278–279 *Шифферс* (урожд. *Пирадова*) *Евгения Васильевна* (1900–1960), жена Л.В. Шифферса, мать Владимира и Евгения Шифферсов, актриса, работала сестрой-хозяйкой в чистопольском интернате

Шифферс Лев Владимирович (1900–1961), поэт, переводчик, драматург *Шкапская Мария Михайловна* (1891–1952), поэт и публицист *Шкапская Светлана Глебовна* (р. 1928), дочь М.М. Шкапской, воспитанница чистопольского интерната. Геолог 137 *Шкловская Варвара Карловна* (урожд. *Бунд ель*), мать Вик. Б. Шкловского 96 *Шкловская Евгения Борисовна*, старшая сестра Вик. Б. Шкловского 96–97 *Шкловская-Корди Варвара Викторовна* (р. 1927), дочь Вик. Б. Шкловского, воспитанница чистопольского интерната. Физик 122, 146–147, 170, 208, 219. 317

Шкловская-Корди Василиса Георгиевна (1890–1977), жена Вик. Б. Шкловского.

Художник 94–96, 144, 170 *Шкловский Виктор Борисович* (1893–1984), писатель, литературовед, филолог.

В эвакуации был сначала с семьей в Чистополе, затем в Алма-Ате 94–97, 155, 170. 180. 317

Шкловский Владимир Борисович (1889–1937), брат Вик. Б. Шкловского, лингвист 96

Шкловский Никита (Китя) Викторович (1924–1945), сын Вик. Б. Шкловского.

Погиб на фронте 8, 10, 94–97, 170 *Шкловский Николай Борисович*, брат В.Б. Шкловского 97 *Шляпников Александр Гаврилович* (1885–1937), революционер, советский государственный деятель, лидер группы «рабочей оппозиции» 337 *Шмидт Отто Юльевич* (1891–1956), учёный, математик, географ, геофизик, астроном 298

Шнейдер Михаил Яковлевич (1891–1945), муж Татьяны Арбузовой, сценарист, критик. В октябре 1941 г. был в Чистополе 41, 43 *Шор Агда Александровна* (1924–2005), дочь М.И. Шор-Ивенсен и А.Г. Шор, воспитанница чистопольского интерната. Художница 231, 349–350, 355–356,

360–361, 369–370 *Шор Александр Германович* (1876–1942), пианист, преподаватель. Умер в Чистополе 230, 346–348, 350, 361 *Шор Гедда Александровна* (1926–2011), дочь М.И. Шор-Ивенсен и А.Г. Шор, воспитанница чистопольского интерната. Художница 58, 119, 124, 147, 231, 236, 348, 357, 361, 369–370 *Шор Давид Соломонович* (1867–1942), пианист, двоюродный брат А. Г. Шора 346–347

Шор-Ивенсен Маргарита Ильинична (1903–1977), детская писательница.

Жила в Чистополе в 1942–1943 гг. 230, 347–350, 355–361, 363, 369–371

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор 359 *Шпакунов Кирилл*, двоюродный брат Н. и А. Сурковых 285, 286, 290, 291 *Шток Исидор Владимирович* (1908–1980), драматург 65 *Шторм Георгий Петрович* (1898–1978), писатель, историк 255 *Шторм Ирина Георгиевна*, дочь писателя Г.П. Шторма 255 *Шубин Павел Николаевич* (1914–1951), поэт. Жил в Чистополе осень и зиму 1941 г. 320

Шульженко Клавдия Ивановна (1906–1984), певица, актриса театра и кино 238

Шурка, см. *Оськин Александр*

Шурка, см. *Парнах Александр Валентинович*

Шухевич Роман Иосифович (1907–1950), руководитель УНА на территории Западной Украины 322

Щ

Щаранский Натан (наст. имя *Анатолий Борисович*; р. 1948), борец за права человека, диссидент, писатель. Живёт в Израиле 322, 341 *Щербаков Александр Сергеевич* (1901–1945), секретарь ЦК, с 1942 года начальник Главного управления Красной Армии и Совинформбюро 298 *Щербакова Галина Львовна* (р. 1927), дочь воспитательницы чистопольского детсада, воспитанница чистопольского интерната. Искусствовед 114, 144 *Щипачёв Виктор Степанович* (р. 1931), сын С.П. Щипачёва и Е.В. Златовой, воспитанник чистопольского интерната. Кандидат технических наук. Живет в США 121, 221

Щипачёв Степан Петрович (1899–1979), поэт. Приезжал в Чистополь с фронта 84, 221
Штальбаум Николай Николаевич, отец Н.Н. Асеева 134, 244

Э

два, см. *Василевская два Романовна*

Эгарт Марк Моисеевич (1901–1956), писатель. Приезжал в Чистополь 240 *Эгарт Фрида Марковна* (р. 1927), дочь М.М. Эгарта, воспитанница чистопольского интерната. Профессор-эндокринолог. Живёт в США 149, 240 *Эйдельман Натан Яковлевич* (1930–1989), историк, писатель 248, 386

Эйнгорн Семён Яковлевич (1888–1925), основатель и директор Санкт-Петербургского института ортопедии, дядя М.И. Шор-Ивсенсен 346 *Эренбург Илья Григорьевич* (1891–1967), писатель 60 *Эфрон Ариадна (Аля) Сергеевна* (1912–1975), дочь М.И. Цветаевой 16–19,

23–25, 27, 31, 45, 66, 68, 70, 75, 77–78, 80, 176 *Эфрон Георгий (Мур) Сергеевич* (1925–1944), сын М.И. Цветаевой. В эвакуации был Елабуге, в Чистополе и в Ташкенте. Погиб на фронте 8, 10, 15, 18–29,

31–36, 40–41, 44–45, 47–51, 54–69, 71, 73–81, 86, 89–90, 96, 124, 163, 314,

361–366, 403–404

Эфрон Елизавета (Лиля) Яковлевна (1885–1976), сестра С.Я. Эфрона, педагог, режиссер 75, 77–78 *Эфрон Сергей Яковлевич* (1893–1941), муж М.И. Цветаевой, отец Г.С. Эфрона и А.С. Эфрон 15–21, 24–25, 27, 30, 60–61, 65, 77, 79, 81 *Эфрос Абрам Маркович* (1888–1954), поэт, переводчик 73

Ю

Юнга (наст. фам. *Михейкин*) *Евгений Семёнович* (1909–1988), военный писатель, журналист 46 *Юра*, см. *Барта Юрий Юра*, см. *Беленький Юрий Маркович Юра*, см. *Оснос Юрий Александрович Юрий Сергеевич*, дядя Э. Росиной, брат ее матери 272–273

Я

Яковлева Лидия, художник 53

Яминский Владимир, одноклассник Е. Зингера 308

Янеон Лидия Германовна, учительница немецкого языка, классный руководитель В. Хесина 247–248 *Яхонтов Владимир Николаевич* (1899–1945), актер, чтец 236, 343

Примечания

1

Здесь и далее в письмах сохранена авторская орфография и пунктуация.

2

Спустя годы Маргарита Алигер, возможно, ознакомившись с дневниковой записью Мура (она близко знала Ариадну Эфрон), писала о Цветаевой в воспоминаниях «Тропинка во ржи»: «Я запомнила городок Елабугу между Чистополем и Челнами, на противоположном берегу. Туда, я знала, тоже отправили несколько писательских семей и в их числе – знала я тогда об этом или нет? – Марину Ивановну Цветаеву с сыном. Стоял конец августа, ясный и синий, – можно бы задержаться, сойти в Елабуге, отыскать там живую Марину Цветаеву, что-нибудь сказать ей такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, понадеяться... Можно ли было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем нам много раз удавалось, хотя мы, может быть, и сами о том не знали, удержать, остановить, отвести от другого страшную минуту. И этим другим – от нас. А тут вот не удалось».

3

В переписке с Ирмой Кудровой, автором биографии Марины Цветаевой, я подтвердила свои сведения о пребывании Паустовского в Чистополе. В ответ она выслала мне отрывок из дневника Л. Левицкого (секретаря Паустовского): «...она <Ирма Кудрова> считает, что я выдумываю, говоря, что Паустовский участвовал в чистопольском заседании, на котором решалась судьба Цветаевой. Но я никогда не утверждал, что Паустовский там присутствовал. Я ограничивался констатацией того, что К.Г. мне рассказывал об этом заседании и ругательски ругал председательствовавшего на нём Тренёва. Тогда, когда шел этот разговор, мне в голову не пришло осведомиться у него, рассказывает ли он то, чему был свидетелем, или передает это с чужих слов. Вера Васильевна Смирнова в ноябре шестьдесят второго поделилась со мной, что у нее хранится записка Марины Ивановны, в которой та просит устроить ее работать в столовой судомойкой, и заодно рассказала, что лучше всех в защиту Цветаевой выступил Паустовский. С другой стороны, почти все в один голос говорят, что, когда решалась участь Марины Ивановны, К.Г. в Чистополе еще не было». Но теперь можно достоверно утверждать, что он приехал 20 августа, а выехал из Чистополя 1 или 2 сентября. Дата приезда Паустовского есть и в письме жены Зенкевича 20 августа, в письме Л.К. Чуковской к отцу от 21 августа, где говорится о приезде в Чистополь Квитко и Паустовского. Вторая дата находится в той же переписке Л.К. Чуковской с отцом, это письмо от 4 сентября 1941 года. Здесь всё вместе: и отъезд Паустовского, и гибель Цветаевой. «Паустовские, – пишет Лидия Корнеевна, – уехали в Алма-Ату, Шнейдеры – тоже <...> Сегодня 4.9. В Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цветаеву. Она повесилась». Эти сведения несомненно привез в Чистополь Мур. Но Паустовские точно уехали «до», – письмо длинное и пишется частями.

4

Они не бросят

5

УзТАГ – Узбекское телеграфное агентство.

6

Совет народных комиссаров.

7

Мансарда (перс.).

8

КЛ. Зелинский действительно в конце 1920-х годов работал во французском посольстве в должности секретаря посла А.Х. Раковского (впоследствии репрессированного), с чем был связан его постоянный страх. В 1926 году Пастернак в письмах обращался к нему с просьбой прислать книги Цветаевой, предлагал зайти к ней. Выходит, что шапочно Цветаева была знакома с Зелинским еще с 20-х годов.

9

«Когда Бурлала родился...», «...умер». (Немецкая народная песня.)

10

Спорить на «американку» или на «русскую» – это когда проигравший исполняет то или иное желание выигравшего.

11

Союз советских писателей.

12

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

Ездок запоздалый, с ним сын молодой.

(И. Гёте «Лесной царь». Перевод В. А. Жуковского?)

13

Некоторые строки в последних редакциях звучат иначе, я цитирую услышанный тогда вариант так, как он запомнился мне. (Примеч. С. Богатырёвой.)

14

ЛОКАФ – Литературное объединение Красной армии и флота.

15

«Путешествие на край ночи» – французский роман Луи Селина, вышедший в 1932 году и приведший в шок и читающую публику и критиков исповедью интеллигента, прошедшего через «всеобщее свинство» Первой мировой войны и разуверившегося в жизни.

16

Да здравствует Красный Октябрь! (нем.)

17

В Литфонд стекались писательские гонорары со всего Союза – за исполнение песен по радио, за театральные спектакли. Эта организация, основанная литераторами еще в царские времена, работала весьма налаженно и эффективно. И Григорий Хесин, еврей с отзывчивым сердцем, своей властью мог ссудить членам Литфонда какую-никакую сумму денег в счёт будущих доходов. Мог ссудить, а мог и не ссудить. И эту телеграмму с просьбой об авансе Светлов послал в Москву Хесину с писательского курорта в Коктебеле, где сильно поиздержался.

18

Московский государственный еврейский театр (Московский ГОСЕТ).

19

ВИИЯК – Военный институт иностранных языков.

20

Центральный государственный архив древних актов, ныне – РГАДА (Российский государственный архив древних актов).